ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2021

Татьяна Поспелова

Серия «Отпечатки памяти»

Лист 1

2020

Татьяна Поспелова

Серия «Отпечатки памяти»

Лист 4

2020

На обложке:

Виктория Исаенкова

Воздух *из серии «Дети Земли»*

2020

На обороте обложки:

Татьяна Поспелова

Воспоминания о Хакасии

2013

Полёт во времени

2021

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №4 | 2021

В номере

ДиН время
Анатолий Логвинов
3 Краз строится: 1961–1962 годы

синяя тетрадь
Дарина Доброва
6 Мамина улыбка
Полина Галайко
63 Любимый город
Альбина Кириченко
65 Кайеркан—особенный город
Алёна Мужаева
117 Лучшее место на земле
Елена Базаркина
162 Кордово—село моё родное!
Ульяна Какович
178 Дороже всего
Арина Ястремская
194 Я деревце твоё, Горячегорск…
Кира Дорожкина
195 Маленькая жемчужина России

ДиН публицистика
Алла Новикова-Строганова
7 Пропал старинный русский город: «литературная столица» закабалённой России

ДиН юбилей
Сергей Аринчин
17 Взойдёт звезда моя, взойдёт

ДиН память
Николай Рябеченков
20 Крик в пустоту

ДиН краеведение
Юрий Ромашков
23 Брачные обыски города Енисейска на примере свода документов Успенской церкви за 1852–1870 годы

ДиН диалог
Юрий Беликов, Тина Орская
26 Пострижение Клеопатры

ДиН ревю
Анастасия Белоусова
33 Берег
Александр Кердан
83 Апельсин
169 Люблю тебя, Уральский край!

ДиН проза
Владимир Балашов
34 Секретная миссия Егудэя

ДиН стихи
Тихон Синицын
64 Январский пейзаж
Вера Дорошева
66 Взлетаю и падаю
Сергей Тенятников
128 Из книги «Щекотки»
Любовь Карзникова
130 Падение пера
Елена Галиаскарова
131 Воздух пахнет кипреем, полынью…

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Геннадий Рязанцев
68 Лыжня

Виктор Николаев
74 Горько!

Ирлан Хугаев
81 Хлеб

Сергей Кузнечихин
132 Шесть голубых ёлок

Лидия Сычёва
134 Перед исповедью

Д*и*Н ПЕРЕВОД

Фелипе Гарсиа Кинтеро
84 Не в небесах моя слава

Д*и*Н ИРОНИЯ

Надежда Герман
87 За Калинов мост

Марат Валеев
118 Заметки из-под капельницы

Д*и*Н АРТЕФАКТ

Альбина Мамаева
163 Смех и грех

Д*и*Н ЭССЕ

Владимир Малягин
170 Достоевский и церковь

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Елена Севрюгина
179 Разговор с Богом

Д*и*Н ВЗГЛЯД

Ксения Савина
182 Некоторые проблемы начального этапа современной версификации

Д*и*Н ПЬЕСА

Екатерина Стасяк
184 Сахарные тараканы

Д*и*Н ДЕБЮТ

Нина Зай
190 Лошадка из дождя

Д*и*Н СИММЕТРИЯ

Демьян Бедный
193 Семена

196 Д*и*Н АВТОРЫ

Анатолий Логвинов

КрАЗ строится: 1961–1962 годы

Бытовые заметки

К июлю 1961 года, когда были в моде романтика дальних дорог, целина, стремление ехать в дальние края «за мечтами и за запахом тайги», относятся мои первые впечатления от КрАЗа или того, что было тогда прообразом этого «гиганта цветной металлургии», как его называла в газетах пишущая братия. Я сюда попал с Северного Кавказа по окончании средней школы, накопив стойкое отвращение к тамошней вечно слякотной зиме и непролазной грязи, желая испытать ощущение первооткрывателей и борцов с трудностями, так хорошо и призывно описанных, показанных, напетых в газетах, книжках, фильмах…

И действительно: тут солнце, простор, могучая река, берёзы, снег, мороз — всё так необычно и притягивающе красиво. На месте нынешнего завода — огромный пустырь, на котором там и сям начинают подниматься несколько кирпичных сооружений: это строятся здание заводоуправления, фабрика-кухня, бытовки будущего ЭЛЦ-1 (цеха электролиза №1), заколачиваются сваи и заливаются фундаменты на сооружениях самого-самого первого корпуса электролиза №4 и литейки. Основные же силы строителей в то время были сосредоточены (если можно так назвать вялотекущий, неспешный строительный процесс) на сооружении объектов промбазы. В них постепенно начали размещаться предприятия стройиндустрии, автобаза. Уже вовсю работал бетонный завод, так как стройке с самого начала были необходимы бетон и раствор.

Главными действующими лицами той эпохи на КрАЗе были, конечно же, строители треста «Красноярскалюминстрой». Они жили в большинстве своём в посёлке Индустриальный и окрестных деревеньках: Песчанке, Кубеково, Худоногово. Жилого массива Зелёная Роща ещё не было, а прообразом «города металлургов» были всего несколько кирпичных домов по улице Быковского да котельная. Автомобильная трасса из города в посёлок Индустриальный проходила достаточно далеко в стороне от нынешней, проходящей через Зелёную Рощу. Первое время переселение из Индустриального в этот зарождающийся жилой массив воспринималось некоторыми молодыми людьми даже без особой радости. В Индустриальном — есть клуб, столовая, магазин. Тут оживлённо, тут весело. Тут можно вечерком зайти в соседнее общежитие к друзьям или к девушкам, побродить с подругой по окрестным зелёным холмам и полям или сходить в кино, погонять футбол на спортплощадке…

К лету 1961 года и позже остатки подразбежавшихся первостроителей из так называемых «вербованных» лиц из средней полосы России были сильно «разбавлены» демобилизованными пограничниками. Первый отряд пограничников по комсомольским путёвкам приехал в 1960 году. И затем появление весной и осенью всё новых и новых групп молодых людей в военных бушлатах — защитного цвета у сухопутных пограничников и чёрных у морских — стало обычным делом. Кто-то из них ехал сюда по романтическому настрою души, кто-то — чтобы чуть раньше демобилизоваться из армии, так как тогда на границе служили три года. (Были в порядке вещей задержки и после трёхлетнего срока службы ещё на несколько месяцев по решению «отцов-командиров», не успевших подготовить замену «старикам», а порой и в силу обыкновенного армейского самодурства того или иного военачальника.)

Бывшие пограничники, ещё не отвыкнув от воинского порядка, внутренней организованности, дисциплины, внесли в несколько бесшабашный быт Индустриального, сформированный гражданской молодёжью («вербованными»), нечто новое. Молодёжь посёлка перестала доставлять какие-то хлопоты местной милиции. На работе многие бывшие пограничники с усердием осваивали, учась друг у друга, азы строительного ремесла, некоторые становились бригадирами. А это весьма важные и уважаемые фигуры среди остальной строительной братии. В то время на стройке были на слуху фамилии бригадиров Кузнецова, Шкутана, Кровякова, Юдина, Попова и некоторых других. Некоторые из них потом, выучившись в филиале Томского инженерно-строительного института, стали крупными организаторами строительного дела. Здесь же, на стройке, начиналась карьера известного политика О. С. Шенина. В те времена это был стройный красивый парень, любимец девушек.

На работу из Индустриального до промбазы обычно добирались в грузовых крытых вагонах, не отапливаемых ни зимой, ни летом. Небольшой состав в течение полутора часов эти три-четыре километра неспешно тащил маневровый тепловозик. Его называли «матаней», сочиняли про него анекдоты, всячески острили по поводу его «выдающейся скорости передвижения», запасались на долгий путь игральными картами, чтобы коротать время, рассказывали всякие байки, подшучивали и подтрунивали друг над другом. Ведь всегда найдётся какой-нибудь остряк, который с самым серьёзным и глубокомысленным видом начнёт рассуждать: а давайте подумаем—«какого калибра» надобна невеста такому высоченному парню, как Роман Икрамов? Тут начинают поступать и обсуждаться различные версии решения этой проблемы…

Или, скажем, по поводу жгуче-чёрной «масти» другого персонажа, которого девушки в сумерках пугаются из-за синего от частого бритья лица— растительность настолько быстро и густо пробивается. (Кстати, фамилия этого парня была Черноусов.) Ставится вопрос: как жить этому парню дальше, что он должен предпринять, чтобы изменить свой облик и не пугать девушек? Может, заболеть желтухой? Пугающий синий цвет лица будет изменён на жёлтый. Но тогда он будет похож на китайца. Нет, этот вариант не годится. Паяльная лампа и ошкуривание тоже не годятся—больно…

Часто инициатором шуточек и подковырок был неказистый пограничник со странным именем Досифей. Девчата звали его Доськой, а под горячую руку, когда он сильно их «доставал», это имя могло трансформироваться в «чёртову доску», «бревно» или «чурбан». Но он никогда не обижался, щурил свои хитроватые светлые глазки и улыбался кривоватым ртом, сочиняя новую шуточную фразу.

В зимнее утро, когда и утра, по сути дела, ещё нет—так темно и зябко, к «матане» тянутся группки строителей, рассаживаются по нащупанным в темноте стылым скамейкам, укреплённым вдоль стен вагона, начинают доставать курево и смолить свои папиросы, сигаретки и даже «козьи ножки» с махоркой. Начинают, как обычно, травить анекдоты, попыхивая своими «цигарками». К концу пути уже основательно рассвело. Все продрогли и после небольшого отогревания у костерка или в бригадном вагончике разбирают свой нехитрый инструмент: топоры, ломы, лопаты,—идут «греться» к своему рабочему месту.

Спустя какое-то время, когда, как поговаривали, строительное начальство ждало приезда в Красноярск Никиты Сергеевича Хрущёва, грузовые вагоны заменили старыми пассажирскими вагонами, но в них было так же холодно и неуютно, как и в грузовых.

Поздней осенью 1961 года в бригаде плотников-бетонщиков, где я работал с лета и освоил кое-какие азы строительного ремесла, появилось пополнение из очередной партии демобилизованных пограничников. Это были ставшие впоследствии известными на КрАЗе металлургами Н. Лупишко, П. Воробьёв, Ю. Волков, Н. Машин, Н. Жмут, А. Рябов и некоторые другие. Бригадир П. Понятовский (тоже впоследствии известный на КрАЗе металлург), демобилизовавшийся годом раньше, уже тогда был, несмотря на молодость, неторопливым, рассудительным, внимательным. И вообще, как человек семейный и степенный, он казался нам умудрённым и чуть ли не пожилым человеком. Он поручил мне первое время пошефствовать над новичками: показать, как строить опалубку для заливки бетона, как вязать самодельным крючком из куска толстой проволоки арматуру для последующей заливки бетоном, как при устройстве бетонного пола принимать и разравнивать ребром длинной деревянной доски бетон, чтобы пол был ровным и лежал на отмеченном «горизонте», как катать по узкой доске тачку с бетоном, балансируя груз на единственном колесе этой тачки, и тому подобное.

Нехитрые строительные операции, конечно же, очень быстро были освоены, вчерашние пограничники скоро стали заправскими строителями.

Быт будущих металлургов, а пока строителей, был весьма скромным: зарплата в лучшем случае достигала ста—ста тридцати рублей в месяц, в комнатах общежитий жили по четыре-пять человек. Бывшие «вояки» практически все приезжали без копейки в кармане. Все были экипированы в дембельские бушлаты (защитного цвета тёплые телогрейки у сухопутных пограничников и чёрного у морских), гимнастёрки, надраенные яловые сапоги, зелёные фуражки. Долгое время бегали на танцы и на всякие культурные мероприятия (к девушкам в общежития, в кино, в город в музкомедию) именно в этом обмундировании. Конечно же, моряки из-за своей эффектной формы одежды первое время пользовались у девушек повышенным вниманием. Но потом эти парни, более бесшабашные, озорные и охочие до всяких шалостей и приключений, да ещё плотно дружившие с «зелёным змием», перестали пользоваться у девушек преимущественным вниманием. Кстати, моряки спустя какое-то время поразъехались по своим родным местам, и из них остались на стройке единицы.

Скромный кинотеатр «Пограничник» да ещё нечто вроде маленького клубика в одном из общежитских щитовых домов—практически единственные места в посёлке, где «культурно отдыхали». Молодые парни на местных танцевальных вечерах отплясывали модный тогда танец чарльстон, выкручивая кренделя начищенными до блеска сапогами с проглаженными утюгом голенищами (в виде мехов гармошки). На голове у каждого—

непременная зелёная фуражка. В дни аванса и получки покупали нехитрые подарки, а то и бутылку с закуской и шли к девушкам в общежития. До очередного аванса или получки вечно денег не хватало.

Некоторые парни объединялись в своеобразные «коммуны»: жильцы комнаты сбрасывались небольшими деньжонками, пока они ещё не все были потрачены, поручали самому серьёзному быть кашеваром для остальных жильцов комнаты. А некоторых особенно расточительных зачастую спасало то обстоятельство, что в столовых хлеб был бесплатным. Так что при любом раскладе с голоду не помрёшь. Естественно, в ходу была взаимовыручка, продолжалась армейская дружба. Не давала унывать молодость, привычка довольствоваться малым (все были не избалованными достатком детьми военной поры, жившими смутными надеждами на лучшее будущее). Сейчас, может, это звучит и неубедительно, но тогда фраза Н. С. Хрущёва о том, что «нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме», многими воспринималась достаточно серьёзно, хотя и с долей скептицизма: о том, что он наступит, особых сомнений не было, но ведь до 1980 года, когда наступит коммунизм, ещё так далеко!

Естественно, там, где много молодёжи, часто играют свадьбы. А поскольку денег зарабатывали мало, то порой единственным выходом было обратиться за помощью к своей бригаде. Тогда всеми участниками будущего торжества на стройке отрабатывался лишний рабочий день, закрывался наряд и выплачивалась некая сумма, которой, в общем-то, хватало на скромное празднество бракосочетания и проведение шумного застолья, с непременными песнями под гармошку и лихими плясками. После чего зачастую молодые расходились опять по своим общежитиям, так как с отдельным жильём для молодых семей была напряжёнка. Коммуналка на улице Быковского в будущем «городе металлургов» Зелёной Роще или комната в одном из щитовых домов в Индустриальном в такой ситуации были большим счастьем.

В 1962 году работы на заводской строительной площадке были заметно активизированы. Часть строительных бригад с объектов промбазы была переброшена на основную площадку, где активно развивалось сорок девятое строительное управление треста «КАС» и возникло множество субподрядчиков, выполнявших специализированные работы на монтаже бетона, металлоконструкций и всего прочего. Запомнилась неприятная для строительного начальства ситуация с переделками фундаментов (железобетонных «стаканов»), предназначенных для установки опор под будущие электролизеры. Дело в том, что геодезические работы по разметке территории внутри корпуса №4 были выполнены с ошибкой—фундаменты были смещены от оси на значительную величину. Причём их успели почти все изготовить (арматура, бетон). Пришлось этот брак устранять: долбить бетон отбойными молотками, выстраивать опалубку, вставлять арматуру, заливать бетон—всё делать так, как предписывал проект. А ведь длина корпуса—шестьсот с лишним метров!

Для устройства «мягкой кровли» на крыше электролизного корпуса (асфальт, рубероид) пригласили с комбайнового завода в качестве инструкторов-умельцев нескольких опытных рабочих. Они показали нашей бригаде (бригада И. Юдина), как правильно выполнять все операции, и эта бригада потом специализировалась достаточно долго на кровельных работах и на многих последующих корпусах.

Вообще, надо заметить, что профессионализм строителей со временем заметно вырос. Даже сегодня можно отличить качество кирпичной кладки самых первых зданий от построенных впоследствии. Кривые «силоса» растворобетонного завода на промбазе—продукт первоначальных строительных экспериментов в изготовлении круглой деревянной опалубки. Силоса же для глинозёма на заводской площадке—прямые и стройные. Поначалу была низка квалификация, было мало строительных механизмов. Порой вручную долбили траншеи под фундаменты.

На строительстве корпуса электролиза строительные инженеры накапливали опыт технологии строительно-монтажных работ. Этот поиск позволил впоследствии поставить строительство корпусов электролиза как бы «на поток». Так, при строительстве корпуса №4 всё делалось поэлементно: сначала делался весь нулевой цикл, затем ставились все несущие конструкции, стены, крыша, и лишь потом занимались «начинкой» внутренностей корпуса (металло,—энергооборудованием). При «поточном» методе одновременно в согласованном режиме и последовательности работало сразу множество специализированных организаций. Корпус вырастал со всеми своими «внутренностями» часть за частью, как бы «выползая», как гигантская колбаса, из какой-то грандиозных размеров мясорубки.

Насколько я помню, к 1962 году относится первое появление среди строителей главного инженера строящегося завода В. Стриго и начальника отдела кадров А. Котова, с приглашением записываться обучаться специальностям анодчика и электролизника. В зале для заседаний стройуправления собравшимся молодым рабочим представители строящегося завода долго рассказывали, как здорово будет работать на заводе. Пригласили записываться на курсы электролизников и анодчиков. Пообещали организовать в период учёбы и стажировку будущих металлургов на других алюминиевых заводах страны. Никто, конечно,

не понял, что такое профессия электролизника или анодчика, но многим захотелось попробовать стать металлургом. Условия выдвинули жёсткие: надо иметь среднее образование, хорошую производственную характеристику, отслужить в армии.

Все расходились оживлённые и долго обсуждали, как всё будет интересно и здорово на будущей работе. Среди нас никто тогда ещё не мог знать, что тишайший, скромнейший, стеснительный А. Рябов станет знатным бригадиром электролизников — почётным, заслуженным, орденоносным. Никто не мог ведать, что бригадир строителей М. Ачканов станет металлургом и видным профсоюзным лидером на заводе. Никто не мог бы и предположить, что крепыш, душа компании и местный спортсмен-футболист, плотник-бетонщик В. Крюковский, успевший поработать и на строительстве Коммунального моста (работал в кессонах под водой на возведении опор моста), станет доктором технических наук, видным специалистом по алюминию и опорой института ВАМИ. Симпатичный парень О. Шенин не станет металлургом. Но он потом сделает блистательную карьеру, спустя много лет став первым партийным лицом в крае, затем заместителем М. Горбачёва, а потом, после известных событий, и «сидельцем» в «Матросской тишине». (Вот уж поистине верно: «от тюрьмы и от сумы не зарекайся».) А длинный, спокойный Рашид Икрамов, частый объект подтрунивания местных остряков, превратится когда-то в строгого и въедливого, жадного до работы начальника одного из цехов электролиза, в котором будет трудиться свыше двух тысяч человек…

Было самое начало шестидесятых годов. Первые полёты в космос Ю. Гагарина и Г. Титова, первые песни Б. Окуджавы (никто ещё не слышал ни про Владимира Высоцкого, ни про Муслима Магомаева — их слава, известность ещё впереди). Из радиорепродукторов звучат романтические песни про целину и сибирские новостройки А. Пахмутовой, на экранах кинотеатров царят бодрые герои в исполнении Н. Рыбникова и Н. Румянцевой… Можно горланить «Ой, мороз, мороз, не морозь меня» и песню про Ангару, распивая крепчайший портвейн из больших тёмно-зелёных бутылок (называемых в просторечии «противотанковыми») в маленькой кафешке в деревеньке Шумиха, после прогулки с группой экскурсантов — бывших пограничников — по тем местам, где через несколько лет будет плескаться Красноярское море, а пока только ещё начинает строиться Красноярская ГЭС. Можно катать футбольный мяч по пыльному полю в Индустриальном, а весной на улицах посёлка сажать первые тополя, там же ходить на первомайскую демонстрацию, бегать смотреть, как трещит лёд на вскрывающемся Енисее… Всё это было предысторией Красноярского алюминиевого и реальной жизнью связанных с ним судеб множества людей.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Дарина Доброва (3 класс)

Мамина улыбка

В маминой улыбке заключается всё моё счастье. Это самое дорогое для меня!

Улыбка мамы — это яркое тёплое солнышко, это горячие пышные пирожки, это самые вкусные конфеты на свете! Когда я вижу улыбку на мамином лице, мне всегда спокойно и радостно. Ведь когда мама улыбается, никакое ненастье за окном не испортит наше тепло и уют в доме. Каждый день я просыпаюсь и засыпаю с маминой улыбкой. Заканчивается последний урок, я бегу, ищу глазами самую добрую, самую милую мою мамину улыбку.

Я знаю: когда родилась — первое, что я увидела, была счастливая улыбка мамы. Я плачу — мама улыбается, успокаивает меня. Если у меня что-то не получается, на помощь спешит мамина улыбка, и всё у меня налаживается. Сижу за сложными задачками, а мама подойдёт, улыбнётся, и я сразу понимаю: всё очень просто решается. С маминой улыбкой я преодолею все трудности.

У каждой маминой улыбки есть своё настроение. Когда мама говорит мне, что я у неё самая любимая, — улыбка тёплая, родная; если она рассказывает какие-нибудь секреты — улыбка таинственная; если читает весёлые стихи и рассказы — она радостная и озорная; когда я отгадываю, какой сюрприз приготовила мне мама, — её улыбка хитрая и загадочная; а если мама чем-то расстроена — она печальная. Вечером мамина улыбка уставшая и сонная.

Улыбка моей мамы — волшебная! Она поднимает настроение, исцеляет и делает меня счастливой!

Самая лучшая улыбка на земле — мамина улыбка!

Алла Новикова-Строганова

Пропал старинный русский город: «литературная столица» закабалённой России

Неюбилейные размышления в год литературных юбилеев

«Тьма, пришедшая с Мёртвого моря, поглотила ненавидимый инородцами город. Пропал старинный русский город, как будто не существовал на свете. Всё пожрала тьма, напугавшая всё живое в городе и его окрестностях…»

В 2021 году отмечается много замечательных литературных юбилеев и важных памятных дат. В их числе — 190 лет со дня рождения классика мировой литературы, самобытнейшего писателя русского Николая Семёновича Лескова (1831–1895), связанного самыми крепкими нитями со своей малой родиной — орловской землёй. Однако в год славного юбилея *«самого русского из русских писателей»* и его соратников по перу рождаются размышления неюбилейные, непраздничные.

Интерес к великой русской литературе и творчеству моих прославленных земляков — орловских писателей-классиков, к христианской составляющей их наследия повсюду в мире неизменно высок. В нашей стране и за её пределами людям для умственного и духовного роста необходим честный и чистый голос замечательных русских художников слова. Орловская земля — родина Лескова, Тургенева, Фета, Бунина, Андреева (в августе Леониду Андрееву — 150 лет) и ещё целого созвездия непревзойдённых мастеров русского слова — по праву должна бы всегда являться центром всероссийских и международных празднований юбилеев выдающихся писателей-орловцев.

Казалось бы, Орловщина в отношении к литературе более всего призвана быть лидером и примером для других регионов страны, средоточием её литературно-общественной жизни. Однако это не так. Вот один из красноречивых фактов. Во множестве городов России, не претендующих, как Орёл, на звание «литературных столиц», выпускается специализированная литературная периодика. Но, как ни парадоксально, в литературном Орле не осталось ни одного периодического издания, где можно было бы публиковать научно-публицистические статьи и материалы о духовно-нравственном содержании отечественной словесности.

Моя книга *«Христианский мир И. С. Тургенева»*, удостоенная Золотого диплома Международного славянского форума «Золотой Витязь», была издана в издательстве «Зёрна-Слово» в Рязани, поскольку в Орле, на родине писателя, не нашлось издательства, которому новое освещение его творчества с христианских позиций было бы интересно. Полную отстранённость и безразличие к этому вопросу проявили также власти предержащие, к кому я обращалась лично за помощью и поддержкой. В прямом смысле накануне юбилея Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883), 8 ноября 2018 года, директор Орловского краеведческого музея, в недавнем прошлом — начальник областного управления культуры, Д. А. Моисеев распорядился снять книгу «Христианский мир И. С. Тургенева» с реализации, руководствуясь, по всей видимости, «законом Моисеевым», противостоящим благодати Христа.

Разочарование и подавленность — таково общее настроение истинно образованных земляков Тургенева, которые напрасно надеялись, что 200-летие писателя — значимое событие в литературной жизни не только России, но и ближнего и дальнего зарубежья, — поможет оздоровить духовную, морально-нравственную, культурную, образовательную сферы в Орле и Орловской области — на родине всемирно известного писателя-классика.

К 200-летию Тургенева властные структуры города и области вознамерились приготовляться ещё за несколько лет до памятной даты, когда появилась государственная программа подготовки празднования юбилея писателя и в регион стали поступать немалые денежные суммы — около двухсот миллионов рублей — на реализацию этой программы. Замышлялось масштабное, грандиозное торжество с множеством мероприятий. Однако

никакого духовно-эмоционального подъёма, радостной атмосферы по-настоящему большого праздника, приподнятого настроения не ощущалось. Вероятно, не все финансовые средства, выделенные на подготовку к тургеневскому юбилею, использовались по прямому назначению. Непосредственно связанные с жизнью и творчеством писателя памятные литературно-исторические объекты Орла — например, «Дом Лобановых» — разрушены и продолжают разрушаться. Поблизости от Дома-музея Н. С. Лескова совсем разваливается ещё один памятник культуры, драгоценный для всякого образованного человека, — «Дом Лизы Калитиной», описанный в романе И. С. Тургенева «*Дворянское гнездо*», а затем в «нобелевском» романе И. А. Бунина «*Жизнь Арсеньева*», в изящных стихах Константина Бальмонта.

При этом местные чинуши да «придворные» прихвостни как ни в чём не бывало демонстрировали привычное самодовольство и бахвальство, исполняя, как всегда, свою заезженную песенку: «А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо». Однако этим наглым, опротивевшим, затасканным заверениям уже давно никто не верит, в том числе и сами профессиональные лжецы при «кормушке».

В то самое время, когда разрушались здания памятников культуры, в городе и за его пределами возводились и возводятся стоящие десятки миллионов особняки и целые усадьбы местных «царьков» — чиновников и здешних олигархов. И всё это — в дотационном регионе страны… Один такой таунхаус даже раскинулся в самой непосредственной близости к лесковскому музею, отхватив «*плутовским манером*» кусок сада на прилегающей к Дому-музею территории.

Согласно православной аскетике, нечисть тоже стремится прилепиться к святому и чистому, пытаясь таким способом покрыть свою нечистоту. Бес может прикрыться и ангельским одеянием, кровожадный волк — шкурой кроткой, безобидной овцы.

Орловские власти за пределами региона неизменно представляют Орёл как «литературную столицу», «литературный центр» России. Именно такой была экспозиция Орловской области на Олимпиаде в Сочи, сопровождавшаяся высказываниями Тургенева о родине. Факел параолимпийского огня в Орле зажигали от символического писательского пера. На международном инвестиционном форуме даже соорудили беседку-ротонду с именами земляков — русских классиков мировой литературы.

В самом деле, великое наследие писателей-орловцев — единственное, чем по-настоящему может гордиться Орловская область, чем она прославлена доброй славой во всём мире. Только это никак не связано с деятельностью властей предержащих, это вовсе не их достижение и заслуга. И, как видно, от пафосных прожектов об Орле как о «литературной столице России» и высокопарных слов, мертворождённых напыщенно-себялюбивыми чиновниками, до реального дела — «*дистанция огромного размера*».

К огромному сожалению, современное состояние общества таково, что множество людей, в том числе номинативно православных, никогда не читали Нового Завета. Подавляющему большинству также не до классиков литературы и не до чтения вообще. В качестве основного «источника познаний», по большей части вредоносного для духовно-нравственного здоровья нации, выступают телевизор и компьютер. Не выправил эту ситуацию и объявленный Годом литературы 2015 год. Точно так же, как в 2007 году Год русского языка остался всего лишь помпезным ярлыком: с тех пор не убавилось повальной безграмотности, словесных нечистот, загрязняющих и унижающих наш родной язык. Тот самый «*великий, могучий, правдивый и свободный русский язык*», который Тургенев за год до смерти воспел в своём шедевре, ставшем бессмертным, — в стихотворении в прозе «*Русский язык*» (1882). Есть в нём пророческие строки, одновременно и горькие, и ободряющие, словно мост, перекинутые в наши дни: от прошлого — к неутешительному настоящему, а от него — к вселяющему надежду будущему: «*Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя — как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!*»

Однако следом вспоминаются хрестоматийные (и снова пророческие!) строки Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), чей 200-летний юбилей также отмечается в этом году: «*Жаль только — жить в эту пору прекрасную / Уж не придётся — ни мне, ни тебе*».

По отзыву ещё одного русского классика — М. Е. Салтыкова-Щедрина (1826–1889) (ему исполнилось бы 195 лет), — в тургеневской прозе заключено «*начало любви и света, в каждой строке бьющее живым ключом*». После чтения произведений Тургенева «*легко дышится, легко верится, тепло чувствуется*», «*ощущаешь явственно, как нравственный уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора*».

Но где тут большинству наших соотечественников выбрать время для чтения гармоничной прозы, чтобы поднимать свой нравственный уровень, — иные заботы одолели: всё жёстче сжимаются тиски «*торговой кабалы*», засасывает в смрадное болото «*тина мелочей*», заплывает телом душа… Законами дикого сословно-олигархического капиталистического рынка граждане России ввергнуты

в звериную борьбу за существование. Многие находятся за чертой бедности, большинство людей поглощено элементарными проблемами выживания: как оплатить постоянно нарастающие суммы налоговых уведомлений и квитанций ЖКХ, на чём сэкономить до скудной зарплаты, до нищенской пенсии… До литературы ли тут?

Великий писатель, благодаря которому провинциальный Орёл прославился доброй славой во всём цивилизованном мире, сейчас мало кому вспоминается и на его малой родине. Создаётся впечатление, что Тургенев и его творчество никому не нужны, не интересны. Классику мировой литературы в Орле ни раньше, ни теперь не посвящалось духовно наполненных существенных событий значительного масштаба.

Редкие заорганизованные «мероприятия», связанные с именем Тургенева, никак не могут пробиться на широкий общественный простор сквозь узилище кафедральных междусобойчиков, заточение кулуарных музейных посиделок да запылённых библиотечных выставок. Лишь изредка проводятся городские и загородные бутафорские представления—так называемые «тургеневские праздники», на мой взгляд, больше похожие на часть многолетней непрекращающейся пиар-кампании депутатов-чиновников, которым в этом содействуют некоторые ретивые «деятельницы от культуры». На протяжении многих лет все они более пекутся о фиктивном имидже «борцов за культуру», используя эту тему как широкое поле для самопиара, но никак не для восстановления и сохранения святынь общерусской культуры. Издревле на Руси известна пословица: «Мели, Емеля,—твоя неделя». А в литературе писателем-орловцем Лесковым в курьёзном рассказе «*Маленькая ошибка*» был художественно воссоздан реально существовавший персонаж—Иван Яковлевич Корейша (1780–1861) из дома для душевнобольных и «*скорбных на голову*», к которому недалёкие люди за советом бегали.

Всё, что порой выливается на улицы «литературной столицы» под названием «тургеневских праздников», с сопутствующей торговлей шашлыками, бубликами, безделушками, никоим образом не соответствует духу Тургенева. Таким, например, было карнавальное шоу, не имеющее никакого отношения ни к писателю, ни к русскости, под сомнительным и пошлым названием «Мода на русское». Как известно, мода—явление временное, быстротечное. Значит, по мысли затейников этого балагана, русское—это не бессмертное состояние души и духа человека, а нечто недолговечное, скоропреходящее, во что можно поиграться, вырядиться, а затем скинуть и забросить, как вышедшее из моды тряпьё, и покончить с ним навсегда.

В городе имеются места, связанные с именем писателя: улица, театр, музей. Памятник—на берегу Оки. Бюст—в заповедном уголке Орла «Дворянское гнездо», которое уже потеснено элитной застройкой местных нуворишей. Но живого духа Тургенева и его благодатного творчества не ощущается. Для большей части орловцев писатель—не более чем истёртая полузабытая страница недочитанного и недопонятого школьного учебника или бронзовая фигура на постаменте.

Люблю и помню прежний Орёл—тихий, зелёный, уютный. Тот самый, что, по известным словам Лескова, «*вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу Родины никакой другой русский город*». Нынешний город совсем не похож на Орёл моего детства и юности, а тем более на тот «*город О.*», что описан Тургеневым в романе «*Дворянское гнездо*» (1858): «*Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури. Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… <…> сидели две женщины. <…> При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город*».

Сегодняшний Орёл безвозвратно утратил своё былое очарование. Город зверски изуродован капиталистической застройкой на каждой выгодной пяди земли. Варварски снесены многие старинные здания—памятники архитектуры. На их месте высятся монстры: торговые центры, гостиничные и развлекательные комплексы, фитнес-клубы, питейно-увеселительные заведения и прочее. На окраинах расчищают места под уплотнённую застройку, вырубают рощицы—наши «зелёные лёгкие», которые хоть как-то спасали от смрада, смога и выхлопов нескончаемых автомобильных пробок. В центральном городском парке—и без того убогом—губят деревья. Прогуляться и просто подышать чистым воздухом горожанам уже негде. Старые липы, клёны, каштаны гибнут под бензопилой, а на их месте появляются очередные уродливые чудища—безобразные забегаловки с опасным для здоровья фастфудом. В областном центре расплодилось огромное количество пивнушек, рюмочных, кальянных и прочих злачных мест. Существуют, например, питейные заведения, которые находятся в двух шагах от православных храмов. После обильного застолья и выпивонов удобно, наверное, прямо поблизости зайти помолиться или в пьяно-покаянном угаре устроить обряд изгнания из самих себя бесов, как в рассказе Лескова «*Чертогон*».

Не уберёгся от изуверского нашествия «*торговой кабалы*» и Тургеневский бережок, названный так ещё в девятнадцатом веке,—знаменательное место на высоком берегу Оки, где установлен памятник Тургеневу. На эту достопримечательность указал в своё время землякам-орловцам Лесков:

«*Отсюда*,— писал Николай Семёнович,— *знаменитое дитя впервые окидывало своими глазами небо и землю, и, может быть, здесь же было бы хорошо поместить памятный знак с обозначением, что в Орле увидел свет Тургенев, пробудивший в своих соотечественниках чувства человеколюбия и прославивший свою родину доброю славою во всём образованном мире*».

Долгие годы фоном для памятника всемирно известному великому русскому писателю служила режущая глаз надпись «Coca-Cola» на ярко-красной тряпке, что моталась над торговой точкой, обосновавшейся здесь же — на Тургеневском бережке.

Торгашеская зараза перекинулась на родине Тургенева на его произведения. Их названия служат в Орле вывесками накинутых на горожан торгово-доходных сетей, что оплели город, словно гигантская паутина: «Тургеневский», «Бежин луг», «Малиновая вода»…

Невольно задаёшься вопросом: с какой целью к торговому центру прилеплено название «Тургеневский»? Ведь Тургенев-то торгашом не был. Он не может сейчас за себя постоять, вот и склоняется его светлое имя направо и налево — для прикрытия продажности, завлечения покупателей, особенно приезжих посетителей родины великого русского писателя. Не логичнее ли назвать торговый центр именем какого-нибудь известного в городе современного деятеля-торговца или в честь именитых купцов, живших в Орле: например, «Серебренниковский»? Можно короче: просто «Серебряный». В этом случае название будет напоминать о вечном предателе Христа Иуде, продавшем Господа на муку крестную за тридцать сребреников. Но в Орле всё наоборот. Всё, как любил повторять Лесков, «*шиворот-навыворот*»: областное управление культуры располагается в бывшем доме торговца, купца Серебренникова, а торговые точки орудуют под славными именованиями, похищенными из сферы русской духовной культуры. Прав был Лесков, утверждая, что у нас, в России, «*что ни шаг, то сюрприз, и притом самый скверный*».

И вот очередной «*сюрприз*» — «*самый скверный*» из скверных — не заставил себя долго ждать. Буквально перед 200-летием великого классика — были грубо попраны и гнусно опошлены заглавия его наиболее христиански одухотворённых великих романов, в основе которых неутолимая духовная жажда веры в Бога и бессмертие, тургеневское предчувствие «*жизни бесконечной*» *для людей — как детей общего Отца Небесного*.

«Дворянское гнездо» — так названо агентство недвижимости, открывшееся вблизи памятника Тургеневу. «Отцы и дети» стали названием «гастробара и винотеки». Расположилось это заведение не где-нибудь, а прямо напротив филологического факультета (по-нынешнему — института) Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева (ОГУ в этом году отмечает 90 лет со дня создания). Руководство и преподаватели факультета и университета, как всегда, отмолчались, воспринимая случившееся как нечто должное или ничего не значащее. В то время как в этом безобразном явлении обнаруживаются не просто духовная и умственная неразвитость, невежество, безвкусица, пошлость. Здесь пик духовной деградации, цинизма, бессовестности, прямого издевательства и глумления над творческим наследием и памятью великого писателя в год его 200-летия!

Может быть, продолжая надругательство над всемирно известным тургеневским произведением, учредители и устроители гастрономически-питейного заведения доведут ситуацию до абсурда и будут использовать образы бессмертного романа для завлечения посетителей — выпивох и любителей побаловать свой желудок? Например, бармен примет образ утончённого аристократа Павла Петровича Кирсанова. Блистательная Анна Сергеевна Одинцова и загадочная княгиня Р. будут официантками. Простодушная Фенечка — посудомойкой. Визгливый Ситников и «*эмансипе*» Кукшина — мастера устраивать бедлам — к примеру, подойдут на роли ресторанных музыкантов. Интеллигентный и сдержанный Николай Петрович Кирсанов будет швейцаром. «*Бланманже*» Аркадий Кирсанов и его невеста Катя станут зазывалами. Ну а главному герою романа Базарову — самому мощному по духу и физической силе — достанется роль вышибалы.

«*Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно*»… Здесь уже не край адской бездны, а самое её дно!

Ни Тургеневу, ни его наследникам и в голову не пришло бы делать из заглавий его произведений зарегистрированный товарный знак, «бренд», чтобы в дальнейшем никто не мог на него покуситься. Но теперь с юридически-формальных позиций всё вроде бы совершается на законных основаниях. Вот и пускаются эти названия на продажу, затаскиваются в торговый оборот, истрёпываются, опошляются лавочниками и торгашами. По действующему законодательству всё разрешено. Но где же законы совести, душевной опрятности, элементарной порядочности? Вопрос риторический, и отыскать на него ответ в нынешней ситуации представляется невозможным. И снова всплывает тургеневское: «*…как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?*»

Голос людей, неравнодушных к облику и судьбе города, отданного на растерзание, на распродажу,— не более чем «*глас вопиющего в пустыне*». Если бы вдруг воскрес добросердечный, гармоничный Иван Сергеевич Тургенев — благородный противник торгашества, подлости и пошлости, невежества и лжи,— сбежал бы он, наверное, подальше от нынешнего Орла — города, в котором появился

на свет Божий. Ушёл бы побродить в Полесье или по окрестностям Спасского, остался бы наедине с врачующей душу среднерусской природой, подальше от бессовестных спекуляций его светлым именем и творчеством.

Похищая у Тургенева название его великого романа для «гастробара и винотеки», учредители этого авантюрного заведения, по евангельскому слову, *ни Бога не боялись, ни людей не стыдились*. Справедливо предрекал подобным предпринимателям другой классик — земляк и защитник тургеневского наследия Лесков — в своей драме «*Расточитель*» (1867): «*Вы расточили и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство, Бог, история осудят*». Писатель горячо выступал в защиту «*генерала от литературы*» Тургенева — «*слишком крупного среди всех наших величин*» — от всякого рода «*литературных* (и не только литературных. — *А. Н.-С.*) *хамов*».

Также и Лескова наряду с Тургеневым приспосабливают в Орле под продажные нужды. Распоясались до того, что лукаво умудрились опошлить дивное именование его замечательной христиански одухотворённой повести — выстроили гостиницу с рестораном «Очарованный странник».

На моей памяти было и ещё нечто жуткое. В 1990-е годы, о которых теперь повсеместно принято упоминать не иначе как «лихие девяностые», в Орле продавали вино кроваво-красного цвета с этикеткой «Леди Макбет Мценского уезда»… Подразумевалось, вероятно, что в бутылке намешана кровь жертв, убиенных мценской купчихой Катериной Измайловой… Так незаметно жертвами стали и потребители подобной окололитературной продукции.

В настоящее время бронзовые фигурки орловских писателей, запрятанные между уродливыми громадами сооружений торгово-развлекательного комплекса «ГРИНН», служат своеобразной приманкой для привлечения покупателей и клиентов.

Не так давно на месте развалившегося «Дома Лизы Калитиной», который многие годы был буквально брошен на разрушение, местные чинуши предложили выстроить очередное питейно-увеселительное заведение… Назовёте-то вы его как, «господа хорошие»? «Грибоедов»? Или, может быть, сразу без церемоний — «Тургенев»? А ваши холуи весом поменьше станут подавать в нём «*порционных судачков а натюрель*» и будут предлагать «*закусить водку грибочком*»? И ходить на шабаш туда станут «элита» и «богема» — безбожники и черти в человеческих шкурах, подобные приснопамятным председателю МАССОЛИТа Берлиозу и бездарному поэту Бездомному из сумасшедшего дома. Таких самовлюблённых горе-литераторов, которые проскакали мимо христианнейшей в мире великой русской литературы, в Орле хватает в избытке.

Опомнитесь, пока не поздно, несчастные! Может быть, Господь сжалится, ибо Он долготерпелив и многомилостив, ждёт искреннего покаяния грешников.

Но сейчас всё святое и чистое попрано, раздавлено, смешано с грязью. Метастазы рыночного торжища гипертрофированно разрослись и поразили насквозь государство и право, политику и экономику, науку, культуру и искусство, образование и здравоохранение — все без исключения сферы жизни, в том числе духовно-нравственную. Торгашество и продажность стали «нормой», устойчивым атрибутом, основной приметой нашего «*банковского*» (по лесковскому слову) периода.

Пресловутый всепроникающий «рынок» гротескно персонифицировался, превратился в некий идол, адское чудовище. Оно заглатывает и пожирает людей, перемалывает в своей ненасытной утробе всё здоровое и живое, а затем извергает вон и снова питается отработанными продуктами своей жизнедеятельности в этом нескончаемом круговороте «торгового дерьма в природе». Торговые центры, рынки, магазины, питейно-развлекательные заведения — с их непременным «*мочемордием*» (ещё один выразительный словообраз, употреблённый Лесковым) — множатся безостановочно. Быть «хозяином» — магазина ли, а лучше нескольких, развлекательно-питейного ли заведения или хотя бы захудалой лавчонки, но только чтобы наживаться и помыкать другими, — норма жизни, современная идея-фикс. Человек, наделённый Господом высшим даром свободной духовности, рассматривается в торгово-рыночных отношениях как «*кабальный холоп хозяина, лакей и помыкушка*».

Между тем отношение к «торгашам» в истинно русском народе исконно было негативным. Остатки такого народного отрицания духа торгашества редко, но пока ещё можно отыскать в русской деревне, в самой глубинке, где доживают свой век немногие старики. В одной такой деревушке, запрятанной вдалеке от дорог среди лесных заповедников, в настоящем «медвежьем углу», Вера Прохоровна Козичева — простая русская крестьянка, вдова лесничего, в юности связная партизанского отряда — категорически не захотела взять с меня денег за молоко. В ответ на мои резоны, что я уже покупала домашнее молоко у продавщицы деревенского магазина, Вера Прохоровна решительно ответила: «Я не торгашка! Ты меня с ней не равняй!»

Разбогатевшие в «*сфере плутней и обмана*» купцы-«пупцы» — «*прибыльщики и компанейщики*» (как именовал их Лесков) — на «*ярмарке тщеславия*» становятся «*самыми мелочными и ненасытными честолюбцами*», лезут во власть и в знать: «…*купец постоянно в знать лезет, он „мошной*

вперёд прёт“». И это вот безобразие выдаётся за «образец», к которому учат стремиться с младых лет и в нынешней школе, откуда сейчас изгоняется отечественная литература — столько ненависти у властей предержащих к честному одухотворённому слову русских писателей.

Снова отметим ещё один юбилей — 160 лет статье Лескова с гениально-ёмким названием «*Торговая кабала*» (1861). Возвышая голос в защиту детей от торгашеской заразы, в этой яркой публицистической работе писатель обращал внимание на «*ничем не оправдываемое жестокосердие иных хозяев в отношении к мальчикам и крайнее пренебрежение к их нуждам и цели, с которою они отданы в лавку родителями или вообще лицами, распоряжающимися младенческими годами детей, торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей*». Сегодня мы сплошь и рядом также встречаем таких детей — зачастую продрогших и озябших, «*торчащих перед лавками и магазинами с целию закликания покупателей*», раздающих рекламные листовки и проспекты, шныряющих по подъездам, электричкам, организациям, — в надежде продать какой-нибудь мелочной товар.

С тревогой и возмущением писал Лесков об антихристианских отношениях деспотического подавления со стороны одних и рабской закабалённости других. Тяжёлая экономическая и личная зависимость угнетённого человека, его подневольное положение оборачиваются рабством духовным, неизбежно ведут к невежеству, духовной и умственной неразвитости, развращённости, цинизму, деградации личности. В результате «*крепостного развращения*», отмечал писатель в другой статье — «*Русские общественные заметки*» (1870), люди становятся жертвами «*непроглядной умственной и нравственной темноты, где они бродят ощупью, с остатками добра, без всякой твёрдой заправы, без характера, без умения и даже без желания бороться с собой и с обстоятельствами*».

Лесков вместе с А. Н. Островским (1823–1886) (в нынешнем году 135 лет памяти великого русского драматурга) выступил обличителем «*тёмного царства*», изображая вечный конфликт добра и зла, воплощённый в современном мире буржуазно-юридических установлений. В лесковской пьесе «*Расточитель*» показан шестидесятилетний торговец Фирс Князев — «*вор, убийца, развратитель*», который пользуется своим положением «*первого человека в городе*» и безнаказанной продажностью судебной российской системы. Антипод Князева — добрый и деликатный Иван Молчанов — предстаёт в роли мученика, жертвы тиранического произвола властей. Молодой человек, обращаясь к «хозяевам жизни» — своим истязателям, обличает беззаконие: «*Вы расточители!.. Вы расточили и свою совесть, и у людей расточили всякую веру в правду, и вот за это расточительство вас все свои и все чужие люди честные — потомство, Бог, история осудят*». Хорошо было бы в современное капиталистическое время увидеть пьесу на сцене театров России. Например, в Туле не испугались властей предержащих, и с 2016 года спектакль «*Расточитель*» появился в репертуаре Тульского драматического театра, пользуясь заслуженным вниманием зрителей. А про гоголевского «*Ревизора*» в театрах сейчас, наверное, и не вспоминают. Неужели так силён страх постановщиков перед «*властью тьмы*»?

Статья Лескова «*Торговая кабала*» (1861) была написана чуть ли не накануне отмены крепостного права — Манифеста 19 февраля 1861 года — 160 лет назад. В современном обществе в юриспруденцию впору вводить эту якобы «хорошо забытую» новую отрасль права — крепостное право — наряду с гражданским, семейным, административным и прочим «правом». «*Сохранившийся остаток кабального холопства древнекабальных времён*» в модернизированном виде давно и прочно внедрён в нашу жизнь. Сограждане и сами не заметили, как стали крепостными холопами, влачащими «*жизнь взаймы*»: не можешь заплатить долги — не смей двинуться с места. Многие уже очутились и многие ещё окажутся в бессрочной долговой яме, были и будут запутаны в тенёта сетевой торговли и маркетинга, ловушки кредитов, ипотек, ЖКХ, ИНН, СНИЛС, УЭК, ЦИК, ОНФ, ТВ, СМИ, СБЕР и прочего. Число им — легион, имя им — тьма...

«*Ипотека на полвека*» — один из таких популярных «банковских продуктов» кабального свойства — выдаётся с лукавым видом неимоверного благодеяния. Ограбляемый должник, вынуждаемый ради крыши над головой покорно влезать в искусно расставленную долгосрочную западню, порой и сам не заметит, как эта крыша обернётся для него гробовой крышкой.

А вот и новейший пик торговой кабалы, её ужасающая кульминация апокалипсического свойства. Человек — «*венец творения*», созданный по образу и подобию Божию, — должен стать маркированным товаром, уподобиться бездушному предмету с его непременным штрих-кодом или бессловесному заклеймённому скоту, то есть принять электронный документ с чипом, клеймо, метку, штрих-код в виде сатанинского начертания числа 666 на лоб или руку: «*И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их*» (Откр. 13:16). Иначе — властное устрашение буквально по Апокалипсису: «*...никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его*» (Откр. 13:16—17). А без этого, уверяют нас сегодня, якобы остановится нормальная жизнь. Несогласные продать душу сатане

окажутся вне антихристианского электронно-крепостного закона, станут гонимыми изгоями, исторгнутыми из всеобщего торгового оборота.

Господь же — напротив — торговцев изгонял из храма, уподоблял их разбойникам: «*И, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих, говоря им: написано: дом Мой есть дом молитвы, а вы сделали его вертепом разбойников*» (Лк. 19:45—46).

Лесков пророчески утверждал: «*Не знаем мы, когда прорвётся этот отвратительный круговорот опошления русского торгового люда, а думаем, что нескоро*». Тему социальной и духовной закабалённости человека товарно-денежными отношениями писатель разрабатывал на протяжении всего творческого пути — от ранних статей: «*О продаже в Киеве Евангелия*» (1860), «*Торговая кабала*» (1861), — до самых последних работ: статьи «*Писательская кабала*» (1894), «прощальной повести» «*Заячий ремиз*» (1894).

Но даже на Орловщине — малой родине Лескова — память о нём также стирается, намеренно предаётся забвению. В родном городе писателя, ставшем местом действия множества лесковских книг, известных далеко за пределами России, немногие горожане могут назвать хотя бы несколько произведений (кроме разве что «*Левши*», известного благодаря хорошо снятому мультику) или имён их героев в композиции памятника Лескову, установленного в 1981 году, к 150-летию писателя, ровно сорок лет назад. Уникальный орловский Дом-музей Н. С. Лескова не был отреставрирован даже к своему 40-летию (июль 2014 года). Только после выступлений прессы местные чиновники от культуры спохватились и наобещали прикрыть этот позор, но не ранее чем к 2017 году. И, как всегда, не успели. Работы по реставрации здания потихоньку велись, однако не обходилось без ремонтно-отделочных выкрутасов и строительно-сметных казусов. В настоящее время горе-«ремонт» всё ещё продолжается… Единственный в мире Дом-музей Н. С. Лескова до сих пор закрыт…

Впору сказать, перефразируя Михаила Булгакова (1891–1940) (гениальному писателю — 130 лет): «*Пропал старинный русский город, как будто не существовал на свете*». Так и глубинная Россия — как «*Забытая деревня*» (1856) в хрестоматийном некрасовском стихотворении, которому исполнилось 165 лет, — забыта, заброшена на произвол судьбы.

На протяжении последних постперестроечных десятилетий планомерно проводится изуверская политика разрушения и уничтожения культуры, полноценного образования. Голоса по-настоящему обеспокоенных этой проблемой людей также остаются не доходящим до адресата, неуслышанным «*гласом вопиющего в пустыне*».

Такой участи лучше бы пожелать современным руководителям российского просвещения — затейникам ЕГЭ и ОГЭ, преднамеренно оглупляющим учеников, заранее поделившим на касты детей, с младенчества встраиваемых в государственную машину по закабалению и подавлению личности на всех социальных уровнях. Сегодня только толстосумы могут дать своим отпрыскам достойное образование, сто́ящее больших денег. Но дети бедняков и родителей из так называемого «среднего класса» вынуждены учиться «*чему-нибудь и как-нибудь*». В лучшем случае их ждёт удел обслуживающего персонала для сильных мира сего, в худшем — они становятся просто «рабочей силой» или «человеческим материалом», которым власть имущие могут распоряжаться по своему усмотрению.

Государственные образовательные учреждения с их педагогическими кадрами встроены в государственную систему, являются её частью, выполняют политизированный госзаказ. Безбожно урезаются «сверху» и без того скудные часы школьной программы, отведённые на изучение русского языка и литературы.

Варварское притеснение русской словесности в школе привело к катастрофической, тотальной безграмотности во всех областях деятельности, вплоть до высших властно-чиновничьих сфер. Это примета нашего времени, неоспоримый факт. Чудовищно то, что в России повальной неграмотности уже мало кто удивляется и почти никто её не стыдится.

Автор данных строк свидетельствует, что многие учащиеся выпускных классов орловских школ, гимназий и лицеев даже не знают, как пишется фамилия великого земляка, искажая её до неузнаваемости: «Тургенив» или даже «Тургеньив». Создаётся впечатление, что в орловских учебных заведениях, как и повсюду в России, из детей формируют каких-то инопланетян-пришельцев, без культурно-исторического наследия, без родства и родины, «*как будто и весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела*» (так сокрушался ещё Лесков).

Литературу поспешно «проходят» (в буквальном смысле: проходят мимо литературы) как занудную обязаловку. Русская классика в школе ещё не прочитана, её глубинный духовный смысл не доводится учителями до ума и сердца учеников, потому что зачастую не доходит и до самих бездарных, недоученных или бездуховных горе-педагогов. Русскую литературу преподают примитивно, поверхностно, обзорно, не требуя обязательного вдумчивого, размеренного прочтения произведений великих русских писателей, ограничиваясь приблизительными, азбучными пересказами. Так навсегда отбивается охота возвращаться к сокровищнице отечественной словесности в дальнейшем, перечитывать и постигать её на новых уровнях «*разумения о смысле жизни*». Преподавателям словесности требуется не просто

занимать свои рабочие места — здесь нужно особое служение, горение духовное. Когда *«душа требует, совесть обязует, тогда и сила большая будет»*,— так учил святитель Феофан Затворник, великий духовный писатель, земляк Тургенева и Лескова — также уроженец орловской земли.

Среди всех остальных учебных предметов единственно литература не столько школьный предмет, сколько формирование человеческой личности через воспитание души. Русская классика, подобно Новому Завету, всегда нова и актуальна, даёт возможность соединять времена. Однако страх чиновников от образования перед честным обличительным словом русских писателей столь силён и так сильна ненависть к отечественной литературе и её *«божественным глаголам»*, призванным *«жечь сердца людей»*, что до настоящего времени христиански одухотворённая отечественная словесность заведомо искажается, преподносится с атеистических позиций в подавляющем большинстве учебных заведений современной России. Так что они вполне подходят под определение, данное в одноимённой статье Лескова о школах, где не преподавался Закон Божий, *«Безбожные школы в России»* (1881), опубликованной ровно сто сорок лет назад. Безбожники формируют и безостановочным конвейером выпускают из школ безбожников, здесь — корень зла, отсюда проистекают многие беды.

В области общественных наук марксизм-ленинизм был отменён. Однако, начиная с советских времён и до сего дня, глобальная мировоззренческая тема о происхождении жизни и человека насильственно внедряется в несформировавшееся сознание и неокрепшие души учащихся в виде преподавания безбожной теории Дарвина в качестве единственно верной и научно аргументированной, хотя по сути это даже не теория, а недоказанная гипотеза.

Дарвинизм проповедует естественный отбор, борьбу за выживание, эволюцию видов. Применительно к общественным отношениям, к ведению делового оборота данные установки приводят к чрезвычайно негативным последствиям. Так, естественный отбор предполагает безжалостно-жестокое отношение к слабым, вплоть до их уничтожения. Удивительно ли, что псевдотеория и практика *«зверочеловечества»* формирует из людей существ, живущих по звериным законам: *«Выживает сильнейший»*, *«Глотай других, пока тебя не проглотили»* и тому подобным,— что неизбежно ведёт к девальвации морально-нравственных ценностей, к попранию высшего, Божеского начала в человеке, к гибели души как таковой, в итоге — к разрушению человеческого общества, которое на этом пути может дойти до людоедства, самоуничтожения?

Русская классика — воспитательница ума, души и сердца — изгоняется из вузов и школ, нацеленных на формирование усреднённого *«продукта»* — биороботов, узких специалистов-прагматиков, выставляемых как товар на рынок труда. Невнимание к духовной природе человека, отказ от Бога, отрыв от русской почвы подводят к тому, чтобы воспитанники безбожных школ в России обращались в мошенников и авантюристов, преступников и злодеев, живущих по звериным законам борьбы за существование. О подобных закоренелых грешниках апостол Павел свидетельствовал, что *«они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы»* (Рим. 1:29–31).

Святой праведный Иоанн Кронштадтский утверждал, что *«без Христа суетно всё образование»*. Кому и для чего выгодно вылепливать в *«безбожных школах»* духовно неразвитых самолюбивых безбожников, подменяя Христа ложными идеалами и кумирами? Христос же, согласно утверждению Фёдора Михайловича Достоевского (1821–1881),— *«вековечный, от века идеал, к которому стремится и по закону природы должен стремиться человек»*. Достоевскому, великому русскому классику-пророку, осенью нынешнего года, богатого на юбилеи, исполнилось бы 200 лет; в феврале — 140 лет памяти писателя.

У лесковского романа *«На ножах»* (1871) в этом году также юбилейная круглая дата. Несмотря на сто пятьдесят лет, истекшие со времени создания этого произведения, оно нисколько не утратило своей социально-нравственной значимости и по-прежнему звучит потрясающе современно. Писатель выявил здесь самые разнообразные типы продажных, беспринципных дельцов зловещей капиталистической эпохи — «деятелей на все руки» сатанинской закваски: *«Вот один уже заметное лицо на государственной службе; другой — капиталист; третий — известный благотворитель, живущий припеваючи за счёт филантропических обществ; четвёртый — спирит <...>; пятый — концессионер, наживающийся на казённый счёт; шестой — адвокат <...>; седьмой литераторствует и одною рукою пишет панегирики власти, а другою — порицает её»*. Сущность их «направления» выразительно обобщает говорящая фамилия некоего «медицинского студента», занимающегося педагогической практикой,— Чёртов:

«— Гм! Фамилия недурна!
— Да, и с направлением».

Это «направление», как смертельная зараза, распространяется бесами — губителями душ. Так, «медицинский студент Чёртов», ради заработка готовя ребятишек к поступлению в приходское училище, внедряет в детские головы и сердца

безбожие, атеистическое презрение к Священному Писанию.

Весьма характерна зарисовка экзамена: «*— Читать умеешь? — вопросил Савоську лопоухий педагог.*
— Ну-ка-ся, — отвечал с презрением бойкий малец.
— И писать обучен?
— Эвося! — ещё смелее ответил Савоська.
— А Закон Божий знаешь? — встрел поп.
— Да коего лиха там знать-то! — гордо, презрительно, гневно, закинув вверх голову, рыкнул мальчуган, в воображении которого в это время мелькнуло насмешливое, иронически-честно-злобное лицо приготовлявшего его студента Чёртова».

Этот ответ и ремарка к нему не могут не вызвать евангельского восклицания: «*Отойди от меня, сатана!*»

Как легко и соблазнительно зло может рядиться в одежду добра. Распознавать такую маскировку учил святой старец Силуан Афонский (1866–1938) (в нынешнем году старцу Силуану — 155 лет): «*Всякое зло <…> паразитарно живёт на теле добра, ему необходимо найти себе оправдание, предстать облечённым в одежду добра, и нередко высшего добра*», потому что «*зло всегда действует обманом, прикрываясь добром*». Но, как пояснял старец, различение добра и зла необходимо и возможно, поскольку «*добро для своего осуществления не нуждается в содействии зла, и потому там, где появляются недобрые средства (лукавство, ложь, насилие и подобное), там начинается область, чуждая духу Христову*».

В романе «*На ножах*» Лесков разоблачил также один из распространённых способов многовековой массовой мимикрии противников Христа, подобных еврею Тихону Кишенскому, экс-нигилисту, жадному и хитрому ростовщику, мошеннику, продажному журналисту, вероломному интригану, шпиону, «полицианту», подлецу и предателю — словом, «*деятелю на все руки*». Таким, как он, «*нужен столбовой дворянин*», в том числе и для того, чтобы под прикрытием русских, особенно знатных, фамилий пробираться на руководящие должности, занимать ключевые посты в государственных, коммерческих, религиозных, общественных учреждениях России с целью кабалить, разлагать и уничтожать коренное население страны, глумясь над его христианскими идеалами и православной верой; маскируясь русскими именованиями и вывесками; снаружи рядясь в овечьи шкуры, будучи изнутри волками; фарисейски прикрываясь благими целями доброделания, безбожно обогащаться, получать свои барыши, выгоды, прибыли и сверхприбыли, служить не Богу, а мамоне.

О чужеродном кабальном иге, опутавшем Россию, настоятельно предупреждали Святые Отцы — христианские подвижники. «*Видимыми бесами*» назвал иудеев в пятом веке святитель Кирилл, патриарх Александрийский; «*самые души иудеев есть жилища демонов*», — утверждал святитель Иоанн Златоуст.

В Евангелии от Иоанна повествуется, как Господь Иисус Христос обличал сатанизм иудеев: «*Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего*» (Ин. 8:44); «*Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога*» (Ин. 8:47). От общения с подобными безбожниками предостерегал апостол Павел: «*Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?*» (2Кор. 6:14)

В этой связи наиболее актуально звучат слова Лескова, который устами своего героя-правдолюбца Василия Богословского в повести «*Овцебык*» (1862) обращался к тем так называемым «благодетелям» народа, у которых слово расходится с делом: «*А вижу я, что подло все занимаются этим делом. Всё на язычничестве выезжают, а на дело — никого. Нет, ты дело делай, а не бреши. <…> …эх, язычники! фарисеи проклятые! <…> Таким разве поверят! <…> Душу свою клади, да так, чтоб видели, какая у тебя душа, а не побрехеньками забавляй*».

Золотой фонд русской литературы востребован за рубежом, а в России упрятан на задворки. В то же время не один десяток лет с попустительства и дозволения правящего режима во всех регионах людей массово одурманивают, зомбируют, оглупляют душепагубной информацией, потоки которой извергаются словесными нечистотами из огромного количества продажных и подконтрольных СМИ, жёлтой прессы, бульварного массового чтива, «зомбоящика» и тому подобного.

Былой атеизм коммунистов ныне сменился сатанизмом сословно-олигархического капитализма, который разделяет людей на страты, прикрываясь фальшивым лозунгом о единстве и легендой о демократии. Политика «прозрачности» на деле обернулась «*тайной беззакония*». На страждущую Россию накинута плотная завеса, под которой задыхается всё честное и свободное. Лукавство и ложь продажных, коррумпированных, бездарных чиновников возводятся в ранг обязательных правил поведения с народом, а подчас принимают формы нормативных правовых актов, которые наскоро стряпают фарисействующие «*законники разноглагольного закона*» (по точному выражению Лескова), вместо того чтобы свято исполнять законы Христа, «*который дал нам глаголы вечной жизни*». Господь в праведном гневе обличает и предостерегает угнетателей народа, не обременяющих самих себя теми путами и ограничениями, которые эти горе-законники накладывают на других: «*Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы — как*

гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того. <…> …и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них» (Лк. 11:42–46).

Известный итальянский адвокат-юрист и учёный-славист Пьеро Каццола (1921–2015), знаток русской культуры, переводчик творчества Лескова и других русских писателей (в октябре этого года профессору исполнилось бы 100 лет), проводил аналогию между сицилийской и российской мафией, этим чудовищным спрутом в переплетении его гигантских смертоносных щупалец—финансовых, чиновно-коррумпированных, коммерческих, криминальных.

Как ни парадоксально, но русской классической литературе сегодня как никогда требуются защитники, «адвокаты», чтобы отстаивать само её право на существование в современной России, где нивелируется и вытравливается всё русское, безбожно попираются традиционные духовно-нравственные ценности, *Божие* вытесняется *кесаревым*. Самое главное в русской литературе—Христос, христианская вера, одухотворённая русским православным подвижничеством. Художественной правды не может быть без правды Божьей.

Неслучайно святой апостол призывал: *«…не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире»* (1Ин. 4:1). Русские писатели-классики были истинными пророками. Но, видимо, настолько безмерно щедра наша земля на таланты первой величины, что вошло в привычку не замечать и не ценить их. В одной из своих статей о Тургеневе Лесков с болью признавал библейскую истину о судьбе пророков: *«В России писатель с мировым именем должен разделить долю пророка, которому нет чести в отечестве своём»*.

Тургеневу, как и его выдающимся современникам—великим русским писателям, в его эпоху тяжело было выносить гримасы *«суетливого и суетного»* капиталистического времени—*«банковского периода»*. До такой степени, что в год своего 60-летия писатель объявил о намерении оставить литературную деятельность, *«положить перо»* и никогда более за него не браться. К счастью, этого своего намерения писатель не исполнил.

Как говорил Лесков, прибегая к евангельской образности, *«литература у нас есть соль»*, и нельзя допустить, чтобы она *«рассолилась»*, иначе *«чем сделаешь её солёною?»* (Мф. 5:13)

«Не можете служить Богу и мамоне» (Лк. 16:13),—говорит Христос. Тургенев, Лесков, Достоевский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, как и вся русская классическая литература, неустанно разоблачали псевдоблагодетелей народа. *«Чёртовы куклы»*—так именовал чиновников-марионеток Лесков. О напускной значительности высокопоставленных чиновных персон—важных с виду, а по сути никчёмных, непригодных к живому делу, к самоотверженному служению Отечеству (уместно вспомнить поэтические строки *«Колыбельной песни»* (1845) Некрасова: *«Будешь ты чиновник с виду / И подлец душой»*),—Тургенев высказался в романе *«Новь»* (1876) (роману в этом году—145 лет): *«У нас на Руси важные штатские хрипят, важные военные гнусят в нос; и только самые высокие сановники и хрипят и гнусят в одно и то же время»*. Лесков подхватил и продолжил столь выразительную характеристику «крупносановных» людей, по долгу службы призванных заботиться о благе страны, а на деле составляющих «несчастье России»: в тургеневском *«последнем романе: это или денежные глупцы, или проходимцы, которые, добившись генеральства на военной службе, „хрипят“, а по штатской—„гундосят“. Это люди, с которыми никому ни до чего нельзя договориться, ибо они не хотят и не умеют говорить, а хотят или „хрипеть“, или „гундосить“. В этом скука и несчастье России»*. Поистине универсальный портрет *«крапивного семени»*, ненавистного русскому народу,—неистребимой чиновной бюрократии. Писатель обнажает её низменные зоологические черты: *«Надо начать по-человечески думать и по-человечески говорить, а не хрюкать на два давно всем надоевшие и раздражающие тона»*.

Созвездие литературных юбилеев, приходящихся на 2021 год, скорее всего, останется малозамеченным, второстепенным или вовсе ненужным. Немеркнущий свет русской классики, уходящей корнями в христианство, в Святое Евангелие, принадлежит горизонту вечности. Но в сиюминутном бытии для большинства людей, намеренно погружённых в кабальный круговорот нескончаемых забот об элементарном выживании, о хлебе насущном, не востребован *хлеб духовный*, о котором благовествовал Христос: *«Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий»* (Ин. 6:27); *«Я есмь хлеб жизни»* (Ин. 6:35); *«Я хлеб живый, сшедший с Небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек»* (Ин. 6:51).

Итак, уповать остаётся только на Бога. Вот почему святой апостол Павел призывает: *«…братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных»* (Еф. 6:10–12). Как замечал раннехристианский духовный писатель Тертуллиан, бессмертная *«душа человеческая—по природе христианка»*. И она выстоит, победит, несмотря на явный разгул бесовщины в нынешней закабалённой России.

к 70-летию

Сергей Аринчин

Взойдёт звезда моя, взойдёт

Воскрешенье

Пока я способен любить и страдать,
Пока я бледнею от боли,
Пока моё сердце готово летать—
Я жизнью своею доволен.

А было:
Отчаянья серый халат
И жизнь как излишняя роскошь.
Решившись свести,
Видя в этом талант,
Свой счёт с незатейливым прошлым,
Я мнил малодушием злу навредить,
Но дряни постылое рыло
Оскалившись нагло: «Попробуй избыть»,—
Вновь к жизни меня воскресило.
Я выжил,
Я вижу: на трусость покров—
Слюнтявая дань всепрощенью.
Взошла потаённо, под коркою слов,
Мечта
Без надежд к воплощенью.
Постигни со мною мечты правоту—
Мы жизнь свою делаем сами,
И если цветы сквозь меня прорастут—
Пусть мир будет полон цветами!

● ● ●

Давай, пока растворено
Вино в крови и взгляд твой мягок,
Забудь, что вновь на землю лягут
Снега, сошедшие весной.

Вглядись, пока ещё слеза—
Не боли знак, а просветленья,
Как, опускаясь на колени,
Целуют в храме образá.

Войди туда, пока душа
Перед Христом не суетлива,
Встань в ожиданье, молчаливо
Доверив Господу решать.

Пред Ним и кровью, и душой
Творя привычную молитву,
Найди среди желаний скрытых
Слова: «О Господи, я Твой».

● ● ●

Освободи мою любовь, освободи
От безрассудства и напрасных обещаний.
Ведь не могу я вынуть сердце из груди
И посвятить тебе отчаянье скитаний.

Не обвиняй мою любовь, не обвиняй
За молчаливость и за сдержанность признаний.
Ведь раньше слов любых она нашла меня,
И не от скупости она хранит молчанье.

Так испытай её, всей жизнью испытай!
И там, где след мой оборвётся за чертою,
Не прокричит тебе любовь моя: «Прощай!»—
И навсегда останется с тобою.

● ● ●

Мы слушаем дыхание океана
На берегу, подёрнутом туманом.
Так миллионы вопрошают манны,
Так миллионы шепчут: «О, осанна!»

Ты—мира животворная граница,
Здесь сходятся земля, вода и воздух,
Здесь узнают друг друга звери, рыбы, птицы,
Здесь отражённо вспыхивают звёзды.

Какой простор, какие дни и ночи
На берегах пустынного залива!
Из века в век здесь волны камни точат,
А океан вздыхает молчаливо.

И пусть мой край речной, таёжный, горный
В моей душе хранится непрестанно,
Меня зовёт дыханье океана,
И души звёзд, и бездна ночи чёрной.

Ты—соль земли, ты—первенец Творения!
Густела магма, превращалась в скалы,
И Дух Святой открыл твои течения,
Паря по водам, и заря настала.

Ты—великан, родивший великанов,
Тех трёх китов, что вечно держат сушу.
Я слушаю дыханье океана
И даже словом вечность не нарушу.

● ● ●

Меня томит, морозит и ломает,
И ничего душа не принимает,
И никого к себе не подпускает,
Приметы ждёт, приметы верной ждёт:
Когда пройдёт в четверг желанный дождик,
Когда плеснёт вода в ведре порожнем
И станет утро вечера дороже —
Тогда взойдёт звезда моя, взойдёт.

И я начну влюбляться безоглядно,
Калечить жизнь, так будь она неладна,
И, осмелев, я с торжеством парадным
Людских судеб причины объясню.
Отвергну всех — и правых, и неправых,
Создам свой мир в причудах и забавах,
Остановлюсь за полшага от славы,
И сам себе, смеясь, я изменю.

Памяти В. П. Астафьева

Мою школу сломали,
Дом родной подожгли,
И под сойкой едва ли
Нам найдётся земли.

А ведь было всё просто —
Сад и рядышком дом,
А теперь всё погостье
Да унынье о том.

Только сын, как спасенье,
Внука нам подарил —
Это есть воскресенье
И возврат наших сил.

Дай нам Бог, как и прежде,
Принимать всё любя,
Жить Христом и надеждой,
О былом не скорбя.

Мою школу сломали,
Дом родной подожгли,
Но родными мне стали
Люди милой земли.

О Сибирь, край таёжный,
Горный, дикий, речной,
Жив мой город острожный
На яру над рекой.

И над миром и весью,
Храм на Красном яру,
Я с тобою воскресну,
Если здесь я умру.

● ● ●

Не луч, но лучше и светлей,
И не заря, и не жар-птица
Цветёт меж грозовых полей,
Меж туч ночных цветёт зарница.

Вот так в глухом теченье сна,
В теченье дня глухом, убогом
Бывает вдруг озарена
Душа прикосновеньем Бога.

И долго памятью живёт
И ожиданьем встречи новой,
Иной красы, иных высот,
Что осветятся Божьим словом.

Тогда, напраслину кляня,
Вернусь из тяготы сомненья.
Зарница Божья, на меня
Сойди, верни мне слух и зренье!

● ● ●

У кого-то из окна
Площадь Красная видна,
У кого-то синий бор,
А у меня в окне — забор.

Сгнивших досок длинный строй
С обязательной дырой.
Через эту вот дыру
Понесут, когда помру.

Всё здесь просто, как в кино:
Подошёл, взглянул в окно,
Сразу видишь, кто ты есть —
По достоинствам и честь.

● ● ●

Вот она, моя вотчина,
Кухня тихая, полуночная.

Этой кухне рад
Был бы сам Сократ,
Он сказал бы мне:
«Пофартило, брат.

Знай сиди себе,
Знай пиши себе,
Папиросочку прилепив к губе».

Мне б сказал Сократ:
«Счастлив ты стократ.
Хорошо живёшь,
Далеко пойдёшь!»

В Приморске

На пристани в Приморске ворчливый служит дед,
Несчастным пассажирам от деда спасу нет.
Допрашивает строго: «Откуда и куда?
Ох, эти мне туристы, от них одна беда,
Сплошное беспокойство и грязи целый пуд.
Того гляди с причалом возьмут и уплывут».
Но как-то раз под осень, когда погода бьёт,
Не подошёл к причалу вечерний пароход.
Все разошлись в посёлок, а мы с дружком вдвоём
У рюкзаков тяжёлых сидим и хлеб жуём.
Куда теперь податься?
Где ночку коротать?
А сторож на причале крестил нас в Бога мать:
«Ох, эти мне туристы,
От вас одна беда,
Расселись тут бродяги: порты да борода.
Давайте собирайтесь, я буду закрывать…
Ко мне пойдёте на ночь—
Не здесь же ночевать».

Обет

Я напишу вам белыми стихами,
Как ярок свет нам не доступных звёзд,
Как с губ слетает лёгкое дыханье
И в воскрешенье верится всерьёз.
Я напишу вам,
Только, ради Бога,
Не унижайте слова моего
И не судите холодно и строго,
Оно как взгляд—
и всё, и ничего.
Об островах, морях и океанах
И о тюрьме, суме или войне
Я не сумею спеть и петь не стану,
И я пишу о том, как больно мне,
Когда пусты глаза в меня глядящих,
Когда вокруг бесчестья торжество,
Когда нет слов простых и настоящих,
А те, что есть, не стоят ничего.

По Енисею снова тянет хиус…
Я напишу, какой он—Енисей,
Про эту ширь,
покой извечный,
силу.
Я напишу о родине своей.
Я напишу всем тем, кому я нужен,
О тех краях, которые люблю.
Я безоружен в слове, безоружен
И этой песней в жизнь благословлю.

● ● ●

Высветилось в мареве морозном
Над равниной радужным столбом,
И летит, как утирает слёзы,
Голубица в небе голубом;

Новый день—
Весёлая забота,
Силы просыпаются во мне,
Что-то мне охота,
ох,
охота
Прогуляться по родной стране,
Побродить по городам и весям,
Посмотреть на землю, на людей,
Что-то с каждым днём мне интересней:
Что ж зовётся Родиной моей?

О Россия,
Вещая дорога,
Ты к простору душу обрати,
Обрати глаза навстречу Богу
В час причастья к долгому пути.

Ожидание

Назначен срок,
Но не сбылось.
Другой назначен—не свершилось…
И нетерпенье улеглось,
Усмешкой горькою сменилось.

Часы стучат: пора, пора…
Куда пора—
Не всё равно ли?
Туда, где будет больше воли,
Любви, и света, и добра.
Туда, где лес, где сад, где кров,
Где ждут меня и будут рады
И где загадывал любовь
В счастливый вечер звездопада.

Часы стучат: живи, живи,
Покуда шестерни не стёрты,
Но лишь в краю моей любви
Коснусь воды живой и мёртвой.
Но лишь в краю любви моей
Настанет время осмысленья
И сможет перейти презренье
В желанье—полюбить людей.

Николай Рябеченков

Крик в пустоту

● ● ●

А я тебе всё золото земли
не обещаю… Что-нибудь попроще.
И звёзды с неба не сниму… Возьми
всё золото берёз осенней рощи!

Сегодня я богат. Здесь всё моё.
Живи в моём невыдуманном мире:
шалаш в лесу, ручей внизу, ружьё,
костёр высокий посреди Сибири!

Я сам сюда вернулся—блудный сын!
А сколько лет в разлуке? Семь? Иль восемь?
Под эту синь, под эту сень осин,
под эту ослепительную осень

пришёл от разных дел и новостей,
чтоб помолчать светло и покаянно
и где-то на семнадцатой версте
упасть лицом в траву лесной поляны.

Я здесь, в лесу, где дальние кусты
рябины—словно маленькие взрывы,
учусь искусству разжигать костры,
учусь гасить случайные порывы.

Я жгу в костре ненужные слова,
хоть нет от них мне ни тепла, ни света!
И слушаю, как ухает сова,
скрипит сосна неподалёку где-то.

Она не умолкает ни на миг.
И ощущаю я биенье пульса
моих берёз, моих осин, моих
цветов и трав, к которым я вернулся.

● ● ●

Не нажил ничего. Хоть много прожил.
И вот теперь—прощайте! Уезжаю…
Простите все, кому остался должен.
Я вас прощаю!
Вы оставайтесь. Я не помешаю.
Ни слёз из-за меня, ни радости со мной
уже не будет. Я ль тому виной?
Я вас прощаю…

Перед причалом твоим

Уезжая за тысячу вёрст,
Вдруг увидишь на телеэкране
Красноярскую ГЭС, Дивногорск…
И—обратно в свой город потянет.
Тропы в листьях опавших берёз
И дома, что со скалами вровень.
Улыбается наш Дивногорск,
Хмурит сосен мохнатые брови.
Как привычный родной человек:
Вот он—хмурится, вот он—смеётся.
Он такой—от рожденья—навек.
Мы—уходим.
А он—остаётся.

● ● ●

Если комната—словно склеп,
А на улице рвутся мины,—
Для чего мне насущный хлеб?!
Говорится ж: не хлебом единым…
Я как в противотанковом рву—
Здесь, на улице. Но—свободен!
Может, тоже я танк взорву
Или что-нибудь в этом роде…
Вы меня не учите жить.
Вы мою испытайте смелость!
Лезет вновь на мои рубежи
В лоб, в атаку отборная серость!
Рукава до локтей—в закат.
Автоматы—наизготовку.
Через миг я брошусь назад
И отброшу свою винтовку.
Но пока этот миг впереди.
Я стреляю. От пороха горечь.
Кто там следующий? Подходи!
Есть патроны на всякую сволочь!
Отползли… залегли за версту.
Сто прицелов меня караулят!
Ну а если невмоготу—
Есть в запасе
Последняя пуля.

● ● ●

Если ж в праздник надоест мне дома
Сохранять молчания печать—
Стану в праздник возле гастронома,
Буду оглушительно молчать!
Помолчу прохожим и пижонам,
Равным абсолютному нулю,
Что, мол, зрею, зрею убеждённо,
Вот созрею—вот уж прогремлю!
Я живу почти что так, как каждый.
Всё взрослею, стало быть, расту.
Кажется мне, что и я однажды
На своём ответственном посту
Промолчу, когда кричать охота…
Не беда, другие прокричат!
Это, братцы, сложная работа—
Вовремя и к слову промолчать…

● ● ●

Чего мы ищем, убегая?
Какой нас хлещет в спины бич?
Какого призрачного рая
мы все стараемся достичь?
Пора смирить свою натуру.
Не то, споткнувшись как-нибудь,
накроет сдуру амбразуру
твоя единственная грудь.
Решать проклятые вопросы?
О стенку биться головой?
Уж лучше Александр Матросов
вернулся с фронта бы живой!
Увы! Снарядов было мало.
А дот всё бил и бил под дых!
А дураков всегда хватало—
нас, безымянных, рядовых.

● ● ●

Я—один. Замерзающий инок.
На сто вёрст—ни единой души.
Паутиною белых снежинок
кто-то сумрачный вечер прошил.
Я живу в ожидании встречи:
где вниманьем её почтить?
Тяжким грузом ложатся на плечи
все несбывшиеся мечты.
Я брожу по пустому небу.
Я—отверженный в звёздном краю.
Словно странник, просящий хлеба,
я у окон твоих стою.
Тишина… Ни огня, ни звука,
ни улыбки, ни взгляда нет.
Ночь—постылая старая сука—
приласкалась в тиши ко мне.
Вот и стой под окном и тоскуй.
Тишину, застывая, слушай.
И корявый ночной поцелуй
навсегда запечатал душу.
Всё мне чудится странный сон,
от него я в ночи просыпаюсь:
я—могильщик своих похорон,
горсть земли на свой гроб бросаю.
А потом над холодным холмом,
снег накинув, как плащ, на плечи,
чуть ворочая языком,
говорю я прощальные речи.
Мол, погиб он в расцвете сил.
Был он молод, и бодр, и весел.
Был изгоем. Поэтом был.
И ушёл, не допев своих песен.
И теперь ничего не надо—
ни забот, ни кошмарных снов!
Мать-земля! Из твоих сынов
он один из достойнейших
Ада…

● ● ●

Всё просто. Всё обыкновенно.
Жизнь бьёт не только кулаком.
Жизнь бьёт мелодией Шопена…
Бьёт, не жалея ни о ком!
Всё просто. Всё обыкновенно.
Мораль любого подлеца
внеклассова и вневремéнна.
Ей нет начала. Нет конца.
Меня воспитывали много.
Учили жить. Учили пить
и не пьянеть. В карман за словом
не лезть. Обманывать. Любить.
Любить не так, чтоб в злую полночь
срываться: «Без неё не жить!»
А просто—знать. А просто—помнить.
И забывать. И вновь любить.
Учили подличать. Сгибаться
перед началом всех начал.
В лицо учили улыбаться
вышестоящим сволочам.
Я с детства был способен очень.
Но в жизни встанет в горле ком,
и до конца прожить захочешь
бездарнейшим учеником!
Всё почему-то не доходит:
простые истины, и те
в своей нагольной простоте
для сердца—сложных формул вроде.
Живой—и вроде неживой.
Свободен вроде, а стреножен.
По пустякам из кожи вон
готовый выскочить. И всё же
живущий в ней. Дрожащий в ней
с постылой маскою кретина…
То ль бессловесная скотина,
то ль просто тень среди теней…

● ● ●

Наверно, потому, что не могу
забыть всё то, что до́лжно бы забыться,
мне нравятся задумчивые лица,
что всё пережитое берегут.
Наверно, потому, что не могу
всё то, что помню, передать словами,
я молчалив, неразговорчив с вами.
Простите мне задумчивость мою!

● ● ●

Легко писать,
Позванивать строкой,
Лишь «о себе, любимом» беспокоясь?
…Несовершенство совести людской
По вечерам мою тревожит совесть.
Из-за стола встаю. Курю. Мечусь!
А за окном темно. Тревожно. Пусто.
Несовершенство человечьих чувств
Моё, земное, сковывает чувство.
Вдоль тротуара, там, где фонари,
Горланит песню труженик советский!
А мне не то что петь—поговорить,
Сказать по чести, откровенно, не с кем.
А тут—стихи… придёт же дурню блажь!
Бумагу—смять!
С ней разговор короткий.
Я вдребезги ломаю карандаш
И отправляюсь в магазин.
За водкой.

Художникам Старого Скита

Бродяги, смертники, изгои…
Весь мир нам кажется чужим.
Живём, не дорожим собою
и перед смертью не дрожим.
Нам в этой жизни невозможной
всего страшнее суета.
И вот звучат тоской острожной
все песни Старого Скита.
Теряем кисть из рук умелых.
Теряем смысл. Теряем цель.
Летит вдоль стен заиндевелых
горизонтальная метель.
Банальна жизнь. И смерть банальна.
Тоска банальна. И беда.
И мы почти горизонтально
летим, не ведая куда!
Летим, летим над милым краем,
где нам открыты все пути.
Вот так над жизнью пролетаем.
Так над судьбою пролетим…

● ● ●

На каждый мной прожитый день моей жизни
Приходятся сотни и тысячи лет,
Прошедших и будущих жизней Отчизны,
Ушедших, грядущих людей на Земле.
Но каждый ушедший мой, прожитый мною
От первого солнечного луча
До первой звезды над вечерней горою,—
Лишь мой! И лишь мне за него отвечать!
И я отвечаю, кричу, надрываюсь,
Но голос мой глохнет у самого рта,
Как будто с крутого обрыва срываюсь,
Лечу и лечу.
И внизу—пустота…

● ● ●

Завидую художникам и грузчикам!
Завидую завидной силе их!
Вот почему мне кажется игрушечным
Мой самый лучший, мой последний стих…
Цель творчества—не слава, не забава,
Такое состояние души.
Почувствуешь в себе такое право—
Бери перо иль кисть, садись пиши!
Что зря судить? Попробуйте, проверьте:
Вот вам—перо, вот—кисти! С Богом! В бой!
Попробуйте-ка сами на мольберте
Изобразить хотя бы… дом с трубой.
Попробуйте, взвалите-ка на плечи
Такую ношу! Ежедневный суд…
Когда, бывает, и дышать-то нечем,
Они идут. Они свой груз несут!
…Не мне судить о творческой манере.
Я знаю: вдохновенье—это Труд.
…Всем хочется, чтоб люди поумнели.
Художники для этого живут.

● ● ●

Никто нам ни в чём не поможет,
Живём в этой смуте пока.
Лишь вскрикнешь: «О Господи Боже!»
Судьба, как и встарь, нелегка…
И шепчешь кому-то: «Послушай!
Возьми—за четыре гроша».
Да кто позари́тся на душу?
Кому оно надо—душа?

Юрий Ромашков

Брачные обыски города Енисейска на примере свода документов Успенской церкви за 1852–1870 годы

Брачные обыски как пласт письменных источников, характеризующих и иллюстрирующих частную жизнь жителей Енисейска девятнадцатого столетия, справедливо вызывают большой интерес у краеведа. Документы подшиты в книгу, озаглавленную следующим образом: «Книга, данная из Енисейского Духовного правления Енисейской Успенской церкви священнослужителями для записи брачных обысков». Сам по себе брачный обыск представляет собой, по словам исследователей Н. А. Пакшиной и Л. П. Колесова, «письменный акт, содержащий определённые сведенья о людях, собирающихся венчаться в церкви, и устанавливающий отсутствие препятствий к совершению их брака»[1]. Сама процедура восходит к Собору 1666–1667 годов, однако единая форма брачного обыска, имеющая хождение по всей Российской империи, была сформирована только в 1837 году. Важно отметить, что ценность документов заключается в их довольно развёрнутом изложении сведений о тех или иных лицах, проходивших и совершавших обряд венчания. И здесь мы наблюдаем следующий пример: *«1852 г. апреля 21-го дня по Указу Его Императорского Величества, Томской епархии* (в этот период времени енисейские храмы были приписаны к Томской епархии.—*Прим. авт.*), *Градо-Енисейской Успенской церкви священнослужители произвели обыск, и оказалось следующее: 1) жених—енисейский мещанин Александр Патракиев, жительствует в городе Енисейске, в приходе сей церкви, исповедания православного; 2) невеста—енисейского III-й гильдии купца Василия Семёновича Ёлтышева дочь, девица Александра, исповедания православного. Возраст к супружеству имеют совершенный, а именно: жених двадцати лет, невеста девятнадцати лет. Оба находятся в здравом уме. Жених—холост, невеста—девица»*[2].

Приведённый отрывок хорошо демонстрирует нам, что сведенья о венчающихся записывались ёмко, выдерживалась заданная форма записи необходимых данных. Вообще, на протяжении своего существования брачные обыски претерпевали эволюцию. Например, согласно указу Синода

Улица Рабоче-Крестьянская, 1970-е гг.

от 14 июля 1765 года, их существование было больше ориентировано на пресечение оформления незаконных браков, и приказывалось будущим супругам объявлять о своём намерении за неделю до обряда. Как пишет исследователь А. В. Спичак, «данное распоряжение признало обыски законным доказательством брака»[3]. Начиная с 17 мая 1802 года, Синод приказал выдавать из консисторий и духовных правлений прошнурованные книги для более качественного хранения актов, особо не ограничивая их во временны́х рамках. Во многом именно поэтому рассматриваемый нами документ Успенской церкви включает в себя такой большой временной отрезок.

Кроме общих сведений, источник проливает свет на многие аспекты частной жизни города

1. *Пакшина Н. А. Колесов Л. П.* // Брачные обыски в дореволюционной России. Приволжский научный вестник. 2015.
2. ГАКК. Книга, данная из Енисейского Духовного правления Енисейской Успенской церкви священнослужителями для записи брачных обысков 1852–1870 гг. Ф. 819. Оп. 1. Д. 400. Л. 3.
3. *Спичак А. В.* // Эволюция формуляра брачного обыска в приходских церквях Тобольской епархии в XVIII — нач. XX вв. Вестник Нижневартовского государственного университета. 2016.

Вид на Успенскую церковь с открытки 1906 г.

Енисейска. В частности, следует отметить наличие так называемых «неравных браков», коих в книге можно насчитать не менее десяти. В качестве примера это выглядит так: *«1852 г. ноября 2-го дня. Жених—отставной солдат Матвей Андреевич Петров, жительствует в городе Енисейске, в приходе сей церкви, исповедания православного. Невеста—крестьянская дочь девица Евдокия Сергеевна Осипова, исповедания православного. Возраст к супружеству имеют совершенный. Жених—сорока двух лет, а невеста—семнадцати лет»*[4]. Здесь же уместно сказать, что в формуляре обыска существовал один любопытный пункт, звучавший так: *«К бракосочетанию приступают они по своему взаимному согласию и желанию, а не по принуждению»*[5]. В небольшом уездном городе с сильными патриархальными началами, данный пункт—скорее дань формальности. Енисейск дореформенного времени силён как раз своим традиционализмом, пронизывающим все его сословные категории. В любом сословии редко учитывали мнение молодых, чаще всего подбирая пару в рамках «удачной партии».

Отдельно можно отметить институт поручительства, который играл важную роль в процессе создания брачного союза. Представители венчающихся с обеих сторон были обязаны засвидетельствовать в конце формуляра своё присутствие с указанием имени, места проживания и сословной категории: *«1853 г. ноября 9-го дня. Жених—енисейский мещанский сын Александр Васильевич Калашников, жительствует в городе Енисейске, в приходе Успенской церкви, вероисповедания православного. Невеста—енисейская мещанская дочь Татьяна Ивановна Кобычева, вероисповедания православного. Поручитель жениха—енисейский III-й гильдии купец Сергей Фёдорович Калашников. Поручитель при невесте—енисейский мещанин Степан Васильевич Борзецов»*[6]. В круг поручителей, особенно в реалиях небольшого города, входили либо родственники, либо приближённые к семейству люди, но там не могло быть, за редким исключением, случайных людей.

Любопытно, но довольно большой процент венчающихся в Успенской церкви был представлен людьми, временно проживающими в Енисейске: *«1853 г. мая 27-го дня. Жених—Ачинского округа, Назаровской волости, деревни Ершово поселенец Николай Фёдоров. Жительствует временно в городе Енисейске, в приходе сей церкви, исповедания*

4. ГАКК. Книга, данная из Енисейского Духовного правления Енисейской Успенской церкви священнослужителями для записи брачных обысков 1852–1870 гг. Л. 12.
5. Там же. Л. 12.
6. Там же. Л. 25.

православного. Невеста—крестьянская дочь Агриппина Викторовна Шестакова»[7]. Вообще, активное развитие отрасли золотопромышленности вовлекало в свою орбиту не только жителей Енисейска и Енисейского округа, но и представителей всей губернии. Отсюда и большой приток в город молодых мужчин, включая и поселенцев, нанимаемых на прииски, живущих здесь временно, но при этом не упускавших возможность найти здесь вторую половинку. При этом встречаются случаи, когда и невеста оказывалась иногородней: *«1870 г. ноября 11-го дня. По Указу Его Императорского Величества, Енисейской епархии, города Енисейска Успенской церкви священнослужители произвели обыск желающих вступить в брак, и оказалось следующее: жених—Томской губернии II-й гильдии купеческий сын Максим Николаевич Оконишников, православного исповедания. Жених жительствует по паспорту в городе Енисейске, в приходе сей Успенской церкви. Невеста—Томской губернии, мариинской II-й гильдии купеческая дочь Анна Семёновна Хромова, православного исповедания, жительствует по паспорту временно в городе Енисейске»*[8].

Если обратиться к жизни города Енисейска после сильного пожара 1869 года, то можно обратить внимание на увеличившееся количество обрядов венчания, которое превышает демографические возможности данного прихода. Это, безусловно, связано с гибелью в огне большинства храмов, прихожане которых теперь обращались к услугам Успенской церкви. Чаще всего это были прихожане Троицкой церкви: *«1870 г. апреля 19-го дня. Жених—Енисейского округа, Яланской волости, деревни Горской крестьянин Ефим Фёдорович Елистратов, православного вероисповедания, жительствует в деревне Горской, состоявший в приходе Градо-Енисейской Троицкой церкви. Невеста—Енисейского округа, Анциферовской волости, села Усть-Кемского крестьянская дочь Любовь Михайловна Мечникова, православного вероисповедания, жительствует в приходе Усть-Кемской Спасской церкви»*[9].

Даже в страшный для города год, до и после этого события, несложно отметить, по крайней мере, два десятка бракосочетаний: *«1869 г. января 31-го дня. Жених—Енисейской местной команды унтер-офицер Иван Дмитриевич Ячменёв, православного вероисповедания, жительствует в приходе сей церкви. Невеста—отставного унтер-офицера дочь Александра Евграфовна Карпулиева* (?) (неразборчиво написано.—*Прим. авт.*), *жительствующая в городе Енисейске, православного исповедания»*[10]. В данном случае привлекает внимание некая внутренняя корпоративность сердечного союза. Также источник содержит упоминание и о межконфессиональных союзах: *«1870 г. ноября 2-го дня. Жених—польский переселенец Енисейского округа, Казачинской волости, деревни Челноково Михаил Яршукевич* (?) (неразборчиво написано.—*Прим. авт.*), *лютеранского вероисповедания, местожительствует временно в городе Енисейске. Невеста—тобольская мещанская вдова Александра Степановна* (?) (неразборчиво написано.—*Прим. авт.*), *православного исповедания, место жительства по паспорту в г. Енисейске, в приходе Воскресенской церкви»*[11].

Книга брачных обысков Енисейской Успенской церкви представляет собой весьма информативный рукописный источник, иллюстрирующий социальную и духовную жизнь города девятнадцатого столетия. Даже её первичное рассмотрение показывает динамику существования Успенского прихода в обозначенный период времени, а также свидетельствует о взаимоотношениях разных социальных групп Енисейска.

7. Там же. Л. 19.
8. Там же. Л. 213.
9. Там же. Л. 200.
10. Там же. Л. 178.
11. Там же. Л. 216.

Юрий Беликов, Тина Орская

Пострижение Клеопатры

Оцените смену вех—вот что творилось до пандемии: восьмого марта в Перми, на площади у здания здешнего цирка, был зарегистрирован «самый массовый поцелуй». А зарегистрировала его эксперт Международного агентства рекордов и достижений Тина Орская. На радостях или в довершение ко всему она поцеловала в щёку меня, отщепенца, изваянием стоящего в стороне от «масс». Я тут же стёр поцелуй Тины…

Согласитесь: «поцелуй Тины» как-то «по-болотному» звучит. Как будто тебя чмокнула царевна-лягушка. От поцелуя веяло холодком запредельности. Уж кто-то, а я-то ведал: жизнь Орской делится на числитель и знаменатель. В числителе—образ «русской Клеопатры», до поры до времени пополнявшей коллекцию своих воздыхателей, о чём даже была снята передача на REN-TV. В знаменателе—пострижение и заточение в небывалом монастыре. Вот его очертания.

Тина стала замечать, что у подавляющего большинства её возлюбленных жизнь обрывалась, что называется, на излёте. И как только Орская глубоко осознала эту свою особенность, она раз и навсегда решила обратить «синдром Клеопатры» в пользу человечества. Чувствовала «поле смерти». Могла «входить» в него. Однако понимала и понимает: «Это страшный дар—видеть будущую смерть на ещё живых людях». Но… Так началась эпоха её расследований.

Орская стала не только регистрировать «массовые поцелуи», но и предсказывать несчастные случаи и катастрофы, реставрировать картины заказных убийств. Словно знаменателем замаливала числитель.

Однажды она предупредила и автора этих строк.
—Вижу опасность на воде,—лоцировала меня на расстоянии «дальнозоркими» дланями Тина.

И назвала дату предполагаемой опасности. Нет, после этого предсказания я не то чтобы пребывал в трепете от любого водного соприкосновения. Скорее, забыл о том, что «поблазнилось» моей давней знакомой. Но, судя по всему, предупреждение осело в подсознании, как песок в ракушке, обросший жемчугом. И сработало именно в тот момент, когда должно было сработать.

Разгорячённая компания весело устремлялась во тьму, скрывающую противоположный берег. Дабы экстремально завершить феерично проведённый вечер, решено было искупаться в ночной реке. И вот тут-то, уже сбрасывающий одежду, я припомнил о предсказании. Год совпадал…

Забавно, что много лет спустя я опять очутился в том самом месте. Так сказать, почтил сдержанным поклоном варианты собственной судьбы. Не поверите: вдруг звонок на мобильный от Тины Орской! Она исчезла лет на пять.
—Жила в Испании,—слышалось в трубке.

К слову: Тину даже люди из «её команды», искушённые и посвящённые во многие запредельные тайны, называют человеком мира. Она действительно то—в Испании, то—в Турции, то—в Германии, то—в экзотической стране Марокко. Конечно, Тина не забыла песенную строчку из Михаила Исаковского: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех!» Однако чтобы идущая нарасхват во многих странах мира медиум Орская находилась от меня в трёх километрах?! У своей родни, живущей недалеко от Перми?!

Впрочем, если звонит Тина, значит, ей всегда есть что сообщить. Мы условились о встрече. Над головой сгущались тучи. И далеко не в переносном смысле. Я предупредил о надвигающейся грозе.
—Возьму зонт,—была неумолима она.

Я знал, что Орская—дочь экстрима: фехтует, гарцует на лошадях, стреляет из любого вида оружия, владеет секретами радиоперехвата и прочее, прочее. Но материализовать на личном примере название известного романа Даниила Гранина «Иду на грозу»?.. Думал, переждёт. Нет, шла под ливнем, через громы и молнии. Я встретил её распахнувшимся зонтиком экспромта:

> Явилась Орская в грозу.
> Пришла—и ни в одном глазу.
> Но загляни в её глаза:
> в одном—гроза, в другом—гроза…

Переписывая экспромт, она не стала открещиваться:
—Я же родилась под звездой Алголь. Это звезда первой величины в созвездии Персея. Она делает человека опасным для окружающих. Однажды меня замеряли специальными приборами и обнаружили, что я обладаю каким-то электрическим сопротивлением, которое аж в двадцать раз выше,

чем у нормальных людей. Спрашиваю: «Объясните, чем мне это грозит?» Отвечают: «Тебя не убьёт молнией». В таком случае—что мне гроза?! Да и молния бывает раз в жизни. Зато мобильный телефон у меня всё время выходит из строя. Сейчас я его стараюсь держать подальше от собственной персоны—более-менее работает…

Приращение Орской к мировой востребованности многообразно. Одно время в Москве она возглавляла бюро прогнозов и предсказаний, читала факультативный курс психоанализа в институте медико-социальной реабилитологии. При этом занималась расследованием убийств совместно с полицией ФРГ и Турции. Разумеется, не обошла вниманием и наш уголовный розыск.

Здесь «прожорливый» читатель, несомненно, потребует: «Вынь да положь!» Ну, во-первых, не каждое участие в расследованиях подобного рода предаётся огласке. На Орскую уже было совершено несколько покушений. После одного из них она предпочитает ездить не в купе, а в плацкартном вагоне, где больше людей. Во-вторых, «внесла» слишком высокую плату за свои следопытские заступы в «поле смерти»: её сын, служивший полицейским в Москве, был найден мёртвым. Тине известны все обстоятельства его гибели, но сын—*оттуда*—попросил её не вмешиваться в происшедшее.

Тина—кентавр. Гремучая смесь эротической писательницы, издающейся преимущественно на Западе, и серьёзного исследователя «небытия Пространства и Времени». Названия её книг сами говорят об этой слиянности: «Алая магия Любви» и «Алгоритмы смерти». Впрочем, титулованность Тину не волнует:
—У меня просто есть имя—Тина Орская. Мне этого достаточно.

Древо падших

—Тина, как ты угодила в Книгу рекордов Гиннесса? Да ещё в такой номинации: «Уникальные способности: скоростная диагностика разрушительных программ человека»…

—Совершенно неожиданно и без моего «личного» участия. Я жила в это время в Турции—и вдруг узнаю, что, согласно информации Международного агентства рекордов и достижений, моё имя занесено в «святая святых». Рекорд был поставлен в девяносто шестом году в Красноярске. В течение полутора часов я с закрытыми глазами продиагностировала семьдесят пять человек. И эта диагностика подтвердилась. Я «смотрю» человека руками и говорю, какие у него могут быть негативные события в ближайшем будущем. Я не собиралась заниматься предсказаниями. Просто читала лекции. Но, оказывается, обо мне многие слышали. И перед началом лекций попросили провести эту диагностику.

Помню, среди продиагностированных была женщина, показавшая фото своего друга. Я сказала: «Вижу падение с высоты». А это был мэр одного из городов Красноярского края. Она пошутила: «Ну что там может случиться?! Наверное, его с мэров снимут…» Восприняла предсказание как метафору. Я говорю: «Нет. Чётко вижу падение». Она не стала на этом зацикливаться. А я—смотреть ситуацию дальше. Потом красноярцы мне рассказали: мэр ехал в горах на машине и упал. Упал с горы на дерево, как во французских фильмах. Прибыли спасатели, сняли человека с дерева—ни одной царапины. И эта женщина тогда вспомнила: «А ведь Орская предсказывала, что будет падение с высоты!» Этот случай всех просто потряс.

—Если говорить о заказных убийствах, которые в России, да и на всём постсоветском пространстве, стали, увы, делом чуть ли не будничным, можно ли подвести под ними какую-то общую черту?

—Во всех этих историях с заказными убийствами, сколько я с ними ни сталкиваюсь, как правило, виноват сам человек. Помню, как в Белоруссии было совершено покушение на одного известного предпринимателя. Пять пуль, три—в цель. Он остался жив. Расследуя это дело со своей группой, мы выяснили, что он пытался кого-то обмануть. Мы назвали даже имя—Андрей. Им оказался Андреас—бизнесмен из Голландии. То есть мы вышли на заказчика и назвали тот клуб, откуда был исполнитель. Дальше уже—дело правоохранительных структур. К счастью или к сожалению, все современные заказные убийства чётко укладываются в графики и расчёты наших программ. Из этого следует, что можно предсказать опасные периоды совершения заказных убийств.

Возьмём взрыв, при котором погиб Евгений Микалуцкий, известный белорусский банкир, друг президента Александра Лукашенко, и осталась жива жена банкира. По графикам биоритмов у Микалуцкого—прямое попадание, а у его жены точки смерти в это время не может быть.

Ещё пример. В человека стреляли пять раз. Одно сквозное ранение в ногу и две пули в живот. Остался жив. Смотрим: почему? По графикам получается, что «неправильно» выбрано время. Человек никак не мог погибнуть, хотя небольшие предпосылки для этого были. Вообще, будущее можно скорректировать.

После серии заказных убийств в России, когда только за три года погибли сто шестнадцать банкиров, я вполне официально обратилась в их отечественную ассоциацию с предложением создать «банк бессмертных». Мне сказали: «Да тебя убьют первой!» И теперь мне приходится проверять собственную методику частным образом.

— А так называемые громкие заказные убийства? Приходилось ли тебе участвовать в их расследованиях?

— Я ведь не работаю на интерес. Только тогда, когда попросят. К тому же, к примеру, во время убийства Холодова и Листьева меня просто не было в России. По поводу убийства Ивана Кивелиди ко мне обращались из Генпрокуратуры. Я нашла людей (мы работаем, как правило, группой), которые могли бы взяться за раскрытие этого дела, назвала сумму. Сумма была небольшой — десять тысяч долларов, если учесть, что за раскрытие этого убийства был объявлен миллион баксов. Они думали неделю, потом отказались.

— Насчёт сумм. Как ты их определяешь — в зависимости от сложности?

— Если я стану работать бесплатно, я буду рассчитываться тем, что эти программы смерти перетяну на себя. Меня обычно находят через уголовный розыск. Беру фотографию и говорю: «Деньги на такси». Объезжаю пять человек, они соглашаются работать. Обычно работа на первом этапе стоит сто долларов. Вот пять человек, которые могут дать информацию. Пятьсот долларов — через два дня у вас всё будет. Человек заплатил. Через два дня, когда я отвезла ему полученную нами информацию, он предложил: «Тина, я согласен платить дальше. Потому что — правоохранители работали месяц со всеми материалами. А вы вышли на ту же самую информацию за два дня, не имея ничего, кроме фотографии».

Есть неписаное правило: мы берём деньги только в том случае, когда видим конечный результат. Смотрим: если найдём человека, тогда берёмся за дело. Я единственно предупреждаю: «Мы не гарантируем, что найдём живого».

— Потому что живых вы находили? Например, детей.

Дети-комбатанты

— Да, стало много пропадать детей — вот что в России появилось дикого и нового! Звонят родители, совершенно очумевшие. Кто-то потерялся, кто-то заблудился. Родители идут в полицию и начинают строить жуткие прогнозы. «Да не думайте вы о плохом! — говорю я. — Как только вы думаете о плохом, вы притягиваете эту программу».

Я много занималась проблемой похищения людей, но, признаюсь, никогда не слышала такого термина: дети-комбатанты. Его озвучили мне в нашем Следственном комитете. Оказывается, это те дети, из которых, похищая, готовят потом всевозможных диверсантов и камикадзе. «Комбатант» в переводе с французского — «воин», «боец». Когда я это услышала, то сказала, что, наверное, через энное количество лет терроризм будет иметь исключительно славянское лицо, потому что примеров похищений детей очень много именно в славянском мире…

Всё, что я раскопала, было правдой. И она — в том, что идёт похищение мальчиков лет пяти-семи и далее. Затем похитители или заказчики быстренько «стирают» им мозги и обучают тому, для чего похищали. Похищают их преимущественно в России. Центр по «стиранию мозгов» — в Турции. Там действует специальная лаборатория. Около Алании, известного туристического местечка, тамошняя полиция раскопала некий схрон, находящийся в скале, где похищенных людей «разбирали на части». Иными словами, забирали органы, останки сжигали. Я была просто в шоке. И теперь всех предупреждаю: «В Аланию, пожалуйста, не ездите!»

— Честно говоря, мне не по себе от твоего рассказа. Впечатление, что человечество в ходе своего развития не только не преобразилось, но уверенно деградирует в сторону кровожадного цинизма. Что касается детей-комбатантов…

— Обучение их идёт в пустыне. Именно там я нашла мальчика из Анапы, похищенного в две тысячи пятом году. Представь: жил-был в Анапе маленький мальчик с бабушкой. Больше у него никого не было. Но бабушку убили, а мальчика похитили. Он сейчас практически взрослый. И находится между Марокко и Тунисом. Там — военные лагеря, расположенные меж странами. Палатки. Я когда туда приехала (белая женщина!), полицейские вытащили меня из машины: «Вы что здесь делаете?!» Говорю как ни в чём не бывало: «Я — писательница. Ищу экзотику».

И хорошо, что я через два дня оттуда убралась. Везде — военные посёлки. И вытащить оттуда кого-то было совершенно бесполезно. Да, тот бывший мальчик жив, но это уже абсолютно другой человек, ничего не помнящий о том, откуда он и кто он. У него — другое имя, другая жизнь. Всё другое! И наши правоохранители не могли ему помочь, потому что… Они мне сказали: «Тина, у нас там личных контактов с полицией нет. А официально мы туда обратиться не можем».

— А пермские «потеряшки»? Что с ними? С начала тех же двухтысячных в Перми стали бесследно исчезать молодые люди. От шестнадцати и старше. Как правило, высокого роста, физически развитые и интеллектуально подкованные. Ощущение, что существовал некий трафик на подобного рода «товар». Поскольку я тогда, работая во всероссийской газете «Трибуна», проводил по этому поводу журналистское расследование и даже принял участие в телепередаче «Розыск» на НТВ, то не мог не обратить внимания на открывшуюся закономерность: мальчики исчезали

по понедельникам, ранним утром, направляясь в школу. Почему понедельники?

— Потому что «день тяжёлый». К концу дня никто не хватится. А рано утром — оттого, чтобы было время скрыть следы. К тому же только через три дня заводят розыскное дело. Кому могли подчиниться эти ребята? Людям, одетым либо в военную форму, либо в форму правоохранителей (мы сейчас не говорим, были ли они таковыми на самом деле или просто пользовались соответствующей одеждой). А во-вторых, если эти люди вдобавок обладают гипнотическими способностями, то психологическая картина исчезновений становится более понятной. Посадили в машину и увезли.

— Тоже — в комбатанты?

— Не исключено. Я помню о серии этих пропаж. Все дела, которых я касалась, у меня сохранены. Антон Курлеев был среди них первым. Я думаю, он тоже мог попасть под эту программу. Я тогда видела, что он где-то в лагере или что-то там ещё. Время от времени (у меня же меняются люди, с которыми я веду поиски) я пересматриваю прежние дела. И могу сказать: материалы на всех пермских «потеряшек» у меня хранятся.

Лучше, чем собака

— Ты обмолвилась: «Я ведь не работаю на интерес. Только — тогда, когда попросят». В этом смысле мы — антиподы. А я всю жизнь «работаю на интерес». Посему задам тебе «царский» вопрос, который вот уж третий век интересует умы человеческие. В том числе, — и меня В 1825 году в Таганроге — до того, как декабристы вышли на Сенатскую площадь, при загадочных обстоятельствах умирает император Александр Первый. Молва гласила, что в гробу покоился не он, а похожий на него, подменённый гвардеец, да и то, что императрица не приехала на похороны своего августейшего супруга, наводило на всевозможные кривотолки. Далее — ещё круче: царь якобы объявляется во глубине Сибири в образе старца Фёдора Кузьмича. Дело в том, что перед тем, как обратиться к тебе, я прочитал историческое повествование Ларисы Васильевой «Исчезновение императора», где эта тема исследуется более чем подробно. Любопытная деталь: за год до своей таинственной кончины Александр Первый приезжает в Пермь. Лариса Васильева считает, что после краткосрочного пребывание в одном из монастырей Крыма, добровольно отрёкшийся от скипетра и державы государь перебирается в пермский скит, расположенный в окрестностях Белой Горы. Как тебе такое ответвление отечественной истории?

— Не буду скрывать: я знала о твоём «царском» вопросе. А ты знаешь, что я иногда прибегаю к помощи своих коллег. В данном случае это Саният Загирова, о которой написано в книге «Кайлас — священная гора». К этой женщине приезжают многие исследователи тайны Кайласа. А уж если Кайласа…

— …то и Таганрога?

— Саният говорит, что на момент выезда из Таганрога Александр Первый был жив. Вот её слова: «Я не вижу смерти. Да, Александр отрёкся от жизни. И ушёл в монастырь, вернее, не ушёл, а укрывался в нём. Это действительно было его желание, если посмотреть глубоко. Но оставаться там было очень опасно. Его прятали. Вывозили. Идёт направление: тайга, Байкал. Вывозили в крестьянской одежде на телеге. То есть он не передвигался в одиночку. Один из стоявших на посту, или на границе, узнал его, даже в глаза посмотрел. Но его пропустили. Такое было уважение к нему, что постовой даже не озвучил, что в повозке — царь Александр…»

— Это подтверждает версию Ларисы Васильевой. Кстати, насколько я знал Ларису Николаевну, она обладала даром провидения, ясновидения. И не расхожего — условно-поэтического, а того самого, которым отмечены Саният Загирова и Тина Орская. Недаром оставила потомкам ещё по-настоящему не прочитанную книгу бытия «Василиса». Ясновидящие живут собственной жизнью, и она не всегда совпадает с тем, что полощут масс-медиа. Мне точно известно, что исследовательские маршруты Тины Орской пролегали и пролегают в иных географических и энергетических плоскостях, нежели бы того хотелось обывателям. Что тебе на этих маршрутах открылось — в плане постижения человеческой психологии и достижений нетрадиционной криминалистики?

— Помнишь русские сказки? Пойди туда, не знаю — куда, найди то, не знаю — что. Так это обо мне. Я ищу, не знаю — кого и не знаю — где. Я иногда даже не знаю заказчиков. Мне просто платят деньги на карту и обозначают, кого найти. Так было в случае с двумя детьми из Великобритании. У меня до сих пор лежит финансовый отчёт, который я не знаю, кому представлять. В этой истории не было криминала. Детей похитил собственный отец. И я впервые, что называется, живьём видела похитителя на перроне вокзала в Стокгольме, но ничего не могла сделать. Он был без детей. Дети ехали на пароме с его матерью. Дети — подданные Великобритании. Мать — американка. Отец — гражданин России и Германии. При этом мне помогала моя подруга из Америки Елена Спектор, потому что в американском консульстве хотели вести переговоры со своим подданным. А начиналось всё в Санкт-Петербурге…

— Ты — ясновидящая без границ. В том смысле, что востребована в разных странах и пути твои

неисповедимы. Наверное, научилась классифицировать не только людей, но и географические пространства?

— Если сравнивать страны по энергетике, то Индия — самая благодатная во всех отношениях. Там попадаешь в такие энергопотоки, что одно удовольствие работать. Информация снимается легко! Правда, условия в Гималаях были не самые лучшие. С одной стороны — горы, с которых катятся камни, с другой — река. Грейдерами разгребали дороги и пропускали нас первыми. Я там искала юношу, который пропал, когда автобус перевернулся и рухнул в реку. На его несчастье, он похож на индуса и был одет, как индус. Когда его нашли с потерей памяти, вряд ли признали в нём русского. Мы определили место, где его вытащили из воды, но это было на другом берегу. Начинался сезон дождей, и за нами шла вода, которая смывала всё. Пройти по другому берегу мы не могли. Ничего не оставалось, как ретироваться. Зато я видела Индию и Гималаи с военных вертолётов! Они, правда, хлипкие по сравнению с нашими. Разразилась гроза, и вертолётам пришлось вернуться. А мне — лететь потом полдороги самолётом, а полдороги преодолевать на машине.

— А Китай?

— Китай? Страшная страна. Как только там оказываешься, следят за каждым твоим шагом. Мне сказали, мол, у тебя паранойя. Но вернувшись в Москву, я узнала у наших разведчиков, что за любым человеком, приехавшим в страну не с группой, идёт постоянная слежка. Тем более, я была персоной нон грата. Полиция не хотела со мной работать. Там, когда начинаешь смотреть тонкий план, вся страна окутана сетью колокольчиков, и они начинаю звенеть, как только ты касаешься какой-либо информации. Я стала отбиваться, вписываясь в их тонкий план, говоря, что я китаянка, что это моя родная земля. Тонкий план бьёт в Китае по голове физически! Все дороги контролируются видеокамерами, номера машин отпечатываются. Автовокзалы проверяет полиция, записывая номера паспортов. Казалось, потеряться невозможно…

— А что ты делала в Китае?

— Расследовала похищение двадцатилетней девушки. Но… Я очень обязана китайским спецслужбам, которые не дали мне умереть с голода, когда я оказалась там через три года без денег. Мне прислали китаянку, которая говорила по-русски, кормила меня в ресторанах, покупала мне фрукты и еду в номер. Они бы и за билет обратный заплатили, но я отказалась. Мне прислали, в конце концов, деньги, и я улетела…

Есть шутка о моих путешествиях. Всё очень просто. Как только появляются деньги на билет, я его покупаю, а потом вся страна скидывается, чтобы я её не покинула. Так было в Германии. Когда я там жила, сломали стену, и две расколотых страны соединились в одну. Психология людей во всём мире одинакова. Ты к ним — с добром, и они к тебе — тоже. Но жизнь так интересно устроена, что нужная информация приходит якобы случайно. Я уверена, что мне помогает Бог. Я всегда говорю, что сделаю всё возможное, чтобы найти человека, но если наверху решат по-другому, я бессильна. Всё решается на небесах. Я в этом твёрдо уверена. Самое интересное, что все последние поиски были обозначены одним: люди, которых я искала, хотели остаться в этих странах. Все они живы, даже те, кого я не нашла. Криминалистика на месте не стоит — идёт семимильными шагами вперёд. Но! Меня приглашают тогда, когда обычной полиции делать нечего. Это горы, пустыня, где ни собаки, ничто другое не помогает. Получается, что я лучше собаки?

— Ты лучше собаки!

— Сейчас я пишу и издаю книги о любви, но криминал меня не отпускает. Видимо, мне до конца жизни придётся отрабатывать свой дар. Я ничего не могу изменить. Пару лет назад был интересный поиск в иркутской тайге. Я не выезжала на место, но человек нашёлся. Правда, ко мне обратились уже через неделю после того, как он пропал. Человек заблудился в тайге. Искали МЧС, волонтёры, вертолёты. Он выходил из леса, а его хозяин тайги не выпускал. Я предложила принести жертву хозяину тайги. Чтобы родственники оставили в тайге молоко и сладости…

— Помогло?

— Знаешь, помогло. Человек отморозил только три пальца на ноге. Понимаешь, бывают такие ситуации, когда начинаешь верить во всё, и случается чудо. Мой вердикт: надо очень любить людей и верить в чудеса.

Срезанные цветы

— Расскажи, чем закончилась история с маньяком в пермском городе Лысьва? Насколько мне известно, на его счету было несколько смертей. А тебя в очередной приезд в Пермь привлекли к расследованию…

— Этого маньяка нашли и посадили. На тот момент он совершил четырнадцать нападений на молодых девушек. Из них — четыре трупа. Силовики терялись в догадках, как он их убивал. Я сказала: «Смерть пришла давлением снизу». Когда сзади захватывают. У погибших была такая жёлтая полоска в области сонной артерии. Это один из приёмов старой школы ниндзя-цу. У меня телохранитель такими приёмами занимался. Поэтому я на эти вещи и вышла.

А после Перми у меня тоже были очень интересные расследования в области криминалистики. Например, дело Троицкого. У человека, который в авиакомпании торговал самолётами, похитили сына. С самого первого дня, как я занялась поиском, шла очень странная информация, что у похищенного — лёгкая травма головы, но очень мучительная смерть.

Когда я узнала, что его через два месяца нашли, я спросила у своего приятеля из ФСБ: «Ты можешь объяснить, почему мне шла такая информация?» Он подтвердил: у юноши действительно была лёгкая травма головы, но его закопали живым.

Ещё один случай — я занимались им совместно с МУРом. Заказ пришёл окольным путём — через Израиль. Убили жену одного бизнесмена. Всё было обставлено так, как будто это убийство из-за денег. Это произошло в Крылатском перед подъездом собственного дома на глазах у всех. К женщине на помощь подбежал сосед — преступник попытался ткнуть его этим же самым ножиком (про «ножик» я не оговорилась), но у него ничего не получилось. Человек схватил сумочку, в которой было несколько тысяч долларов. Сумма невеликая — как у владелицы фирмы, она у неё была всегда.

В чём нестандартность этого случая? В том, что ошиблись и я, и МУР, говоря о заказном характере убийства. Заказали просто попугать. Но, к несчастью для погибшей, тогда в Москве был очень солнечный день. День её рождения. Женщина надела лёгкий плащ. И преступник этим же ножом ничего не мог сделать с соседом, потому что у того — дублёнка. Тонкий плащ же нож проколол. Одно из ранений попало в лёгкое.

Мы по ряду факторов никак не могли найти заказчика. Было восемь признаков, но не было описания лица. Мы описали кабинет. И когда ко мне приехал сотрудник МУРа, он спросил: «Как по восьми этим признакам найти человека?» Я говорю: «Дайте мне список этой финансовой компании». Я указала ему фамилию: проверьте. Они его взяли, но не смогли предъявить вещдоки. Все понимали: перед ними — заказчик, а доказать было невозможно.

— У тебя особые отношения с… цветами. Ты равнодушна к цветам в горшочках, но любишь… срезанные цветы. Не все знают, что без цветов с «тяжёлыми вопросами» к Орской лучше не приходить. В известном смысле цветы выступают в роли заложников, потому что на них…

— …идёт сброс негативной информации. В Перми мне подарили большой букет мною любимых гвоздик. Двое боевых парней в штатском попросили меня «поработать с их будущим». Я предложила им взять в руки по гвоздике. Одному из них я сказала, что он попадёт в перестрелку. Другому — что его стукнут по голове и будут куда-то тащить. И вот что характерно: поставленные обратно в вазу, где красовались остальные гвоздики, купленные на рынке в одно и то же время, эти два цветка быстро повяли. Соцветие первой гвоздики распалось, вторая согнула голову набок. Другие же гвоздики ещё очень долго стояли в воде.

— У меня есть давний верлибр «Возвращение к цветам». Всё, что я там якобы «фантазирую», основано на реальных событиях. Мой знакомый биофизик ставил опыты на грызунах, воздействуя на них химическими веществами. И — то ли забавы для, то ли случайно — отщипнул листочек от комнатного растения и положил на датчик регистрирующего прибора. И был изумлён, потому что прибор среагировал. «Подходила к листку лаборантка — стрелка била о землю хвостом». «Подходил к листку биофизик — стрелка срывалась с цепи!» А дальше — формула: «О, не ставьте цветы к микрофонам! Микрофоны поставьте к цветам…»

— У меня на сей счёт есть специальная лекция. Я рассказываю в ней о довольно известном эксперименте. Бросали креветку в кипящую воду, и растение (это были домашние цветы), подключённое к датчикам, чётко реагировало на ситуацию. Эта информация передавалась и другим цветам, стоящим в соседней комнате. Оказалось, что растения, как и люди, способны накапливать и сохранять в себе информацию на уровне живой клетки.

Был очень интересный случай. Женщина сняла квартиру. Брат помогал ей переезжать. Когда он туда вошёл, его охватило непонятное чувство дискомфорта. Квартира находилась в хорошем месте, была чистой, красивой, со вкусом обставленной. Он попробовал разобраться в своих ощущениях и понять, откуда исходило это непонятное чувство. Взгляд его обратился к цветам на подоконнике. Цветов вообще было много в квартире. Беспокойство исходило от них. Несмотря на то, что сестра уже заплатила деньги за эту квартиру, брать уговорил от неё отказаться и снять другую. Сестра последовала его совету. Ответ они получили только через год, случайно встретившись с кем-то из соседей той первоначальной квартиры. Они рассказали, что до этого в ней жила женщина, которая сошла с ума и умерла.

— Когда ты «просматриваешь» проекции судеб, что ты при этом чувствуешь?

— Я концентрируюсь на ситуации и чувствую прохождение через себя электрического тока. Ощущение, когда мурашки бегут. Я знаю, когда включается этот канал. И понимаю: идёт правильная информация!

— Как тебе обходятся эти «мурашки»? Что — потом? У тебя всегда — короткая стрижка. Кроме того, что после работы ты стрижёшь волосы, тем

самым обрубая концы от погружения в запределье и совершая своего рода постриг, ты предпринимаешь что-то ещё?

— Зависит от того, какова информация. Если — не тяжёлого плана, то это мне ничем не обходится. Но существует одна закономерность: если я кому-то помогаю избежать несчастного случая, автокатастрофы или заказного убийства, я тем самым несу свой крест, принимая на себя тяжёлую информацию. Поэтому иногда действительно после работы стригусь. А ещё, не поверишь, если была тяжёлая информация, связанная с криминалом или с погружением в потусторонний мир, у меня появляется дикое желание есть. Тянет на грубую пищу. Я вообще не ем мяса, не употребляю алкоголь, не курю. А тут хочется мяса…

Эликсир бессмертия

— И тогда в тебе просыпается Клеопатра, и ты пополняешь коллекцию своих возлюбленных?

— Уже нет. Особенно — после того, как ушёл мой друг Владимир Щербаков, известный исследователь-онтолог, писатель, автор книги «Асгард — город богов». Он занимался получением эликсира бессмертия. Слышал о таком? Щербаков проводил эксперименты уже три года. Я ему помогала в сфере разных компонентов. Эликсир бессмертия — на основе ядов. Об этом стало известно. И его пригласили в один ведомственный институт. Там ему прямым текстом посоветовали отдать всё это ноу-хау. А Щербакову нужна была лаборатория, где бы он мог продолжить свои эксперименты. Он эту лабораторию и предложил создать. Довести это до ума и пустить в производство. Но там настояли: «Нет, отдайте всё нам!»

После этого он не то что стал бояться — он вообще ничего не боялся! Но тут… Начались странные звонки. Звонили люди, просили продать эликсир бессмертия. Он отвечал, что эликсир не готов. К тому же он никогда ничего из своих изобретений не продавал. А весною Щербаков мне сказал: «Тина, у меня в июле заканчивается эксперимент, я провожу врачебные исследования, и в августе ты можешь предложить нескольким человекам эликсир. Но только — через врачей. Человек должен быть под наблюдением».

Выглядел он совершенно потрясающе. Загоревший, довольный, счастливый.

И что интересно — пользуясь этим эликсиром бессмертия, он выучил три древних языка. Я читала публикацию о его расшифровке Лемносской стелы, которую триста лет никто не мог расшифровать. Сама стела находится в Афинах…

— Перебью. Эликсир бессмертия — это возможно? Это не метафора, а реальный препарат воздействия и преображения?

— Да, это возможно. Я тебе объясню — почему. В последний раз я Щербакова спросила: «Ты мне можешь объяснить, на чём основан твой эликсир?» Он сказал: «Очень просто. Всем известно, что ДНК делится пятьдесят раз… И там есть концевые хвостики. Существуют возрастные пределы: у женщин — до шестидесяти четырёх, у мужчин — до шестидесяти… До этого возрастного Рубикона можно всё ещё возродить. Потому что на этих ДНК ещё может этот хвостик оставаться. А эликсир наращивает хвостик. Клетки начинают опять делиться, и организм омолаживается. Если же этого хвостика нет, то и наращивать нечего, и тогда помочь не может даже этот эликсир».

Был он изготовлен на основе теллура — очень сильного яда. Много лет назад я приходила к Щербакову домой, мы что-то пили, гляжу — он добавляет себе какие-то капли. Спрашиваю: «Что ты пьёшь? Я тоже хочу». Он: «Это — яд!» Я: «Ну ты же не умер. Дай мне!» И вот однажды он дал попробовать эту настойку. Несколько капель. Это было в десять часов вечера. Я уехала домой. И что же произошло? Четыре часа утра. Я проснулась и не поняла, что я такое…

Произошло расширение сознания. У меня голова мыслила квантами, фотонами, формулами! У меня была голова физика! И я оперировала этими категориями, хотя понимала, что я в этом не разбираюсь. Шла физическая информация. Это было настолько интересно! Я потом к Щербакову приставала: «Дай мне ещё что-нибудь попить!» Я поняла, что эти препараты он, по-видимому, использовал для расширения сознания, для того, чтобы писать свои книжки, делать открытия…

— Ты чем-то ему помогала?

— Он мне задавал вопросы: «Тина, я там добавил один элемент (он не называл никогда — какой), сколько его надо — больше или меньше?» Я «смотрела» и, к примеру, говорила: «Знаешь, надо его на две трети уменьшить». Или: «Ты не тот элемент добавил. Вот если взять таблицу Менделеева, то, что ты добавил, это в середине, а элемент, который нужен, на две клетки справа». То есть точной информацией я тоже не владела.

Но что случилось? Начинаю звонить Щербакову недели через две. Телефон не отвечает. Ни утром, ни вечером. Он никуда не мог уехать. Думаю: «Он всегда же чувствует, когда я ему звоню!» Я звонила ему четыре месяца. И вдруг в июле мне говорит астральный композитор Леонид Тимошенко: «Тина, я прочитал в каком-то журнале, что в России умер известный писатель, учёный, исследователь-онтолог…» Я взяла приятельницу, и мы поехали туда — к председателю кооператива. Меня укоряют: «Ну что же вы?! Не побывали за четыре-то месяца»!..» Я понимала: что-то должно было случиться. Или уже случилось…

Официально Щербаков умер от онкологии. Но когда я взяла фотографию и «посмотрела», мне «сказали»: у него произошло обезвоживание и обескровливание организма. Это происходит в случае отравления ядом. Окончить жизнь самоубийством он не мог. У него было столько планов! Он опередил российскую науку лет на пятьсот. Единственно, что на него, по-моему, депрессивно действовало,—это собственная нереализованность и эти роковые телефонные звонки, притягивающие некую негативную программу.

—Помнишь, у Бунина?

Когда идёшь над бездной—надо прямо
Смотреть в лазурь и свет…

Кстати, стихи—с характерным названием: «Мистику». Будто Иван Алексеевич—сквозь напластование лет—настроился на некий режим частот и предугадал появление Владимира Щербакова…

—Я думаю, что всё духовное развитие людей объясняется только тем, в каком режиме частот они работают. Чем выше режим частот, тем духовнее человек. Каждый тянется к сильной—высокочастотной—личности. Энергетика—это жизнь. Почему люди стремятся к власти, к деньгам? Деньги—огромная энергетика. Почему очень многих убивают? Люди не умеют этой энергетикой управлять. Власть—тоже энергетика. А если ты видишь человека с такой энергетикой? Подспудно, на уровне подсознания, возникает тяга. Это—жизненная сила. Притягиваясь, они подпитываются.

Приведу показательный случай. У меня приятельница перебралась в Германию. Здесь, в России, у неё был бурный роман. Человек не мог развестись, она вышла замуж за другого и уехала. И вдруг звонит под Новый год: «Я тебя умоляю! Какое счастье, что ты не осталась жить в Германии! После сорока лет ни деньги, ни шмотки не имеют значения. Хочется общения. А здесь—его нет. Так ты мне найди моего бывшего поклонника!» А этот её поклонник, когда она в своё время от него скрывалась, меня умолял: «Дайте мне её телефон!» Прошло двадцать лет. Она за двадцать лет не нашла достойного партнёра в Германии! Видите ли, подайте ей бывшего возлюбленного из России и чтобы он ей позвонил. Можешь себе представить?!

ДиН ревю

Анастасия Белоусова

Берег

Омск: «Синяя птица», 2014

● ● ●

Под землёю бродить,
Почти отчаявшись,
Выводы, выходы вырыла я,
Ставки черви делали на меня:

Выползень, живучая выскользень,
Думали, не выживет дня,
ночи, утра, вечера.

Да! Я борюсь за каждый листок,
Слабый мой стебель совсем раскорявился,
Я не дерево, а росток.
Не нравлюсь? А вот мне здесь нравится!

● ● ●

Сажусь в авто—
Почти малосемейка.
Так сложно влезть—ступеньки высоки.
Он обещал, что купит мне скамейку,
Чтоб лишний раз не подавать руки.

Проходит год,
Я захожу в автобус,
Студенты—как китайская стена!
Мне всё равно,
Моя в порядке гордость,
Когда не нагибается спина.

Владимир Балашов

Секретная миссия Егудэя

Историческая повесть

Время — Великий Хан, и только ему единственному повинуются неторопливые седые столетия. Это по его властному знаку вдруг угасают огни жарко пылавших костров и остывающие красные угли покрываются сизым пеплом. Это по его непререкаемому приказу сворачиваются юрты жителей улусов[1] *и кочевий, и по его повелению уходят в неведомое будущее гружёные караваны — а им навстречу движутся в прошлое караваны лет. И всё дальше и дальше расходятся караваны: одни — мерно поскрипывая осями тележных колёс, грустно позванивая колокольчиками на сбруе утомлённых верблюдов и лошадей, а неторопливая и мерная поступь седых столетий всё слабее доносится из прошлого. Вот уже невозможно разглядеть их вдали — даже прикрывая глаза ладонью от слепящего полуденного солнца, даже накрепко зажмурив их и закрыв веками от света сегодняшнего дня…*

Караваны лет скрылись за горизонтом, и мы не властны вскочить в седло, ожечь камчой быстрого коня, догнать и окликнуть тех, кого уже никогда не увидим больше на этом свете. Но не они ли оставляют для нас на зыбкой границе горячей степи и прохладного голубого неба удивительные миражи: колеблющиеся и манящие, тревожные и грустные — но неизменно прекрасные? Да, право, миражи ли это? Те же ярко пылающие костры, те же волны мчащихся табунов, те же многолюдные улусы и одинокие кочевья. Значит, эти люди не канули в полную безвестность, они всё ещё идут куда-то своим, не ведомым нам путём…

Тэмучину нравились утренние прогулки, когда солнце только всходило и земля была мокрой от росы; когда в прохладном ещё воздухе стоял навязчивый смешанный запах мокрой травы и полыни, сухого конского помёта и ещё чего-то неуловимого, запомнившегося с детства. Он любил именно утро, потому что с годами всё хуже переносил полуденный зной и прятался от него либо в шатре, либо под густой кроной деревьев возле воды. Он, сколько себя помнил, всегда недолюбливал жару…

1. Поселение, коллективное стойбище у тюрко-монгольских народов Приуралья и Сибири.

Эти прогулки он предпочитал совершать не в одиночку, а с кем-нибудь из интересных собеседников. В отличие от шатра, где все воспринимали его как каана и ожидали приказов, здесь можно было размышлять не о самом важном; выслушивать мнение собеседника и даже его возражения; можно было неспешно обдумывать планы на далёкое будущее и вспоминать ещё более далёкое прошлое. В последнее время он предпочитал беседовать с киданьским книжником Елюй-Чуцаем, поскольку тот был умён в разговоре и прозорлив в решениях. Именно за долгий ум он и прозвал своего главного советника Длиннобородым, а вовсе не за его тщедушную бородёнку. Если бы дело было только в её размере, то он, Тэмучин, несомненно, больше заслуживает подобное прозвище! А вот превосходство острого ума Елюй-Чуцая он признавал, хотя открыто в этом никогда бы не признался. Ведь у каждого, как он считал, своё предназначение и, в зависимости от этого, свои главные качества, даденные Вечным Тэнгри и Единственной Матерью Охин Тэнгри…

Вот и сейчас, неторопливо прогуливаясь с почтительно молчавшим Длиннобородым, он задумчиво остановился возле небольшого песчаного надува. Вчерашний ветер разровнял мельчайший песок, и на нём, словно на чистом листе хитайской бумаги, не было ни следов сусликов, ни сухих травинок. Размышляя, он вытащил саблю из ножен и начертал концом её на ровной поверхности витиеватый столбец уйгурских букв, потом обратился к спутнику:

— Вот я написал на песке своё имя, и оно, несомненно, у любого читающего вызовет трепет. Но сама эта надпись недолговечна: подует ветер или пройдёт дождь по воле Неба — и поверхность опять станет первозданно чистой. Поэтому, пока я жив, мне пришлось бы постоянно обновлять её… Но даже если я прикажу высечь своё имя на твёрдом камне — неумолимое время всё равно разрушит, в конце концов, и камень. Ещё хуже дело обстоит с памятью людскою: люди не будут помнить обо мне долго, потому что после моей смерти новый каан захочет увековечить уже своё имя, стерев в памяти своих подданных имя предшественника, то есть меня. Значит, даже от воли всесильных кaанов не

зависит, будет ли память о них жить вечно? Если только, конечно, это не угодно самому Небу…

— Именно потому, каан, предусмотрительные правители строили прекрасные города, которые должны были пережить века, и называли их своими именами,—изрёк книжник, немного подумав.— А египетские фараоны в качестве своих гробниц возводили потрясающие воображение пирамиды. И фараоны вовсе не думали о каком-то благе для подданных, а заботились лишь о том, чтобы оставить память на будущие тысячелетия. Но при этом люди до сих пор восхищаются грандиозными сооружениями и передают имена фараонов из поколения в поколение. А это означает, что как многолюдные города, так и мёртвые пирамиды одинаково способны хранить имена своих созидателей много веков. Людская же память о благих деяниях и прижизненной славе правителей, я согласен, недолговечна. Словно твоя надпись на сыпучем песке…

— Ты, как всегда, мудр в своих сравнениях, Длиннобородый! По-твоему, всё это—и города, и пирамиды—возводилось лишь для бессмертия имени? Но ведь это путь отчаянья. А вот возможно ли обрести бессмертие тела и души? Наверное, каждый из этих правителей пытался заполучить некий чудесный эликсир и готов был отдать за него половину, если не все свои богатства?

— Да, прожить во власти и в почёте долгую-предолгую жизнь, пусть даже временно и без богатств, найдётся немало желающих!—Елюй-Чуцай невольно усмехнулся, но тут же виновато потупил глаза.—Может быть, в бескрайнем мире и проживает некто, кто знает этот величайший секрет; вот только, выдав его, он рискует тут же быть лишённым жизни…

— Почему ты так считаешь, Длиннобородый?

— Секрет бессмертия не может быть достоянием многих, ведь то, что знают двое,—уже не секрет. Может быть, его и можно купить за несметные сокровища, но вот как узнать имя тайного обладателя?..

— Мой подданный, китаец Чжун-Лу, которого я отправил в Шандун с приглашением для мудреца Чан-Чуня, утверждает, что даос живёт уже триста лет! При этом он простой монах, а это означает, что ему не потребовались для овладения рецептом бессмертия несметные богатства.

— Люди часто придумывают сказки, в том числе и о бессмертных, а потом сами начинают в них верить,—возразил книжник.

— А что ты, Длиннобородый, знаешь о мудреце Чан-Чуне?

— Имя его известно далеко за границами не только Шандуна, но и всех окружающих провинций. Настоящее его имя Цю-Чуцзы, даосское же имя Чан-Чунь означает «вечная весна». Он—настоятель монастыря Хаотяньгуань[2], основатель ордена «Драконьи ворота» и самый известный из семи учеников основателя школы Цюаньчжэнь даоса Ван-Чунъяна. Их называют «семь бессмертных», так что не отсюда ли пошли разговоры о его жизненном бессмертии?..

— Ты как будто совсем не веришь в людское бессмертие, Длиннобородый?

— Я предпочитаю не обольщаться, каан, чтобы лишний раз не испытать разочарование. О Чан-Чуне же говорят, что он великий учёный среди всех учёных и святой среди всех даосов.

— Я ценю твой ум и прямоту, Длиннобородый! Мысли о даосе давно не дают мне покоя. Я с нетерпением жду встречи с ним и хочу, чтобы ты непременно присутствовал при наших беседах…

Он повернул назад, к шатру, и мысли его тут же потекли в ином направлении—о предстоящей встрече. Елюй-Чуцай, посчитавший, что их разговор окончен, молча последовал за ним.

Нет, Тэмучин ещё не ощущал себя старым: по-прежнему он вставал рано, не выносил ничегонеделанья и праздного возлежания на подушках—даже когда старые раны и болезни настойчиво стали подавать знаки. Лучшим отдыхом оставалась охота, участие в групповых облавах на зверя. Когда загонщики громкими криками сгоняли дичь, сердце его начинало учащённо биться, слух и зрение обострялись, как в молодости, а все боли и недуги отступали, покорно освобождая внутри место для азарта. И когда метко пущенная стрела поражала бегущего зверя, то он чувствовал такой же прилив сил, как много лет назад, и мог долго преследовать подранка, чтобы в конце концов торжествующе поразить его копьём или стрелой. Но и после завершения погони сердце ещё долго продолжало стучать в некоем шаманском ритме, гоня по телу помолодевшую кровь. Охотничьи облавы словно бы возвращали его в прошлое, когда болезни изношенного тела ещё не вступали в противоречие с нерастраченной молодостью души…

Он покосился на вышагивающего позади Длиннобородого: не читает ли тот его тайные мысли? Но книжник смотрел под ноги с задумчивым выражением лица, должно быть, размышляя о предстоящих государственных делах.

Именно охота оставалась тем немногим, что бодрило его подобно целительному бальзаму. Правда, с некоторых пор не меньшее удовольствие доставляли и такие вот неспешные беседы с умными собеседниками. Напряжение ума при этом, старательные поиски правильного ответа, изящные и остроумные выпады в сторону собеседника—всё это волновало разум. Длиннобородый, скорее всего, даже не догадывается, что его приглашают на утренние прогулки не столько

2. Храм Чан-Чуня на полуострове Шандун, в 500 километрах от города Цзы (Пекина).

ради его мудрых советов, но и как хитроумного, многоопытного игрока. Ведь беседы их протекают подобно партиям в индийских шахматах, только игральною доскою служит огромное пространство между четырьмя морями, а движимыми фигурами — ничего не подозревающие соратники и коварные противники. Чем более непредсказуемой складывалась беседа, тем большее удовольствие она ему доставляла.

Прискакавший на рассвете воин-вершник от Ли-Чжун-Лу, посланного почти полтора года тому назад в монастырь Хаотяньгуань, привёз долгожданную весть: даос Чан-Чунь с пятью учениками и сопровождающими их воинами находится всего в нескольких часах пути от ставки. А это означает, что их встреча произойдёт уже сегодня. И если каждая охота лишь на время отодвигала приближающуюся старость, то предстоящая беседа с бессмертным Чан-Чунем, вероятно, вплотную приблизит его к раскрытию тайны, хитроумно зашифрованной самим Вечным Небом… Да, сегодня он наконец-то встретится не просто с равным, а наверняка с превосходящим его по уму собеседником. Великий учёный, непревзойдённый мудрец, признанный поэт… Сколько ещё титулов можно добавить к этому имени: учитель, бессмертный, хранитель величайшей тайны!

Поэтому он и отложил ранее назначенную важную поездку, что очень давно и со всё возрастающим нетерпением ожидал эту встречу. Когда отправлял приглашение, то рассчитывал, что свидание случится значительно раньше: обычно приглашённые бросали все свои дела и мчались к нему, превозмогая непогоду и опасности. Они боялись неудовольствия, а ещё больше гнева — и, кажется, даже его далёких неведомых мыслей и его далёкой тени? Этот же мудрец-даос превратил всё путешествие в развлечение, в долгую игру, которая ведётся отнюдь не по правилам всевластного каана. Чан-Чунь, конечно же, исходит из того, что это он нужен Чингисхану Тэмучину, и поэтому не боится немилости, понимая, что каану нужен даже не он сам, не его жизнь, а его тайные знания. А ещё он, наверное, уже отвык страшиться смерти, поскольку живёт целых триста лет? Во всяком случае, так предполагают многие — и, скорее всего, даже сам сомневающийся Елюй-Чуцай…

У входа в шатёр прозвучало короткое воинское приветствие охранников, и откидной полог затрепетал под чьей-то уверенной рукой. Вошёл самый доверенный из его воинов — тысячник «красных волков» Егудэй.

— Каан, прибыл долгожданный монах-даос Чан-Чунь!

— Пригласи его немедленно, Егудэй! Наконец-то я увижу того, встречи с которым ожидал полтора года.

— Будет исполнено, каан! — тысячник почтительно склонил голову и приложил правую руку к груди.

— А ещё передай Елюй-Чуцаю, что я жду его! И распорядись, чтобы поставили два шатра — для даоса и его учеников — на восток от моего. Чтобы мудрец сразу понял, как я ценю его и его учение.

— Всё будет сделано, каан!

Когда тысячник вышел, он, морщась от боли в колене, поднялся с подушек и сел на седло посреди шатра — он всегда встречал званых гостей именно так, по-простому. Затем приказал писцу-хитайцу Фао-Шену, всё это время молчаливо и почтительно впитывающему слова каана:

— Фао-Шен, ты должен записывать на уйгурском языке всё сказанное этим великим мудрецом, чтобы потом ничего не было забыто и чтобы мои сыновья смогли прочитать эти записи. А переводчиком вместо тебя сегодня будет Елюй-Чуцай.

— Насколько подробно я должен записывать, Великий Чингисхан? — тщедушный писец едва ли не до самого ковра склонился в подобострастном поклоне.

— Записывай все высказанные мудрецом мысли, и по возможности как можно полнее. Ничто важное из нашей беседы не должно ускользнуть, даже то, что лично тебе хорошо известно! Ведь, придумывая новое, люди всегда опираются на старые знания, и кто знает, вдруг именно они потребуются мне в нужный момент?

Писец сложил руки перед грудью, несколько раз часто и низко поклонился и стал переносить разбросанные подушки в дальний конец шатра. После этого несколько подушек сложил стопкой перед кааном, а сам расположился за низким складным столиком позади сидящего; суетливо достал из стоящей рядом сумки свиток бумаги, перо и чернильницу. Открыв пробку чернильницы и окунув туда перо, стал тщательно чистить его о свою чёрную косичку.

Прошло совсем немного времени, и за стеной шатра прозвучал предостерегающий оклик стражников. Полог снова откинул Егудэй, и мимо него медленно прошествовал старец в дорожном одеянии. Неотъемлемый атрибут даосов, дорожный посох, монах, должно быть, оставил снаружи. Сделав несколько неторопливых шагов и не кланяясь, Чан-Чунь сложил ладони перед грудью и чуть опустил голову, устремив взгляд вниз, под ноги каану. Соблюдая субординацию, монах не решался первым начинать разговор, а тем временем вошедший следом Елюй-Чуцай молча занял место по левую руку от каана.

Молчание затянулось. Он помнил слова Елюй-Чуцая, что в Хитае даосы такого ранга освобождены от обязанности преклонять колени перед правителем, поэтому, сидя на седле и не торопясь подниматься, снизу вверх внимательно разглядывал знаменитого мудреца. Гладкое лицо, кожа

которого практически не была тронута загаром, аккуратно подстриженная белая борода, длинные седые волосы собраны сзади в пучок и заколоты на макушке простой деревянной спицей; подчёркнуто небогатый длинный синий халат с широкими рукавами и потёртые дорожные сапоги на ногах… Да, всем своим внешним видом мудрец показывал, что богатство его не волнует, но он привык к почтительному отношению окружающих.
— Приветствую тебя, великий мудрец и даос! — как можно доброжелательнее произнёс он, прерывая затянувшуюся паузу. — Хорошо ли доехал до моей ставки, достаточно ли учтиво относились к тебе те, кому я поручил сопровождать?

Елюй-Чуцай повторил всё сказанное по-китайски.
— Благодарю тебя, Великий Чингисхан, за заботу. Скромный путешественник и его ученики не знали отказа ни в чём, хотя я не раз ловил себя на мысли, что не заслуживаю стольких почестей.

Мудрец поднял, наконец, свои чёрные проницательные глаза на каана. Несмотря на почтенный возраст монаха, в них светился не только ум, но и какой-то непонятный молодой задор. Определённо, в глазах даоса жила загадка, а он не любил загадок и за долгие годы правления научился вводить любого собеседника в состояние растерянности. Следовало всего лишь пристально смотреть в глаза и молчать — и через несколько мгновений самый мудрый, самый уверенный начинал сбиваться и путаться, словно плохо выучивший урок послушник. А при затянувшемся молчании все уже не просто терялись, а покрывались липким пóтом страха и начинали говорить совсем не то, что заготовили. Именно тогда с их губ срывалось тайное, что перед беседой было запрятано глубоко-глубоко, в самые потаённые уголки души. Даос, однако, достойно выдержал паузу и даже не отвёл глаз в сторону.
— Мои подданные хитайцы утверждают, что ты величайший учёный среди всех учёных и самый святой среди даосов, — прервав испытание, проговорил он. — А ещё утверждают, что ты живёшь уже триста лет.
— О тебе, Великий, тоже сложено немало легенд… — даос опять сложил ладони и учтиво склонил голову. — Люди не могут жить без сказок и небылиц, в том числе и о бессмертии. Но я скажу так: тысячи огней могут быть зажжены от одной свечи, и это не укоротит её жизненный цикл…

Беседа, несомненно, устремлялась в нужное русло, и он жестом предложил Чан-Чуню сесть на подушки, что тот и сделал с явным удовольствием.
— Благодарю тебя, Великий!
— Знаю, что другие дворы приглашали тебя, мудрец, но ты отказался — а теперь прибыл за много тысяч ли сюда, к границам Индии. Мне это весьма приятно!
— Что горный дикарь пришёл сюда по повелению Великого, то воля Неба, — не то польстил, не то, наоборот, возразил монах.
— Тем не менее я признателен, что ты ради меня проехал много десятков тысяч ли из Цзы в Орду, а затем через Сибур[3], Алтай и Тянь-Шань решился последовать за мной в Самарканд[4], а теперь и в ставку. Ты ведь мог вернуться в свой монастырь, не застав меня в Орде?..
— Выпущенная стрела назад не возвращается! Тем более что само Небо натягивало тетиву. И, кроме того, великая цель вела меня! Вначале нас было четверо, изучавших Дао под руководством учителя Чун-Яна; трое уже вознеслись; остался в мире только горный дикарь. И, мечтая водрузить учение Дао-дэ за пределами Китая, я не побоялся ни ветра, ни пыли, шествуя к чужим народам.
— Я не могу называть тебя дикарём, мудрейший Чан-Чунь. Скажи, как ещё можно величать тебя?
— Иные, из уважения, называют меня наставником или святым мужем, другие почему-то называют бессмертным.
— Пусть с этого дня приближённые мои называют мудрейшего Чан-Чуня именем Бессмертный!

Он кивком головы дал знак писцу, чтобы тот обязательно записал эти слова, и продолжил:
— Хорошо ли Бессмертный провёл время в этом путешествии, которое заняло полтора долгих года, довольно ли всегда было в пути еды и питья ему и его спутникам?.. Вполне ли он сам нынче здоров?
— На доставленной твоим посланником золотой тигроголовой дощечке было начертано «Предоставляется полновластно распоряжаться, как бы я сам путешествовал». Твоё повеление, Великий, творило истинные чудеса, и я не знал отказа ни в чём. Правители земель, которые я пересёк, оказывали мне такие почести, которых я не заслуживаю, надёжная охрана всегда следовала со мной.

Своими благодарностями монах окончательно расположил к себе, и он даже поймал себя на том, что по лицу пробежала довольная улыбка.
— Да, желая скорее видеть тебя, я разослал повеления правителям тех мест, через которые ты следовал, дабы они, когда Бессмертный будет проезжать, не замедляли его путешествие.
— Всё так и было, Великий! Четвёртой луны первого числа прибыли мы в ставку брата твоего,

3. Сибирь.
4. Город основан в 7 веке до нашей эры, но наивысшего расцвета достиг в 14 веке, когда стал столицей империи Тамерлана, который не был Чингизидом, во всяком случае, прямым потомком Чингисхана по мужской линии, ввиду чего он носил титул эмира и правил от имени марионеточных Чингизидов, даже имена которых плохо известны.

Огиня[5], и он спрашивал о способах продления жизни. Когда же узнал Огинь, что перед посвящением долго нужно поститься, тут же признался, что это ты прислал нарочного за мной за десять тысяч ли, желая слышать мои наставления немедленно. Ещё сказал твой брат: «Как же осмелюсь я прежде самого каана слушать тебя?»

— Действительно, я жажду твоих наставлений, Бессмертный! За семь лет я свершил великое дело и во многих странах света утвердил единодержавие. Не оттого, что у меня есть какие-либо доблести, а оттого, что получал от Вечного Неба помощь и благодаря ему достиг престола. Однако звание каана велико, обязанности его слишком важны — и я боюсь, что в правлении моём чего-нибудь недостаёт.

— Что же могу посоветовать я Великому Чингисхану, покорившему не только девять варварских народов, но и просвещённый Китай?

— Не хочу обидеть тебя, Бессмертный, но это само Вечное Небо отвергло Хитай за его чрезмерные гордость и роскошь! Я же, обитая в северных степях, не имею в себе распутных наклонностей: люблю простоту и чистоту нравов, отвергаю роскошь и следую умеренности. У меня одно платье, одна пища, я в тех же одеждах и то же ем, что конские пастухи; я смотрю на народ как на детей, забочусь о талантливых как о братьях… Я хан над ханами, но для многих я просто Тэмучин, и лишь для врагов я грозный Чингисхан!

— Да-да, я помню твоё послание к горному дикарю, Великий! — даос в знак признательности приложил ладонь к груди. — Потому что оно близко моему духу и напоминает прекрасное стихотворение.

Монах достал из широкого рукава халата свёрнутое, перевязанное шёлковой лентой письмо и, расправив, стал цитировать:

— «…В сих обстоятельствах я наведался, что ты, учитель, сроднился с истиною и шествуешь по правилам; многоучёный и опытный, ты глубоко изведал законы; твоя святость прославилась, и доблести проявились; ты хранишь строгие обычаи древних мудрецов и обладаешь прекрасными талантами высших людей…»

Он хорошо помнил это письмо, написанное при помощи Елюй-Чуцая и потом ещё правленное писцом-китайцем.

— «…Не страшась тысяч ли, прошу тебя подвинуть святые стопы твои, — продолжил он по памяти. — Не думай о дали песчаных степей; или пожалей о народе, по современному состоянию дел, или из милости ко мне, сообщи мне средства сохранения жизни. Я сам буду прислуживать тебе…» — он, как и монах, почтительно склонил голову. — Как видишь, я даже помню это послание наизусть!

— Так что же ты желаешь услышать от горного дикаря, Великий?

— Бессмертный, ты пришёл издалека, ты живёшь уже триста лет. Какое у тебя есть лекарство для вечной жизни, чтобы снабдить им меня?

— Подобные мысли не должны терзать повелителя значительной части мира, раскинувшейся между четырьмя морями. Великий Чингисхан достиг таких вершин, какие вряд ли ещё кому будут по силам…

Даос замолчал, собираясь, видимо, с мыслями, — и тогда он, неожиданно даже для себя самого, произнёс вслух потаённую, уже несколько лет не дающую ему покоя мысль:

— Только приблизившись к самому краю жизни, понимаю, что она до обидного коротка. Ведь жизнь невозможно сохранить лишь тем, что её ценишь…

— Есть средства хранить свою жизнь, но нет лекарства бессмертия, — нашёл, наконец, нужные слова мудрец. — На смерть и жизнь нужно смотреть как на холод и тепло, и для вечной жизни не нужно питаться эфиром, искать таинственные заклинания. Не убивай — вот путь к вечной жизни. Единое слово: «Не убивай!» — показывает, как велика заслуга души в деле спасения.

— Я оценил твоё бесстрашие, Бессмертный, ибо ты знаешь, что такой ответ может не понравиться мне, — произнёс он с разочарованием. — А то мои приближённые боятся говорить правду, поэтому мне всё чаще приходится прибегать к услугам шамана и толкователей. Как моих снов, так и поступков. Ты же смелый человек, ответь тогда: как тебе самому удалось прожить три века?

— Тело, на время составленное из четырёх стихий, есть вещь гнилая, нестóящая; а вот дух — истинное существо — свободен и неудержим. Смерть приходит — настаёт рождение; по рождении — опять смерть. В круговороте перерождений когда кончатся превращения? Если не достигнуть страны немышления и упокоения, то невозможно очиститься и вознестись из круговорота…

Он вдруг потерял связующую нить их разговора и на миг усомнился в ясности мышления монаха. Даже засомневался: либо даос сейчас говорит о непонятном, либо Длиннобородый недостаточно хорошо переводит?..

— Впервые за время нашей беседы я не понял твоих слов, Бессмертный, — прервал он монаха.

— Я всего лишь прочёл своё стихотворение, а в стихах всегда больше философии, нежели смысла, — произнёс монах, но слова его не выглядели оправданием. — Чтобы осознать глубину этих мыслей, нужно постигнуть учение Дао. Достигший Дао издаёт грозный свет, который проникает повсюду; гром и молния не могут с ним сравниться.

5. Младший брат Чингисхана Темугэ, или Отчигин, которому каан, отправляясь в поход на запад, поручил управление делами, в это время кочевал в своём уделе на реке Керулен, близ впадения её в озеро Буюр.

— Я так понял, Бессмертный, что либо ты не хочешь ответить мне, либо у тебя самого нет ответа на вопрос о человеческом бессмертии?
— Люди, утверждающие, что я прожил триста лет, заблуждаются,—даос широко развёл руки, словно бы сокрушаясь о несбыточном.—Столько может жить душа, но не тело,—монах вдруг усмехнулся, и по лицу его пробежала тень неприкрытой грусти.—И это путешествие к тебе, Великий, я предпринял, когда мне исполнилось всего лишь семьдесят два года. Не только твоё приглашение влекло меня, но и мечта принести учение Дао на просторы всей твоей Империи. Теперь отвечу на твой вопрос, Великий: ты можешь продлить свою жизнь, но для этого нужно посвятить её остаток созерцанию и медитации.
— Созерцанию чего?
— Отрешась от внешнего мира, Великий, созерцай мир внутренний…
— Это не подходит мне, Бессмертный, поскольку вершины не годятся для отдыха! И я ещё далёк от завершения своей мечты. Да, я пока ещё далёк от того, чтобы установить порядок и справедливость во всей подвластной мне Вселенной. Подобные хотя бы тем, что были, по словам Елюй-Чуцая, в государстве киданей, и, благодаря его мудрым советам, возрождаемые в моей Империи. Наследники же мои не готовы завершить задуманное мной: они хорошие воины, но недальновидные правители. А власть, в отличие от богатства, нужно передавать тому, кто мудрее, или хотя бы равному… Благодарю тебя за прямоту, Бессмертный, но твои слова лишь породили печаль в моём сердце.
— Великий Чингисхан крепок, а великая цель наверняка продлит годы его величия и жизни. Я же буду молиться за него каждый день, поскольку предсказано мне умереть в тот же год и при той же луне, что и Великому.

«Монах, конечно, хитрит,—подумал он с разочарованием.—Оказывается, даже бессмертные страшатся смерти, что бы там ни утверждал Длиннобородый. Даос сейчас специально выдумал, что мы умрём в один год,—то есть предупредил, что, решив лишить жизни его, я подпишу собственный смертный приговор. Каков хитрец!»

Так он подумал, но сказал совсем иное:
— Благодарю тебя, Бессмертный, за заботу. Но мысли о смерти пришли ко мне потому, что Вечное Небо подало знак. Впрочем, слова твои о том, что мы уйдём из жизни одновременно, я вложил в своё сердце.
— Вдумайся только, Великий, что означает бессмертие для многих правителей,—монах оживился, словно вспомнил что-то очень важное.—Это когда они мечтают продлить свою жизнь даже не на несколько десятилетий, а, может, всего лишь на несколько дней или даже часов… Я открою тебе секретный рецепт зелья «митридатий», которое состоит из шестидесяти пяти ингредиентов и нейтрализует любой яд—это и есть доступное средство к продлению твоей бесценной жизни, Великий!..

За время беседы он несколько раз отметил, что книжник Елюй-Чуцай, в совершенстве знающий не только китайский, но и уйгурский языки, медлит с переводом, слишком долго подыскивая нужные слова. Нет, он, похоже, вовсе не выступает в качестве беспристрастного переводчика, а явно хочет представить именитого мудреца в выгодном свете! Длиннобородый подыскивает вовсе не более точные, а, скорее, более значимые по смыслу выражения, и, даже не являясь большим приверженцем Дао-дэ, старательно подчёркивает мудрость даоса, значимость его нового учения.

«Хитрец думает, что я ничего не замечаю!— внутренне усмехнулся он.—Вот Фао-Шен, тот, наоборот, выделял бы именно не самые удачные мысли и слова монаха. Вроде бы и вся разница, что Елюй-Чуцай подчёркивает значимость другого, а Фао-Шен собственную значимость,—но именно за это я ценю Длиннобородого и презираю лекаря. Фао-Шен вечно боится за своё положение, боится, что каан утратит к нему интерес, поэтому каждый раз стремится хотя бы чуть-чуть возвыситься над остальными… Как часто люди переоценивают свою значимость, не допуская даже мысли о том, что уйди они—и ничего в этой жизни не изменится, а их место тут же займут не менее умные и даже более преданные. То же самое и с каанами: уходит один—приходит другой, а для большинства из их окружения это почти ничего не меняет. Мир от этого не перевернётся, и течение жизни не остановится…»
— Спасибо за заботу обо мне, Бессмертный,—ещё раз поблагодарил он монаха.—И очень жаль, что это единственное, что ты можешь мне предложить!
— Дао учит, что надежда покидает человека последней! В тибетских рукописях я когда-то прочёл, что в прежние времена избранные действительно могли жить по несколько веков, потому что пользовались чудодейственным эликсиром. К сожалению, рецепт его был утерян…
— Но ты знаешь ещё что-то, Бессмертный, раз заговорил об этом эликсире?
— Я поначалу не хотел направлять твой разум в плен иллюзий, Великий, поскольку существует лишь одна, да и то призрачная, возможность для долговечной молодости тела. Правда, раскрыть тайну и использовать этот крохотный шанс по силам только одному лишь Великому Правителю народов.
— Душа моя снова наполняется надеждой и радостью! Я слушаю тебя, Бессмертный, и готов дать взамен всё, что ты только пожелаешь!
— Нам предсказано уйти из жизни вместе, Великий, поэтому если ты обретёшь долголетие—обрету его

и я. В сравнении с этим все сокровища мира не стоят ничего! В одном из старых свитков я прочёл о войне Кыргызского кагана с уйгурами четыре века тому назад. Уйгурский хан обладал таким рецептом, поэтому жил долго, сохраняя разум, и государство его становилось сильнее год от года. Правда, эликсир был бессилен против сабли или стрелы! Десять тумэнов[6] кыргызских воинов под предводительством кагана Ажо осадили уйгурскую столицу Харабалгас на реке Орхон, убили уйгурского кагана и взяли в полон его жену Тай-Хо. Победители захватили богатую добычу, во множестве вьюков увезли они золото и драгоценные камни… Но были среди сокровищ две стопки кедровых дощечек-табагын, каждая из которых была стянута шёлковой лентой с золотыми застёжками…

— Я надеялся, что ты, Бессмертный, сам владеешь необходимыми знаниями. Какое отношение старинная легенда может иметь к тайне вечной жизни?

— Я понимаю твоё нетерпение, Великий, но именно сейчас ты услышишь самое интересное! На этих кедровых дощечках был записан якобы рецепт эликсира вечной молодости! И я надеюсь, что эти дощечки до сих пор хранятся среди сокровищ кыргызского хана в государстве Хагяс[7]. Правда, они написаны на древнеуйгурском языке и хитроумно зашифрованы, но ведь не существует такого шифра, который невозможно расшифровать?!

— Я понял тебя, Бессмертный! Если дощечки сохранились, скоро ты будешь держать их в своих руках! И, надеюсь, найдёшь мудрецов, способных прочитать их!

— Да сбудутся твои слова, Великий! Я знаю, что только ты один способен заполучить дощечки…

— Я безгранично рад нашей встрече, Бессмертный, но вчера мною получено известие о хойхэсских горных мятежниках, которые вызвали на бой меня, самого́ Чингисхана Тэмучина. И я просто обязан покарать их за это! Потом я отправлюсь на восток, и ты, если пожелаешь, можешь присоединиться ко мне — хотя бы до той поры, когда мне доставят эти дощечки с рецептом волшебного эликсира…

— Я с величайшим удовольствием погощу у тебя, Великий. И я уверен, что в процессе наших бесед ты сможешь проникнуть в глубины великого учения Дао.

— Мне интересно будет проводить время в беседах с таким мудрецом, как ты, Бессмертный. Правда, учение Дао — это новое учение, а вера в Вечного Тэнгри прошла через множество веков. Поэтому я убеждён, что именно он, благодетельный, всезнающий и справедливый, вершит судьбы каждого человека и целых народов.

— Познав глубину учения Дао, можно приблизить пусть не тело, но дух к бессмертию!

— Согласись, Бессмертный, что в мире существует очень много разных верований, и трудно отличить истинную веру от заблуждения.

— Дао, так же как и вера в Тэнгри, разделяет мироздание на три уровня — три мира. Так что я не вижу большого различия; главное же отличие — в самосозерцании и совершенствовании духа… — не сдавался даос.

— Те, кому Великий Тэнгри благоволит, ощущают его покровительство без участия самосозерцания и за это воздают хвалу ему. Другие же боги живут под ним и не смеют противиться воле Вечного Синего Неба!

— Об этом у нас будет возможность поговорить, Великий, а сейчас позволь горному дикарю удалиться на отдых. Пусть меня ошибочно и величают Бессмертным, но прожитые годы и долгое путешествие дают о себе знать…

Превозмогая боль в затёкшей и нестерпимо ноющей ноге, Тэмучин поднялся, чтобы с почтением проводить даоса до выхода. Кивком головы он подал знак Елюй-Чуцаю, что тот свободен, а услужливый Фао-Шен уже раскладывал подушки, готовясь сделать каану обезболивающий массаж…

Но следом в шатёр вошёл тысячник Егудэй, и Фао-Шен вынужден был прервать свои приготовления. Бросив вопросительный взгляд на каана и не дождавшись никакого знака, китаец покорно присел на корточки возле своего столика. По-видимому, лекарь не был третьим лишним при предстоящем разговоре — последнее время каан нередко доверял своему переводчику, соглядатаю и врачевателю государственные, а иногда и личные тайны. Так что сейчас своему каану, своему повелителю в шатре подобострастно внимали двое.

— В нашей беседе даос Чан-Чунь открыл мне великую тайну, — начал Тэмучин, — причём тайну, требующую незамедлительного исполнения. Ты самый преданный и опытный, а также самый проницательный из всех моих воинов, тысячник Егудэй, поэтому именно тебе я хочу поручить это важное дело.

— Моя душа раскрыта перед твоим всевидящим взором, — отозвался тысячник и склонил голову, — мои уши внимают каждому твоему слову, каан!

— Жизнь каждого из нас начертана Вечным Небом, поэтому и я не властитель своей судьбы, а всего лишь слуга его воли. И порой Небо каждому даёт шанс изменить своё будущее, а единицам — даже шанс изменить будущее всего окружающего мира. Сейчас сам Вечный Тэнгри и я, тень от него на земле, каан Тэмучин, вручаем такой шанс тебе, преданный Егудэй!

— Я выполню всё, что ты прикажешь, каан!

— Мой старший сын Джучи прислал сообщение, что уже скоро, до конца лета, отправит в северные

6. Тумэн включает примерно десять тысяч всадников.

7. Часть раздробившегося Кыргызского каганата, включающая современные Хакасию и Туву.

пределы своего улуса, в страну Хагяс, тумэн Бухи-нойона за лошадями, которые нужны мне для нового похода на юг. Буха хорошо знает те земли, поскольку в год Барса командовал авангардом войска Джучи при подавлении кыргызского мятежа. Это он обратил азов и кыргызов в бегство, несмотря на их упорное сопротивление. И ты, как один из самых мудрых и рассудительных моих воинов, с двумя сотнями «красных волков» отправишься в страну Хагяс. Но о твоей истинной и тайной цели не должен знать никто.
— Даже Буха-нойон, даже Джучи-хан?
— В крайнем случае, только им двоим ты можешь полностью открыться, но запомни, что я бы этого не желал, хотя Буха и приходится мне зятем! А ещё я отправлю с тобой моего лекаря Фао-Шена, потому что он слышал каждое слово даоса, и он напрямую сообщит тебе всё, что записал сегодня во время беседы.

Фао-Шен, услышав эти слова, несколько раз низко поклонился, выражая свою покорность и готовность незамедлительно выполнить любой приказ повелителя.
— Но как я должен объяснить Джучи-хану своё неожиданное появление? — поинтересовался Егудэй.
— Ты скажешь, что его отец, каан Тэмучин, направил тебя отыскать сокровища кыргызского правителя Еди-инала[8]. А если Буха-нойон непременно захочет узнать что-то ещё, напомни ему Великую Книгу Ясы, в которой мною написано: «Мой рядовой кишиктен выше любого армейского начальника-тысячника, а стременной моего кишиктена выше сотника или десятника, так пусть же не чинятся и не равняются с моими кишиктенами армейские тысячники: в возникших по этому поводу ссорах с моими кишиктенами ответственность падёт на тысячников». Твоя золотая пайцза тысячника по этому повелению не ниже золотой пайцзы с львиной головой темника[9] Бухи-нойона, и каждое твоё слово служит наравне приказом для его воинов.
— Когда я должен выступить, каан?
— У тебя ещё достаточно времени, но перед тем, как ты отправишься в ставку Джучи, я напишу секретное послание для моего сына. Возьмёшь с собой две самые лучшие, самые опытные сотни из своей тысячи «красных волков».
— Позволь, каан, взять новую сотню джагуна Седара!
— А-а, это тот удачливый охотник и меткий стрелок? Но ведь он слишком молод и горяч, а кроме того, не закалён в сражениях.
— Да, каан, Седар пока неопытен, к тому же слишком горяч, но я хотел бы взять именно его, потому что этот джагун пристально смотрит на мою дочь Аюшин, да и она, как я заметил, неравнодушна к юному воину.
— Пусть будет так, как ты просишь!

Егудэй, поклонившись, ушёл, а услужливый лекарь тут же начал поправлять подушки, поудобнее устраивая на них каана.
— Великий Чингисхан не боится надолго остаться без верного целителя? — выдержав паузу, задал крайне важный для себя вопрос китаец. — Я заметил, что приготовленные мной мази приносят ему облегчение от боли быстрее, чем другие лекарства.
— У меня найдутся и другие лекари, Фао-Шен, а вот в таком важном деле мне нужны очень надёжные глаза и уши. Кроме того, эти облегчения от мазей кратковременны — всё чаще я вижу сны, в которых получаю раны, всё чаще просыпаюсь по ночам и тороплю рассвет, потому что днём легче пережить боль.
— Надеюсь, Вечное Небо поможет тысячнику Егудэю найти рецепт волшебного эликсира, и тогда Великий Чингисхан навсегда забудет о своих ранах.
— Я хочу не так уж и много, лекарь, — я всего лишь хочу, чтобы по утрам моё старое тело радовалось пробуждению, несмотря ни на что, невзирая на любые невзгоды. Как это было когда-то в счастливой молодости…
— Да, монах-даос открыл великую тайну. Но позволь сказать, Великий Чингисхан!
— Говори.
— Мне показалось, что он был не очень-то учтив с тобой, особенно когда разговор заходил об учении Дао.
— Все веры во Вселенной — одна суть, а все боги — есть Вечный Тэнгри. Поэтому запрещать какую-либо из них в угоду другой нет смысла. Не стоит тратить на это силы, ибо только само Вечное Небо сможет, если пожелает, вывести человека из лабиринта заблуждений…

Конец лета. Во временной ставке кыргызского правителя Еди-инала, в его большом белом шатре, что величественно возвышается на холме неподалёку от крепости Алтын-кёль[10], собрался Большой Совет степи. Тайджи, беги и маатыры[11] самых сильных и славных кыргызских, динлинских и азских[12]

8. «Еди-радетель», или «Еди, радеющий за народ». Высший титул «инал» получали те, кто доказал на деле, что забота о народе для него важнее собственных забот.
9. Военачальник, командующий тумэном.
10. Крепость на юго-западной оконечности Койбальской степи, располагалась на отвесном правом берегу реки Абакан.
11. Тайджи — князья, из которых и избирался правитель; беги, или беки — главы родов у древних тюрков, во время войны возглавлявшие родовое ополчение, подчинялись хану; маатыры — лучшие из воинов, буквально — «лучшие герои».
12. Население княжества Кешдим (современная Тыва), входящего в государство Хагяс. Княжества Уйгурия и Алтай к этому времени обособились.

родов, снаряжающих в битвы тумэн и более всадников, сидели полукругом на мягких коврах подле своего правителя, не сводя с него внимательных и почтительных взглядов, не смея даже облокотиться на располагающие в другое время к отдыху и лени подушки. По правую руку от инала расположился мудрый, как сама жизнь, и седой, как снега вершин священного пятиглавого Пургуса[13], столетний советник Кёнгир. По левую руку правитель собственноручно усадил ещё довольно молодого, мало кому знакомого воина, приплывшего накануне на почти разбитом о подводные камни маленьком плоту по реке Адарчын[14]. На пути к ставке инала, к городу Барсхан, смертельно бледный сейчас от потери крови и сил лазутчик преодолел вражескую засаду и множество яростных порогов. Три догнавших его стрелы выпили много крови, но воин доплыл по рвущейся из узкого каньона западного Кёгмена[15] в просторы Койбальской степи[16] горной реке. Однако сейчас жизнь его неумолимо уносила четвёртая стрела, с чёрным опереньем и белым костяным наконечником, лишь слегка оцарапавшая бедро. Молодой воин уже знал свою судьбу, поэтому на его лице запечатлелась не улыбка гордости за совершённое, а скорбная печать прощания с этим миром.

Еди-инал собственноручно положил на блюдо воина нежное мясо, сам налил в его чашу прохладный айран[17]—ибо он, в отличие от других сидящих в шатре, знал, что та крохотная капелька яда змеи-эфы из наконечника стрелы, несмотря на все усилия лучших знахарей, позволит воину увидеть не более ещё одного-двух солнечных восходов. Даже если он герой и принёс в родную степь такое важное известие, даже если он настоящий маатыр, самой высокой ценой—ценой жизни—выполнивший свой долг. Да, правитель государства Хагяс, а теперь и весь Большой Совет степи предупреждены им о надвигающейся смертельной опасности…

Тем временем на бескрайнюю равнину с редкими пологими холмами торопливо ложилась хмурая, тревожная ночь. Низко стелились тяжёлые облака, будто и не по быстро темнеющему небу плыли они, а подползали из-за дальних холмов на горизонте. Это, должно быть, ветер тревоги согнал их с лежбищ на вершинах Кёгменского хребта? Свет луны, изредка проглядывая сквозь рваную кошму облаков, то выхватывал из темноты каменную крепостную стену, то отражался зловещим сполохом в неспокойной воде Адарчына, стремящегося в объятья могучего Ким-су[18].

Вокруг белого шатра с поднятым над ним зелёным знаменем замерло кольцо всадников в тяжёлых доспехах—это преданная охрана. Воины напряжённо вглядываются в сумрак, чутко слушают звенящую тишину. На левом колене у каждого покоится тугой боевой лук, на тетиве которого приготовилась к смертоносному полёту тяжёлая стрела. Даже если тень крадущейся лисицы возникнет на фоне неба или в переменчивом свете луны—тяжёлые стрелы прервут её путь к шатру. Даже если плавно заскользит над головой силуэт ночной хищницы совы—меткие стрелы оборвут её бесшумный полёт. Потому что даже звери-оборотни, даже оборотни-птицы, в которых может обратиться коварный враг, не должны услышать то, о чём этой ночью говорится на Большом Совете степи…

— Мы когда-то смогли противостоять движущимся с юга, а также с запада и с восхода солнца уйгурам, каракитаям, киданям и найманам,—начал свою проникновенную речь Еди-инал,—хотя эти сражения дорого стоили нашему объединённому народу. Поэтому, когда в год Зайца[19] войско старшего сына Чингисхана Тэмучина Джучи-хана, покорившего ойратов, бурятов, бархунов, урсутов, хабханасов, ханхасов и тубасов, подступило к стенам крепости, то у крепких и надёжных стен её я, тогдашний каган Еди-инал, и мои братья, эльтебер княжества Кешдим[20] мудрый Алтыэр и эльтебер княжества Алтай Олебек-дигин, встретили старшего сына каана кречетами-шинхот, белыми меринами и чёрными соболями. Я не стыжусь того поступка, потому что сохранил не только жизни воинов, но и наши семьи, наши жилища, наши пастбища. Правда, в год Барса[21], когда наши братья-азы подняли восстание, войско ненасытного Джучи под предводительством Бухи-нойона снова пришло зимой по льду Ким-су и силой заставило нас и азов вернуться в его большой улус кыштымами[22]. Он забрал такую добычу, какую захотел, но при этом отнял жизни многих наших воинов. И вот теперь темник Буханойон снова идёт сюда, уже с запада—с верховьев Адарчына! Идёт всего лишь с одним тумэном, но идёт за новой добычей…

В полной тишине присутствовавшие жадно внимали словам. Да, Еди-инал умел красиво и проникновенно говорить, недаром с детства его

13. Гора-двухтысячник Борус, видимая со значительной территории Койбальской степи.
14. Старинное название реки Абакан, левобережного притока Енисея.
15. Древнее название Саянских хребтов—Западного и Восточного Саяна.
16. Степная территория в междуречье Абакана и Енисея.
17. Сквашенное коровье молоко.
18. Древнекыргызское название Енисея, существовавшее одновременно с тувинскими Кем и Улуг-Хем.
19. 1207 год.
20. Древнее название Тувы.
21. 1218 год.
22. Данниками.

учителем был сам мудрый Кёнгир, и не случайно он носил звание инала.

— Верный пёс Джучи-хана ведёт свой тумэн на берега Ким-су, ведёт в нашу Койбальскую степь. Всего, казалось бы, десять тысяч всадников! И он прекрасно знает, что с одним тумэном мы легко можем справиться, что у нас хватит отважных воинов, чтобы развернуть незваных пришельцев назад, в южные степи. Но и мы тоже знаем, что у Чингисхана бесчисленное множество тумэнов и много опытных нойонов-военачальников. Джучи-хану нужен всего лишь повод, чтобы начать большую войну! Так пусть Большой Совет степи сегодня решит, получит ли он этот повод…

Люди в шатре внимательно слушали своего инала. Молча слушал его и приглашённый на Совет не бег и даже не маатыр, а простой динлин — охотник Оспаар.

— Моголам нужен наш скот, — продолжил свою речь Еди-инал, — многочисленный и откормленный, и они, как обычно, не спешат терять своих воинов, если всё можно решить мирно. Так они поступали и поступают всегда! И мы тоже, как я полагаю, вынуждены будем смириться и поделимся с этой прожорливой саранчой своими стадами. Конечно, самых лучших коней и овец мы сможем сохранить для себя, отогнав их сейчас из степи в тайгу и надёжно спрятав в скрытых от ветров и чужих глаз горных логах. Так думаю я, правитель Еди-инал, но так ли решит Совет степи?.. Понятно ли я изложил свои мысли, учитель Кёнгир?

— Всё так, мой инал! Всё сказано правильно, — седой старец утвердительно закивал головой.

Согласно закивало головами и большинство присутствующих. Теперь многим стало ясно, почему Совет собран здесь, в крепости южнее ставки Кемиджкет. В случае, если Совет решит начать войну, в эту крепость стянутся кыргызские тумэны и преградят путь врагу. Если же Совет решит откупиться, то, опять же, предусмотрительный Еди-инал встретит здесь моголов с подарками, чтобы обсудить условия мирного соглашения. И ни один большой аал[23] не подвергнется разграблению, ни один из его жителей не будет убит. Мудр и предусмотрителен, как всегда, Еди-инал…

А тот поднял свою покрытую татуировками руку вверх, призывая всех к вниманию, и продолжил:

— А ещё сидящий рядом со мной воин сообщил, что начальник охраны Чингисхана, тысячник «красных волков» Егудэй, прознал о наших древних сокровищах. Мало кто посвящён в эту тайну, но присутствующим я обязан сказать: сокровища сейчас здесь, в крепости. И если Совет решит — они будут отданы Егудэю! Или же будут увезены в горы. Тогда ненасытная стая должна будет узнать от кого-нибудь, что у нас их уже нет. Пусть ищут там, — Еди-инал обвёл рукой воображаемый горизонт, — а не в крепости и не в ставке Кемиджкет. Кёгменские горы нескончаемы, и бескрайняя тайга надёжно скроет нашу тайну от чужих глаз… Я с чистой совестью смогу сказать Бухе-нойону, что вёз их сюда, в крепость, чтобы передать в подарок каану Тэмучину, но по дороге они были похищены и погоня, которую я послал следом, вернулась ни с чем. Пусть ищут сами…

Каждый из сидящих в шатре не раз за свою жизнь слышал на пирах под звуки чатхана[24] напевные сказания о славном прошлом, когда четыре века тому назад множество тумэнов под предводительством великого Ажо[25] двинулось на завоевателей-уйгуров. Десять тумэнов осадили уйгурскую столицу Орду-Белык на реке Орхон, убили уйгурского кагана и взяли в полон его жену Тай-Хо, а также великое множество сокровищ. Славная была победа, и даже эту крепость, что высится неподалёку от шатра, как и множество других по границам земель, строили потом пленные уйгуры…

— Ты мудр, правитель Еди-инал, но очень неосторожен, ведь здесь много ушей! — сказал сплошь покрытый боевыми татуировками и всегда подозрительный бег Хыят, теребя свою киджеге[26].

— Я верю, что среди нас нет и не может быть предателя! — громкоголосо возразил Еди-инал.

— Пусть будет так, как решил инал! Пусть будет так! — словно многоголосое эхо, зазвучало вокруг.

— Но и это ещё не всё! — инал никогда не любил долгих обсуждений, поэтому перешёл к последнему вопросу. — Встань, Оспаар, охотник с Кёгменских гор, встань и слушай! И слушайте все, собравшиеся на Совет! Пришла пора больших испытаний, и все знают, что наши воины не дрогнули бы в сражениях и много пролили бы крови врагов, прежде чем копыта чужих коней безнаказанно сомнут травы в Койбальской степи. Но сейчас всем живущим по берегам быстрого Адарчына и могучего Ким-су нужно думать о мире. Слушай, старый охотник, слушайте и вы, собравшиеся на Совет! Наступает время тяжёлых испытаний, поэтому мы должны предусмотрительно думать о завтрашнем дне…

Участники Совета одобрительно закивали, одобряя мудрые слова своего правителя.

23. Полукочевое селение с переносными юртами.
24. Хакасский 3–4 струнный инструмент типа гуслей в форме продолговатого ящика. Корпус выдалбливался из цельного куска кедра, струны плелись из конского волоса, их тембр регулировался подкладываемыми бабками — короткими надкопытными суставами овец.
25. Верховный правитель Кыргызского каганата.
26. Заплетённая сзади коса у кыргызов, так же как у китайцев и монголов, являлась признаком мужественности.

— Для тебя, охотник Оспаар,— продолжил инал,— есть важное дело, и сейчас, после принятого решения, оно стало главным. Пусть его тоже решит Совет, всем членам которого я доверяю как себе… Кочуя по границе степи и Кёгменских гор, наши предки и предки наших предков нашли много золота и серебра. Это богатство подарили им щедрые горы, а ещё много дорогих украшений и самоцветных камней отдали за коней и овец проходящие через Койбальскую степь кочевые племена. Всё это хранилось на «чёрный» день, ибо в самый засушливый и неурожайный год только сокровища смогут спасти наш народ от голода. Должны ли мы сейчас отдать всё накопленное прознавшим о наших богатствах алчным захватчикам?
— Нет! Нет!— послышалось со всех сторон шатра.— Могольский каан и без того богат!
— Это стадо мелких племён и безвестных народов набрало большую силу!— выкрикнул Хыят.— В насмешку над всеми они называют себя моголами — то есть великими! Но настанет время, когда из-за чужих богатств эти дикари начнут ломать хребты друг другу!..
— Скажи нам, знающий горы Оспаар,— снова обратился к охотнику Еди-инал, когда затих шум голосов в шатре,— есть ли в предгорьях снежных хребтов известное лишь тебе одному потаённое место? Такое место, в котором спрятанные сокровища невозможно найти никому?

Задумался седовласый охотник под вопрошающими взглядами окружающих, не торопясь ответить на вопрос.
— И я ещё не всё сказал вам, соплеменники,— давая охотнику время подумать, снова заговорил инал.— Более четырёх веков тому назад, когда могучее Кёгменское государство победило сильных уйгуров, наши воины захватили богатую добычу. Мало кто знает теперь, как велики были тогдашние боевые трофеи! Во множестве вьюков привезены были в ставку и браслеты-плексес, и перстни с аксамитами, золотистыми топазами, голубыми аквамаринами, зелёными смарагдами, синеватыми сапфирами… И знайте, что все сокровища доныне принадлежат нашему народу! Как мы считали, с тех давних пор враги позабыли об этом богатстве, но, как оказалась, великая тайна уже перестала быть тайной. Потому об этом узнает теперь и Совет, узнаешь и ты, охотник Оспаар… А ещё…— инал посмотрел сначала на мудрого Кёнгира, который едва заметно ему кивнул, а потом окинул испытующим взглядом буквально заворожённых его словами участников Большого Совета.— А ещё я скажу вам о том, что до сих пор оставалось тайной для всех, и лишь я да ещё один посвящённый были хранителями её. Совсем недавно Чингисхан Тэмучин узнал от монаха-даоса эту тайну тайн, так что, посылая в наши степи своих лучших воинов, он думает не только о скоте и сокровищах. У него ведь и так много золота, недаром он сидит в золотом шатре на золотом троне! У даоса Чан-Чуня, который недавно проезжал через земли Алтая в его ставку, Чингисхан узнал о рецепте эликсира бессмертия…
— Сладкоязычный монах тоже продался жестокому Тэмучину!— воскликнул нетерпеливый Хыят.— Говорят, что сам он живёт уже триста лет?!
— Нет, сам Чан-Чунь не владеет секретом,— продолжил Еди-инал,— но от него Чингисхан получил сведения, что вместе с драгоценностями победители уйгуров захватили две стопки кедровых дощечек-табагын, каждая из которых стянута шёлковыми лентами с золотыми застёжками. Именно за ними послан сюда Егудэй. Так утверждает этот великий воин, что сидит рядом со мной…

Еди-инал опустил глаза и положил руку на плечо воина, а помолчав несколько мгновений, продолжил, глядя уже на собравшихся:
— Эти древние табагын — вот что нужно в первую очередь «наследнику меркитского плена» Джучихану! Ими он хочет купить расположение отца и возвыситься над своими братьями на белом войлоке почёта, чтобы впоследствии стать преемником Чингисхана. Каганы кыргызских земель четыре века передавали табагын с древними уйгурскими письменами по наследству, зная об их назначении, но так и не сумев разгадать хитроумный шифр. Учёный же монах Чан-Чунь утверждает, что изучил тот древний забытый язык, и якобы пообещал прочесть начертанное. Во всяком случае, он заверил Чингисхана, что только на этих табагын и сохранился единственный настоящий рецепт возвращения молодости — рецепт, открывающий тайну вечной жизни…
— Каан Тэмучин, видимо, совсем плох, раз его воины не стали дожидаться зимы, когда морозы скуют Ким-су и он превратится в лёгкую дорогу для всадников?— задал вопрос сидящий напротив Еди-инала бег Сагай.
— Чингисхану Тэмучину мало великой славы и великих смертей, он хочет повелевать и убивать вечно…— задумчиво поглаживая свою белоснежную бороду, глубокомысленно промолвил старый Кёнгир.— Он, видимо, посчитал, что в долгих беседах с даосом Чан-Чунем уже нашёл ответ, как продлить свою жизнь… Это последняя надежда Тэмучина и главная ценность на просторах наших кыргызских земель! И я думаю, что он не должен получить от нас даже столь призрачную надежду!..
— Да! Да! Именно так!— зазвучало под сводом шатра множество голосов.

Почтительно замолчавший при первых же словах Кёнгира, Еди-инал снова обратился к охотнику:
— Так ответь мне, Оспаар, знающий все звериные и человеческие тропы в тайге и в горах: сможешь ли ты сохранить эти сокровища для нашего

народа, для будущих поколений? Я понимаю, что это нелегко. Вот этот воин, который сейчас угасает от действия змеиного яда, самолично видел, как седлали коней две сотни «красных волков» — лучших воинов из личного тумэна каана. Во главе их глаза и уши Чингисхана, хитрая лиса и беспощадный ирбис[27] в одном лице — тысячник Егудэй. Они будут мчаться на своих быстрых скакунах впереди и по сторонам тумэна Бухи-нойона, вынюхивая добычу, словно настоящая волчья стая. И не было случая, охотник Оспаар, чтобы Егудэй со своими «красными волками» не исполнил приказа своего повелителя…

— Страшный Егудэй, этот преданный пёс каана Тэмучина, идёт к нам за бесценными кедровыми дощечками, — утвердительно закивал головой седобородый Кёнгир, — а все остальные драгоценности — это всего лишь награда его воинам. Понял ли ты это, охотник Оспаар?

— Я не пропустил ни одного слова, посадив своё внимание на скачущего коня, — медленно подбирая слова, заговорил старый охотник. — Язык же мой всегда следует пешком и без спешки, чтоб не споткнуться… Далеко в горах, у розовых скал, каких немало встречается на Кёгмене, есть скрытая глубоко под землёй пещера. Найти её не сможет ни один человек, в том числе и воины Егудэя, так гордящиеся своими шапками из шкуры красного волка…

— Хорошо, Оспаар! — согласился Еди-инал при полном молчании Совета. — Я доверяю твоему твёрдому слову. Завтра утром, на восходе солнца, бег Хыят лично отберёт для тебя пятьдесят самых лучших, самых резвых коней, а ты лишь проследи, чтобы половину из них умело навьючили, потому что кожаные мешки и перемётные сумы будут достаточно тяжелы…

Осторожный Еди-инал сказал Большому Совету не всё, недаром с детских лет его советником был мудрый и предусмотрительный Кёнгир. Как нельзя всю воду хранить в одном хрупком кувшине, так и все сокровища глупо хранить в одном месте, а тайна, о которой знают всего лишь двое, — это уже не тайна. А тем более — если она известна многим. Инал умолчал о том, что драгоценные камни и самые дорогие украшения, которые поместились всего лишь в нескольких небольших кожаных мешках, давным-давно захоронены в надёжном месте. Правители любой из стран на юге отдали бы, не торгуясь, за эти бесценные самоцветы половину своих стад и хранилищ зерна, но до поры до времени единственными хранителями тайного места являются лишь дождь и ветер, да ещё, может быть, бессловесные суслики, которые в степи роют норы повсюду.

Когда участники Большого Совета разъехались, в шатре остались три человека: правитель Еди-инал, его советник Кёнгир и старый охотник.

— Охотник Оспаар, — снова задал вопрос инал, — уверен ли ты, что «красные волки» не найдут твою потайную пещеру?

— О ней знают лишь я да ещё мои сыновья, которые уйдут со мной. И даже я, всю жизнь проведший в горах, обнаружил пещеру лишь потому, что в страшную, сокрушающую деревья грозу меня привёл к ней Чёрный Ажо…

— Ты встречался с самим Чёрным Ажо? — удивлённо переспросил старый Кёнгир. — Такая встреча предвещает либо большую удачу, либо большую беду…

— Да, — подтвердил охотник, — мне довелось увидеть этого чёрного, как самая тёмная ночь, марала. Старики утверждают, что Главный Хан гор и тайги Чёрный Ажо рождается раз в сто лет, и увидеть его — великое счастье для человека. Он могуч и справедлив, он не боится ничего и никого, поэтому иногда помогает даже охотникам, попавшим в беду…

— Стоит ли нам сейчас выслушивать сказки? — Еди-инал поднял на советника Кёнгира вопрошающий взгляд, и на лице его лежала тень недоверия. — Они уместны на весёлом тое или на ночь для детей, но не в таком серьёзном деле. Во всяком случае, не сегодня, охотник Оспаар!

— А я верю охотнику, — не согласился Кёнгир. — Старые предания о встречах с Чёрным Ажо пришли к нам от очень уважаемых людей, каждое слово которых заслуживает доверия. Встреча с Властелином тайги хорошему человеку сулит удачу, а значит, и место, где его встретил охотник Оспаар, тоже сулит удачу…

В ответ на эти слова охотник вытащил из-за пояса нож с костяной ручкой и костяными накладками на ножнах и протянул его правителю.

— Я побоялся, что злые духи со временем отведут меня от тайного места, не позволят ещё раз войти в пещеру или просто украдут мою память, поэтому вырезал на кости приметные вершины и знаки, которые оставил для себя в тайге. Нож я оставляю в залог того, что мои слова правдивы, и ещё потому, что у вас он будет сохранней.

— Может, стоит просто уничтожить его? — спросил Еди-инал.

— Ни к чему уничтожать, мой инал, — ответил охотник. — Даже с ним никто, кроме меня и моих сыновей, не найдёт вход в пещеру. Я заберу его, когда минует угроза и мы с сыновьями вернёмся сюда.

— Хорошо, вместе с ним вы получите ещё и достойную награду.

— Мудрый Кёнгир, — обратился вдруг к советнику Оспаар, — зачем ты так неосторожно рассказал Совету о бесценных табагын?

— Я уверен, что Чан-Чунь ввёл в заблуждение каана Тэмучина, — спокойно ответил старик, — ибо

27. Снежный барс, живущий на труднодоступных вершинах Саянских гор.

вечная жизнь не дана ни великому воину, ни даже самому большому мудрецу. Я думаю, что дощечки невозможно прочитать, а если это и не так, то разве не истина, что того, кто написал рецепт, давно уже нет в живых? Ибо даже эти кедровые дощечки пережили его…

— А ещё, мой инал,— обратился охотник теперь уже к правителю,— прикажи бегу Хыяту привезти два раза по пять десятков лошадей. И пусть это будут не самые быстрые кони — лучше, чтобы они были привычными к горным тропам.

— Зачем тебе столько коней? — удивлённо спросил Кёнгир.— Ведь поклажа для каждого будет невелика, а среди них и так половина запасных…

— Слишком много людей увидят мой отъезд, поэтому в горы должны уйти два каравана: один как можно более скрытно уведу я с сыновьями и без охраны, а другой, с многочисленным сопровождением, до самых предгорий пусть поведёт твой верный человек. Пусть мешки с простыми камнями станут, хотя бы поначалу, аппетитной костью для «красных волков» Егудэя.

— Да, сделаем именно так,— согласился Еди-инал.— Среди воинов Егудэя много хороших следопытов, и в конце концов они всё равно ринутся за тобой, словно стая голодных волков. Нужно, чтобы они как можно дольше шли по ложному следу, пока не потеряют время, а потом и надежду…

Короток день сборов, и поэтому кажется, что ночь пришла раньше срока. Свет луны лишь изредка и ненадолго пробивается в разрывы туч — и тогда ближние курганы призрачно серебрятся, напоминая горбы огромных спящих верблюдов. Устремлённая же вертикально вверх и как будто достигающая туч священная гора Умай в такие моменты представляется серебряной подпоркой, удерживающей от падения на землю тяжёлое небо. Отсюда, от подножья, на ней невозможно разглядеть силуэт скачущего коня, который и при жёлтом свете солнца, и при белом свете луны хорошо виден с берега Ким-су. Тёмные кроны разросшихся сосен давным-давно создали на склоне этот священный для каждого степняка рисунок, который даже время не смогло размыть, даже таёжные пожары не смогли уничтожить…

Когда же луна вновь скрывается, то пространство совсем сжимается — и пламя угасающего костра окрашивает в красноватый цвет лишь траву вокруг да зловещую личину каменного изваяния. Да ещё шамана в чёрных одеждах, склонившегося перед ним.

Опустившись от безграничной усталости на колени и положив рядом бубен, шаман обмазал каменные губы изваяния кровью жертвенного чёрного барана и зарыл баранью лопатку в горячую золу. Люди, плотным кольцом окружившие костёр и лишь едва угадывающиеся во тьме, замерли в молчаливом ожидании…

Вот шаман достал лопатку, сдул с неё золу и, плюнув три раза, стал внимательно разглядывать в свете костра. В наступившей тишине заговорил сначала тихо, а потом всё громче и громче:

— Вижу большую реку, вырывающуюся из высоких гор… Вижу несметную чёрную силу, движущуюся сюда вдоль реки. Она приближается к юртам у подножья гор! Это наши юрты! Но вижу также, что не будут они сожжены, а останутся стоять, когда чёрные всадники повернут назад…

Словно ветер прошелестел вокруг — это вздох облегчения пронёсся над священным местом у подножья горы Умай…

А перед самым восходом солнца, когда на востоке едва заалело небо над цепочкой далёких горных пиков, большой караван в сотню лошадей вышел из крепости. Не в столицу Алтын-кёль лежал его путь, а на восток, в сторону Ким-су.

Лишь после полудня всадники с гружёными лошадьми в поводу достигли берега могучей реки и там разделились: одни повернули на юг — туда, где сверкала белыми шапками высочайшая гора Кёгмена пятиглавый Пургус, а другие переправились на подготовленных заранее плотах на противоположный берег. Этот второй караван в полсотни коней повёл на восток охотник Оспаар в сопровождении своих сыновей.

Весь путь охотник и сопровождавшие внимательно смотрели по сторонам: не возникнет ли на горизонте, на вершине какого-либо из возвышавшихся в степи курганов силуэт всадника — вражеского разведчика? Но всё было спокойно, лишь пересвистывались потревоженные тяжёлой поступью коней суслики, да неподвижно парили высоко над головой выслеживающие добычу коршуны. Коней старались вести не след в след, чтобы не выбивалась заметная тропа. А так пройдёт несколько дней, и примятая трава выпрямится, особенно после дождя. Тогда даже опытный следопыт не сразу обнаружит, что здесь прошли гружёные кони. Когда же приблизились, наконец, к покрытым густой тайгой горам, Оспаар совсем успокоился: под плотным пологом леса даже самый зоркий глаз из степи не разглядит цепочку коней и людей, не прокрадётся по следу мимо оставленных позади в засадах сыновей. Они-то хорошо знают этот путь, и задние спустя какое-то время догонят караван — чтобы снова затаиться за скалой или в густой кроне дерева…

Ближе к вечеру второго дня караван вышел к предгорьям, и там, под покровом густого леса, Оспаар повернул на юг. Какое-то время они двигались вдоль берега довольно широкой речки, изрезанного глубокими логами, со сбегающими по ним бурными ручьями. А утром следующего дня Оспаар разделил караван, и трое его сыновей повернули

ненагруженных лошадей в крутой каменистый лог, по дну которого звонко сбегал пенистый ручей. Остальных коней он повёл дальше — в один из пологих и неприметных сухих ложков, перед которым на копыта всех коней надел небольшие кожаные чулки. Теперь даже самый опытный глаз не смог бы определить, что за зверь кое-где на склоне примял низкорослую траву или сбил с камня мох.

Всё дальше и всё выше уходили оба каравана в однообразную бескрайность тайги, всё больше углублялись в теснины между возвышающимися над нею скальными грядами. Старый охотник стал чаще и внимательней посматривать на причудливые скалы-останцы, вздымающиеся среди могучих кедров, сверяя по ним свой путь. Один раз почудилось ему сквозь ветви деревьев, что на отвесной серой скале возник силуэт чёрного марала. Сделав несколько шагов, Оспаар явственно разглядел в наступающих сумерках его: неподвижно замершего, гордо вскинувшего голову с огромными ветвистыми рогами. Чёрный Ажо будто пришёл взглянуть на пробирающихся к неизвестной цели лошадей и людей.

Оспаар улыбнулся, подумал: нет, не показалось — это сам Хан Тайги вышел его встречать. Чёрный Ажо помог ему тогда — поможет и теперь в его правом деле…

На очередной развилке двух уходящих вниз и ничем не отличаемых от предыдущих логов Оспаар остановил караван на короткий отдых. До заветной пещеры оставалось совсем немного. Он и три его сына разгрузят караван, а потом сыновья уведут лошадей дальше… Чтобы потом всем собраться вместе и скрытно охранять подступы к тайной пещере. А ещё лучше увести врагов по ложному следу — только так можно сохранить доверенную им тайну…

Да, много, очень много дошло до кыргызских земель слухов о невероятной прозорливости «красных волков» и о жестокости их начальника Егудэя, который изощрёнными пытками мог заставить говорить любого. А могольские лазутчики — эти глаза и уши Чингисхана — всегда славились своей изобретательностью. Так, готовя будущий поход в земли аланов и кипчаков, они присылали оттуда в подарок своему хану рулоны дешёвых ковров, на первый взгляд поражавших полной безвкусицей. Непонятные узоры из разноцветных переплетающихся линий, вкрапления чёрных и синих фигур… Много рук разворачивали эти ковры по пути через границы государств, много ртов кривилось в усмешке — и ни одни глаза не увидели в них карты местности и будущие пути, по которым вскоре двинутся через Ширванское ущелье всесокрушающие тумэны Великого каана…

Нашествие — словно степной пожар. Перед этим жизнь течёт много дней спокойно и размеренно, убаюкивая своим спокойствием и монотонностью. И вроде бы ничего не предвещает беды, поскольку чист дальний горизонт, сочно зеленеет трава, лениво пасётся скот… Но вот чей-то зоркий глаз замечает, что вдали возникла тоненькая, едва приметная струйка дыма. Это ещё не угроза: может, пастухи бросили в свой костёр сырые дрова, может, кто-то выжигает участок под будущую пашню. Даже если загорелась от непотушенного костра прошлогодняя трава, огонь может вскоре заглохнуть, упёршись в ручей или в каменную осыпь, может уйти в другую сторону — и угаснуть в бескрайней степи, наткнувшись на ещё одно пепелище. То есть может просто обозначить себя на дальнем горизонте — чтобы там же, вдали, и умереть под струями, например, спасительного дождя…

Да, дымок на горизонте — это ещё не угроза. Однако порой не успеешь оглянуться, как вот она, беда, рядом — с порывом ветра поднимается из сухой травы огненная стена! И нет от этой всепожирающей силы пощады ни молодой пробивающейся траве, ни раскрывшим первые клейкие листья деревьям, ни степной живности. И нет уже никакого сомнения, что промчится она, подгоняемая неведомо откуда налетевшим ураганом, через всю обозримую степь, оставляя позади лишь смерть и чёрную выжженную землю, которой немало дней, а то и лет понадобится потом, чтобы заново родить жизнь. И для людей тоже остаётся единственное спасение — это вскочить на быстрого скакуна и, бросив беспощадному врагу юрту и хозяйство, спасаться бегством. Потому как не отсекут уже теперь от набравшего силу огня ни ручьи, ни озёра, а может преградить ему путь лишь большая вода. Только полноводный Ким-су способен остановить любую огненную стихию и заставить её биться в бессильной ярости, умирая у кромки реки…

Но могучий, полноводный Ким-су способен остановить и вражеское нашествие. Не раз защищал он племена земледельцев и скотоводов кыргызской земли от армий завоевателей и орд грабителей. Высокие крутые хребты и широкая стремнина Ким-су, прорезающего хребет Кёгмен, являлись той пограничной стражей, той непреодолимой преградой, которая отбивала охотку к поживе у многих. Ведь пеший степняк — плохой воин, а их лошади не могут преодолевать почти отвесные скалистые склоны, пересекать многочисленные курумники[28] — эти предательски неустойчивые россыпи огромных камней. Может быть, и можно за много дней да с невероятными трудностями прийти со знающим проводником из могольских степей по тайным тропам — но вот

28. Россыпь крупных, иногда подвижных, камней на склонах гор и в распадках между ними.

как возвращаться по ним с тяжёлой добычей? Неминуемо настигнет погоня… Большой же воды степняки страшились всегда: не только боялись сплавляться через кипящие пеной пороги и перекаты, но и организовать переправу, тем более для многочисленного отряда, было для них достаточно трудной задачей. Так что Ким-су во все времена служил серьёзной преградой для захватчиков…

Но на этот раз чёрная сила пришла не по льду замёрзшего Ким-су, а через Кёгмен — да к тому же, нежданно, летом. Эту силу, казалось бы, можно было победить, но тогда следом придёт другая, бесчисленная и ещё более беспощадная. И останется либо всем погибнуть в неравной битве, либо покориться, но уже с великим позором…

Всего-то два дня прошло с тех пор, как ушёл к Ким-су большой караван, а уже гудела от тяжёлого конского топота Койбальская степь. Чуда не произошло: пришла беда, какой вот уже почти пять лет не знала эта земля. Могольские конники из тумэна Бухи-нойона заполонили весь горизонт. И впервые враги пришли не с юга и не с востока, а, словно чёрная лавина, накатывались они с запада, со стороны кровавого предвечернего солнца. «Кху! Кху! Кху» — нёсся впереди них вырывающийся из десяти тысяч глоток пронзительный боевой клич, который не только наводил ужас на женщин и детей, но вселял страх даже в сердца давно уже отвыкших бояться чего-либо стариков, леденил души закалённых в сражениях воинов.

И правитель Еди-инал, услышав этот клич, вышел навстречу моголам из своего шестнадцатиугольного белого шатра с опущенной головой: беду подобает встречать мужественно и покорно…

Буха с самого начала похода был уверен, что никакого серьёзного сопротивления воины государства Хагяс не окажут. Слишком мало времени прошло с его предыдущего похода, слишком свежа память кыргызов о сокрушительном поражении. К тому же подтаёжные степняки, живущие земледелием и скотоводством, не оттачивают постоянно своё военное мастерство в набегах, не готовятся ежечасно к предстоящей войне.

Да, кыргызы не успели оправиться после разгрома их Джучи-ханом, и осторожный кыргызский хан Еди-инал не решился оказать сопротивление даже одному-единственному тумэну. Правитель Кёгменской страны встречал могольских воинов не острыми стрелами — он встречал их как дорогих гостей.

«Их не нужно убивать, их нужно просто снова подчинить, — сказал Джучи-хан своему нойону, а он, темник Буха, передал эти слова своим тысячникам. — Пусть, как и прежде, они пасут свои отары овец и табуны быстрых скакунов, пусть сеют рожь и пшеницу — но пусть снова вспомнят, что живут они не для себя, а для Великого каана. И, конечно же, для всех, ведущих начало от Сизого Волка и Пёстрой Лани… Джучи-хан справедлив, он определил, что каждой осенью будет забирать лишь половину, а то и треть скота, откормленного на сочных травах, что растут вдоль берегов реки Йенесай. И в котлах их юрт пусть тоже варится сытное мясо — если не будут лениться, если будут исправно платить албан[29] своему повелителю…»

Нет, не напрасно Еди-инал всегда ценил советы мудрого советника — старого Кёнгира, и, может быть, именно поэтому полностью доверяли ему беги всех подвластных степных родов. Именно благодаря умным советам Кёнгира и поддержке всего народа инал становился воинственным, когда это нужно, или, наоборот, вооружался самым действенным оружием — предусмотрительностью. Вот и сейчас он почтительно, внешне даже подобострастно поклонился Бухе-нойону, пригласил в свой большой шатёр, усадил на самое почётное место, стал расспрашивать о здоровье Джучи-хана и его отца, Великого Покорителя стран и народов Чингисхана.

Нойон же, окончательно убедившись, что сражаться не придётся, находился в раздвоенном состоянии чувств. Его не остывший боевой пыл воина жаждал пусть небольшой, но привычно будоражащей душу яростной схватки, жаждал крови поверженных противников и мольбы о пощаде тех, кто остался жив. Так уже было на этой земле пять лет тому назад! В то же время трезвый разум нойона успокаивал: «Пусть в такой победе меньше доблести, зато все воины останутся целы и отдохнут после изнурительного перехода через горы, а их кони быстро восстановят силы на здешних прекрасных пастбищах…» В этом непростом споре сердца и разума военачальник вынужден был всё-таки согласиться с разумом.

Приняв окончательное решение в пользу мирных переговоров, Буха облегчённо надул щёки и даже довольно щёлкнул пальцами, когда сам правитель кыргызов Еди-инал поднёс ему в золотой чаше молодую конину, а в прекрасном золотом кубке — прохладный айран. И хозяин шатра без напоминаний, под внимательным взглядом нойона, первым отщипнул кусочек мяса и отпил из кубка — и только после этого передал угощение.

Данный ритуал требовал непременного соблюдения, ибо моголы, помня судьбу отца Чингисхана, не доверяли чужим, боясь быть отравленными. Следом молодые девушки в нарядных одеждах из узорного шёлка, шеи которых ещё не покрывали татуировки замужества, поднесли горячую пищу и пьянящие напитки сидящим полукругом по сторонам от Бухи тысячникам. Они во множестве ставили на ковры варёную конину и баранину, сыры и колбасы — ибо ходила среди кыргызов насмешливая притча, что, садясь утром в сёдла,

29. Установленная дань.

могольские воины не едят, жалея лошадей, зато вечером, перед сном, набрасываются на еду, словно голодные собаки. Будто бы они даже выкапывают углубление под кошмой, на которой укладываются спать, чтобы поместить туда свой туго набитый живот.

Бухе-нойону почтительный хозяин время от времени собственноручно подносил золотой кубок, наполненный арачаном[30] из старинного сасанидского серебряного кувшина, тысячники же без меры пили из белых чашек танского фарфора крепкие араку[31] и арзу[32]. Довольный угощением нойон прямо тут же, во время трапезы, начал перечислять, какую дань они намерены получить от страны кыргызов. Действительно, что церемониться, если эта страна не имеет даже единого названия, и называют её то Хонгораем, или Кёгменской страной, то страной Хагяс, то государством Кыргыз?.. Тем более что и подвластный хан Еди-инал не возражал, а только согласно и покорно кивал головой…

— Ты мудрый правитель, Кыргыз-хан, недаром встретил меня на границе Еди-Урун[33], а не в своей столице — изрёк довольный нойон. — Ведь мои воины могут и не пойти дальше, они могут обустроить ставку здесь. Если, конечно, всё это время будет достаточно молодого мяса и крепкой арзы…

Еди-инал опять согласно кивнул головой и подал знак. В шатёр внесли подарки для Бухи и его тысячников. Это были богато украшенные мехами одежды и прекрасные сабли с резными рукоятками и накладками на ножнах из рога худу[34]. А перед Бухой положили ещё и превосходный куяк[35], собранный из железных пластин с золотыми накладками, изображающими хищных зверей.

Благосклонно принимая подарки, нойон признал:

— Да, ты богат, правитель Еди-инал, но всё равно тебе далеко до нашего каана Чингисхана. У него есть шатёр из белого китайского шёлка, который может вместить две тысячи человек, и есть шатёр из пламенно-красного пурпура необычайной красоты… У тебя, правда, много мехов соболей и серой белки, много жёлтого рога худу и, как я вижу, много золота и серебра. Но и у нашего каана всего этого в избытке, а если он только захочет, будет много больше. Однако у тебя есть то, что именно сейчас нужно Чингисхану, — это тысячи прекрасных лошадей, необходимых его воинам в новом походе. И ещё, я знаю, есть нечто, что дороже всех твоих табунов. Отдай мне те сокровища, что были захвачены несколько веков тому назад вашим каганом Ажо в столице покорённых уйгуров, — и я возьму гораздо меньше коней, чем ты ожидаешь, и ещё пообещаю, что ни один волос не упадёт с головы ни одного из твоих подданных…

— Зачем гнать коней в нашей беседе? — уклончиво ответил Еди-инал. — Ведь за табуном мыслей могут не поспевать пастухи-слова. Для серьёзного разговора наступит утро, когда головы станут такими же ясными, как чистое утреннее небо.

И правда, от смешивания крепких напитков Буха основательно захмелел, поэтому сейчас запоздало думал, что утром его ждёт, скорее всего, жестокая головная боль, причём именно такая: будто табун лошадей скачет в голове.

«Пусть скачут, — подумал он умиротворённо и пьяно. — Пусть скачут во сне прямо в родные края, на серебряный Онон и золотой Керулен. А воины уже завтра начнут отбирать в кыргызских табунах всех белых коней, которые не боятся палящего солнца Хорасана. И будут выжигать на их шкурах чёрную тамгу-круг[36] Джучи, которая так легко превращается в тамгу самого Чингисхана…»

— Прекрасно! Всё просто чудесно! — воскликнул нойон, поднимая в очередной раз золотую пиалу с арачаном за здоровье Джучи-хана.

Но неприятная, отрезвляющая мысль, словно бы сделав круг, вернулась — и он попытался вспомнить, сам Великий Чингисхан сказал это, Джучи-хан или ещё кто-то другой? «Никогда не унижай загнанный в угол народ, в глазах которого светится гордость…» Нет, совсем не напрасно мысль вновь и вновь посещала хмельную голову Бухи-нойона, ибо даже в потупленных глазах кыргызского хана он видел эту гордость, горевшую негасимым огнём…

Из всего окружения Бухи-нойона один лишь тысячник «красных волков» Егудэй не пил и был, похоже, в плохом настроении, хотя и пытался скрыть это. Зато посаженному рядом советнику Еди-инала, седобородому Кёнгиру, который был приведён по его приказу, Егудэй то и дело подливал в пиалу крепкую арзу. Для остальных моголов было непонятно, почему тысячник оказывает такую честь какому-то старику, но в дела грозного приближённого Чингисхана никто и никогда не вмешивался. Пусть у Бухи висит на шее золотая пайцза темника с львиной головой, а у Егудэя всего лишь золотая пайцза, которая в два раза легче по весу, — но любое слово тысячника «красных волков» является для всех окружающих и приказом, и законом!

……………………

30. Натуральное плодовое или ягодное вино.
31. Алкогольный напиток на основе коровьего молока.
32. Очень крепкий алкогольный напиток из кумыса, который пьют горячим.
33. Семь урочищ (монг.), то же — Хакасско-Минусинская котловина.
34. Ископаемый бивень мамонта.
35. Защитный боевой панцирь из подвижно скреплённых пластин.
36. Тамга Чингисхана отличалась лишь дополнительной чертой внизу.

Старый Кёнгир поначалу отказывался пить, ссылаясь на возраст и слабое здоровье, но после нескольких настойчивых жестов Егудэя вынужден был пригубить чашу хмельного напитка. Правда, он схитрил: недопитую чашу поставил на ковёр и тут же, перекрыв нестройный гул голосов, предложил выпить за «бесстрашного воина Великого каана, славного Буху-нойона». Сказал—и вслед за всеми выпил остаток арзы. Потом, как старик ни отказывался, последовала вторая, третья чаша... Язык Кёнгира уже заплетался, но в прищуренных глазах его, как показалось тысячнику «красных волков», сквозила вполне трезвая усмешка. Хитрый Егудэй и не подозревал, что седой старик просто-напросто перехитрил его, как мальчишку: каждый раз он «выпивал» пустую чашу сидящего рядом тысячника Таргана, подставляя ему свою, полную до краёв. Не так уж и трудно среди общего пьяного веселья, среди тянущихся к лакомствам рук выждать момент и сделать подмену. Недаром Тарган опьянел раньше всех и в конце концов захрапел, опрокинувшись на спину. По знаку хотя и захмелевшего, но всё видящего и замечающего нойона спящего тут же унесли из шатра.

— Одна чаша арзы—мало, две—много, а три—снова недостаточно...—бормотал хитрый Кёнгир, пьяно раскачиваясь и прикрывая будто бы отяжелевшие веки.

Когда Егудэй решил, что старик достаточно пьян, он задал свой главный вопрос:

— Скажи мне, уважаемый аксакал[37], ведь ты всё знаешь и видишь? Что за караван гружёных лошадей ушел на рассвете из орды хана? Его видели многие... С чем он был и куда направлялся?

— Я сам не видел,—пьяно забормотал Кёнгир,—но говорят, что вёл караван большой и лохматый айна[38] со лбом словно дно казана, с глазами словно чёрные чашки, с лицом корявым, как старое суковатое дерево... Он восседал на белом хромом верблюде, а верблюд ревел и плевался на целую стаю ирликов[39]. Сильно ругались ирлики, однако путь держали на восток, вместе с караваном. Наверно, далеко уже ушли, не догнать никому... Кроме твоих быстрых и смелых воинов, конечно...

Истощив свою фантазию, якобы пьяный Кёнгир ласково улыбнулся Егудэю и даже сделал вид, что хочет обнять его. Однако тысячник брезгливо отстранился от невменяемого старика и поднялся—у него было ещё много важных дел...

На восходе солнца сотня «красных волков» всё же проверила «пьяную» болтовню Кёнгира. Следы большого каравана нашли сразу: трава была вытоптана копытами тяжело гружённых коней. Выбитая множеством лошадей заметная тропа привела в конце концов на обрывистый берег Йенесая. Дальше таинственный караван, судя по менее глубокому следу, двинулся заметно разгруженным, а потом следы стали расходиться в разные стороны, пока не исчезли совсем.

«Похоже,—рассуждал Егудэй,—вполне реальные люди, а не айна с ирликами, облегчили здесь тяжёлые ноши коней».

Он подошёл к кромке обрыва и стал всматриваться в прозрачную глубину. Глубоко в воде, на песчаном дне, заметно выделялись в косых лучах солнца кучки серых камней.

«Ну что ж, хитрый старик Кёнгир, ты ещё поплатишься за свой обман!—рассвирепел тысячник.—На свою беду ты вздумал дурачить меня детскими сказками!..»

Когда прошла вспышка ярости, Егудэй уже не сомневался, что он на правильном пути и что непременно должен быть ещё один караван. И что сокровища явно увезены совсем в другом направлении...

Рассыпавшись на десятки, «красные волки» помчались по степи и в обе стороны вдоль берега Йенесая: к устью Адарчына, и в сторону белевшего пятью снежными шапками Пургуса. Каждый след, каждая метка, каждый курган и менгир, каждая кучка камней привлекали самое пристальное их внимание. Тысячник Егудэй щедро пообещал, что тому, кто первым отыщет сокровища, отдать десятую часть всего найденного.

На другой день, не найдя ничего, всё больше и больше десятников поворачивали свои отряды назад, решив, что потайное место находится отнюдь не в степи, а, скорее всего, на противоположном берегу—в горной тайге. Когда же обнаружили на песчаных косах противоположного берега несколько выброшенных водой деревянных плотов, поиски полностью переключили на береговую полосу за Йенесаем. И множество могольских отрядов целенаправленно и азартно помчались по почти исчезнувшему следу каравана. Теперь всё зависело не только от их внимательности, но и от счастливого случая, который, как правило, прежде всегда оказывался на стороне «красных волков»...

Небольшой каменистый лог, в который мог свернуть караван, приметил один из лучших следопытов—молодой, но не по годам проницательный и удачливый джагун Седар. Отыскать признаки прохождения каравана вообще было делом случая: это могла быть и сломанная ветка шиповника с горящими красным огнём, твёрдыми ещё ягодами, и рассыпавшийся под копытом трухлявый пенёк, а то и отпечаток, слабо напоминающий конское копыто, на раздавленном муравейнике. Чтобы случайно не затоптать возможные следы, Седар оставил спутников внизу лога, а сам, спешившись,

37. Почтенный старик, буквально «седобородый» (от тюрк. «ак»—«белый» и «сакал»—«борода»).

38. Чёрт.

39. Подземные демоны.

осторожно двинулся вверх по ручью. Он был уверен в себе и уверен в том, что первым сможет обнаружить засаду, если она оставлена. И как-никак вероятная награда за находку полагалась лишь одному, а смелость и внезапность — вот главное преимущество «красных волков» над любым противником. И ещё скрытность… до поры до времени.

Вдоль совсем мелкого, местами журчащего глубоко в камнях ручейка за многие годы, а то и за столетия была протоптана звериная тропа. Следов лошади или человека на ней не было, зато несколько раз попадались коричневые свежие «бусины» помёта маленького мускусного оленя — кабарги. Выше, на далеко просматривающемся и не слишком густо поросшем деревьями склоне, с двух сторон ограниченном каменными гривами, были хорошо заметны отличающиеся по цвету проплешины — лёжки осторожных маралов и косуль. Следы лошадей могли быть где-то там, где был бы издалека замечен и он, Седар, — именно поэтому разведчик медленно, пригнувшись и стараясь не наступать на сухие ветки, пробирался вверх по сужающемуся логу. Продираться сквозь цепляющийся за одежду колючий кустарник, даже без колчана и садака[40], было тяжело, но что ещё больше раздражало его, так это натянутые над тропой длинные нити липкой паутины с висящими на ней жирными, неприятного вида пауками. Седар часто и брезгливо стряхивал их со своей одежды, а потом, чтобы смыть прилипшую паутину и едкий пот, ополаскивал лицо холодной водой из ручья. Шаг за шагом, раздвигая ветви цепкого шиповника и дурманно пахнущего багульника, он приближался к цели — к скальному хребту-перевалу, под которым надеялся обнаружить на подвижных осыпях след каравана…

Несмотря на тяжесть в не привыкших к хождению по горам ногах, мысли в голове Седара бродили самые приятные: «Ах, Аюшин, Аюшин! Скоро я стану сказочно богат, и уж тогда-то ты наконец станешь моей женой, Аюшин! Твой отец Егудэй, который меня ценит и ставит выше других, не случайно выбрал из многих в этот поход. Я вручу ему все сокровища кыргызов, и, без сожаления, мою долю тоже, — я отдал бы все сокровища мира за мою красавицу Аюшин! Ну чем я не пара для дочери тысячника «красных волков»: один из лучших джагунов и один из лучших охотников на родных степных просторах? Твой отец, Аюшин, как мне кажется, понимает это! Кто ещё, кроме меня, твоего отца и самого Чингисхана, настигал своими стрелами столько быстрых антилоп-джейранов, резвых куланов и яростных вепрей-кабанов во время облав? Многие из кешиктенов каана завидовали мне…»

Седар снова ополоснул разгорячённое ходьбой и мечтами лицо. Краем глаза заметил взбиравшуюся по стволу белку и непроизвольно потянулся за луком, но потом вспомнил, что оставил его внизу, чтобы легче было продираться через заросли. Да и шкурка у зверька была ещё летней, не имела ценности — просто захотелось проверить свою меткость. «Наверное, и здесь, — подумал Седар, — среди деревьев и скал, я мог бы стать великим охотником. Просто так уж заведено, что моголы не охотятся в тайге, не добывают соболя, белку и горностая. Зачем, если все эти превосходные меха в огромном количестве привозят данники-кыштымы? Так же, как привезли для моей шапки шкуру почти не встречающего в степи горно-таёжного красного волка…»

Где-то тихо хрустнула ветка, и мысли его мгновенно вернулись к действительности. Седар замер, пытаясь определить, откуда донёсся звук. Это мог быть поднятый им невидимый зверь, или просто упал на землю отсохший и потерявший от времени связь со стволом дерева сук, или даже треснул под жаркими лучами солнца камень…

Простояв в настороженной позе довольно долго, он решил, что тревога ложная — и двинулся дальше. Вдруг ветка хрустнула позади его и уже совсем близко. «Красный волк» молниеносно развернулся — и леденящий душу страх сковал его сердце. Нет, это был не просто страх, который доводится не раз за свою жизнь познать воину, — это был впервые испытываемый, поэтому пленивший разум и тело ужас: огромный бурый медведь, нависая над ним, стоял на задних лапах всего в двух шагах. Маленькие злые глазки зверя завораживали, внушали мысль о бессилии человека и безысходности, открытая пасть с обнажёнными жёлтыми клыками смердела прямо в лицо…

Медведь, махнув огромной лапой, сбил Седара с ног, и на его длинных когтях ещё не ощутивший боли джагун увидел лоскут окровавленной кожи со своими волосами. В последний миг сознания на его грудь навалилась нестерпимо тяжёлая туша, сдавившая грудную клетку и остановившая дыхание…

Когда Седар очнулся, то с удивление осознал, что всё ещё жив. Медведь, едва не снявший с его головы скальп, лежал рядом на боку, и последние конвульсии ещё сотрясали лохматую исполинскую тушу. Джагун нашёл в себе силы откатиться от умирающего, скребущего землю когтями зверя — и с трудом приподнялся на локтях. С изумлением увидел костяную рукоять охотничьего ножа в ухе медведя и толчками вытекающую из его пасти тёмно-красную, почти чёрную кровь. Осознав невероятность происходящего, раненый джагун снова потерял сознание…

Очнулся он оттого, что почувствовал успокаивающую боль прохладу на голове и лице: кто-то пучком смоченных в воде листьев мягко

40. Налучие, футляр для лука *(тюрк.)*.

и осторожно обтирал его рану. Седар быстро приходил в себя, ибо сознание он потерял не от раны, а, скорее всего, от нервного потрясения. Сама рана оказалась не такой уж и страшной: сорванный медведем кусок кожи с головы — это отнюдь не сабельный удар, глубоко рассекающий не только кожу, но и череп человека. Теперь он ощущал только сильное жжение на виске, а открыв глаза, увидел светлокожее лицо склонившегося над ним молодого рыжеволосого и голубоглазого воина. Тот был без доспехов и не могол — а, похоже, динлин?

Улыбаясь во весь свой белозубый рот, динлин легонько похлопал Седара по груди и заговорил:
— Вставай, «красный волк»! Чуть совсем не пропал… Ты же степняк, откуда тебе знать, что в горной тайге аба часто ходит сзади, по следам человека? Охотник ищет абу и не знает, что тот уже давно следит за ним. Аба боится охотника, но он хитёр и может долго ждать подходящий момент. Сегодня тебе очень повезло, «красный волк», что я случайно оказался рядом…

Динлин нагнулся к уже затихшему медведю и, взявшись за жёлтую берестяную рукоять, резким движением выдернул из его уха нож. Красной струйкой брызнула кровь, залив оскаленную морду зверя.

Обтирая о траву узкую окровавленную сталь, юноша искоса поглядывал на раненого, о чём-то раздумывая, а потом устремил на Седара пристальный испытующий взгляд и спросил:
— На какого зверя охотился «красный волк» в нашей тайге? Быструю козу или осторожного оленя выслеживал он? Тогда зачем свой лук и колчан со стрелами оставил внизу? Я видел, как там беспечно дремлют на солнышке два твоих спутника — тоже «красных волка»… Ведь не за ягодами казыргана[41] и не за грибами полез он по таёжному логу? Для воина в красной волчьей шапке это не добыча…

Седар не нашёлся что ответить, а динлин, вложив оружие в кожаные ножны на поясе, ещё раз испытующе поглядел на него, потом опустился на корточки подле лежащего джагуна и, глядя в глаза, медленно проговорил:
— Не ищи ответа, «красный волк». Вот твоя красная шапка, я помогу тебе подняться, а идти вниз по логу, я думаю, у тебя хватит сил. Я видел, как ты разглядывал следы лошадиных копыт в траве перед логом… Думаю, ты убедился, что они несвежие — должно быть, бродили много-много дней тому назад чьи-то отбившиеся от табуна кони. Наверно, аба спугнул их, и кони разбежались… Кроме коварного абы, ничего интересного не увидел ты в этом таёжном логу. Я же не хочу встречаться с твоими спутниками не потому, что боюсь их, а потому, что они будут задавать много вопросов. Скажи им, что это ты убил напавшего абу…

К Седару действительно возвращались силы, и он, подавляя прилив боли, поморщился — и сел. Однако от резкого усилия на миг помутилось в глазах, и он снова словно наяву увидел свою Аюшин. Будто бы возлюбленная нежно гладила его по щеке, ласкала рукой его волосы, шептала ласковые слова. Через мгновение её улыбка растворилась в зелёной листве окружающих деревьев, но и этого короткого мига Седару хватило, чтобы ясно осознать: нет для него ничего в мире дороже Аюшин. Богатство так же быстро уходит, как и приходит, лишь любовь способна быть верной всю жизнь. Старый Егудэй уже забыл, что такое любовь, поэтому верит только богатству, и Великий Чингисхан тоже забыл, недаром преданный ему, как собака, Егудэй разыскивает этот караван с сокровищами. А он, Седар, ради презренного богатства сегодня мог лишиться не только жизни — он мог лишиться своей Аюшин. Той, что дороже всех богатств мира и даже самого́ Вечного Синего Неба, а не то что кыргызских сокровищ. Пусть простят Седара и «красные волки», и богиня земли Этуген, и дух огня Ут, но он должен отблагодарить юношу, вернувшего его сегодня к жизни…

И с языка Седара сорвались слова, родившиеся даже не в голове, а где-то в самом сердце:
— Ты сегодня стал моим андой[42], и я рад этому, батыр! Ты вернул мне мою Аюшин, ты подарил жизнь нам обоим, ведь для неё моя жизнь — тоже самое дорогое на земле. Я и она будем это помнить всегда!

На глазах джагуна навернулись невольные слёзы, но он продолжил:
— Ты настоящий воин, хотя я и не вижу на твоих руках и лице татуировок, и ты, как я вижу, происходишь из племени динлинов. Я признателен, что ты не воспользовался удобным случаем избавиться от меня! Я воин и поэтому твёрдо говорю, что за мной остаётся долг, который ты можешь потребовать тогда, когда тебе это будет нужно.
— Не надо дразнить небо клятвами, «красный волк»! — ответил динлин, и в глазах его, как показалось Седару, промелькнула усмешка.
— Клянусь в этом всеми духами земли и хозяином голубого неба Вечным Тэнгри!.. — заверил Седар.
— Как зовут тебя, анда, мой новый друг и брат? — спросил заметно растроганный этими словами динлин, помогая раненому подняться на ноги. — Скажи, а то мне уже пора уходить!

41. Чёрная кислица, растущие на скалах ягодные кусты с плодами, напоминающими по форме и вкусу красную смородину, но чёрного цвета.

42. Побратимом. Обычай побратимства, унаследованный монголами от далёких предков, с 12-го века стал почти анахронизмом. После обмена стрелами и произнесения клятвы верности подразумевались крепкая дружба и постоянная взаимовыручка.

И по обычаю побратимов он протянул Седару вытащенную из колчана боевую стрелу. Потом прижался своей белой щекой к смуглой щеке могольского воина и добавил:

— У тебя, возможно, будет повод отдать мне по обычаю твою стрелу, и я надеюсь, что она не будет послана из лука…

— Я чту обычай. И моё имя Седар, я джагун из тысячи Егудэя. Теперь и ты, воин хана Еди-инала, назови своё имя.

— Я Зангир, младший сын охотника Оспаара. Мы всю жизнь охотимся на этих горах, которые считаем своим домом, поэтому ты правильно подметил, что я не воин-нухур[43].

Они обнялись, и каждый зашагал в свою сторону: Зангир — пружинисто и легко, Седар — медленно и осторожно. Через несколько шагов динлин обернулся и повторил:

— След лошадей уже старый, анда. И запомни: это ты убил абу!

Егудэй нетерпеливо ожидал донесений от разведчиков, отправленных на поиски второго каравана. А что караванов было именно два, он уже нисколько не сомневался: один — ложный, второй — настоящий, с сокровищами. Тысячник даже с некоторым уважением стал думать о кыргызах: они настоящие противники и далеко не так просты, как пытаются показать и убедить.

«Ну что ж, он верит в своих следопытов, которых не собьёт с верного пути никакая хитрость. Тем более что кое-что уже удалось выведать, а именно то, что у Еди-инала была секретная встреча с местным опытным охотником Оспааром, который вскоре пропал со всеми своими сыновьями: Тюнисом, Пачараком, Пулатом, Пычоном, Этчи и Ханыном… Кажется, был у него и ещё один, седьмой? Ах да, младший, Зангир, — вспомнил Егудэй. — Скорее всего, это они и увели караван. Но куда? Охотники хорошо знают тайгу, а коней явно было больше, чем требовалось… Значит, не слишком тяжело гружённый караван способен уйти далеко по залесённым скалистым горам и крутым руслам ручьёв. Но следы непременно надо искать именно здесь, на границе степи и гор! И напрасно правитель кыргызов Еди-инал вводит в заблуждение, что Оспаар с семью сыновьями ушли через горные хребты в земли Кешдим за скотом и вернутся оттуда только зимой, уже по льду замёрзшего Йенесая… Что ж, пусть считает, что я ему поверил! Но следопытам уже удалось обнаружить подозрительный лог, вначале довольно полого уводящий вверх, — тот самый, в котором медведь едва не задрал джагуна Седара, серьёзно поранив ему голову. Джагун, конечно, настоящий воин и даже справился с медведем, но после такого ранения он мог и ошибиться. Седар утверждает, что это были просто отбившиеся лошади, которые выше разбежались, напуганные медведем… Может, оно и так, но «красные волки» приучены проверять даже самих себя!..»

Егудэй ждал каких-нибудь новых известий, чтобы начать действовать. Однако он привык никогда не сидеть без дела, поэтому велел пригласить в походную юрту забавного и болтливого старика Кёнгира. Именно пригласить, а не привести — чтобы тот не замкнулся и не перестал потчевать своими сказками-легендами, в которых неизвестно чего было больше: вымысла или скрытой правды…

Через какое-то время приглашённый старик Кёнгир с удовольствием пил чай и охотно болтал, незаметно для себя делясь с тысячником полезными сведениями. Так, старик утверждал, например, что в горной тайге встречается поистине волшебная трава, которую китайцы называют «лин-цзы-цао». Эту траву умеют находить только олени-маралы, и от неё их рога набирают невероятно целебную силу, а сами олени живут более ста лет. Старые охотники, подсматривая за пасущимися маралами, узнали когда-то про траву «лин-цзы-цао» — и тоже жили долго. Но трава встречается крайне редко — её хватало только маралам да ещё самым умелым из охотников. Поэтому хитрые не открывали тайну остальным и в конце концов унесли свои знания в могилу. И теперь волшебную траву снова знают одни лишь маралы…

— Очень жалко, совсем для людей обидно! — сокрушался старик, прихлёбывая чай и хитро поглядывая на Егудэя. — Старики говорят, только Хозяину Гор — чёрному маралу — дозволено снова открыть тайну травы, дающей здоровье и долголетие…

Егудэй не перебивал словоохотливого старика, согласно кивая головой, а сам бережно откладывал нужную информацию в потайной уголок своей памяти. Вдруг и на самом деле существует такая трава, которая способна дать каану Чингисхану здоровье и долголетие?..

Он хотел расспросить о траве поподробнее, но в этот момент полог юрты приподнялся, и внутрь заглянул воин-охранник, стоявший у входа. Он коротко доложил:

— Дозор с Йенесая только что привёз схваченного кыргызского парня.

Воин сказал хорошую новость: его «красные волки» хорошо знают своё дело и умеют неукоснительно исполнять приказания. Он тут же взмахом руки отправил прочь разговорившегося Кёнгира…

Когда Зангир услышал посвист брошенного аркана, уже было поздно что-либо предпринимать: волосяная петля плотно прижала его руки к телу и мгновенно затянулась так туго, что трудно стало

43. Дружинник, профессиональный воин.

дышать. Последовал рывок—и он, словно мешок, повалился на землю. Ведь не то что человек, а и редкий конь устоит на ногах после сильно рывка бросавшего, с самого детства привыкшего безошибочно метать прочную волосяную петлю на любую цель. Тут же навалились на Зангира два неизвестно откуда появившиеся воина-могола и накрепко спеленали его верёвкой по всему телу. Потом привязали поперёк седла запасной лошади и повезли, словно тушу добытого оленя, из родных гор в столь негостеприимную сейчас равнину. В небольшой лодке переправили через Йенесай и опять долго везли по горячей полуденной степи—а потом внесли в большую юрту…

Егудэй, держа в руке пиалу с чаем, с нескрываемым интересом разглядывал юношу, которого двое «красных волков» держали на весу. Высок, хорошо сложён, рыжеволос и голубоглаз—как все здешние динлины… И, несмотря на то что крепко связан и беспомощен, словно ребёнок, открыто и смело смотрит в глаза.

Подумав, Егудэй щёлкнул пальцами и отдал воинам приказ:

— Снимите с пленника аркан, а то он мешает свободной и, я надеюсь, приятной беседе двух мужчин.

Потом тысячник даже пригласил пленника сесть подле себя.

— Я догадываюсь, что ты один из сыновей лучшего охотника здешних гор Оспаара,—заговорил Егудэй, пристально глядя на юношу.—Именно такими описали мне ваш род подтаёжных динлинов. А ещё я знаю, что Оспаар с твоими братьями не ушли в далёкие земли Кешдим за скотом,—Егудэй выдержал паузу и продолжил:—Он сейчас неподалёку, потому что Еди-инал поручил ему хорошенько спрятать казну кыргызов. Так что именно они увели в горы секретный караван. Как видишь, я откровенен с тобой, сын Оспаара, и даже рассказал тебе всё, что знаю!

Егудэй наполнил пиалу до краёв чаем и самолично поднёс пленнику.

— Угощайся, оол![44] А теперь честно скажу, чего я пока не знаю. Я не знаю, где вами спрятана казна, и даже сам правитель Еди-инал, оказывается, этого тоже не знает. Кроме тебя, сын Оспаара, здесь этого не знает никто… И всё было бы правильно, за исключением того, что и я тоже должен знать, и мои «красные волки» тоже должны знать… И они непременно узнают, потому что так приказал сын Вечного Синего Неба—наш каан Чингисхан.

Юноша молчал, лишь пристально смотрел на говорившего Егудэя. А тот продолжал:

— Скажи, оол, ты хотел бы получить десятую часть тех сокровищ? Подумай хорошо: ты будешь очень богат, у тебя будет белая юрта, расшитая золотым узором, у тебя будут самые красивые жёны, у тебя будут косяки лучших коней, огромные отары овец… У тебя будет всё, что ты можешь только пожелать, оол!

Егудэй бросил испытующий взгляд на пленника и отметил, что лицо того стало хмурым, а в глазах вспыхнула ненависть. Та же ненависть прозвучала и в его резких, непочтительных словах:

— Да, ты много знаешь, начальник «красных волков»! Но ты никогда не узнаешь, где спрятаны сокровища моего народа! Ты предлагаешь стать подлым предателем сыну Оспаара Зангиру? Видишь, я тоже не скрываюсь и даже назвал тебе своё имя! И я, Зангир, за свою жизнь не заплачу такую цену, как измена! Мне совсем не нужны белая юрта, табуны и отары—я счастлив тем, что у меня есть…

Лицо Егудэя перекосила гримаса бешенства, взгляд стал привычно жёстким—но он с явным усилием сдержался и продолжил почти спокойным тоном:

— Скажу честно, я и не ожидал от тебя других слов, Зангир-оол. Я ценю твоё бесстрашие, однако такие слова не нужны ни мне, ни моему каану! Небо сделало его Потрясателем Вселенной, и даже самое маленькое желание каана Чингисхана повсюду должно исполняться беспрекословно. Недаром все свои приказы он начинает со слов: «По воле Вечного Голубого Неба…» И горе тому, кто посмеет здесь возразить ему,—тогда со слезами и кровью смешается утренняя роса в кыргызской степи! Подумай ещё раз, оол, очень хорошо подумай! А может, цена показалась тебе слишком малой? Может, тебе нужна не десятая часть, а четвёртая или даже половина? Назови же свою цену, Зангир-оол!

— Нет такой цены, чтобы купить мою честь, начальник «красных волков»! И никто не заставит меня предать, ибо, как у нас говорят, лучше поломать свои кости, чем свою честь! Прикажи своим нукерам снова связать меня, а ещё лучше—сразу убить! Наш народ говорит, что лучше сразу рухнуть скалой, чем века сыпаться песком.

Егудэй вдруг резко встал и рассмеялся прямо в лицо пленнику, а потом проговорил с усмешкой:

— Мне жаль тебя, Зангир-оол, мне просто жаль твою молодость. В тебе много смелости, но мало мудрости! Обещаю тебе, что не позднее чем завтра ты расскажешь, где отец с братьями спрятали сокровища. И не только расскажешь, но и сам приведёшь туда меня и моих воинов!

Заметив, как Зангир напрягся, Егудэй с той же усмешкой в глазах успокоил:

— Нет, пытать мы тебя не будем, Зангир-оол, не бойся! У меня есть более надёжные способы развязать даже самый молчаливый язык…

И, словно потеряв всяческий интерес к разговору, Егудэй щёлкнул пальцами. Тотчас приоткрылся

44. Уважительное обращение, сродни современному «уважаемый», которое в Туве сохранилось до сих пор.

полог, в юрту бесшумно проскользнули два воина-охранника и, подхватив крепко под руки, вывели пленника из юрты…

Рано на рассвете, когда солнце ещё не взошло и степь дышит остатками ночной свежести, самое время начинать всё задуманное. Именно в этот час, когда только начинает желтеть остывший за ночь воздух, тысячник Егудэй вошёл в небольшую чёрную юрту, всегда стоящую в стороне от других и охраняемую тремя «красными волками». Ни один человек, даже по собственной воле, не пожелал бы оказаться внутри её—ибо здесь содержали пленников и преступников, ожидающих своей участи.

Следом за Егудэем в юрту вошёл, скорее даже—прошмыгнул, маленький юркий китаец Фао-Шен. Судя по тому, что один из воинов практически заступил китайцу дорогу и тому пришлось протискиваться в узкую щель, «красные волки» его недолюбливали. Может быть, поэтому Фао-Шен всячески заискивал перед их тысячником: подобострастно улыбался, часто кланялся и суетился, стараясь предугадать малейшее желание…

Приглядевшись в сумраке юрты, Егудэй неспешно подошёл к лежащему на обрывке старой кошмы, крепко связанному, как и накануне, волосяным арканом пленнику.

— Просыпайся, Зангир-оол! Я хочу тебя познакомить со своим преданным слугой Фао-Шеном. Он давно служит мне и Великому Чингисхану, поэтому, хотя он и не могол, я собираюсь вскоре надеть на его умную голову лохматую шапку «красного волка».

Услышав эти слова, китаец часто закивал головой и несколько раз угодливо поклонился Егудэю едва ли не до самой земли.

— Э-кей!—вдруг произнёс Егудэй с показным возмущением, будто только сейчас заметил спеленавшие пленника путы.—Я вижу, Зангир-оол, что плохо тебя, гостя, принимают мои воины: нет пустых чашек из-под жирного мяса, нет чайных пиал. Может, ты голоден или хочешь пить? Фао-Шен, скорее принеси нашему гостю родниковой воды, что набрана в мои серебряные кувшины из целительного ключа! Полный кувшин этой воды утолит твою жажду, оол!

Китаец мигом выскочил наружу, а Егудэй, пригладив ладонью седые волосы, неторопливо продолжил:

— Уже скоро взойдёт солнце, и мы, как я вчера и обещал, отправимся в горы, где ты покажешь спрятанные твоим отцом сокровища. Ваш правитель Еди-инал будет, конечно, сильно огорчён, но мне и Сотрясателю Вселенной Чингисхану интересно посмотреть, чтó вы так долго и старательно прячете от нас. Очень, очень интересно…

Снаружи послышались быстрые шаги, и охранники пропустили вернувшегося с небольшим серебряным кувшином китайца. Тот опустился на колени рядом с пленником и поднёс к губам Зангира горлышко кувшина. Егудэй же с пристальным вниманием наблюдал, как запёкшимися губами Зангир жадно ловил прохладную влагу.

Напоив пленника, подобострастный китаец даже обтёр рукавом своего халата его губы и шею. Потом, после каждой фразы кланяясь Егудэю, заверил:

— Всё будет прекрасно, начальник «красных волков»! Фао-Шен не напрасно учился десять лет! Даосские монахи учили меня всем их секретам. Они, как ты знаешь, уже давно и с неизменным успехом используют это снадобье!

Егудэй тем временем с непонятной усмешкой наблюдал за молчащим, напряжённо думающим о чём-то своём Зангиром.

— Уже совсем скоро взойдёт солнце, оол, но у тебя ещё есть немного времени отдохнуть и набраться сил. Как видишь, никто не пытал тебя; более того, нам вскоре предстоит приятная прогулка в твою любимую тайгу. Вернее, в гости к твоему отцу Оспаару и твоим братьям. Так что готовься к радостной встрече, оол!

Когда Егудэй с Фао-Шеном вышли из чёрной юрты, прятавшееся за горизонтом солнце уже золотило редкие облака на востоке—грядущий день обещал быть ясным и знойным…

Накануне Седар уже знал, что разведчиками схвачен его новый анда. То ли боль от заживающей раны на голове, часто напоминающая о себе, то ли беспокойство за судьбу Зангира долго не давали ему заснуть. Ведь два анды—это как одна душа! И ему было о чём подумать в эти бессонные часы… Сотня Седара заступала на охрану ставки Бухи-нойона рано утром, а это означало, что он без особого труда сможет увидеть Зангира и даже, возможно, переговорить с ним. Только вот что он сможет сделать для своего анды, которому, по всей видимости, угрожает большая опасность? Вероятно, даже смертельная опасность…

Заснул Седар лишь далеко за полночь, и привиделась ему во сне опять Аюшин… Весенняя степь звенела жаворонками, белая кобыла Аюшин дремала, положив голову на круп коня Седара, а они сидели на сёдлах в тени одинокого дерева. Аюшин что-то ласково говорила, а он всё пытался вникнуть в смысл её слов—но слышал только громкий стук своего сердца, которое стонало и словно бы всё больше каменело от предчувствия неминуемой беды. Так что голоса любимой он так и не услышал, но прочитал сказанное ею по губам: «Скажи, Седар, и я пойду против воли отца, я помчусь за тобой на самый край земли, где никто и никогда нас не найдёт. А если вражеская стрела вдруг оборвёт нить твоей жизни, я уйду в подземный мир вслед за тобой, ведь у меня есть

острый нож, который ты подарил…» И душа его, сразу же поверив в эти слова, вдруг взмыла над весенней степью и запела песню любви громче всех жаворонков, заглушая даже боль сердца…

Ранним утром, расставив караулы, Седар сразу же направился к зловещей чёрной юрте. Перед входом копья двух охранников скрестились перед грудью джагуна, копьё же третьего нацелилось ему прямо в сердце. Прозвучало грозное: «Ха!» Таких действий требовал устав караульной службы, несмотря на то что воины были из его сотни и знали своего джагуна в лицо.

Седар молча отстегнул от пояса кривую саблю в зелёных кожаных ножнах и положил её на землю у входа. Рядом положил свой лук и начал снимать колчан, но старший караула жестом остановил его: не надо, мол, достаточно. Наконечники копий звякнули друг о друга, и охранники отставили их в стороны — путь в чёрную юрту был свободен.

Откинув полог, он шагнул внутрь и увидел на кошме посреди юрты связанного Зангира. Сразу отметил отсутствие следов пытки: похоже, того даже не били. Неизвестно только, хорошо это или плохо.

Присев возле лежавшего в неудобной позе пленника, спросил тихо, чтобы не услышали охранники снаружи:

— Как чувствуешь себя, анда Зангир? Здоров ли ты? Может, тебя пытали?

— Я здоров, анда Седар! И меня удивляет, что никто ни разу меня даже не ударил… Страшный Егудэй приходил в юрту и говорил с усмешкой, что пытать меня не станут. Именно поэтому я очень боюсь его — боюсь его ласковых лживых слов. Ведь он пообещал, что «красные волки» просто повезут меня в горы на прогулку. Он ведь что-то замыслил, анда? Может, ты знаешь, что?

— Да, анда, его нужно бояться! Тысячник Егудэй — это самый хитрый лис в окружении каана, и он никого и никогда не посвящает в свои планы.

— Знай, что я всё равно ничего не скажу, — заверил Зангир. — От меня он никогда не узнает, где спрятано то, что он так старательно ищет. Даже если прикажет отрубить мне голову! Я нисколько не боюсь смерти, анда!

Седар нахмурился, оглянулся на вход и, склонившись почти к самому уху Зангира, сказал:

— Всё очень, очень плохо, анда. Егудэй никогда слов на ветер не бросает, и если он сказал про прогулку в горы — то она обязательно состоится. Отрубить голову или подвергнуть пыткам он мог бы и здесь, для этого не нужно куда-то ехать… Это значит, он задумал что-то неожиданное для тебя! Скажи, а он приходил сюда один?

— Нет, с ним был маленький китаец…

При этих словах Седар даже отпрянул.

— Маленький китаец Фао-Шен?

— Да, Егудэй называл его, кажется, Фао-Шеном. На словах они были дружелюбны, даже чересчур. Я хотел пить, и Егудэй приказал китайцу принести серебряный кувшин из его юрты. Очень вкусная вода, от которой мне сразу стало очень легко и даже хорошо…

— О, сюмзюк[45] Фао-Шен — это страшный и очень подлый человек, его побаиваются все, даже «красные волки»! — почти воскликнул Седар. — Говорят, что он умеет составлять страшные яды, а то готовит такие снадобья, когда принимаешь человека за кого-то другого: за своего отца, за жену или даже за дикого зверя. Кажется, я догадываюсь, что он задумал… Скажи мне, анда, что ты чувствуешь сейчас?

— У меня немного кружится голова, но это, наверное, от голода, ведь я уже второй день ничего не ел.

Седар поправил повязку на своей голове, поморщившись при этом от боли, потом неслышно, словно кошка, прокрался к пологу юрты и чутко прислушался. Снаружи охранники вполголоса переговаривались, посмеиваясь при этом:

— Женщина — как огонь, её нельзя оставлять без присмотра: либо потухнет, либо спалит всё вокруг…

Похоже, они подшучивали над одним из воинов. Постояв, Седар так же бесшумно вернулся к Зангиру.

— Слушай меня внимательно, анда, и постарайся запомнить каждое слово. Егудэй никогда бы не привёл Фао-Шена к пленнику просто так. И неспроста «вкусную» воду в кувшине принёс именно лекарь. У тебя сейчас немного кружится голова, но тебе очень легко, полностью исчез страх?..

— Да, всё именно так, как ты говоришь.

— Я подозреваю, что в кувшин лекарь добавил свою «синюю воду». Однажды я случайно видел, как она действует на человека! Скоро тебе станет совсем легко, даже приятно, и ты позабудешь, что сейчас пленник и связан…

Зангир неожиданно улыбнулся в ответ и заговорил, глядя затуманенным взором куда-то внутрь юрты:

— Ты ведь знаешь, анда, что я не страшусь смерти. И если меня задумали отравить каким-то ядом, то это даже лучше, чем воины изрубят меня своими саблями. Я ведь прямо сказал страшному Егудэю, что никогда не открою ему нашей тайны и умру с радостью, зная, что она навсегда уйдёт вместе со мной в могилу. Знаешь, мне становится так хорошо, и я уже чувствую, как жизнь прощается со мной, собираясь уходить из моего тела… Но я навсегда останусь в памяти моего народа… И, может быть, потом хайджи под сладкоголосые струны чатхана расскажут потомкам легенду о неустрашимом Зангире, сыне охотника Оспаара…

— Нет, анда, ты не знаешь главного и самого страшного. Постарайся запомнить: «синяя вода» Фао-Шена не убивает тело, она лишь затуманивает

45. Ханский доносчик.

сознание и глаза! Поэтому не верь тому, что вскоре увидишь и услышишь! Зелье даосских монахов делает человека совсем безвольным и развязывает его язык, так что ты даже не вспомнишь о долге и о чести! Вместо этого ты станешь наивным, как ребёнок…

От этих слов Зангир встрепенулся, и взгляд его снова стал осмысленным. Он даже попытался сесть, что удалось сделать лишь с помощью Седара.

— Разве такое возможно и это не сказка?! Ты говоришь мне правду, анда?

Седар горестно кивнул.

— Да, это правда, и очень страшная правда. И я сейчас не знаю, чем тебе помочь. Всю ночь, анда, я думал о тебе, и это были нелёгкие думы! Ты подарил мне жизнь, сохранил мою любовь — и моё сердце говорит, что я должен отплатить тебе тем же. Но я так и не придумал, как спасти тебя! Что толку, если я отдам тебе своего лучшего скакуна, которого сможет догнать разве что стрела из тугого лука?.. Всё равно тебе не уйти далеко от «красных волков». Я не смогу спасти тебя даже ценой собственной жизни!

Седар в отчаянье обхватил руками свою забинтованную голову и при этом даже не ощутил боли.

— Как скоро начинает действовать эта «синяя вода»? — спросил Зангир и тут же сам ответил на вопрос: — Хотя я мог бы тебя и не спрашивать… Она ведь уже начала действовать! Я вижу то тебя в этой юрте, то цветущую степь вокруг и ощущаю себя то связанным пленником, то маленьким мальчиком, играющим с братьями… Я чувствую, что утрачиваю волю, Седар! Это значит, что коварный Егудэй сумел перехитрить меня…

— И я, джагун «красных волков», впервые не знаю, что мне делать! — произнёс Седар срывающимся голосом. — Но я должен что-то предпринять для спасения твоей чести, ибо знаю, что честь для тебя сейчас дороже жизни.

— Скоро сюда придёт Егудэй… Чтобы увезти меня в горы… Чтобы взять на прогулку… — словно в забытьи, зашептал отрывисто Зангир. — С ним будет страшный маленький человек… Этот китаец! И я уже знаю, анда, что им легко будет выпытать у меня тайну… Потому что я не могу властвовать над своими мыслями, над своим языком… Убей меня, анда, пока не поздно!

Джагун хотел что-то возразить, но Зангир, собрав остатки воли, решительно перебил его:

— Наверное, осталось совсем мало времени, анда? Я вижу, что ты без лука и без сабли, но с тобой колчан, в котором стрелы… Ты ведь обещал отдать своему анде одну из них согласно древнему обычаю? Отдай ту, что с чёрным опереньем и белым костяным наконечником… Я ведь не ошибаюсь, она есть среди других, анда?

По лицу Седара пробежала судорога боли, но эта боль была не от раны. Он попытался возразить:

— Я давал слово когда-нибудь спасти твою жизнь, как ты спас мою, а не отнимать её!

— Ты, анда, теперь только так можешь вернуть мне долг — отдать стрелу. Взамен жизни подари мне смерть, которая, поверь, для меня сейчас дороже жизни! Знай, что я с радостью и благодарностью приму её от тебя!

Седар и сам понимал, что это единственный выход, поэтому молча снял с плеча колчан и достал из него стрелу с чёрным оперением. По лицу джагуна ничего нельзя было прочитать, но на глазах его навернулись слёзы отчаянья.

— Ты настоящий воин, анда Зангир! — с усилием проговорил Седар, вытерев рукавом глаза. — И я горжусь нашей дружбой. Знай, что смерть от этой стрелы наступит почти мгновенно, потому что в наконечнике смешаны два самых сильных яда наших степей: от гюрзы и от эфы.

— Я виноват перед тобой, анда Седар! — воскликнул Зангир, и из глаз его тоже хлынули слёзы. — Там, возле мёртвого абы, я не до конца поверил в твою искренность и твою клятву.

— Главное, что ты веришь мне сейчас, анда, — ответил Седар, по щекам которого снова покатились слёзы.

А Зангир устремил взгляд на полый наконечник стрелы и решительно проговорил:

— Сделай это без колебаний, анда! Но я не хочу, чтобы гнев Егудэя пал на тебя. Нанеси два укола рядом на моей груди — чтобы их можно было принять за укус настоящей змеи… Прощай, мой анда Седар!

Через несколько мгновений джагун резко вышел из чёрной юрты. Подобрав оружие, он быстрыми шагами направился в степь, освещённую уже оторвавшимся от горизонта кроваво-красным утренним солнцем…

Когда Егудэй вошел в чёрную юрту и увидел пленника мёртвым, то первой его мыслью было обвинить Фао-Шена. Но приведённый воинами китаец вскоре снял с себя обвинения, указав на две красные ранки на груди Зангира. Он же и определил, что нанесены они не зубами змеи, а остриём стрелы, и что смерть пленника, несомненно, наступила от сильного яда.

Допрошенные охранники утверждали, что в чёрную юрту входил только джагун Седар. Без сабли и лука… но с полным колчаном стрел. Значит, умертвить пленника мог только он. Но что общего между джагуном «красных волков» и сыном охотника-динлина — это предстояло выяснить.

По приказу Егудэя Седара срочно привели на допрос в ту же чёрную юрту. Под вопрошающим взглядом тысячника джагун не опустил глаз и не стал отрицать свою причастность к смерти Зангира.

— Несколько дней тому назад я дал слово выполнить любую его просьбу,—сказал Седар.—Сегодня он попросил у меня смерть…

Этого Егудэй никак не мог понять. Джагун не отрицал своего преступления, хотя и знал, чем ему это грозит,—он будто бы тоже искал для себя смерти…

— Ты для меня был как сын, Седар,—с сожалением проговорил Егудэй.—Я собирался отдать тебе в жёны мою младшую дочь Аюшин, потому что знал о ваших тайных встречах.

— Я люблю Аюшин и хочу, чтобы она была счастлива. Я готов отдать за неё всё, что у меня есть, даже жизнь… Но я не мог нарушить данную мной клятву! Смерть легче пёрышка, долг тяжелее горы…

— Я собирался сделать тебя своим преемником, тысячником «красных волков»!—продолжал, будто не слыша, Егудэй.—Но ты нарушил приказ и после этого не можешь носить красную шапку «волка»…

— У меня не было выбора—я дал слово!—повторил Седар.—Дал слово анде…

— Зато у меня есть выбор,—жёстко проговорил Егудэй, чувствуя, как внутри его закипает ярость.—Либо казнить всю твою сотню, как это сделал бы каан Чингисхан, либо позволить твоим воинам казнить своего джагуна. Что бы выбрал ты на моём месте?

— Зангир был моим андой…—словно не расслышав последние слова, повторил Седар.—Тысячник давно забыл, что это такое, но даже сам Великий Чингисхан чтит этот закон братства. Когда он был ещё просто Тэмучином, то обменялся наконечниками стрел с Джамухой. А отец его Есугай был андой Он-хана, христианина…

— Не упоминай имени нашего каана! Ты просто подлый предатель,—закричал в бешенстве Егудэй.

Тут же, в припадке ярости, он отдал приказ казнить виновного незамедлительно и сорвал с шеи Седара серебряную пайцзу джагуна, на которой было начертано: «По воле великого Бога и по великой его милости к нашему государю, да будет благословенно имя Хана, и да помрут и исчезнут все ослушники».

«И да помрут и исчезнут все ослушники…»—мысленно повторил Егудэй волю каана, которую он не смел нарушить. Однако, уже взяв себя в руки, решил сделать джагуну снисхождение. Нет, не отменить казнь—Егудэй никогда не отменял своих приказов, даже если оказывался неправ,—он позволил сделать это без пролития крови, в которой живёт душа каждого человека. Правда, кааном Чингисханом в его Книге Ясы записано, что только ханы и нойоны достойны такой смерти… Но как-никак Седар был женихом Аюшин и до этого проступка почти сыном. Не варить же его в котле или не отрубать же ему голову, как простому пастуху?..

Казнь он поручил всё ещё стоявшим у чёрной юрты охранникам, для которых это было вполне привычным делом. Один из воинов опустился на траву поджатой левой ногой и выставил вперёд правое колено, двое других, крепких и сильных, молча повалили Седара на землю. Тот не сопротивлялся, и тогда один взял бывшего джагуна за руки, другой за ноги. Егудэй помедлил, как будто раздумывая, а привыкшие беспрекословно подчиняться воины внимательно следили за его правой рукой.

Резко опустив руку, Егудэй, не оглядываясь, пошёл прочь от чёрной юрты. Он сотни раз видел подобную казнь, поэтому знал, что сейчас воины вскинут тело джагуна вверх и с размаху опустят спиной на выставленное колено. Он только услышал характерный хруст костей позвоночника и короткий вскрик Седара. Перед глазами тут же возникло искажённое болью лицо дочери—и старый Егудэй впервые в своей жизни, наверное, пожалел, что не отменил приказ.

А преданно смотревшие ему в спину воины увидели вдруг, как опустилась голова их тысячника, как ссутулилась его спина, и походка из лёгкой и пружинистой превратилась в старческую. Таким тысячника «красных волков» они видели впервые…

Время подгоняло Егудэя. Воины тумэна Бухи непрерывно пригоняли из стойбищ и уже из самых отдалённых аалов десятки и сотни белых скакунов. Скоро, совсем скоро погонят они на запад тысячные табуны в подарок Сотрясателю Вселенной, которому нужно много, очень много прекрасных коней—ведь предстоят новые походы на юг, на запад, на восток… Великий Чингисхан любит потешить своё сердце видом всесокрушающей лавины его непобедимого войска, ощетинившейся копьями, брызжущей чёрным облаком стрел, сверкающей взметнувшимся над головами лесом сабель,—видом сметающей всё на своём пути могольской конницы…

Егудэю тоже нужно было спешить. И он увеличил награду счастливцу, который первым обнаружит сокровища кыргызов: уже не десятая, а четвёртая часть по праву будет принадлежать ему. Любой «красный волк» мог только мечтать о такой добыче, дающей высокое положение, и о счастливом случае, который может одним махом вознести к новой, более высокой должности…

Вскоре две сотни «волков» с трёх сторон охватили лог, в котором был захвачен Зангир. Цепью продвигаясь вверх по сужавшемуся, словно ущелье, каменистому логу, воины наткнулись на огромного, уже основательно обглоданного мелким зверьём медведя. Даже мёртвый, он поражал размерами, длиной страшных когтей и жёлтых клыков. Осматривая источавшую трупный смрад

медвежью тушу, воины невольно сгрудились—и тут же услышали короткий посвист стрелы, которая глубоко вонзилась в дерево впереди, как бы преграждая им путь. Это было грозное предупреждение: следующая стрела найдёт себе уже живую цель.

Но «красных волков» невозможно запугать, и опасность всегда только подстёгивает их. Тем более что это был хороший знак: значит, они идут к своей цели правильной дорогой. И воины тут же рассыпались по сторонам лога—от пенного ручья до отвесных скал. Пригибаясь и прячась за камнями и толстыми стволами деревьев, они двинулись дальше.

Вторая стрела попала в шею передового воина. Когда попробовали выдернуть её, то убедились, что сделать это невозможно: спиралевидный наконечник буквально вкрутился в человеческую плоть, разорвав её внутри. Такими стрелами пользовались джурджени, и могольские воины отлично знали, что они наносят ужасные, чаще всего смертельные раны, от которых не спасают даже шёлковые рубахи под доспехами.

Стрелы прилетали, казалось, со всех сторон. Вот уже упали замертво ещё четыре воина, и столько же были тяжело ранены. Причём стрелявших не удавалось даже разглядеть: они лишь на короткий миг возникали с натянутыми луками то из-за камня, то из-за дерева. Когда же несколько воинов устремлялись туда, то никого не находили.

Но волчья стая умеет побеждать врага не только количеством, но и умелой сменой тактики. Теперь, пока передовая цепь продвигалась вперёд, позади стояли воины с натянутыми луками—и каждого невидимого стрелка подстерегал добрый десяток смертоносных стрел. Потом подтягивались задние, а передовые держали под прицелом каждый камень и каждое дерево.

Личная охрана каана обучена побеждать самого умелого и самого хитрого врага, а новая тактика вскоре стала приносить плоды. Вот за камнем лежит, выронив свой лук, один мирген[46], вот другого светловолосого и голубоглазого стрелка не успело спасти толстое дерево—и он, взмахнув руками, упал со стрелой в сердце. Вот ещё двое, лица которых похожи как две капли воды, лежат спина к спине, омываемые водой ручья,—и кровь их, сливаясь воедино, окрашивает звонкие струи в красный цвет…

Моголы хотя и медленно, но неумолимо продвигались вперёд, тем более что разящие стрелы невидимок свистели всё реже и реже. Часть воинов с трудом вскарабкалась на каменные гривы, ограждающие узкое ущелье, поскольку оттуда дальше просматривалось пространство впереди,—и теперь возможно было поражать противников сверху. Таким образом, неведомые стрелки из охотников тут же превратились в гонимую в нужном направлении дичь, а путь отступления для них оставался только один—вверх по логу. Кыргызские миргены явно недооценили своих противников…

Волчья стая целенаправленно гнала добычу, отсекая все пути из ущелья,—и поэтому неминуемо должна была настигнуть стрелков. Вот лог стал совсем узким и крутым, так что воины продвигались в нём сплошной массой, плечом к плечу. Но стрелы больше не настигали их—должно быть, у невидимых защитников их больше не осталось. Вот из-за большого камня на мгновенье возник лучник—и тут же, пронзённый десятком стрел, мёртвым упал к ногам передовых моголов.

— Больше ни в кого не стрелять,—приказал джагун,—они нужны нам живыми.

Когда могольские воины вскарабкались к вершине горы, на ней гордо и молчаливо стояли двое последних стрелков: славный охотник Оспаар и его сын Пулат. Уходить им было некуда—дальше скала отвесно обрывалась вниз. Не дав преследователям вплотную приблизиться, они одновременно переломили через колено свои ставшие бесполезными луки и шагнули в пугающую своей глубиной пропасть. Широко раскинув руки, словно две большие серые птицы, они удалялись всё дальше от преследователей, пока не закончили свой последний полёт на острых камнях. Даже бесстрашные «красные волки» отшатнулись в этот миг от края пропасти…

Ещё два дня воины тщательно обшаривали окрестности Медвежьего лога—такое название они дали ему по найденному здесь мёртвому зверю. Помня обещание Егудэя о четвёртой части, причитающейся нашедшему тайник, следопыты обшаривали каждый завал камней, каждую щель в скалах, каждую нишу в корнях сосен—но всё было напрасно. «Красные волки» ещё верили, что богатство кыргызов затаилось где-то неподалёку: либо в пещере под каким-нибудь из каменных останцев, горделиво взирающих на мир с вершин залесённых гор, либо среди серых каменных гряд, гребнями разделяющих неглубокие лога. Да мало ли где в бескрайней и труднопроходимой горной тайге можно надёжно схоронить небольшие кожаные мешки и вьючные сумы?

В конце концов Егудэй понял, что этот лог был просто приманкой, ложной целью. Его воины потеряли время, затоптали и без того едва заметные следы, а прошедший дождь поднял примятую траву, разгладил песок и смыл с камней отпечатки копыт—так что заново начинать поиски уже не было никакого смысла. Отпущенное им время истекло: сотня за сотней, тысяча за тысячей воины тумэна Бухи-нойона уже уходили на юго-запад, угоняя табуны. И к концу третьего дня поисков Егудэй приказал своим «волкам» покинуть

46. Охотник.

неприветливые для них горы и возвращаться в ставку. Тем более что погода к вечеру окончательно испортилась: порывистый ветер пригоршнями швырял в лица крупные капли дождя, мокрая трава на склонах стала предательски скользкой.

Охрана быстро собрала его походную юрту, разбитую под гладкой, почти отвесной скалой, защищавшей от ветра и дождей, а разочарованный итогами поисков Егудэй молча сел в седло своего коня. Но не успел он отдать команду двигаться, как над головой, высоко вверху, раздался громкий шум и треск — и на узкую тропу прямо перед ним рухнул большой камень. Жеребец присел и, испуганно храпя, рванулся в сторону.

Едва удержав коня туго натянутыми поводьями, Егудэй поднял глаза вверх. С вершины скалы смотрел, как будто прямо на него, чёрный красавец-марал. Его огромные ветвистые рога чётко прорисовывались на фоне хмурого неба. Через какое-то мгновенье одна рука Егудэя уже сжимала лук, другая нащупывала в колчане тяжёлую стрелу…

— Не надо стрелять, начальник, — услышал он крик Фао-Шена. — Нельзя стрелять в Хозяина Гор…

Недовольный Егудэй повернулся к китайцу и устремил на того вопросительный взгляд.

— Стрела вернётся и поразит стрелявшего прямо в сердце, — продолжил Фао-Шен. — Я много раз слышал эту легенду от охотников. Нельзя сражаться с чёрным маралом — духом здешних гор. Он дал свой знак, что тебе надо быстро-быстро уходить…

Ничего не сказав, ещё более помрачневший Егудэй хлестнул камчой своего коня и поскакал по уже натоптанной всадниками тропе. Опередив его, вперед помчались разведчики, а позади — след в след — неслись «волчьим ходом» остальные всадники. Никто из них даже не оглянулся на кажущиеся неприветливыми и хмурыми, чуждые степнякам горы, только мелькнуло, должно быть, в сердцах многих воинов сожаление о несбывшейся мечте.

«Ничего, богатство всегда проходящее: то оно есть, то уже потеряно… — думал, должно быть, каждый из них. — А утром следующего дня, свернув свои походные юрты, мы уйдём, наконец, от этих непривычных и неприветливых гор в родные степи, на серебряный Онон и золотой Керулен…»

Пока в преддверии ночи воины готовились в дальний обратный путь, Егудэй со своим неизменным сопровождающим Фао-Шеном молчаливо сидели у жарко пылавшего костра. В пиале тысячника, против обыкновения, была налита арза вместо чая, и он мрачно размышлял о том, что скажет Сотрясателю Вселенной, как вопрошающе взглянет на него тот при встрече. Ведь Великий каан ждёт не золото и драгоценности, которых у него и без того не счесть, — Чингисхану желаннее всех сокровищ простые кедровые дощечки с таинственным уйгурским рецептом. И никогда ещё он, Егудэй, не подводил так своего Повелителя…

Одну за другой пил Егудэй полные пиалы арзы, почти не хмелея. И восстанавливал в памяти каждый свой шаг, пытаясь понять, где он совершил главную ошибку. Но раз за разом цепочку мыслей разрывали образ джагуна Седара и картина его казни, которую Егудэй не видел, но очень явственно представлял. В ушах снова и снова звучал хруст переламываемых позвонков и короткий вскрик. К чему бы такие воспоминания?.. Ясно, что не к добру… И дело даже не в том, что Чингисхан может так же запросто расправиться с ним самим, недаром он, Егудэй, жестокости учился у своего Повелителя, считая её главным достоинством кишиктена… Больше этого его пугала предстоящая встреча с любимой дочерью Аюшин.

Из глубокого раздумья тысячника вывел заискивающий голос Фао-Шена.

«Что там бормочет этот пьяный лизоблюд, которому сегодня было позволено пить арзу из одного кувшина с хозяином? — раздражённо подумал Егудэй. — Разве он ещё не валяется пьяным на земле, свернувшись у костра подобно собаке?..»

— Послушай Фао-Шена, начальник «красных волков». Сейчас тебе кажется, что всё очень-очень плохо. Но поверь мне: пройдёт время — и половина плохого забудется, пройдёт ещё время — и забудется уже всё плохое…

Егудэй с удивлением отметил, что хилый китаец, похоже, не так уж и пьян.

— Все беды пришли к тебе с этим кыргызом, с проклятым Зангиром, — продолжил Фао-Шен. — Он знал, где спрятаны сокровища, где спрятаны кедровые дощечки. Он знал, но сказал: «Я не стану предателем своего народа!» Это из-за него умерщвлён твой любимый джагун Седар, которого ты хотел сделать своим сыном… А этот никчёмный кыргыз мечтал стать героем, победившим самого начальника «красных волков». Поэтому ты, который никогда не прощает обид, сделай его самого предателем…

Слушая китайца, Егудэй всё больше трезвел, и в сердце его в самом деле закипал огонь мести.

— Говори дальше, — приказал он Фао-Шену. — Я вижу, что у тебя уже есть план.

— Прогони мрачные мысли и тревогу, начальник «красных волков», ведь месть — это кушанье, которое нужно принимать холодным. Отомсти этому Зангиру так, чтобы он и на том свете трепетал при одной мысли о тебе. Я придумал такую страшную, такую небывалую месть, которая пройдёт чёрной тучей через века и останется несмываемым пятном на истории этого народа, живущего по берегам Йенесая. Это будет самая страшная твоя месть! Послушай меня, начальник «красных волков»…

И Фао-Шен в деталях изложил свой коварный план. Егудэй, сам отличавшийся изощрённой хитростью, с изумлением и даже внутренним содроганием взирал на маленького и трусливого, казавшегося ему никчёмным человечка, которого он в любой момент мог бы раздавить, как обыкновенную блоху.

— А что ты скажешь Великому Чингисхану, я тоже знаю,—заверил заметно осмелевший китаец.—Ты обещал сделать меня одним из «красных волков»... Фао-Шен недостоин такой чести, но Фао-Шен умеет быть благодарным... Придёт время твоей встречи с Потрясателем Вселенной, и я подскажу тебе нужные слова.

Повеселевший Егудэй приказал новому джагуну построить два десятка воинов и отдал им все необходимые распоряжения...

А ранним утром последние могольские воины—это были две неполные сотни «красных волков»—покидали Койбальскую степь. К крупам двух десятков рассёдланных коней были приторочены тяжёлые кожаные хайи[47]. Проезжая между кыргызскими юртами, сопровождавшие этот небольшой караван воины весело и достаточно громко переговаривались о том, что здешний правитель Еди-инал может теперь проливать горькие слёзы, а его советник Кёнгир рвать в клочки свою седую бороду по поводу пропавших богатств. И несколько раз заводили разговор о том, что кыргызскому парню, младшему сыну Оспаара, указавшему тайник с сокровищами, теперь причитается четверть их. А едущие позади переговаривались между собой, и тоже достаточно громко, что счастливчик Зангир стал знатным человеком и едет сейчас на белом коне рядом с самим Бухой-нойоном.

Новый джагун громко и весело прикрикнул на разговорившихся воинов:

— Не советую смеяться над тысячником Зангир-оолом! Я не удивлюсь, если сам каан, учитывая заслуги, назначит его вскоре темником или даже начальником «красных волков»!

— Да, сказочно повезло этому парню, простому охотнику!—громко поддержал джагуна сам Егудэй и восхищённо зацокал языком...

И чёрная весть, словно стая зловещих чёрных птиц, быстро разнеслась по всей Койбальской степи. В белом шатре правителя Еди-инала снова собрался Большой Совет степи. Все были хмуры и молчаливы, ведь такого подлого предательства ещё никогда не знали здесь, у подножий Кёгменских гор...

Мудрый Кёнгир не собирался в этот раз заводить длинный разговор, поэтому сразу начал с главного:

— Динлин, сын нашего кыргызского народа, сын достойного Оспаара, погибшего в схватке с врагами, стал подлым предателем. Конечно, предатели встречаются среди любого народа—и везде их казнят, с позором отрубая голову. Но этот предатель сумел избежать справедливого наказания, трусливо сбежав с нашими врагами... И я знаю, как наш народ сможет наказать его самой страшной казнью, более страшной, чем отрубание головы...

Кёнгир замолчал, подыскивая, видимо, нужные слова. Молчали и члены Совета.

— Наш кыргызский народ не может отрубить голову предателю, но он может отрубить нечто более важное—отрубить саму память о нём. Пусть каждый из вас знает и накажет остальным, чтобы навсегда было забыто имя предателя. Пусть больше никто и никогда не произнесёт его в Койбальской степи и на обоих берегах Адарчына и Ким-су, путь никто и никогда не назовёт этим именем мальчиков, родившихся в наших юртах. А нарушивший волю народа пусть будет тоже казнён, а тело его отдано на растерзание голодным собакам. И пусть это решение будет принято навечно!

Кёнгир замолчал и обвёл взглядом шатёр. Никто не сказал ни слова, но он видел по глазам, что все согласны с его предложением: и правитель Еди-инал, и Большой Совет—посланцы аалов, чуртов, улусов.

— Я читаю согласие в ваших глазах. Поэтому да будет так навечно и по всей степи!—закончил Кёнгир.

— Да будет так!—провозгласил инал.

— Да будет так!—повторил каждый из сидевших в шатре.

Лекарь Фао-Шен после столь долгого многомесячного отсутствия явно хотел поскорее приступить к своим основным обязанностям. Во-первых, близость к каану сразу же возвращала его статус для окружающих, а во-вторых, гарантировала защиту от нападок со стороны недоброжелателей и завистников. И тех, и других, что греха таить, у сюмзюка каана в ставке было немало.

— Я не хочу вызвать гнев на головы лекарей,—как бы невзначай заметил Фао-Шен,—но, по-моему, за время моего отсутствия они недостаточно хорошо лечили Великого Чингисхана?

— Они делали всё, что могли,—ответил Тэмучин устало.—Просто с возрастом больному требуются всё более искусные лекари. А в конце жизни даже самый великий врачеватель будет бессилен, и только Вечное Синее Небо сможет продлить и облегчить мои оставшиеся дни.

— Именно поэтому Небо и даёт избранным людям талант врачевания! Но, как и любого другого таланта, одним отмеряет больше, другим меньше...

Тэмучин хотел посмеяться над китайцем за неумелую попытку утвердить свою значимость, но за стеной шатра резко прозвучал предупреждающий

47. Перемётные сумы.

окрик охранников — и тут же, откинув полог, внутрь вошёл понурый тысячник Егудэй.
— Каан пожелал видеть меня? — тысячник произнёс это, не поднимая глаз.
— Я просто хотел узнать, здоров ли ты, мой верный Егудэй? А то Фао-Шен утверждает, что великая печаль изглодала сердце моего лучшего воина.
— Да, каан, моя дочь Аюшин добровольно приняла смерть, узнав о гибели джагуна Седара. А ведь младшая дочь была самой любимой…
— Я сочувствую тебе, Егудэй! Но знаю, что это не единственная твоя печаль…
— Твой кишиктен падает ниц перед тобой, каан, потому что он не исполнил твой приказ!

Егудэй опустился на колени и ещё ниже склонил голову, после чего тихо закончил:
— Это и есть самая большая моя печаль.
— Фао-Шен поведал мне всё, в том числе и твои сомнения! Встань, мой верный Егудэй, и не терзай своё сердце, не ищи оправданий своим поступкам.
— Я недостоин стоять в твоём шатре, каан, недостоин слушать тебя. Прикажи воинам казнить недостойного!
— Старый лис не может простить себе, что кто-то его перехитрил? — каан усмехнулся. — Поверь мне, пройдёт время — пройдёт и эта обида. Так что поднимись с колен!

Устало откинувшись на подушки, он кивнул Фао-Шену, и тот, опустившись на корточки и откинув полу халата, начал умело массировать больную ногу от бедра до самой ступни. Когда китаец замечал на лице повелителя гримасу боли, тут же втирал в чувствительное место целительный бальзам и продолжал массаж, стараясь не смотреть в сторону понурого тысячника «красных волков». Лекарь не сомневался, что Егудэй уже не раз мысленно обозвал его сюмзюком за то, что раскрыл каану все тайны похода, известные только им двоим. И если бы не покровительство Чингисхана, то месть тысячника, скорее всего, была бы неминуемой.
— У тебя найдётся что добавить к тому, о чём поведал мне преданный Фао-Шен? — прервал Тэмучин наконец затянувшееся молчание. — Так сними камень со своей души. Я слушаю тебя, Егудэй!
— К сожалению, моё появление не стало неожиданностью для кыргызского правителя Еди-инала, потому что в тумэне Бухи оказались лазутчики, — заговорил тысячник. — Один был убит, но второй уплыл на лёгком плоту по горной реке.
— Как же он сумел уйти от твоих «красных волков»?
— Ранивший его воин утверждал, что стрела отравлена и что мгновения жизни раненого сочтены
— Но признайся, Егудэй: ведь не этот лазутчик был главным виновником твоей неудачи?
— Да, джагун Седар встал на путь предательства.
— Молодость склонна к ошибкам, и ты, наверное, поторопился казнить его. Я сам в юности уважал закон побратимства и считал, что слово, данное анде, — это самое крепкое слово. А ты списываешь свою неудачу на джагуна, но при этом умалчиваешь о юноше-динлине, сыне охотника…
— Он открыл бы мне свою тайну, если бы не вымолил смерть у безумного анды Седара.
— Но ведь перед этим динлин спас жизнь джагуну и потому стал его андой! Друг детства Джамуха был моим андой, поэтому я и не казнил его за первое предательство. Да и за второе тоже… А ты сейчас просто продолжаешь искать оправдания! Мудрецы говорят, что лучше победить самого себя, чем выиграть тысячу сражений, ибо никто не сможет присвоить эту победу. Ты ведь потому жестоко отомстил и потому оклеветал динлина, что простой охотник оказался сильнее тебя, всесильного тысячника «красных волков»?

При этих словах в глазах Егудэя снова вспыхнул потускневший было огонь, и взгляд его был теперь направлен прямо на каана.
— Он воспротивился твоей воле, каан, и хотя бы поэтому должен был умереть!
— Не терзай себя, верный Егудэй, удача и неудача далеко не каждый раз во власти человека, но при этом всегда подвластны Вечному Небу, которому, видимо, неугодно было открыть тайну вечной жизни. Я думаю, что Вечный Тэнгри не откроет эту тайну никому, чтобы ни одного из смертных не ставить вровень с собой!
— Я безмерно сожалею о своей неудаче, каан!
— Фао-Шен рассказал, как ты попытался убить даже память о динлине, жестоко оклеветав юношу, вина которого состояла лишь в том, что он оказался верным сыном своего народа… А я ведь тоже, в конце концов, уйду в другой мир, и, поверь, самое страшное для меня было бы повторить судьбу этого юноши.
— Такое невозможно, каан! — Егудэй в волнении даже схватился за рукоять своей сабли.
— Я говорю сейчас не о клевете, а о забвении, тысячник Егудэй. Люди склонны к забывчивости, и, согласись, память о справедливых, но рано ушедших героях зачастую долговечней славы проживших долгую жизнь военачальников!
— Но ведь ты всегда повторял, каан, что воин не должен испытывать жалости к врагу.
— Да, это так! Но при этом великий воин должен уважать достойного противника.
— Я услышал тебя, каан, — Егудэй снова опустился на колени и потупил глаза, — поэтому готов признать, что был неправ с тем юношей.
— Иди, верный Егудэй, и не терзай себя. На всё воля Вечного Неба, а я всего лишь мимолётное во времени отражение его. И нельзя даже в мыслях уподобляться Вечному Тэнгри или состязаться с ним в чём-то, особенно в бессмертии…

Отвесив почтительный поклон, Егудэй понуро направился к выходу.

Когда приговор народа вступает в силу, отменить его не дано никому — и теперь только приговору, а не пожеланиям и приказам повелителей, будет подчиняться людская память. Потому-то в народных преданиях грозные правители предстают жестокими тиранами, бывшие герои видятся кровавыми убийцами, а безвинные мученики почитаются истинными святыми. Правда, принято считать, что это время всё расставляет по своим местам — справедливое и бесстрастное время. Именно оно и есть Великий Хан нашего беспредельного мира: по его приказу угасает огонь в жарко пылавших очагах, покрываются седым пеплом остывшие угли костров и размеренно уходит в прошлое караван прожитых лет. И лишь над Великим Ханом люди не властны, потому-то, даже прикрыв глаза от слепящего солнца, не увидеть им оседающую пыль веков вдали и не услышать в наступившей тишине голоса давно ушедших людей. А тем более нельзя вскочить в седло, догнать и окликнуть их — хотя бы для того, чтобы прочитать в глазах ответ на мучавший долгие годы вопрос, или для того, чтобы просто попросить прощения. Уйдя навсегда, люди и годы оставляют лишь миражи, возникающие иногда в людской памяти: удивительные и прекрасные, тревожные и манящие, грустные и желанные. И не только приговор народа, но и само время не властно над миражами…

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Полина Галайко (4 класс)

Любимый город

Красноярск — это город, в котором я родилась. Он основан в 1628 году Андреем Дубенским, который заложил Красноярский острог в пойме реки Кача. В истории города было несколько больших пожаров, которые полностью выжигали деревянные постройки прошлых лет, но выносливые сибиряки отстраивали свой город заново.

Могучая река Енисей разделяет город на два берега, которые соединены шестью мостами. Первый мост через Енисей — Железнодорожный. Он был построен в 1899 году. Этот мост в то время разделил первое место с Эйфелевой башней на Всемирной промышленной выставке в Париже, так как технология строительства моста была уникальна на тот момент. При строительстве не использовалось ни одного болтового соединения, а все крепления металлических конструкций производились заклёпками.

На левом берегу много старинных архитектурных зданий, которые сейчас являются памятниками культуры. В моём городе большое количество музеев, театров и выставочных залов, есть государственный цирк, городской парк, Органный зал. Красноярск подарил миру много выдающихся артистов, учёных, общественных деятелей.

Город окружён горами со всех сторон, поэтому над Красноярском периодически нависает дым и смог, но это не мешает многим людям и мне наслаждаться красотами этого прекрасного города. К нам приезжает много иностранцев.

У нас в городе более ста сорока фонтанов. Одно из самых красивых водных сооружений — фонтан на Театральный площади. Каждый его запуск — это шоу воды, цвета и светомузыки. Красноярск занимает третье место в России по количеству фонтанов.

Так как у нас снежный край, то тут хорошо развиты зимние виды спорта. Есть горнолыжные курорты и самый популярный — это «Бобровый лог». Именно там я с братом впервые встала на горные лыжи. Научиться кататься на горных лыжах и сноуборде там может любой желающий. Профессионально катаются здесь не только на лыжах, но и на мотоциклах. Представители Красноярска становились чемпионами мира по мотоспорту рекордное количество раз — двадцать один.

Мой город считается столицей российского регби. Каждый год в городе проводится международный турнир по вольной борьбе и по спортивным бальным танцам. А в 2019 году в Красноярске проводилась международная студенческая зимняя Универсиада. Символом была собака породы лайка.

Семейный отдых можно провести с пользой для здоровья в заповеднике «Столбы». Это знаменитый природный комплекс: среди таёжного леса возвышаются более ста древних скал необычной формы, напоминающие столбы. Считается, что они образовались из вулканической лавы. Многие столбы имеют название: Перья, Дед, Баба, Монах, Черепаха.

Я очень люблю свой город!

Тихон Синицын

Январский пейзаж

Корчев

Не спят боспорские цари—
Кидают жадным чайкам крошки.
Люблю в мерцании зари
Твои курганы и «заброшки»,
Твои баркасы на боку,
Твои прибрежные бараки,
Изгиб тропинки к маяку,
Под первым снегом буераки.
Спешу с площадки смотровой
На торжища Пантикапея.
На древней лестнице кривой
Воздушного пускаю змея.
Грифоны, башни, якоря…
Старт в безымянные моря!

Фиолент

Сюрреалистическое лето.
На закате врубелевский Пан
Курит возле моря сигарету…
В тучах затонул аэроплан.
Тихо.
Смолкнул шум на автотрассе
За грядой известняковых глыб.
Жаль, что браконьерские баркасы
Распугали всех летучих рыб.
В сумерки ныряешь, словно нерпа,
Доверяя пению цикад.
Непередаваемое небо
Обещает долгий звездопад,
Вспышки с неземного полигона,
Акварельный ультрафиолет,
Пламенные лики листригонов
Возле гротов мыса Фиолент.

Праздник

Закат прожигает газоны,
Котельную, трассу, гараж.
Приметами зимней промзоны
Пронизан январский пейзаж.
Мерцают пакеты повсюду.
Тревожны конструкции лэп…
Вдруг божья коровка—
О чудо!—
Приносит нам с облака хлеб!

Рисунок свободы

1.

Распознаю отчётливый рисунок:
Окрестных гор колючие углы;
Как дети из непризнанных республик—
В терновнике нахохлились щеглы.
Но солнечное лезвие с востока—
С чертополоха срезало звезду.
И терпкость от гранатового сока
Особо ощущается в саду.

2.

Как дальше жить, когда алеет дикий
Запутанный изящный виноград?
На набережной хитрые коты,
Как сфинксы, тихо караулят крабов.
Прозрачные пиратские суда
Идут над бурунами Кара-Дага.
Ты думаешь, что это облака.
А это—эфемерные фрегаты.
В осенних рощах оживает Климт:
Мерцают мозаичные деревья.
И яркие цветные драпировки—
Как память о земле обетованной.

3.

Я говорю о внутренней свободе,
О золотом сечении души,
Осознанной причастности природе,
О линиях, достойных Ци Байши;
О лёгких иероглифах мороза
В лазурных окнах после темноты…
О вечности, о виноградных лозах,
К которым можешь дотянуться ты.

● ● ●

В Нижнемартовск хочется упрямо,
Где рассвета хрупкий цикламен,
Где потомки Евы и Адама
Сладко спят в эпоху перемен,
Где весна одета так нелепо
После евразийских холодин.
Тишина в Луганске. И Алеппо
Навещает доктор Аладдин.

• • •

Здесь остров Кирки путают с Итакой.
Цветёт сосна. Виляет хвост собакой.
Говеют в Масленицу.
Жарят мясо в пост.
Над степью строят современный мост.
Глухой всё слышит, а немой поёт.
Ведёт паломников слепой экскурсовод.
Здесь выходной — как тяжкая работа.
Здесь покупают зубы кашалота
И уголёк из цинковых белил.
Мне кажется, я здесь тебя любил.

• • •

Не делись своим ядом. Отчаянья не умножай.
Собирай в одиночестве в поле гнилой урожай.
Умолчи про разбитую вазу, высокий забор
И о том, что к тебе чужаки подселились во двор.
Не делись своим ядом. В том смысла особого нет.
Всё равно не напишет стихи твой любимый поэт.
Будут бешено гракать над чёрным платаном грачи…
Но об утре воскресном, пожалуйста, — не промолчи!

Альбина Кириченко (10 класс)

Кайеркан — особенный город

Кайеркан — район Норильска, имевший раньше статус города и расположенный на юге Таймырского полуострова. Он находится рядом с рекой Кайеркан, от которой и получил своё название, означающее на долганском языке «преграда», «барьер». Именно такая характеристика знакома большинству людей, которые слышали про это место.

Для меня же Кайеркан — нечто особенное. Это моя малая родина, место, в котором я росла и воспитывалась, познавала мир, это место, которое подарило мне множество эмоций и воспоминаний. В нём я нахожу частичку себя. Ему я отдаю дань уважения и любви.

На первый взгляд, Кайеркан — маленький городок, точнее сказать, район Норильска, хотя и богатый своей историей. Приехав сюда впервые, человек удивится и необычному расположению домов, и непривычной серости, связанной с отсутствием какой-либо растительности, и жгучему, пронизывающему холоду. Ведь многие люди, которые не прожили и года в Кайеркане, привыкли к раскидистым кронам деревьев, сочной весенней траве, которых не было здесь и в помине, привыкли к немного прохладной осени, потому они и приходят в ужас, когда видят сугробы уже в октябре. Но, узнав это место получше, каждый начинает замечать особенности, присущие только Кайеркану.

Ночь. Рычащий, завывающий ветер слышен даже через окна. Человек, незнакомый с погодными условиями города, обязательно бы встал среди ночи, включил свет и убедился бы в причине своего беспокойного сна. Для Кайеркана это обыденное явление, потому местные даже не обращают на это внимания. Это также одно из немногих мест, где можно увидеть такое необыкновенное, сказочное явление, как северное сияние. Это поистине удивительно — видеть, как цветные полосы рассекают небесное тёмное полотно. И каждый видит его по-своему: кто-то — яростные языки пламени, а кто-то — колыхающуюся траву. Вживую увиденное северное сияние навсегда остаётся в памяти.

Кайеркан — это не только город с домами, улицами и дорогами, в котором мы живём, но и люди, с которыми мы каждый день видимся, общаемся. Кайерканцы отличаются теплотой своих сердец, согревающих даже в студёные зимы.

Несмотря на то, что многие мечтают о мегаполисах, столицах, которые не спят даже ночью, где тысячи тысяч людей постоянно куда-то спешат, в глубине души они точно испытывают хоть капельку тёплых чувств к Кайеркану. С большими городами люди связывают свои мечты, стремления, они торопятся туда, чтобы найти себя и проявить свои умения, и очень часто происходит так, как задумывает человек: город доброжелательно принимает его. Но бывает и так, что чужие города не принимают незнакомцев, разрушая планы мечтателей. Кайеркан — тихое, маленькое местечко, где каждый найдёт для себя покой и каждый оценит его по-своему.

Кайеркан — место, где каждый найдёт что-то новое, особенное. Это городок со своими чертами, который закладывает в своих жителей частичку себя. Всех кайерканцев кое-что связывает, а именно: тепло горячих сердец. Кайеркан дарит эмоции, оставляет незабываемые воспоминания, поэтому человек, покинувший его, обязательно вспоминает про это местечко с теплотой, отдавая дань любви и уважения.

Вера Дорошева

Взлетаю и падаю

Август

Август, все тайны свои выдай!
Из потемневшего дома выйду.
Подпись в открытке «Прощайте! А. Лиделл»
В бисеринках росы.
Если во сне взрослеют дети,
Если в газетах сплошные сплетни,
Если объятья тесней, чем петли,
Заводить ли часы?
Сад весь в паучьей сквозной штопке,
Первые яблоки падают робко.
Горечь—она во второй стопке,
Как и шум в голове.
Если трезветь уже нет смысла,
Если упавшее яблоко—кисло,
Если гниют по пути письма,
То зажигать ли свет?
Окна забиты, забыт адрес.
Из лепестков твоих губ абрис
Складывает на скамье август—
Этим губам не цвесть.
Если сентябрь перешёл границу,
Если я не перелётная птица,
Если стекло накрывает лица,
То почему я здесь?
Тихое утро, чай вчерашний.
Облако, озеро и башня.
Жить в ожиданье—моё брашно,
Что ночам не отнять.
Если прострелены жёлтым кроны,
Если дожди омывают кровью,
И ничего не осталось, кроме—
Ждать. Значит, буду ждать.

Тише, милая, это не смерть—
Это осень пришла посмотреть,
Как дожди вымывают твою невесомую плоть.
И не плачь, ангел мой, не кричи,
Поучись лучше-ка у свечи:
Тай безропотно, воском не смея их рук уколоть.
Как бездомный осенний листок
Обнажает свой хилый остов,
Так и ты—не стесняйся своих опустевших глазниц,
Позвонков беломраморных бус.
Я тебя, мой цветок, не боюсь.
Даже небо пред ликом твоим опускается ниц.
Королева дождей октября,
Вслед за мной, над асфальтом паря,
Ты плывёшь. И в остатках дыхания—плесень и гниль.
Милый, это не дождь—кислота.
Я растаю. Я слишком пуста.

…То ли снег припорошил крыльцо, то ли костная пыль.

А в окнах домов кровь, кровь, грязь.
Дайте мне головой на закат упасть,
Чтоб все видели кровь на моих волосах,
Чтобы ветер на теле моём плясал,
Чтобы уголь последних весенних ночей
Мне на лбу оставил оттиск: «Ничей».
Когда из глаз моих тысячелистники прорастут,
Я буду всё ещё тут, всё ещё тут.
Идя на закат, букет составляй так:
Куриная слепота, берцовая кость, мак.

Я написала бы о фонарях,
И о гирляндах, и о телефонах.
О том, как разбиваются плафоны.
О том, как лампочки горят.
О рожице на матовом стекле,
Скорее даже роже—чёрной сажей.
О том, как морось по стеклу их мажет.
Об их тепле. Негреющем тепле.
О том, как светят в темноте экраны—
И слабо, и неверно. Долгожданно.
Что телефон скорей для света дан нам,
А не для набивания карманов.
О скромности: как гаснут на рассвете.
И об ошибках: те, что не погасли.
О соке света и о света масле.
Могу их одиночество отметить.
Да, я могу. Могла бы. Я б хотела.
Но тёмен телефон. Гирлянды спят.
У фонаря в окне нимб слишком свят.
И я, увы, уже перегорела.

Ничто

Разлетятся в снежную пыль все мои мысли.
И пока сугробы наращивают мышцы,
А в руках трещат нелетучие мыши,
С боку на бок ворочается земной шар,
Я останусь наедине с тишиной ночи,
С перерезанным телеграфом, молчащей почтой,
Со стихами, отредактированными в клочья,
Как моя вечно не в рифму, не в ритм душа.
В промежутке между сердечными там и тамом
Смотрит в глаза пустота донышком стакана.
Может быть, это не боль, а стиль—сканди,
Не дефицит, а свежий минимализм?
Так почему тогда холодит спину,
Кожа моя для тела излишне скинни,
Спальня—как будто с места убийства снимок,
Что раз за разом делает криминалист?
Каждой клеточкой чувствую недостачу.
Перегорели глаза—напряжение скачет.
Книгу судьбы написал мне, увы, не Пратчетт,
А Даниель Дефо или Джонатан Свифт.
И ни одной иллюстрации, право слово,
Слышу злое, вижу злое, говорю злое.
Я затыкаю дыры, но они вскрываются снова.
Я затыкаюсь. Nihil меня хранит.

Княжна

Я пришёл за вирой, княжна.
Я пришёл за верой в весну.
Бесконечно ночь холодна
И стегает ветер, как кнут.
Опустела моя казна—
Всё ушло на войну с зимой.
За спокойные сны, княжна,
Заплати же, и чёрт с тобой.
Поцелуй урони в ладонь,
Плечи бархатом рук обвей.
Я шагал противусолонь,
Я был сильным. Но ночь сильней.
Сквозь ресницы твои, княжна,
Распускается сон-трава.
Я уже три луны без сна.
Я замёрз. Ты была права.
Наготове снежинок рать,
Сталь мороза обнажена.
Я пришёл к тебе умирать.
Я пришёл за вирой, княжна.

Купальская ночь

Три капли греха на моём языке,
Три сорванных с веток чужих поцелуя.
Я возле костра. Я смеюсь и танцую.
И бьётся рассвет вдалеке.

И руки… В чужих торопливых руках
По пригоршне красных древесных углей.
И губы чужие неистовей, злей,
А я вся вытягиваюсь на мысках.

Сквозь запахи жёстких, раздавленных трав,
Сквозь воздух, холодный, ночной и живой,
Взлетаю и падаю—мне не впервой.
Крыло моё—белый рукав.

В беспамятстве небо раскинулось. Искр
Испуганных рой улетает во тьму.
А я всё никак слов чужих не пойму.
Невнятен их выговор, быстр.

Я в коконе ночи, но срок мой придёт,
И шёлк этих рук разорвать я смогу,
Чтоб долго сидеть на речном берегу,
Глядеть, как рассвет восстаёт.

Снег

Прошу, опубликуйте снег
В обложке мягкой, чтоб
Его обычный человек
В сердцах захлопнуть мог,
Задвинуть в дальний уголок,
Закинуть под кровать.
Чтоб человек обычный мог
Его не открывать.
Чтоб на него пролили чай,
Чтоб пёс его погрыз,
Чтоб под обложкой снег скучал,
Линял, почти раскис.
И чтоб однажды человек
Движением руки
Раскрыл забытый всеми снег—
И начался снежинок бег
С подчёркнутой строки.

Геннадий Рязанцев

Лыжня

Генерал встал. Подчинённые последовали его примеру. Пятничное совещание закончилось. Отодвигались стулья, закрывались рабочие папки, офицеры потянулись к выходу из просторного кабинета начальника. Их провожали взглядом генерал и — с портрета — президент Российской Федерации, взирая со стены из-за громоздкого стола и огромного кресла начальника управления.

— Липницкий, задержитесь, — спокойным голосом обратился генерал к майору, последнему выходившему из кабинета.

Неприятное чувство овладело Липницким. Он знал это чувство внутреннего волнения в груди, под сердцем. Это ощущение виноватости, сделанной глупости, которая будет сейчас обличена и повлечёт за собой тревожную неизвестность.

— Есть, товарищ генерал, — скороговоркой по уставу ответил Липницкий, неуклюже повернувшись.

Он был полноват, военной выправки недоставало. И бойкая фраза никак не соответствовала его движению. Это тотчас заметил генерал. Липницкий в ожидании остановился против стола, внимательно глядя в широкое, скуластое лицо генерала.

— На стадионе «Динамо» есть лыжня? — по-простому спросил генерал.

— Так точно, есть, — отрапортовал Липницкий.

— Это хорошо, — удовлетворительно произнёс генерал, направился к окну и отодвинул тяжёлую штору.

Липницкий рассмотрел его крепкую, подтянутую, спортивную фигуру. А генерал был в преклонных годах.

— С юности люблю лыжню, — благостно, доверительно сказал генерал, — а служа на Севере, пристрастился к утренним пробежкам в выходные. Причём в любую погоду, — продолжал он, напирая на гласную букву «о». — День завтра обещает быть солнечным, морозным. Снежок у вас выпал хороший. Организуешь?

— Так точно, — бойко ответил Липницкий, но волнение не проходило.

Он лихорадочно соображал, а есть ли лыжня на старом стадионе «Динамо». Хотел даже высказать своё сомнение, но так и не решился.

— Я подъеду часам к девяти утра. Привык рано вставать, — генерал снисходительно улыбнулся Липницкому. — До завтра, идите. Нет, постойте, — спохватился генерал. — Запишите мне ваш личный телефон, — и он придвинул по столу листок бумаги для заметок.

Липницкий старательно написал свой мобильный номер.

— Вот теперь идите.

— Есть, — ответил Липницкий, неуклюже повернулся и направился к выходу.

Генерал смотрел в окно, от которого веяло холодом.

Был он прислан приказом Министерства внутренних дел в родной город после тысяч дорог по матушке-России, возглавить областное управление. Вызван из Магадана, где он служил начальником последние десять лет…

Липницкий ехал на стадион «Динамо», и сомнение его усиливалось. Стадион был старейшим в городе. Ещё мальчишкой Липницкий посещал секцию дзюдо. С ребятами занимался знаменитый тренер по имени Ким Васильевич, по совместительству офицер милиции, и, тренируя ребят, он создал на базе секции молодёжную организацию, на добровольных началах помогавшую милиции следить за порядком на улицах, в парках, танцевальных площадках города.

Другие ребята «кимовцев», так называли воспитанников Кима Васильевича, не любили, дразнили их «шестёрками ментов», но как спортсменов побаивались.

На самом деле эта организация готовила крепких парней, объединённых спортом и благородными идеями, для служения в милиции. Так и получалось. Многие воспитанники Кима Васильевича, отслужив армию, шли учиться в вузы МВД или сразу поступали на работу в органы.

Липницкий остановил машину у отдельно стоящего зала бокса и пошёл от него вперёд к основному серому зданию, в котором располагался легкоатлетический манеж, а за ним были подтрибунные помещения и открытый стадион. В проёме между залом бокса и манежем снег был расчищен. Это была площадка для занятий со служебными овчарками. Липницкий пошёл через площадку к летнему стадиону. За железными сварными воротами его взору открылось безжизненное заснеженное пространство. Трибуны с пластмассовыми

оранжевыми сиденьями были сплошь заметены снегом. Поле и беговая дорожка были укрыты ровным белым одеялом.

— Чёрт меня дёрнул! — выругался Липницкий.

Он обошёл здание, открыл дверь пристроенной «стекляшки», поприветствовал охранника и проследовал в дирекцию стадиона.

Постучал.

— Заходи, что топчешься? — послышался грубый мужской голос.

Липницкий толкнул дверь. За маленьким столом сидел огромного вида человек, в котором угадывался бывший штангист.

— Извините, — сказал он, — я принял вас за другого человека. Чем могу служить, майор?

— А у вас на стадионе есть лыжня? — Липницкий ещё надеялся, что где-нибудь за трибунами тренируются лыжники.

— Нет, лыжни тут давно никто не прокладывает. Мы передали лыжную базу со всем оборудованием и инвентарём в специализированную школу. Хлопотно, и нет денег на обновление инвентаря. Здесь, на «Динамо», остались штангисты, боксёры, борьба классическая, лёгкая атлетика. По вечерам до десяти арендуют зал теннисисты, айкидо, каратэ, — в общем, вся эта дрянь. А деньги люди платят, иначе бы они не арендовали. Парадокс: бокс бесплатно, штанга — тоже, борьба. Ходи, развивайся. Так нет же, подайте этакой модной заморской дряни, за деньги. И платят этим шарлатанам. Специалистов-то настоящих нет, ряженые. А нам что? Тоже неплохо. Аренда приносит кое-какой доход. Надо же содержать стадион. А вы что хотели?

— Можно я покатаюсь на лыжах у вас на стадионе по старой памяти? — для убедительности Липницкий добавил: — Лет пятнадцать назад я тренировался здесь... У Кима Васильевича.

— О-о-о, — взревел штангист, — это был человек! Не только тренер — воспитатель, родной отец для ребятишек, — довольно подытожил он. — Покатайтесь, вспомните старые времена. Только... — усомнился большой человек и даже привстал.

— За это не переживайте, — не дал ему договорить Липницкий. — Я вокруг поля пробью лыжню, как раз там она всегда была. А завтра утром мы с генералом нашим на этой лыжне устроим соревнования.

— А что мне переживать? — улыбнулся богатырь. — Не мне потеть. Примем за честь таких важных гостей. Хорошо, я предупрежу охрану.

— Договорились, — Липницкий протянул руку для прощания и почувствовал, будто металлические тиски сковали на мгновение его ладонь.

Он вышел в полутёмный коридор и потёр ладонь об ладонь.

Выйдя на улицу, ослеплённый снегом, он как-то разом увидел всю предстоящую ночь. Испарина выступила на его морщинистом лбу с большими залысинами. Он сел в машину, снял шапку, извлёк из кармана брюк скомканный платок и вытер пот. Затем достал телефон и позвонил.

— Алло. Здравия желаю! Чем занят?

— Выходной, с семьёй провожу время.

— А ты мне нужен, Терёхин.

— А по телефону нельзя поговорить? Меня могут не отпустить, дочка висит на шее.

— Дело важное. Об этом по телефону не говорят. Подъезжай к павильону номер восемь. Остановись в стороне.

Голос Терёхина изменился, погрубел:

— Ладно, через час буду.

— Мне нельзя терять время, — напирал Липницкий, — каждая минута на счету. Жду через пятнадцать минут. Скажи жене: срочный вызов, оперативные действия...

— Ладно, — Терёхин отключил телефон.

Капитан Валерий Терёхин прибыл через пятнадцать минут. Он вышел из машины и, озираясь по сторонам, пошёл к «жигулёнку» Липницкого. У Липницкого была и другая машина — новый «Фольксваген», который стоял в гараже тестя и использовался только в выходные, чтобы не искушать начальство.

Терёхин открыл дверь и рухнул на сиденье.

— Здоро́во! Что стряслось-то?

Капитан Валерий Терёхин был молодым участковым. На своём микрорайоне он знал, как и положено участковому, всё и всех. Особенно он специализировался на торговле. На его участке располагались мини-рынок, несколько павильонов и точек нелегалов из Кавказа. Терёхин с Липницким контролировали весь этот рынок торговли и покрывали перед надзорными ведомствами. А также не допускали криминал на свою территорию.

— Валера, мне нужна твоя помощь, — озабоченно глядя в лобовое стекло, начал Липниций. — Сегодня после оперативного совещания новый генерал почему-то оставил меня в кабинете, будь он неладен!

Капитан Терёхин напрягся. Он повернул узкое скуластое лицо с крючковатым носом к майору и вглядывался в него, играя желваками скул.

— Ну, в общем, он служил в Магадане и на выходных... — Липницкий выдавливал из себя слова, словно фарш из мясорубки.

— Василий Наумович, ты вызвал меня, я прибыл через пятнадцать минут, оставил семью, дочку, которая меня не видит, а ты мямлишь, как первоклассник на уроке.

— Не кипятись, всё нормально. Это не то, что ты подумал, — Липницкий стукнул его по колену тыльной стороной ладони. — Генерал спросил меня, есть ли на стадионе «Динамо» лыжня. Он на выходных в Магадане ходил на лыжах по утрам.

Он спросил, а я, не задумываясь, ответил: так точно, есть.
— Фух,— облегчённо выдохнул Терёхин,— напугал ты меня, Василий Наумович. Да на «Динамо» лыжни нет уже года три. База лыжная переехала на проспект Энтузиастов, в парковую зону. Новый спортивный комплекс построили.
— Да знаю, знаю я, Валера, по старой памяти отрапортовал.
— Позвони генералу: так, мол, и так.
— Куда я позвоню?— раздосадованно ответил Липницкий.— Телефона нет, да и не принято звонить начальству.
— А что ты собираешься делать?— настороженно, не веря в свою догадку, спросил капитан.
— Я буду прокладывать лыжню на стадионе,— решительно сказал майор.
— А я тебе зачем?
— Надо всё организовать на высоком уровне— новое начальство. Нужна инфраструктура. Лыжи, ботинки к ним. Размер примерно сорок два— сорок три. Палки лыжные, конечно. Ещё тёплое помещение, чтобы переодеться генералу. Чай с бутербродами. На всякий случай горячительные напитки уровня «Хеннеси» и водку. Генерал русский, а русские генералы пьют водку.
— И на всё это нужны деньги,— подхватил капитан Терёхин.
— Да, Валера, тысяч двадцать— двадцать пять.
— У меня денег нет,— отрезал капитан.
— Надо найти.

Терёхин развернулся на тесном сиденье к Липницкому и сделал очень удивлённые глаза.
— Не прошло недели,— шёпотом, картинно оглядываясь, членораздельно проговорил Терёхин,— мы собрали дань. Я же не могу прийти и сказать: ребята, нужны ещё деньги. Теперь для развлечения генерала. Все эти торгаши… они так нас ненавидят. Я подхожу и слышу иногда через тонкую стену павильона: опять этот мент идёт. А я делаю вид, что ничего не слышу.
— Валера, не иронизируй,— Липницкий посмотрел на часы.— Семнадцать десять. Магазины спортивные до двадцати, алкоголь до двадцати одного. Мне ещё надо съездить домой, взять свои лыжи…

Липницкий озабоченно вздохнул.
— А эти деньги, которые…
— Мы с женой купили, наконец, плазменный телевизор.
— А мы заплатили кредит за квартиру.

Минуту оба помолчали.
— Ладно, господин майор,— в раздумье проговорил Терёхин,— пойду к кавказцам, порошу за месяц вперёд, а с этой нищебратии возьму товаром: коньяк, соки, колбасу. Лыжи с ботинками я куплю, палки тоже. Генерал— он высокий?
— Выше некуда, прислали приказом министра.
— Я про рост говорю.
— Думаю, метр девяносто. Статный такой, большой мужик.
— Палки должны подходить под мышки лыжника, насколько я помню из школьной программы,— отчеканил Терёхин.
— А что делать с палаткой, Валера?
— Палатка не подойдёт,— капитан напряжённо соображал.— У меня есть один знакомый. У него небольшое предприятие, прокатывает профиль для пластиковых окон. Религиозный такой. У него семь или восемь детей. Каждый год он ездит за гармонией для души в монастырь, на Соловки, на семейном автобусе. Это такой дом на колёсах. Вот этот «автодом» нам нужен. У него есть долг передо мной, я помогал ему со сбытом, и, думаю, он не откажет. Правда зимой он на нём не ездит.
— Отлично, Валера,— облегчённо вздохнул Липницкий, ухватившись за эту идею.— Сверим часы: семь двадцать. Не забудь: лыжи, двое ботинок к ним, размер сорок два— сорок три. Нет, сорок три— сорок четыре. Палки под мышки на рост метр девяносто. Коньяк «Хеннеси», водка— лучше «Русский стандарт» или «Путинка». Это подчеркнёт наш патриотизм. Соки, хлеб белый, колбаса «Охотный ряд», палка «Австрийской», икра красная, масло сливочное под икорку. Чай в термосе, качественный «Гринфилд». Автодом. И в восемь тридцать утра— к северной трибуне. А лучше пораньше.
— Есть, товарищ майор.
— Не подведи, капитан. Это нужно мне. А если у меня всё будет хорошо, то и у тебя всё будет.

Липницкий протянул руку.
— На связи в любое время суток. Успевай в магазины.

Терёхин пожал холодную руку товарища и побежал к своему автомобилю.

Дверь новой квартиры открыла жена Липницкого Мария.

Ремонт ещё не закончили, висели на потолке лампочки на проводах, но было просторно в коридоре, пахло ужином и уютом…

Хотелось отдохнуть. Это обычное чувство испытывал Липницкий, приходя домой, но мысли крутились в голове. Он, не раздеваясь, прошёл на балкон, заставленный коробками, ящиками с инструментом, остатками плитки, вёдрами из-под краски. Лыжи стояли в самом углу шестиметровой лоджии. Жена молча наблюдала за мужем. Она не задавала много вопросов, зная, что служба требует полной отдачи, иногда в ущерб семье.

Пробираясь за лыжами, Липницкий выругался.
— А для чего тебе лыжи понадобились?— спросила жена, видя раздражение мужа.
— Сегодня не обычное дежурство,— соврал Липницкий.— Вышли на след организованной преступной группировки наркоторговцев, которые

скрываются в лесу, в заброшенной охотничьей сторожке. Решили идти брать бандитов не на автомобиле, чтобы не спугнуть светом фар, звуком машины, а через лес, небольшой группой на лыжах. Машину оставим на трасе с патрульной бригадой ДПС.

— А как же вы будете одеваться?

— Маша, ну что ты спрашиваешь?—раздражался Липницкий.—Мы полувоенная организация. У нас есть в наличии спецодежда. Белая, маскировочная, комбинезоны такие, знаешь…

— Ты хоть свитер шерстяной возьми, носки вязаные,—встревожилась жена, бросилась собирать вещи и уже из комнаты спрашивала:—А они вооружены, бандиты эти?

— По данным наблюдений, вроде бы нет,—равнодушно ответил Липницкий.

— А почему спецназ не посылают?—справедливо заметила Маша.

— В управлении хотят отличиться, себе плюсик поставить. Новое начальство,—совсем заврался Липницкий.

Поужинав, Липницкий прилёг на диван перед телевизором рядом с женой и младшим сыном, пятилетним Серёжей. Он любил, уставший, под звуки телевизора и непрестанные разговоры Серёжи с Машей уснуть. Ему не нужна была тишина, а нужны вот эти привычные, родные голоса и звуки.

Он проснулся, когда Маша в спальне уже укладывала Серёжу, читая ему на ночь сказки.

Липницкий выпил чаю с бутербродами. Налил термос с горячим кофе, завернул бутерброды, взял приготовленные в пакете свитер, тёплые носки, варежки, спортивную лыжную шапочку (где-то нашла её жена), выставил лыжи с ботинками в подъезд, скрипнув дверью, оделся и вышел.

Часы показывали десять тридцать вечера. Липницкий запустил двигатель. Температура минус восемь. Пока прогревался двигатель, Липницкий привязал лыжи на верхний багажник «жигулёнка». Позвонил Валера Терёхин и радостным голосом отрапортовал:

— Всё успел, Василий Наумович, можешь не волноваться. Завтра на автобусе приедем вместе с приятелем. Он молится за тебя и говорит: Бог в помощь.

— Валера, зачем ты всех посвящаешь?!—закричал Липницкий.

— Но мне же надо было объяснить человеку. Он сказал, что нет власти не от Бога, поэтому надо подчиняться. И жена его за тебя молится.

— Терёхин, чёрт тебя возьми!

— Ладно, ладно,—громко засмеялся капитан,—всё в порядке. Автодом откопали от снежного плена, заправили, и он завёлся. Готов в путешествие,—Терёхин был очень доволен собой.—Приборы, сервировка стола, даже кровати есть: если генерал устанет, он может отдохнуть, поспать, а мы его подождём.

— Да уймёшься ты или нет?—уже раздражался Липницкий.

— Ладно,—подытожил Терёхин.—В восемь тридцать мы с рабом Божьим Александром у северной трибуны,—и крикнул вдогонку:—Если будет тяжело, позвони, мы приедем, поможем,—но Липницкий уже не слышал, он отключил телефон.

В городе машин было много, а на подъезде к стадиону было безлюдно.

Старый корпус выглядел сумрачно с большими тёмными окнами. Липницкий постучал в «стекляшку» у главного входа. Дверь отпер охранник.

— Я договаривался покататься на лыжах вокруг поля стадиона.

— Давай-давай, я в курсе, меня предупредили,—формально ответил охранник, из-за спины которого доносились звуки работающего телевизора, слышались выстрелы и крики.

Липницкий поехал к северной трибуне.

На площадке для дрессировки собак виднелись бум для учебного прохождения, лестница, стенка со сквозным окном, которые он днём почему-то не заметил.

Налево виднелись вход в подтрибунное помещение и, чуть в стороне, открытые ворота на стадион. Липницкий оставил машину, прошёл через ворота. От снега было довольно светло. Слева блестел тоненький серп месяца, вправо от него, по земным меркам метрах в тридцати, горела яркая звезда.

Молодой месяц, понял Липницкий по тому, как его учила бабушка: если месяц кажет букву «С»—это значит, старый, Луна на убыли; если наоборот—месяц молодой.

Всё было заметено снегом. Ограждения стадиона были покрыты овальными покрывалами. Сама чаша была ниже и напоминала огромную плошку, на беговых дорожках были видны снежные кружевные перемёты с острыми краями наверху.

Липницкий решил переобуться в лыжи и начать лыжную трассу уже отсюда, от ворот, чтобы была возможность подойти к основной лыжне.

Пришла смс-ка: «Вася, ты даже не попрощался! Знай, я люблю тебя, и Серёжа, и Слава. Он, кстати, уже дома, пришёл. Ни о чём не волнуйся, береги себя».

Снег оказался глубже, чем Липницкий предполагал. Уже сформировался наст, его твёрдая, схваченная морозом поверхность крошилась под тонкими лыжами, и нога проваливалась по самую голень. Там, где встречались перемёты, снег быт слоистый, твёрдый, и приходилось пробивать его силой своего веса. Палки с треском проваливались и застревали в жёстком насте. Движения лыжника были неестественными, он то проседал ногами в снег, то шёл по поверхности, пытаясь палками крошить слоистый твёрдый снег. Всё это

сопровождалось частым дыханием, выходившим изо рта паром и потрескиванием ломающегося и крошащегося наста.

Пройдя метров тридцать, Липницкий остановился и осмотрелся. За ним шлейфом тащился след взлохмаченного снега, совсем не походившего на лыжню. Он запыхался. «Одному будет тяжело»,— подумал Липницкий обречённо.

Но делать было нечего, он двинулся дальше. То проваливаясь, то поднимаясь, он закончил четырёхсотметровку. Силы оставили его. Он даже не посмотрел на проделанную работу, двинулся к машине. Да здесь нужно пройти ста человекам, чтобы получилась лыжня, соображал Липницкий. Столько же ему надо пройти кругов одному. Это по накатанному снегу тяжело, а по тому снегу, что он оставил сейчас после себя?..

Липницкий снял лыжи, забрался в машину и посмотрел на часы. Один час пятнадцать минут работы.

— Я могу не успеть,— вслух проговорил он.

Он открыл термос, налил кофе, развернул бутерброды и жевал, запивая горячим напитком. Силы возвращались к нему. «Всё равно мы тебя обманем»,— вспомнил он слова своего покойного отца, когда тот делал что-нибудь, а у него не получалось, а маленький Липницкий наблюдал за отцом.

— Всё равно мы тебя обманем,— произнёс Липницкий вслух.

Второй круг был таким же трудным, но времени он на него затратил значительно меньше. Твёрдости под лыжами всё ещё не было, палки застревали, карябая наст, но шёл он уже широко и немного был похож на лыжника.

На угол выходил охранник, курил, отворачиваясь от ветра, и с любопытством глядел на одинокого человека, преодолевающего снежную стихию.

Липницкий упрямо двигался вперёд. Он уже не видел ничего и никого. Холодный воздух входил в его лёгкие, студил лицо, покрывшееся инеем на бровях и ресницах. Шарф на шее тоже белел застывшим от мороза паром.

Если генерал узнает, что это он, Липницкий, в одиночку проложил для него лыжню на этом стадионе, он совершенно по-особенному будет относиться к нему. Может быть, будет продвижение по службе, возможно, он приблизит его к себе, думал Липницкий на шестом круге.

На восьмом круге, когда стала вырисовываться лыжня, он подумал о медали, такой медали, которая бы дала ему возможность впоследствии иметь льготы. Мысли уже путались, сердце колотилось и в груди, и в висках, и хотелось только одного— скорее закончить с этой чёртовой лыжнёй.

На девятом круге лыжня твердела, ровнялась. Палки прибились к снегу, утрамбовали его. Липницкий уже отталкивался ими и катился, отдыхая на коротких отрезках.

Дело было сделано. Светало. Над широкой панорамой заснеженного стадиона, на западе, небо было чистым и холодным, но из-за горизонта с противоположной стороны подкрадывалась сиренево-оранжевая заря. Она, словно золу, сметала веником звёзды, подбираясь к бледнеющей луне.

Липницкий осмотрел дело рук и ног своих. Лыжня, подсвеченная тусклым небом, выглядела рельефной и ровной. Липницкий снял ненавистные лыжи и пошёл к машине. Он чувствовал себя на ногах так, как, вероятно, чувствуют себя только что приземлившиеся космонавты. Он словно вновь учился ходить.

Липницкий завёл машину, флажок бензобака предательски горел, денег на бензин не было. Вентиляторы гнали воздух на оледеневшие руки и лицо, подавая воздух в салон автомобиля. Липницкий почувствовал, как он устал. Часы показывали шесть пятнадцать. До девяти оставалось чуть меньше трёх часов. Липницкий извлёк из кармана телефон, положил его на сиденье пассажира, заблокировал двери, отодвинул кресло, откинул его и закрыл глаза. Он решил уснуть.

Ему снились две большие чёрные лохматые разъярённые собаки, гнавшиеся за ним с рыком и оскалом больших острых белых зубов. Липницкий чувствовал под ногами твёрдую лыжню, он ощущал её всем телом, ловко попеременно отталкиваясь и опираясь на палки о примятый ровный снег. Испортят, испортят лыжню своими лапищами с когтями, изомнут, изроют, пронеслось в голове у Липницкого. Изгадят работу. Но останавливаться было нельзя, собаки храпели за его спиной. Сделалось жарко от быстрого хода по лыжне, сердце колотилось под самыми ключицами. На повороте у западной трибуны его занесло, он потерял равновесие и, задрав вверх левую ногу и левую руку с палкой, боком повалился на снег, а через секунду услышал и почувствовал густое тёплое дыхание, храп прямо у своей шеи и... проснулся.

Двигатель заглох, окна машины были залеплены снегом, и через них ничего не было видно.

Липницкий в страхе выскочил из машины. Валил медленный, крупными хлопьями, снег. Он уже покрыл капот «жигулёнка», крышу на пару сантиметров.

Липницкий побежал к металлическим воротам. Колеи лыжни были припорошены ровным, бархатистым слоем овального снега, словно приготовлены для торжественной презентации. Липницкий сплюнул, изругался и тотчас услышал из машины глухой звонок оставленного на сиденье телефона. Липницкий бросился к автомобилю, рванул дверь, схватил звенящий телефон и нажал кнопку.

— Алло,— сказал он запыхавшимся голосом сквозь бьющееся сердце, стараясь сохранять спокойствие.— Алло?

— Майор, доброе утро,— голос генерала был благостный и тихий.
— Здравия желаю, товарищ генерал,— переводя дух, ответил Липницкий.
— Как у тебя дела?— неторопливо, но заинтересовано спросил только что проснувшийся генерал.
— Всё готово к вашей прогулке, товарищ генерал, лыжня хорошая, есть где переодеться, чай, бутерброды, напитки,— Липницкий говорил, а сам смотрел на часы.

Было восемь тридцать утра— сейчас приедет тёплый автобус…
— Знаешь, майор,— перебил Липницкого генерал,— сегодня не получается покататься. Мы решили с женой провести это утро дома. Так что отбой.

И послышались короткие гудки.

Из-за поворота с включёнными фарами выезжал необычный для города автобус, тот самый автодом, и направлялся к занесённому снегом «жигулёнку» Липницкого. Он остановился, и из него выскочил весёлый Терёхин, за ним мужчина лет пятидесяти, долговязый, с выпирающим животом. А из боковой двери чудо-автобуса вышла женщина в платке, подвязанном под подбородок, в длинной юбке до самых пят и шубке.
— Это раб Божий Александр,— поочерёдно представлял их капитан Терёхин,— хозяин автобуса, а это его жена, раба Божья Иулия. Она любезно согласилась приготовить еду для нашего высокого гостя.
— Зачем вы себя утруждаете?— заговорил было, извиняясь, Липницкий.
— Вера без дел мертва,— ответила, смущённо улыбаясь, Иулия.— Мы так спасаемся, слава Богу за всё.
— Слава Богу, слава Богу,— повторял Терёхин, беря под руку майора.— Ты посмотри, как они всё приготовили, можно премьер-министра принимать. Да что премьер-министра— можно президента Путина, не стыдно будет.

Он распахнул боковую дверь, и Липницкий заглянул в глубь автобуса.
— Очень удобный, все есть для жизни в этом автобусе.
— А главное— тепло,— подталкивал Терёхин Липницкого войти внутрь, но тот упирался.
— Здесь действительно всё есть, вы пройдите. Когда Саша едет на Соловки, я совершенно спокойна.
— У тебя как с лыжнёй? Успел?

И Терёхин побежал за ворота на стадион. Водитель автобуса отправился вслед за ним.
— Да ты монстр, Василий Наумович!— кричал, возвращаясь, Терёхин.— Неужели один пробил трассу? Тебя надо от МВД на Олимпиаду отправить. Устал, Василий Наумович?
— Ребята,— тихо сказал Липницкий,— отвезите меня домой, у меня закончился бензин, и я смертельно хочу спать. Спасибо вам за отзывчивость и оперативную помощь.
— А генерал как же?— смущённо спросила Иулия.
— А генерал позвонил только что и сказал, что решил провести это утро в кругу семьи,— Липницкий виновато улыбнулся.

Все помолчали.
— Б…дь,— выругался Терёхин.— Ой, извините,— спохватился он.
— На всё воля Божья,— тихо сказала Иулия.— Вы всё сделали, что могли, и ваша жертва зачтётся у Господа.

Вдалеке стоял охранник, смотрел и молча курил…

Липницкий осторожно открывал дверь квартиры своим ключом, чтобы не разбудить семью. Но жена уже ждала его в коридоре. Была она не причёсана, с мешками под глазами. «Я идиот»,— подумал Липницкий, а вслух сказал:
— Не спишь?
— Жду тебя, Вася,— помогая снимать обувь с ледяных ног мужа.— Как всё прошло? Арестовали преступников?
— Да, Маша, взяли с поличным и доставили в отделение. Операция прошла успешно, без потерь для личного состава…

Виктор Николаев

Горько!

Волки

В начале двухтысячных была у меня встреча с одним крепким стариком. Как-то так сложилось, что мы оказались рядом, и у нас завязался разговор. Вначале вроде как ни о чём, а потом он незаметно приобрёл глубокую, серьёзную смысловую форму.

Размышляя о жизненных ситуациях, мы постепенно подошли к одной конкретной необычной человеческой судьбе, которую поведал мне этот пожилой человек.

Я долго хранил в себе эту пронзительную историю, давая ей дозреть до нужного часа. Её время наступило.

Теперь послушайте и вы.

— Знавал я одного мужичка по имени Михей,— начал он.— Его судьба была нелёгкая, а где-то и жестокая. Он сидел ещё в начале пятидесятых прошлого века.

В заточении много переосмыслишь. Там даже нары говорят: остынь, сядь и задумайся. Любое дело, пусть самое хорошее, нельзя делать сгоряча. Дёрганых не любят нигде, а в «зоне» особенно. Тюрьма северная — место ой какое нелёгкое. Но даже там, в стылой неволе, до боли хочется воли.

Была зима. Вторую неделю стояли лютые морозы. Время тогда тоже было лютое, когда по-прежнему судили за всё: за косой взгляд, за донос соседа, за сокрытое ведро картошки. За всё.

Тот мороз за тридцать, казалось, пробирал Михея и ещё несколько десятков осуждённых работяг насквозь. Пробирал до печёнок, до желудка. Синие руки и плохо обутые ноги, синяя, едва закрытая застиранной портянкой, с выступавшими крупными пупырышками шея. Много раз перемороженные уши, висевшие уродливыми лопухами, были привычным и даже обязательным довеском к обмороженным пальцам без ногтей.

Прокладывали железнодорожную колею-однополоску через глухую тайгу к обнаруженному медному руднику. Было так холодно, что казалось — замёрзло всё. Замёрзло даже постоянное нестерпимое чувство голода, от которого часто кружилась голова, слабость переходила в тупую заторможенность, речь становилась вязкой и путанной, а от начинающейся цинги кровоточили дёсны и ломило последние шатающиеся зубы. Часто наступали лёгкие игривые галлюцинации, отчего даже маленькая еловая ветка чудилась громадным стволом, через который не переступишь. Сколько же там полегло, замёрзло и сгнило людей, где каждая шпала — судьба человека, а то и десятков погибших от голода, холода, заеденных комарами и вшами!

Из работяг к Михею льнул один политический, молоденький очкарик, учитель истории, по имени Арнольд. Он как-то сразу прибился к бывшему молотобойцу, почувствовав в нём не свойственные для этих мест простодушие, доброту и сострадание. Михей подкармливал почти прозрачного от голода историка, отламывая ему половину от своего чёрствого кусочка хлеба, хотя сам исхудал так, что почернело лицо и впали глаза. Но уж больно слаб был учитель.

Окончательно сдал паренёк, когда у него от мороза лопнули очки. При его зрении в минус восемь Михей стал для него настоящим поводырём. Парень мог передвигаться, только держась за фуфайку Михея. Он постоянно по-детски щурился и часто шептал кузнецу с заиканием: «Н-не б-бросай…»

Сам Михей тоже был в определённой степени политический. Ему дали стандартные десять лет за недовыполнение плана в сельской кузнице. Ковал заказанные скобы и не уложился в срок. Стоя у огня вторые сутки без сна, Михей присел отдохнуть и не заметил, как уснул. Разбудил кузнеца своим гортанным криком оперуполномоченный в кожанке и с пистолетом ТТ на ремне. Он бил Михея скобой и орал с визгливым прибалтийским акцентом:

— Где прадюкция?! Чтоб ви сильно работали, я закручиваю тибе здесь гайку!

Проснувшийся от боли и истерики комиссара Михей потемнел лицом.

— Говоришь, гайки закрутишь? Смотри резьбу не сорви,— процедил сквозь зубы кузнец, сплёвывая кровь.

Скоро всё было как положено: арест и законные «десять лет без права переписки». Да и переписываться-то особо было не с кем. Благо бобыль. Не сложилось у него в своё время с хорошей женщиной. Её муж умер от тифа, она уже вроде как

и решилась сойтись с Михеем, да в последний момент передумала — видно, своего по-прежнему любила и не могла забыть. Да и Михей потом больше ни на кого так и не посмотрел.

…Колею прокладывали в срок. Мороз, голод, кровавые мозоли и частая смерть не в счёт. Кайло, тачка и мотодрезина с весёлым названием «Пионерка» — главные помощники в строительстве дороги в «светлое будущее». Промёрзшая на несколько метров земля неохотно позволяла ковыряться в себе, а угрюмая тайга так и норовила отомстить человеку за массовую вырубку под корень упавшей кому-то на голову вековой сосной. Мороз временами уступал раскалившимся человеческим нервам и злости на всё. В том числе и на светлое будущее.

От всего этого у Михея окончательно созрела давняя мысль — бежать.

Хоть куда. Но бежать. Желание засело накрепко, это вдохновляло и придавало сил. Последней каплей была смерть историка. Как тогда от мороза у учителя лопнули очки, так и у кузнеца вконец лопнуло терпение.

И он бежал… Снёс промёрзшего до костей хлипкого охранника — и в тайгу. Скоро горячность стала проходить. Густой лес и глубокий снег быстро остудили беглеца. Зряшная еда закончилась. Михей стал по-настоящему замерзать. Единственной оставшейся спичкой он, как мог осторожно, разжёг костёр. У огня грел поочерёдно то спину, то живот, то ноги. Сил не осталось. Зато появились отчаяние и страх.

И вдруг… волки! Сначала двое, потом всё больше и больше. От их вида кровь стала горячей. Мужик, не мигая и не шевелясь, чтобы не злить их, следил за стаей. Звери — за ним.

И тут случилось необъяснимое: беглый стал внезапно с вожаком волчьей стаи разговаривать. Спокойным, неторопливым и даже смиренным голосом. А волки… Волки постепенно перестали рычать, скалиться и щетиниться. Присели. Потом прилегли и стали… слушать!

Михей им рассказывал про свою жизнь. О доме, о матери, не перенёсшей ареста единственного кормильца, о той женщине, которая была ему по сердцу и могла бы быть с ним, да как-то не сложилось. О детях, которых он очень хотел иметь, но так и остался бобылём. О своей кузне, о родичах, о том, что тятя и дед тоже были кузнецами. Это у них фамильное. Но дед сгинул в Гражданскую, отца почти не помнит (нелепая смерть на реке). Что он, тогда ещё совсем юный, сам встал за кузнечный молот, тем и кормились с матерью. Михей рассказывал волкам о своём хозяйстве, о лошади и корове. Человек разговаривал со зверем *по-человечески*. А они слушали, притихнув, будто задумались о своей нелёгкой волчьей доле. Один из них даже положил голову на спину своей волчице.

А по серому рассвету, нагревшись у костра, звери вдруг начали бесшумно уходить.

Потом же произошло нечто. Мужичок пошёл следом за стаей, по волчьей тропе. Почему он так поступил — объяснить не мог. Возможно, оттого, что его в полном смысле слушали. Зверь словно понимал, о чём говорил человек. Когда волки, вставая, уходили, их морды не были звериными. Они словно прочувствовали всю боль человеческой судьбы.

Удивительно, но скоро волки вывели Михея на охотничью заимку. Беглец был спасён. В сухом, неприметном, умело срубленном домике, в мешочке под потолком, находился необходимый охотничий набор: сухари, соль, спички и не менее важное — нож. Всё было укрыто под белой тканью, на которой отчётливо читались написанные углём, словно монашеские, слова: «Зашедший, утолись малым, ибо следом идут другие».

— Вот так-то, дружище, — закончил свой рассказ старик. Доброе слово прошибает даже зверя, а вот люди друг друга понимать почему-то перестали. Даже зверь успокаивается и перестаёт рычать, если с ним по-человечески.

Старик ушёл. Я ещё какое-то время находился в его воспоминаниях. А потом внезапно осознал: этот крепкий пожилой человек и был Михей! Это он рассказывал о себе! И повествование его было в определённой степени покаянием и нравственным жизненным уроком для многих из нас.

Горько!

Гриня в Покровском храме оказался случайно. Шёл мимо, ну и зашёл…

Был он, как говорят про таких, «из сидевших». Бывший детдомовец, отнятый у пьющей матери, в своей недолгой жизни успел нашкодить не так уж чтобы очень — драки да мелкое воровство.

Когда освободился, долго не мог определиться, куда податься. Настоящих друзей нет, своим не нужен. Да где и кому он теперь свой? Те, кто его мало-мальски знал и помнил, давно отвернулись. В общем, как говорится, ни кола ни двора. Поэтому рваться на волю у Грини не было особой воли. Он её даже где-то побаивался. Особенно после ответа на своё робкое письмо дальней родственнице о пристанище, в котором были грубо и размашисто начертаны несколько слов: «И не вздумай, тюремщик!» Была у него ещё слабая надежда на старенькую-престаренькую бабушку. Но жива ли она?

Северная деревенька, откуда он родом, встретила его довольно прохладно — что климатом, что приветливостью, где визитной карточкой были беззубые мужики в камуфляжках, стоявшие у магазина с прямолинейным названием «Кое-что», утки с голыми задами, облысевшими от медного купороса из заброшенного, ещё недавно доходного рудника.

Некогда процветающая деревня с хорошо развивающимся хозяйством выглядела удручающе. Из более чем пятисот домов жилых осталось не более двадцати. Хотя одно предприятие здесь процветало, и довольно неплохо. Руководила им швыдкая и хваткая не по годам бабка Нюра, содержащая местную самогонную «АЗС» под остроумным названием «Первачок». На эту «заправку» сползалось немало народу и из соседних деревень, вне зависимости от пола и возраста. Ядрёное «топливо» бабки Нюры ценилось высоко, поэтому нередко возникали «пробки». В этом деле на вкус и на цвет товарищи были всегда. Очень много товарищей… Сколачивались даже настоящие интернациональные коллективы из понимающих друг друга с одного взгляда людей: мужчин, женщин и даже детей.

…К счастью, Гринькина бабушка оказалась жива. Полуслепая и плохо слышащая, она долго рассматривала родственника, потом, вздохнув, вроде как узнав, проронила: «Ну, заходи, коли пришёл. Накормить нечем. Спи где найдёшь. Чем накрыться — поищи на лавке».

Гриньку вспомнила и признала не менее пожилая дворняжка Лентяйка. Она была единственным утешением старушки и её собеседницей. Бабушка вела с ней ежевечерние разговоры о жизни, а всё понимающая Лентяйка внимательно слушала рассказчицу, сложив лапки крест-накрест и положив на них свою умную голову. Иногда, в самых острых местах о прошлом, она даже поскуливала. Вдвоём им было как-то легче.

Друга у Лентяйки не было, и всё её женское сострадание и забота перекинулись на старенькую хозяйку. Помимо собеседницы, собачка выполняла обязанности сторожа и экономки. Последнее заключалось в том, что Лентяйка следила за жабой Дунькой, чтобы та не сбежала из глиняного кувшина с молоком. Холодильника бабушка не имела, поэтому по старинке жаба и служила естественным природным льдом, чтобы молоко не испортилось и хранилось дольше. Продукты старушке просто так приносила добрая соседка. Лентяйка провожала милосердную женщину до калитки и в знак благодарности лизала ей пятки. Та едва не плакала и всё повторяла: «Ну ладно… Мы ведь всё-таки не чужие и рядом…»

Скоро Гриня ушёл. С расстроенной душой и издёрганный, он всё ещё надеялся где-нибудь приткнуться и начать жить по-человечески. Слесарь-самоучка, он очень любил технику, ему легко удавалось починить многие сломанные детали. Но куда здесь устроишься?

В райцентре его взял на работу хозяин автомойки. Своим поведением он в определённой степени соответствовал табличке, которую повесил на воротах своего дома: «Осторожно! Злой, как собака!» Всегда раздражительный, с людьми разговаривал через плечо, сквозь зубы. Гриньку он взял на неопределённый срок за харчи и ночлег.

Днём парень мыл машины, ночью — себя. Нечеловеческое отношение быстро стало надоедать. Скоро у хозяина что-то пропало. Ясно, подумали на него. Крепко побили и выгнали. Позже выяснилось — не он.

Пробовал попрошайничать — не получалось: вдруг стало стыдно. Потом куролесил по разным местам, обзаводился и скоро терял разных дружков со схожей судьбой.

Несколько дней Гриня путался с двумя братьями-близнецами — картёжниками, по кличке Пух и Прах. Такие имена они приобрели оттого, что в пух и прах обыгрывали в карты на вокзалах случайных пассажиров, истомившихся в многочасовых ожиданиях и теряющих всякую бдительность и осторожность.

Но встречались, несмотря ни на что, среди таких и хорошие люди. К сердцу пришёлся негр Октябрь Сергеевич, неопределённого возраста и места рождения. Он довольно неплохо говорил по-русски и как-то сразу стал опекать отчаявшегося и потерявшего всякую надежду Гриньку. На попытку Гришки однажды выпить одеколон Октябрь Сергеевич так разволновался, что, выдернув флакон из его рук, начал сбивчиво кричать:
— Не пей! Капут! Капут!..

Ещё у Октября было необычное увлечение: он любил петь песню «Смуглянка-молдаванка». Русский язык, как сказал он, в большей степени выучил из-за этого.

В конце лета Гриня потерял своего хорошего друга — Октября Сергеевича. Доверчивого и миролюбивого, незлого негра забили подвыпившие подростки. Как потом выяснилось, всего лишь за один внешний вид…

От горя с Гришкой едва не случился настоящий «капут». В ношенной-переношенной одежде с чужого плеча, стоптанных башмаках не по размеру, Гринька побродил-побродил по округе да и зашёл в Петровское. Там увидел маленькую беленькую церквушку. Ну и заглянул на авось. Замёрзший, грязный, никому не нужный. Размышлял недолго. Было сыро, холодно и темно. Подошёл к дому причта. Постучал раз, другой. В голове одна вялая мысль: «Турнут — не турнут…»

Зажёгся фонарь, звякнул крючок. Вышел старенький священник в осенней накидке и валенках. Хоть и начало сентября, а по ночам уже зябко.

Батюшка внимательно рассматривал бродяжку. Молчал. Первым, переминаясь с ноги на ногу, деликатно покашливая в кулак, выдавил вопрос Гриня:
— Ну, мне уходить или как?

Голос мужичка неопределённого места жительства и возраста был тихий, виноватый, даже пришибленный.

Отец Василий, настоятель Покровского храма, за своё полувековое служение повидал всяких: горемычных и брошенных, высоко взлетевших по гордыни и от этого глубоко падших, а при падении больно ударившихся, покалеченных душой и телом, бесноватых, талантливых лгунишек и откровенных проходимцев. В общем, всяких…

Но были и такие, которые оставались в сердце надолго, а порой навсегда. Вот один из них… На церковный погост частенько приходит фронтовик Егорыч ухаживать за могилой жены. У него после её смерти остались две ценности: фотография, провисевшая пятьдесят лет на видном месте, и выцветшая офицерская фуражка с войны. На фотографии его верная подруга была ещё двадцатилетним сержантом — регулировщицей в освобождённом Берлине. Соседка Фрося, хорошо знавшая эту семью, сказала, что они прожили всего два года. Но после неудачных родов, во время которых молодая женщина умерла, Егорыч повесил фото своей возлюбленной над кроватью у головы, тем самым как бы оставляя её вечной хозяйкой и женой. Из других женщин в его дом больше никто не входил.

Несмотря на то, что старик жил довольно замкнуто, он был очень отзывчивым и добрым человеком. Местных не удивляло, что Егорыч ко многим в трудный час приходил сам — помогал и молча уходил. Помимо золотых рук, у него были золотая душа и чуткое сердце. В прошлом году он долго болел от сильных ожогов: горели соседи, а Егорыч кинулся тушить — вот и обгорел.

Когда ему было совсем плохо, к нему… пришла жена. Присела рядышком, погладила по голове. Скоро ожоги затянулись, и Егорыч первый раз после сильных болей крепко уснул.

Навсегда в душу батюшки вошла короткая встреча с умирающим от туберкулёза зэком Мишей. Весь исколотый до безобразия, он за три дня до смерти сам дополз до отца Василия, исповедовался и причастился. А перед этим, протягивая священнику узелок, сказал: «Тебе верю. Отдай эти деньги, которые накопил, таким же бедолагам, как я…»

Но даже и в скорбях встречались смешные курьёзы, как, например, письмо от специфического коллектива мужчин, с которыми батюшка провёл беседу о вреде алкоголизма, где была всего одна пронзительно искренняя строка: «…с трепетом восторгались Вашим словом, и за то, что Вы с таким уважением ругаете нас, благодарность Вам от всех многочисленных и глубоко порядочных алкоголиков района…»

…Ночного заморыша батюшка рассматривал недолго. Что-то ущипнуло за сердце отца Василия. Он вздохнул и посторонился в дверях.

— Заходи. Поутру поговорим. Устроишься за печкой. Там тепло. Есть чем накрыться. Чай, хлеб — на столе, «удобства» — на улице.

Гриня едва не прослезился, даже запершило в горле. С ним так давно никто не разговаривал — просто, по-человечески. Его приняли без долгих раздражительных расспросов и язвительного тона. Открыли дверь и сказали: «Входи». И Гриня вошёл в дом, где было тепло и есть хлеб.

Первый, кто настороженно встретил Гриню, был кот Арбуз. Так его назвали за необычную величину и форму в виде арбуза, с заметными частыми тёмными полосами на желтоватых боках и спине. К тому же Арбуз был негласным директором церковной территории. Эту почётную должность он завоевал в борьбе с деревенскими котами, в результате чего напрочь лишился левого уха, полхвоста и при ходьбе прихрамывал на заднюю лапу. Но эти боевые шрамы ничуть не портили его внешность, а напротив, только украшали, придавая усатому ветерану грозный вид. Ко всему прочему, Арбуз обладал ещё одним редким качеством, благодаря которому ему списывались многие грехи. Дело в том, что он почти никогда не пропускал ни одной воскресной службы. Развалившись в меланхольной дрёме на крыльце храма, кот вяло, вполглаза, рассматривал всяк сюда входящего и выходящего. Но как только начинало звучать «Отче наш…», Арбуз вставал, до конца выслушивал молитву, после чего плашмя падал на бок и окончательно засыпал.

Встретив нового постояльца, кот нехотя и ревниво уступил Грине половину тёплого места, всем видом сразу давая понять: учти, мол, ты здесь только до утра, и то потому, что по благословению!

Уставший, разомлевший, досыта наевшийся домашнего хлеба с вкусным чаем, Гриня не заметил недовольные фырканья высокомерного Арбуза. Едва он прикоснулся к подушке, как его сонные глаза захлопнулись сами собой. Было непривычно сладко. Мачеха-горечь забилась куда-то в щель. Целебный запах ладана, крохотный огонёк лампадки словно вдохнули в душу заблудшего Гриньки давно забытое чувство умиротворения и покоя.

При отце Василии Гринька прижился быстро. Вначале его по-ревизорски беспристрастно приняла сухонькая вездесущая баба Женя, выполняющая должность старосты и казначея храма. Она несколько дней внимательно рассматривала своими остренькими глазками новичка, но в итоге, интуитивно успокоившись, махнула рукой, что означало: «Сойдёт!»

Гриня в этой беленькой церквушке очень скоро полюбил всё: и саму форму общения, спокойствие прихода и удивительно сохранившиеся до наших дней крестьянские взаимоотношения простых людей. Если до этого он, кроме презрительного «эй!», а то и того хлеще, в свой адрес ничего не слышал, то когда его по-домашнему, как своего, назвали Григорием, он даже не сразу откликнулся, не поняв, что обращаются к нему.

Гринина душа пела, руки зудились и просили работы. Видя рвение молодого человека к труду, баба Женя потеплела ещё больше. Его руки были если не золотые, то около того. Срок в зоне, годы самовыживания не прошли впустую. Гриша восстановил и прочистил уже давно плохо топившуюся печь. Правда, после того как он закончил чистить дымоход и слез с крыши, переживший многое в своей жизни Арбуз, увидев абсолютно чёрного, прокопчённого трубочиста, рванул за угол с выпученными, как пятаки, глазами. Он полз на пузе, хаотично отталкиваясь всеми четырьмя короткими лапами, грубо бороздя носом землю. Не на шутку обеспокоенный здоровьем своего усатого друга, Гриша несколько минут успокаивал крупно дрожащего взъерошенного кота.

Год прожили в усердной молитве, трудах и служении. Гриня с удовольствием помогал батюшке по хозяйству, освоил начальные навыки звонаря и алтарника. Любили собираться все вместе вечерними зимними посиделками, под метель, с сухарями и запашистым, заваренным на разнотравье горячим чаем с мёдом. Пили до пота, от пуза. С удовольствием слушали друг друга, с шумом отхлёбывая чай из блюдец. Самая громкая чаёвница была баба Женя. Ей в унисон оглушительно мурлыкал разомлевший на Гришкиных коленях Арбуз. К этому времени Арбуз и Гриня подружились настолько, что кот спал в основном или на спине друга, как целебная грелка, или на груди, выполняя роль не менее полезного мехового воротника.

В конце февраля заметно потеплело. Зима, как ни пыталась удержаться, сдавала свои позиции. Стало больше солнца, подсел и затяжелел снег, звонче зачирикали воробьи.

По весне Гриня стал часто и подозрительно исчезать. Если подобные поступки кота Арбуза были ещё объяснимы — всё-таки на дворе март, то возросшая Гринькина прыть, по каждым пустякам — в район, бдительную бабу Женю насторожила.

— Ну и чего ты приобрёл в районе? — ехидно спросила ушлая старушка, едва Гриша вошёл в домик.

— Ну дак, это, по делам… этим… как это… — судорожно искал оправдания послушник.

— Ка-а-аким ишо делам?! И чё ты там приобрёл на ночь глядя? — голос бабы Жени гремел, взгляд искрил электроразрядом.

— Всё скажу отцу Василию. Хоз-з-зяйственник нашёлся, — шипела старушка, — Здесь ему заняться, видите ли, нечем! Двор неделю не метён, дорожки не чищены! — бабульку было не остановить. — Завтра доложу батюшке о твоих прытях!..

Гриня решил не рисковать. На покаяние к отцу Василию пришёл сразу, в душевном трепете и страхе. Робко, тихо постучал в дверь кельи, еле выдавил:

— Благословите…

Покаянная беседа длилась довольно долго. Первые минуты речь оступившегося была настолько путаной, что отец Василий, не вникая, просто смотрел в лицо кающегося грешника, не прерывая, не перебивая, не уточняя. Со своим богатым опытом он слышал всякое и от своих прихожан, и от людей случайных. Ложь он чувствовал сразу, настоящему горю и беде сопереживал, счастью молодых радовался и благословлял на брак, уверенный, что это настоящие, крепкие чувства.

Чувства Григория показались ему недозрелыми и, более того, страстными. На вопрос, как это давно и насколько серьёзно, влюблённый выпалил:

— Давно! С месяц!

— Ну-у-у, это и вправду давно, — полушутя сказал батюшка. — А как со свадьбой, венчанием? — задал естественный вопрос отец Василий.

Тут выяснилось, что задумки молодых — совсем мирские и даже современные. Мол, поживём, присмотримся друг к другу, если что — распишемся, — делился планами уже осмелевший теоретический жених.

Молчаливое слушание отца Василия обмякший, расслабленный и успокоившийся Гриня почему-то воспринял на уровне отеческого «добро», чуть ли не как благословение. Когда «докладчик» закончил, батюшка ещё какое-то время молчал. Ввиду затянувшейся паузы стало нарастать напряжение в Гришкиной душе. Он начал нетерпеливо ёрзать на стуле, подкряхтывать, стараясь этим привлечь внимание и побыстрее получить окончательный ответ. Отец Василий не отвечал вдохновенному собеседнику. Не отвечал, потому что слетевшее с языка Гринькино «если что» батюшку в итоге не убедило, не удовлетворило и, более того, расстроило.

От этого на нервной почве Гришку затрясло. На душе вдруг стало невыносимо горько. До ожидаемого, как говорят на современном языке, гражданского брака, а стало быть, и фривольно-условного «горько!», в надежде на которое так сладко томилось и млело сердце молодого, оставался буквально один шаг, и вдруг всё оказалось иначе, не как предвкушал жених.

— Значит, так, — начал разговор батюшка, — выбирай: если решил поступать по своеволию, просто сожительствовать, то церковь, как прежде, не твой дом. Я тебя не держу, иди своим путём. Если же делаешь как положено, по закону, то под венец!

— Это как — под венец?! — опешил Гришка.

— Так. Женись, — ответил отец Василий.

— Не буду жениться! — заерепенился молодой.

— Тогда не ешь мясо! — внятно отрезал бунтаря батюшка.

— Как… не ешь… мясо?.. — прошептал осёкшийся Гриня.

— Очень просто, — сказал отец Василий. — Объясняю. Не женятся монахи. Стало быть, и ты,

приняв решение не жениться и жить при храме, как монах, обязан подчиняться монашескому образу жития и, помимо всего, ещё и строго вкушать монашескую пищу. Всё. Иди и думай.

Гриню качало. Арбуз искренне сочувствовал с трудом передвигающемуся на деревянных ногах другу. Молодой был настолько плох, что возникло ощущение, что от настоятеля вышли несколько Гришек в одном лице, отчего парень не сразу попал в дверь.

Отпущенная на размышления ночь тянулась как никогда долго и мучительно. Для Грини, казалось, остановилось всё: стрелки часов на стареньком будильнике, заклинило и без того еле ползущую черепаху-луну, а мысли… их не было вообще. На душе было пусто. Это почувствовал даже Арбуз. Кот тихо, не шевелясь, просидел всю ночь в ногах друга-страдальца, честно деля с ним последствия непростого разговора.

Когда в комнате совсем рассвело, Гриня не без трепета окончательно решился на правильный поступок. Пытавшаяся сбить его с толку нахальная и своевольная тётка-поперешница, потеряв всякую надежду на удачу, буквально выскочила из нагретого в нём, почти родного места, со злостью хлопнув дверью.

В Гришкином сердце победили смирение и простота: смиренная простота бытия при храме и внезапно усилившаяся благодарность отцу Василию за родительский приют, отчего у него даже стыдливо запершило в горле. Гулко колотилось сердце. В душе был ужас даже не оттого, что батюшка выгонит… Гриша впервые в жизни испытал страх потерять доверие, и не кого-либо, а священника, и не просто священника, а *отца*. Разум победил своеволие, да и сердце подсказало: мудрый любящий отец плохому не научит, на недоброе не благословит.

Ранним утром в келью отца Василия робко постучали. Дверь отворили. На пороге стоял кающийся, с опущенной головой, Гриня. Переминаясь с ноги на ногу, глядя в пол, он едва слышно пробормотал:

— Благословите. Женюсь…

Эх, Гриня, Гриня! Оказывается, всё так просто, а мороки-то сколько! И на душе уже совсем не горько.

Ну а дальше всё закрутилось, завертелось… Вообще, всё пошло как положено. Радостная суета и хлопоты охватили всех. Воспрянула и помолодела баба Женя, у которой раскрылись настоящие командно-организаторские способности. По предстоящему случаю даже взял отпуск радикулит у отца Василия. От радости за друга зашустрил Арбуз, став кругами носиться по двору.

Кого позвать на торжество, долго не раздумывали: деревня немолодая, наполовину опустевшая—стало быть, все свои.

В день свадьбы все оделись по-праздничному. У большинства одежда добротная, натуральная, из сундуков. Хоть и старомодная, а всё—классика.

Во время венчания молодые держались предельно собранно. Жених и невеста в эти минуты были особенно хороши. Ими не без слёз любовались родные.

После обязательных загса и венчания—к столу. Благо недалеко. Этого часа ждала и не скрывала вся мужская половина. Молодых ожидали во дворе под натянутым шатром. Наконец, громогласное:

— Е-е-едут!!!

Традиционные «хлеб-соль», шутки, весёлые советы слились в начавшееся веселье и торжество.

Расселись. На столе—что Бог послал. Постарались от души. В основном своё, с огорода и погреба. Запах и внешний вид еды и питья сытого в миру делали голодным. Мужики, оглядев стол, были явно удовлетворены. Женский взгляд, зыркнув построже, сразу определил, сколько для сильного пола является мерой. В этом деликатном моменте насчёт выпить свадьба всегда была местом особым. У старого поколения одно отношение, у сегодняшнего—несколько иное. Те пили, да не упивались, нынче же—что называется, «Господи, помилуй!». На этой свадьбе были люди больше приходские, отчего плохого не боялись. Хотя—как повернётся…

Отец Василий присутствовал недолго. Открыв торжественную часть, пожелал молодым терпения, взаимопонимания и любви на многие лета и, пригубив чарку, дипломатично раскланялся и удалился под громкое и весёлое: «Горько!»

Бабушка Феня этот возглас пояснила так:

— Пусть «горько» в шутку будет сейчас, чем горько по-настоящему потом.

Молодые вежливо и стеснительно целовались. Разговор слышался всё громче. У каждого была уже своя яркая свадебная история. Слушать друг друга было не обязательно, всё чаще и громче звучали песни, в основном, отечественного, советского производства: песни хорошие, мелодичные, со смыслом—о жизни, о семье, о доме и земле. Главным запевалой был муж бабы Жени, которого знали больше по имени—дед Ух-ты. Он так и реагировал на любой рассказ и новость: «Ух ты!» Не имея ни слуха, ни голоса, сегодня он пел с явным удовольствием. На сей раз к его языку почему-то прилипла песня «Таня, Таня, Танечка…», на что баба Женя, поджав губы, не выдержала и ткнув его в бок, застрожилась:

— Чё эт ты всё про Таньку да про Таньку? Или другое имя забыл?!

Дед Ух-ты понял, что попёр «не в ту степь», моментально перестроился на «девчонку по имени Женька»…

Застолье шумело, петушилось. За Ух-ты гурьбой заступились друзья-одногодки. Веским аргументом в поднятии его имиджа было то, что дед дошёл

до Праги и у него было две медали «За отвагу». Тут вновь закипела баба Женя:
— Я тоже дошла… Он знает докуда. И мне надо тоже давать медаль «За бабью отвагу»! Знаете, сколько я с ним воюю?

Застолье хотя и набирало оборот, но всё же выглядело вполне прилично. Мелкие уколы не в счёт. Общая доброжелательность обстановки благодатно подействовала на жениха, отчего Гриня заметно раскрепостился, часто пытался шутить, уделяя почтительное внимание тёще и тестю. Невесте это нравилось, она даже поощряла действия супруга. Григорий от переизбытка чувств и такого понимания и солидарности жены несколько разошёлся, и ему внезапно захотелось большего эффекта и великолепия от свадебного мероприятия. Искренне захотелось, чтобы люди надолго запомнили этот день. Этот день люди действительно запомнили надолго.

Внезапно жениха осенило! Он решил накормить гостей свежей свининой. Совершить этот процесс и забить кабана не простым способом, а необычным. Идея молодого была настолько оригинальна, что ему не только не перечили, а даже от неожиданности поддержали.

Жених решил забить свинью не абы как, а током. То, что кабан был выкормлен тёщей и является её частной собственностью, Гриня опасно упустил, не спросив разрешения.

Дальше события развивались стремительно, почти посекундно. Под роковой замысел молодого попали все. Правда, молодая супруга всё же пыталась удержать любимого робким:
— А может, не надо?

Но её совет утонул в общем азарте под крики:
— А чё?! Давай!

Жених был в ударе. Гости восхищались прыткостью молодого. Обалдевший новоиспечённый батя беспрекословно исполнял указания нового сына. Кабана выводили из сарая с трудом и толкали к корыту, которое поставили возле трансформаторной будки. Хряк визжал как свинья, пытаясь убедить, что он не голоден. Он явно не понимал, отчего к нему такое внимание и внезапный сервис. Кабан крутил задом, мотал мордой, пытаясь удрать в любимый свинарник. Не дали.

— За зад держи,— орал жених тестю.— Крепче! Чтобы не увиливал!

Тесть намертво вцепился в толстый зад пороси.
— Вот так! Даю два конца к пятаку!..

И Гриня дал.

Результат был насколько впечатляющим, настолько и ужасным. От полученного разряда тесть, совершив почти полный оборот в воздухе, без движения дымился на земле. Приглашённые звеняще молчали. Жених был трезв.

Первой с дрыном сорвалась тёща. Зятя гоняла минут десять. Гости не вмешивались, демонстрируя понимание и нейтралитет.

…Отец очнулся сам. С трудом встал. Долго вспоминал, где находится и кто эти люди. Все оживились, облегчённо вздохнули, громко заговорили. Слышались характеристики молодому. Внезапно отец рявкнул здоровым голосом:
— Мо-о-олчать! Все дураки, а я первый. Молодым надо жить! И хорошо жить! Батя сказал!

За навозной кучей обиженно хрюкал контуженный кабан.

Выровняла ситуацию баба Женя. Она как-то негромко, по-матерински, во внезапно образовавшейся тишине почти прошептала:
— Горько.

Это услышали. И следующее «горько!» уже было с улыбкой и пожеланиями молодым счастливой семейной жизни.

И мы желаем всем «горько!». Пусть оно звучит радостно и светло как в первый день, так и в годовщину, десятилетие, тридцатилетие, пятидесятилетие совместной жизни! Порой непростой, но счастливой. Чтобы «горько!» нам возглашали внуки и правнуки, отчего на душе и на сердце было только тепло. Чтобы процветали фамилия и род от такого «горько!!!».

А после свадьбы Гриня так и служит алтарником. У молодых родилась дочка Варенька, ждут Федьку. Арбуз по-прежнему греет немолодые кости за печкой. Баба Женя руководит хозяйством и воюет со своим Ух-ты, а по вечерам всё так же с шумом пьют ароматный чай с мёдом. И яркий крест над храмом искрит от луны в ночном небе под алмазной россыпью звёзд.

Ирлан Хугаев

Хлеб

Маленькие новеллы

Эрато

Уже неделю гостит у меня Эрато, обворожительная, неутомимая в любви Эрато. Она пьёт мой кофе, курит мои папиросы; вставая с постели, посматривает, чуть разведя шторы, во двор и смеётся над нелепым нарядом прохожих или листает книги, беря их с полки.

— Так, посмотрим. Кто здесь у нас?.. Гесиод!.. «С Муз, геликонских богинь, мы песню свою начинаем…» На что тебе зануда Гесиод?.. Ведь ты не читаешь его… Даже я не читаю его. Так… А это кто? Бодлер?.. О да, я помню многострадального Шарля! Его сгубил абсент. Ужасная вещь. Твой кофе и тот лучше. А это?.. Ницше, бедный Ницше… Его Зулейка и Дуду прелестны; обеих он писал с меня… О, Тютчев!.. глубокий и мрачный, как туча… Ага! Конечно: Пушкин. Куда ж без Пушкина?.. Знаешь, он обожал яблоки. Он ел их с косточкой. Из-за него мы часто ссорились с Клио… А это?.. Хетагуров. Милый, милый Коста!.. Он любил, но он совсем не понимал женщин. Кроме одной. Догадайся, кто она?.. Вот за что я любила его,— и смеётся.

— Оставь их,— говорю я,— иначе я их сожгу.

— Не смей, иначе я разлюблю тебя. Они твои братья. Они тебе ближе, чем я…

Не уходи, Эрато, любимая. Я уже не могу отзываться на твои ласки, но дай мне немного полежать, склонив голову на твои колени… Погладь меня, мой лоб и волосы. Хорошо ли тебе со мной? Хороший ли я любовник?.. Куда ты теперь? Кто он?.. Моё сердце разрывается на части от ревности. Ладно, не говори. Только возвращайся, гетера. У меня никого нет, кроме тебя.

Урок

Когда телесная свобода безгранична, дух всецело прикован к телу; смена внешних впечатлений не даёт ему сосредоточиться на самом себе, и он часто упрощается и коснеет, становясь невосприимчивым к тонким вибрациям жизни. Когда же телесная свобода стеснена, нравственная получает возможность расширения. В этом и заключается смысл всякого ограничения свободы, выступающего формой принудительной аскезы; тюрьма— образ чистилища…

Однажды, когда я учился в первом или во втором классе, меня поставили в угол. Помню, я не был виноват: я всего лишь дал сдачи моему соседу, ткнувшего мне под рёбра карандашом. Я не захотел оправдываться. Я покорно занял место в углу класса, но, чтобы показать, что у меня есть на этот счёт особое мнение, я не опустил головы, а гордо уставился в стену. Через минуту, когда я немного успокоился и кровь перестала шуметь в ушах, я вдруг различил на стене барельеф сочувственно улыбающегося человеческого лица; от неожиданности я даже немного отшатнулся… Очертания этого лица были такими явными и живыми, были так чётко и убедительно прорисованы, что я поначалу не мог поверить, что оно образовано случайным сочетанием неровностей стены, видимо, когда-то наспех и кое-как прошпаклёванной малярами. Присмотревшись, я разглядел рядом поднявшегося на дыбы коня, чуть правее—дерево с изломанными ветвями на скальном утёсе, под которым бурлила настоящая горная речка, а ниже—кусок зубчатой красной стены и кремлёвскую башню со звездой… и всё на пространстве каких-нибудь двух дюймов!.. Впервые в жизни я увидел так близко грубую фактуру материи—её щербинки, пупырышки и царапины, волнистую чешуйчатую корочку пересохшей краски, окаменелые слёзы её подтёков,—и каждая её подробность была огромна, незыблема и таинственна, как лунные кратеры; я будто созерцал ландшафт незнакомой планеты, облетая её на космическом корабле. Мысленно я бродил по кромкам глубоких каньонов, взбирался на одинокие голые сопки, преодолевал безжизненные степи с растрескавшимся грунтом… Я совсем забыл о реальной жизни, оставшейся у меня за спиной, только голос учительницы бубнил невнятно и потусторонне, как досадная помеха. Ей пришлось дважды окликнуть меня, чтобы вернуть за парту,—так я был зачарован открывшимся мне целым миром…

Сразу после звонка сосед убежал, опасаясь моей мести. А я про него и думать забыл. Я думал об уроке. Это был мой самый лучший школьный урок. С тех пор я знаю, что любая стена, если

близко-близко к ней подступить, интереснее звёздного неба.

Спасибо

Он сидел на мостовой, подобрав острые коленки и припавши к ним грудью; его сжатые в кулак кисти были судорожно втиснуты в карманы пиджака, а лицо погружено в бесцветное подобие шарфа, которым была обмотана до ушей его голова с жидкими русыми волосами, и быстрые снежинки таяли на его проплешине. Немного замедлив шаг, я приготовил одну купюру и, проходя мимо, быстро пригнулся и бросил её в лежавший у его ног шерстяной беретик.

Я уже успел сделать несколько шагов, когда зачем-то оглянулся. Он оставался в прежней позе, в том же напряжённом оцепенении безнадёжности и безразличия. Сложенная пополам купюра трепетала, как бабочка, готовая упорхнуть. Я подошёл, встал перед ним и коснулся его плеча:

— Гражданин.

Он поднял голову, потом открыл глаза.

— Положите это в карман. Ограбят.

— О, спасибо,— произнёс он с бледной улыбкой и убрал деньги.

Мне показалось, что он сделал это только из вежливости.

— Знаете что?..

— Что?— спросил он и прислушался.

— Спасибо в карман не положишь.

Он немного помигал веками, как бы нахмурился, а потом рассмеялся тихим и тёплым смехом.

— Спасибо,— сказал он.— Спасибо, спасибо.

— Прощайте, товарищ,— сказал я.— Помолитесь за меня.

Хлеб

Наконец-то закончился день, долгий и бессмысленный, полный тщетных забот, лицемерных улыбок, напрасных, нелепых реверансов, пустых разговоров, случайных обещаний, о которых помнишь не более минуты,— и я вышел из конторы.

Был синий прозрачный летний вечер; жара спала; воздух увлажнился пролетевшим с полчаса назад слепым дождём; трава и листва деревьев ещё блестели на солнце, а асфальт подсох, и только в тени бордюров виднелись клочья свалявшейся, как войлок, мокрой дорожной пыли. Надеясь развеяться пешей прогулкой, я, не дойдя до трассы, свернул в незнакомую улочку, успев заметить на угловом доме табличку с надписью: «Ул. Русская, №1».

Это была одна из тех старых, не задетых модернизацией улочек, каких ещё немало в нашем городе; но, едва вступив в неё, я будто оказался в другом мире и с каждым шагом всё глубже проникался особенностью её атмосферы; трудно было поверить, что в двухстах метрах отсюда носятся туда-сюда иномарки, гудят на переходах эскалаторы и бликуют холодные, как рыбий глаз, витрины бутиков.

Я шёл по узкой, местами вздымавшейся плавными волнами двухполосной дороге мимо одноэтажных домиков из имперского тёмно-красного кирпича с округлившимися от времени гранями. Дома с двух сторон утопали в вишнёвых кущах, пронизанных звенящим закатным солнцем; под низкими окнами с деревянными ставенками пышно цвели розы, а в таинственной сиреневой глубине комнат то и дело мелькали белые лица и руки; воздух пах васильком и петрушкой, слышалось шипенье сковородок и кудахтанье кур; кругом царило какое-то ярмарочное оживление; у калиток, на ярко выкрашенных скамейках, поставленных среди ромашек, восседал праздный народ: старушки в цветистых платочках лузгали семечки, о чём-то любовно пререкаясь с внучатами, приступом бравшими их крепкие колени, и перекрикивались с соседками, сидящими через улицу напротив; мужики в кепках, повернувшись друг к другу полубоком и закинув ногу на ногу, играли в нарды и шашки, покашливая и попыхивая «Беломором» и «Примой» и добродушно переругиваясь; толкались под заборами, беспорядочно пиная мяч, голые по пояс мальчишки; прыгали на расчерченном мелом асфальте девочки, прижимая ладонями к бёдрам лёгкие платьица; повсюду сновали маленькие шумные собачки с задранными и дрожащими от восторга хвостами; и только кошки сидели на перилах крылец недвижные, как сфинксы...

Праздничное, лубочное сияние жизни озадачило и очаровало меня; оно напомнило мне картинки из старых детских книжек, в которых каждая подробность была прописана с умилительной прилежностью, и моё сердце исполнилось предчувствием какого-нибудь фантастического разрешения всех вопросов и сомнений, томивших меня в последнее время. Я насторожился и, испытывая некоторую неловкость за свой хмурый штатский облик, способный омрачить любую идиллию, всё-таки замедлил шаг, чтобы ничего не пропустить.

Мне даже пришло в голову приостановиться и закурить, когда на одной из скамеек впереди раздался смех, звонкий и привольный, каким смеются почти без причины и просто потому, что хочется смеяться, от избытка здоровья и силы. Это были три молодые женщины, белые и плечистые, полноватые, в косынках и пёстрых передниках, которые, очевидно, оставили ненадолго свои домашние хлопоты и выбежали на улицу, чтобы немножко поболтать. Перед ними стояла детская коляска, над бортиком которой раскачивалась алая младенческая ступня,— из чего я решил, что все они непременно невестки. Поравнявшись с женщинами, я увидел между ними на скамейке буханку разломанного руками хлеба: у всех во рту был

хлеб; они жевали и, блаженно вздрагивая грудью, продолжали посмеиваться, словно были обязаны высмеять свой смех до последней смешинки. Случайно я встретился взглядом с той, что сидела посередине; она на мгновение смешалась, как будто её застали врасплох за чем-нибудь неприличным, и, зардевшись, быстро подняла руку и прикрыла пальцами смеющиеся губы.

— Хлеб кушаем!— вдруг сказала она просто и весело, пожав плечами, и они снова покатились со смеху, налегая тугими бюстами на коленки.

— На здоровье!— крикнул я и тоже рассмеялся.

Когда они остались позади, их смех на секунду пресёкся, после чего тот же голос громко сказал:

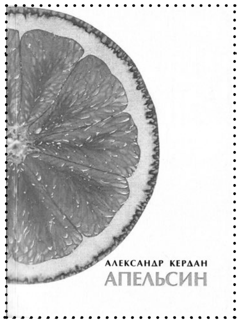
— Обойдётся!..

Было очевидно, что одна из них засомневалась, не следовало ли меня угостить. Мне очень хотелось оглянуться, чтобы ещё раз, хоть коротко, полюбоваться на них, на их смеющиеся лица и белые плечи, а заодно показать, что я тоже не лишён юмора и вовсе не обижаюсь, но я постеснялся.

«„Хлеб кушаем“,— повторил я про себя, уже завернув за угол и закурив.— Что это значит? Зачем они кушают хлеб? Разве они голодные? Куда там!.. И дома у них наверняка есть и блинчики с вареньем, и пельмени со сметаной, а на плите борщ варится… „Хлеб кушаем“: хотела ли она тем самым объяснить свой беззастенчивый счастливый смех, или сказала от смущения то, что пришло в голову, или… или это было такое приветствие?.. „Хлеб кушаем“: надо же, какие… вкусные слова!..»

Едва прибыв домой, я направился на кухню, отломил кусок хлеба и положил в рот. «Хлеб кушаем»,— сказал я себе ещё раз и, улыбаясь и жуя, пошёл раздеваться.

ДиН ревю



Александр Кердан

Апельсин

Екатеринбург: «Аспур», 2020

Постаревший классик

Звался отцом непутёвым,
Да и являлся таким—
К слову привязанным, к слову
Каждым поступком своим.

Всё остальное—не важно
Было всегда для него…
Только теперь стало страшно:
Нет ведь вокруг никого—

Книги одни, да и эти
Встали на полочке в ряд,
Как повзрослевшие дети,
Что много лет не звонят…

В горестный час не помогут,
Кружку воды не нальют…
Но и за то—слава Богу,
Что в интернат не сдадут!

Плач о народе

Можно морить народ голодом,
Можно отравой опаивать—
Выживет русский народ.

Можно губить его войнами,
Вздыбливать чёрными смутами—
Выстоит русский народ.

Даже тирана жестокого,
Даже правителя глупого
Сможет народ пережить…

Если ж отнять у народа вдруг
Веру и песни отцовские,
Тут же не станет его.

…Дай нам, Господь, разумения,
Памяти дай и раскаянья,
Чтобы остаться собой!..

Фелипе Гарсиа Кинтеро

Не в небесах моя слава

Авторизованный перевод с испанского Марины Саввиных

Куры[1]

Памяти Гильермо де Хесуса Кинтеро

Эти глупые птицы росли со мной во дворе.
Но прежде я вовсе не думал о каких-то курах.
Помню только почти незаметное их
присутствие в молчаливые летние вечера.
Потому что копался вместе с ними в земле
ради зёрнышек кукурузы, и таким же
зернистым солнцем наполнялись мои ладони.
В детстве я часто забирался на дерево,
руками махал и кудахтал от счастья —
словно наседка с тёплым яйцом, которое
позже становится просто белым.
О нет, это вовсе не те птицы, которых с нами
сравнивает Бодлер. Не соловей Китса,
«что не для Смерти рождён». Не говоря уже
о жаворонке Кессепа. Они не удостоились
ни одной из тринадцати способностей,
которые Уоллес Стивенс заметил у дроздов.
Ничего такого не было у моих кур.
Но они ходили со мной по одной земле,
подбирая клювами пустые чашечки звёзд.
И теперь они уже так далеки от былых
полётов, как и мы от песен о забытых полях.
С тех пор на рассвете ни разу с пути
не сбился одинокий пахарь.

Лошадь

Дальний свет — высоко! — тенью гуляет в небе.
И оно отдаётся слову, а слово — взгляду.
Под копытами лошади
подружилась трава с одиноким ветром.
Тени дали рассветной
оседают в лесу,
и, пока на заре щебетать начинают птицы,
впереди разгорается пламя,
чуть заметно трепещущий воздух.

Долго-долго тогда
по горам бродила
тишина недалёкого утра.

1. От автора: «Это стихотворение я посвятил моему деду. Он зарабатывал на жизнь, заботясь о ферме в моей родной деревне».

Крупное рогатое…

I.

Корова щиплет траву.
Её дыханье взметает
свет лунной пыли.

Трепещет музыка меж её ног
глубокими вздохами ветра.

Хвост, отгоняющий мух,
равномерно воздух гребёт…
И корова
плывёт, плывёт…

II.

Корова притягивает взгляд
огромными, широко раскрытыми глазами.
Медлительность, а не траву
перерабатывает
в тени своего терпения.

А я ощущаю землю,
соединённую ею с небом.

Гора — только воздух мысли,
где наполнено всё тишиной.

III.

Высоко на горе
одиноко пасётся корова.
В её неподвижной тени
глаза мои ищут приюта.

Таинственная корова детства
высоко на поляне, почти в облаках.

Капли этого света остаются
в моих ладонях.

С тех пор в каждом камне
открывается
новый горизонт.

С неба

Камень падает в пруд.
Полёт прерывается птицы.

Коза

Как Умберто Саба,
я говорил сегодня с козой.

Я был один.
И она—одна, на привязи на лугу.
Вокруг было много травы, и—под дождём—
её не мучила жажда.

Но она всё равно вопила так,
словно—по-дружески—изливала
в стихах
мою нестерпимую боль.
И что из того, что я это сказал,
когда она замолчала?

Боль—навсегда, говорит поэт.
И у неё только один голос.

Вот и я услышал свой голос
в вопле одинокой козы.

Корова

Смиренноглазая
зевает корова.
Трава накрыла её
с головою.

По спине её
цапля
ходит и ходит.

Сколько ждать тишине,
ветер сна не стихнет ли к ночи?
Не проснутся ли облака?

Пепел солнечный мой
обволакивает дремоту.

Встреча с голубкой в парке

Раненая, как я,
Только в другой среде.

С любовью камня

Птица смотрит на небо,
Спелёнутое водой.
Капля за каплей—
Разрывается полотно.

Маленькими глотками
Выпита высота.
Отражается ветер
Взглядом птицы в зенит.

Истомлённые жаждой,
Мерцают её глаза.

● ● ●

Крысы объели мои руки и мои губы.
Я утратил музыку в битве вод.
Как под землёй вспомнить песню неба,
если в памяти моль гнездится?
На моей переносице крысы мир сверлят
оглушающим взглядом. В тишине слышу,
как они растаскивают мои оторванные кости.

● ● ●

Я сам себе лошадь слепая и всадник: сам
себе—животное, попирающее грязными
ногами собственный рот и толкающее
обратно сгусток, которым высказаться хочу.
Эта неудержимая тварь топчет мне глаза,
смешивая свою мочу с моими слезами,
и я вынужден глотать это подобие браги,
чтобы только мир осчастливить.
Пью, не пьянея,—но как иначе тащить
на себе это чудовище, страх?..

Птицы

Молчаливый друг птиц,
Ветер трогает веки.

Разговор ветвей
Обретает корни.
Это пение листьев,
Настигнутых лаской ветра.

Если бросит земля кости шагов на ветер—
То возропщет лес на холмах поблёкших.

Взгляд посеешь—
Пожнёшь неизбежность мира.

День—во взгляде.
Вселенные сеет утро.

● ● ●

Ошалевшие от огня драконы
пропадают в твоём бреду.

Каждый принц вод был когда-то
затерянным островом.
А принцесса небес—
сладковатым клинком в устах.

Все за́мки заброшены.
Камни желают покоя.

Но для музыки слов остаются
крысы, поэт. Остаются—крысы.

Жуки

1.

Жуки всю ночь что-то упорно искали и встречают рассвет
кверху брюшками. Они, как тёмные камешки, разбросаны
на дороге, по которой, должно быть, уже прошли.
Их шуршание в темноте—как моё осознание сентября,
близко-близко к последнему берегу, где шумят в закоулках сны.
Все стремленья однажды заземляются пылью. Слух пропитан
дождём, как запутанной пряжи мокрый комок.

2.

Поднимая их с тротуара, я смотрел, как они перебирают
крепкими лапками, словно пытаются вновь соткать
разорванное полотно полёта, как пульсируют
в тщетных усилиях жилки беспомощных крыльев.
Открываю теперь окно, вдыхаю старый запах нового неба.
И бросаю на ветер мыслей горсть с насекомым внутри.

3.

Каждая ночь тенью заката остаётся в крови.
Приходит январское солнце, и жуки цепляются
уже только за землю, а не за память полёта.
Вот несчастье! Без крыльев—им приходится ползать.
Запылённый мой взгляд—лишь свидетель
проигранной битвы за царство свободы.

Моль

В тишине личинка моли работает по деревяшке.
А я работаю над своей неутомимой
страницей, голой и глубокой, как ночь.
Воображаю движения мелкого насекомого.
Каждое движение, полное темноты.
Это шорох одиночества, изъязвлённого речью?
Или так зудит неопределённость, постоянное
возбужденье того, у чего пока нет имени?
Вместе с моими немногочисленными словами
эти издержки звука—камешки на бумаге,
невесомые сокровища, найденные в подворотне.

● ● ●

Когда спит моя мать—большое усталое тело,—она похожа
на кита, выброшенного на пляж. Я тихонько смеюсь:
смотрю на неё—спящую, и мои глаза превращаются
в волны её океана, а мои руки—в песчаный берег.
Пока она спит, я думаю: не выбрасывается ли жизнь
на землю, как выбрасываются киты на сушу? И не
напрасно ли я пытаюсь теперь стащить её тело обратно
в воду, в которую она возвращаться уже не хочет?

● ● ●

Птицы клюют мою плоть.
Сидят на моих ладонях. Пьют воду глаз
моих, мой язык замолкает. И недоступна мне
радость, что я стал их насущной пищей.
Не в небесах моя слава. Она—другая.

Надежда Герман

За Калинов мост

Буквально два слова до того

Первое. Это просто сказка. Хотя и с тайным смыслом. Иногда хочется чего-то такого. Душа просит. И почему бы не пойти ей навстречу?

Я подумала и пошла.

Второе. Чтоб отвести от себя подозрения в безграмотности, а также чтобы не путаться в понятиях, устанавливаю для себя следующий порядок написания: баба-яга, змей-горыныч, леший, кикимора, кощей-бессмертный и прочее с маленькой буквы — это когда имеется в виду должность или профессия.

А вот если с заглавной — Баба Яга, Змей Горыныч, Леший, Кикимора… то это уже имена собственные либо прозвища.

Всё.

Часть 1

Пансионат и его обитатели

Птица Гамаюн прилетела в полночь. Она прилетела и сказала:

— Всё будет хорошо!

И почему-то ей сразу поверили. Хотя всем ведь было понятно: ничего хорошего нет, и взяться ему неоткуда. Это даже не смешно…

Но начинать надо бы не отсюда, а издалека. Может быть, даже совсем издалека.

1. Как в том анекдоте

Его все, я думаю, знают. Тот старый добрый анекдот. Про богатыря, который на змея-горыныча пошёл. Там ещё пещера такая была, чрезвычайно вонючая. Помните, да? Богатырь сразу подумал, что здесь объект его охоты как раз и проживает. И, соответственно, кричать стал, звать нечистую силу на битву праведную: «Эй ты, гад ползучий, выходи!» А тот ему в ответ типа: «Сам выходи, а то залез, понимаешь, ко мне в…»

Дальше продолжать не буду, чтоб без грубости: о чём речь, и так ни для кого не секрет. Равно как и поучительный философский подтекст тоже не тайна за семью печатями. Если двумя словами, то вывод такой: следить надо за борзиметром, чтобы не зашкаливало.

Вот и в нашей истории всё очень похоже.

Надумал, стало быть, сильно могучий русский богатырь по имени Ариэль на змея-горыныча войной идти. Зачем? Известное дело. Во-первых, чтобы удаль богатырская зря не пропадала. А во-вторых… ну сами посудите, кого ж ещё воевать, если не чудо-юдо заморское? В своём-то дворе нашего героя сроду никто не боится.

И опять же — слава.

Словом, собрался наш искатель приключений на скорую руку в дальнюю дорогу. Коня подходящего о ту пору поблизости не случилось, так что он пешком пошёл.

Шёл, шёл… Всё утро шёл. И весь день. И ещё весь вечер. А потом вдруг наступила ночь. Темно стало.

Ко всему в придачу молнии засверкали, гром загремел. Дождик по листьям берёз и тополей барабанить начал, того и жди — ливанёт как из ведра. Надо укрытие искать. От непогоды. А то ведь и промокнуть недолго, насморком заболеть.

Вдруг откуда ни возьмись на пути богатыря — пещера. Большая такая. Просторная. Очень вовремя она взялась, ничего не скажешь. Только из неё, я дико извиняюсь, пахнет.

Однако делать нечего, от грозы прятаться надо…

2. Пансионат Софьи Ивановны

Нет, неправильно это. Какая-то смехопанорама получается. А история моя достаточно серьёзная, местами даже грустная. Поэтому начать надо бы так.

Что такое дом престарелых, все знают? В двух словах — ничего хорошего. Примерно как дом малютки. И в первом, и во втором живут те, кого бросили. Потому что — никому они не нужны…

Помимо государственных учреждений, бывают ещё и частные пансионаты. Там, я думаю, жизнь немного повеселей. Но это в том случае, если найдётся кому за тебя заплатить. А если некому?

Но правил нет без исключений. И вот однажды (неважно когда) появился (неважно где) пансионат под названием «Калинов мост».

Представьте себе маленький зелёный островок: с одной стороны — небольшая река Смородина, с другой — чистейший ручей, за ним — симпатичный лесок и гора, тоже очень красивая, хоть и чересчур, может быть, крутая. Через речку Смородину

перекинут мостик с резными перилами. От него и название пансионата. Потому младенцу ж понятно, что если река—Смородина, то мост через неё—всенепременно Калинов. Это в любой сказке можно прочитать.

Вначале заведение хотели назвать простенько, с тонкой лирической ноткой: «Божий одуванчик». Тем более что симпатичных этих растений вокруг—море. По весне как зацветут—кажется, солнце отражается в траве. А чуть позже, когда лимонно-жёлтые соцветия превращаются в маленькие пушистые шарики,—будто белое облако спускается на землю.

Но подумали, назвали «Калинов мост». Так солиднее.

Внешне пансионат выглядел обыкновенно: небольшое каменное одноэтажное сооружение с облупленными барельефами на фронтонах. В советское время здесь располагался заштатный санаторий на пару десятков мест. Потом строение пришло в негодность. Даже на частичное его восстановление ушло немало сил и денег. Но оно того стоило.

У каждого обитателя пансионата—своя отдельная комната с приятным видом из окна. Обставлено без изысков, но очень уютно: кровать, шкафчик, столик, кресло, коврики, салфеточки, статуэтки…

Было и несколько общих комнат.

Во-первых, столовая: светлая, на окнах—цветы, на стенах—яркие картинки, под потолком—люстра.

Во-вторых, «Клуб». Большой телевизор, видеопроигрыватель, куча дисков… Здесь играли в шашки, в шахматы, в домино, в карты и в лото. Старушки вязали носки и шарфики, старики спорили о политике.

Так как на оплату проживания уходила только часть пенсии, то остальное можно было использовать по собственному усмотрению. То есть съездить в город, что-нибудь себе купить для души. Сходить в театр, на концерт. Или в гости с букетом цветов и тортиком.

Питание в пансионате тоже на высоте. Причём предлагается на выбор: хочешь—сам стой у плиты, жарь, парь, стряпай; а хочешь—делай заказ, и тебе старшая дочь Софьи Ивановны, рыжеволосая красавица Люба, всё приготовит.

Хороша Любаша—глаз не оторвать: античная фигура, воздушная походка, лицо ангела. Голос нежный, один раз услышишь—до смерти не забудешь.

Всего у Софьи Ивановны три дочери.

Средняя дочка, Верочка, организует досуг: прогулки, оздоровительные мероприятия, праздники… Она не так красива, как старшая сестра. Черты лица правильные, но, как бы это сказать… жестковаты, что ли. Выдают сильный характер. Тёмно-каштановые жёсткие прямые волосы коротко подстрижены. Глаза синие, строгие.

А у младшей, Надюшки, глаза зеленовато-карие, волосы светлые, мягкие, стекают по плечам, голос тихий, как лесной ручей. Она больше по медицинской части.

Сама же Софья Ивановна высокая, статная. На вид лет сорок, не больше. Чёрная, ниже пояса, коса обычно уложена короной вокруг головы. Глаза добрые, чуть печальные. Точнее—задумчивые. Такое ощущение, будто знает она про эту жизнь много такого, о чём другие не догадываются.

3. Как в том анекдоте (продолжение)

Идёт богатырь Ариэль по пещере, мобильным телефоном вместо фонарика сам себе подсвечивает.

И вдруг его осенило, можно сказать—офиолетило: а ведь не иначе это жилище самого змея поганого и есть? Не зря же так воняет.

«Ох ты,—думает,—как всё удачно складывается! Сейчас сразу два дела проверну: и от непогоды укроюсь, и змея заколбасю… ну, или заколбашу… В общем—как получится…»

То есть какие-то сомнения в душу богатырскую всё-таки закрались. Потому—неизвестно ведь наверняка, кто кого заколбасит? Это только в сказке добро всегда побеждает зло, а в реальной жизни бывает и наоборот. Ещё как бывает!

Сбавил богатырь скорость, помедленней пошёл.

Тем паче что фонарик вдруг сломался, светить перестал: может, батарея в телефоне села? А в пещере темно, ничего не видно. Ни дороги, ни змея-горыныча.

Как быть?

«А дай-ка я покричу!»—догадался богатырь.

И покричал. Сперва осторожно, без фанатизма:

— Ау-у… Есть тут кто-нибудь?..

Тишина.

«Ага,—радуется добрый молодец.—Одно из двух: или змея дома нет, или он меня сам боится!»

Покричал настойчивей. Уверенней.

— Эй, чудо-юдо! Если ты здесь—выходи: тебя русский богатырь вызывает. На честный бой, между прочим.

Опять никто не отвечает. Юноша обрадовался, что называется, приборзел:

— Ну, ты, змеюка поганая! Выходи, говорю, биться, пока я добрый!

Тут кто-то совсем рядом громко зевнул. Потом потянулся так, что камни с потолка посыпались, и спросил сонным голосом:

— Пацан, ты на часы смотрел?

4. Часовщик

Теперь самое время рассказать про тех, кто проживал в этом сказочном пансионате.

Начну с самой странной и загадочной личности. Некто Часовщик. Высокий, сухопарый, седой старик. Глаза—как два провала, чёрные,

равнодушные. На левом запястье старый шрам в форме серпа или полумесяца.

Замкнут и неразговорчив. Из своей комнаты практически не выходит. А тот, кому довелось заглянуть в его каморку, был поражён количеством различных хронометрических механизмов: тут и огромные напольные часы, и крохотные ручные, и ходики на всех стенах висят разные—с кукушками и без. А кроме того—куча песочных часов. И даже водяные есть (это чудо техники называется «клепсидра»). А уж будильников сколько! И что характерно: всё вроде бы тикает, маятники туда-сюда болтаются, а время на всех циферблатах—разное. Ну совершенно! Ни минуты не совпадают, ни часы. А кое-где так и вообще стрелок нет. Или наоборот—одни стрелки на пустом круге, без всяких делений.

Жил он здесь дольше всех—очевидно, с самого открытия. Потому остальные обитатели «Калинова моста» не имели ни малейшего понятия о том, кто он такой, этот Часовщик, и откуда взялся. Хозяйки пансионата на вопросы о таинственном обитателе комнаты с видом на север почему-то отвечать не любили. Деликатные и воспитанные пансионеры в конце концов решили так: пусть это будет тайна, покрытая мраком. Так даже интереснее.

5. Жуть в пещере

— Пацан, ты на часы смотрел?
— А?
— Чего непонятно? Я спрашиваю: ты с головой принципиально не дружишь?

Богатырь от неожиданности чуть… В общем, малость опешил.

— А т-ты?
— Что я?
— Ну, это… д-дружишь?
— С головой, что ли? Так это смотря с которой. Если с шестой—то нет. Мы с ней уже неделю в контрах.
— Шутим, да?—сам не зная зачем спросил богатырь.—Типа—остряк доморощенный?
— Почему доморощенный? Я вообще-то в диком поле вырос.
— Оно и видно…

Богатырь врал: ничего видно не было. Темнота стояла жуткая. И от всей этой жути зубы начали непроизвольно лязгать друг об дружку: цок-цок-цок…

— Ты на коне, что ли, приехал?—заинтересованно спросили из темноты, но уже почему-то другим голосом.
— Не… я п-пешком…
— А кто тогда тут цокает?
— Н-не знаю…
— Это он нас боится,—хохотнул третий голос.— Вон и з-з-заикаться начал. Бедняжка.

Тогда четвёртый предложил очень серьёзно:

— А давайте съедим его. Из гуманных соображений. Чтоб не мучился!
— Может, не надо?—осторожно спросил богатырь. И на всякий случай пообещал:—Я больше не буду…

6. Дядь-Лёшка

В одной из комнат, выходящих на восток, проживал простой, настежь открытый и отзывчивый на чужие горести и проблемы Дядь Лёшка. Именно так. Ни дядя Лёша и ни Алексей как-нибудь там по батюшке. Свои отчество и фамилию он вообще сообщать отказался. Объяснил так:

— Ну не помню я уже, ёлы-палы. Да и ни к чему. Сами подумайте: на кой ляд старому отставному лешему отчество? Тем паче—фамилия!

Дядь Лёшка и вправду был лешим в отставке. Всю свою долгую жизнь он прослужил егерем в заповеднике. Сначала помогал отцу. А как отца не стало—сменил его на этом трудном и опасном поприще.

Браконьеры—народ серьёзный. Сколько раз Дядь Лёшке обещали: «Ну ты дождёшься, урод! Мы твою избёнку-то подпалим, пса твоего облезлого вздёрнем на первом суку, а тебе все кости переломаем, башку проломим и с обрыва в реку скинем!»

Обещанное выполнялось, и не раз. И верного пса убивали. И самому кости ломали. И избу палили.

Пока молод был—восстанавливал всё, как мог. Раны заживали. Изба отстраивалась заново. А там, глядишь, и собачонка какая-нибудь прибьётся… Погрустишь о старом друге, а потом и к новому прикипишь. Одному—плохо.

Но с последним погромом понял: это всё! Нет больше сил бороться. И жить дальше—смысла нет.

При свете догорающей избы прислонился спиной к берёзе, положил на колени мёртвую голову Грозного, закрыл свои слезящиеся глаза и стал ждать конца.

Тут его и нашла Софья Ивановна.

Показалось, что это ангел спустился с неба на крыльях. Подумал: «Ну вот она и пришла, моя смерть…»

Дёрнулся было навстречу. И тут же потерял сознание от острой боли.

Через пару недель раны совершенно зажили, кости срослись, ибо руки у дочерей Софьи Ивановны такие, что назвать их золотыми—только обидеть. Волшебные руки. Да, вот так правильнее будет.

Постепенно раны душевные тоже стали зарубцовываться. А тут ещё и новый сосед образовался.

7. Жуть в пещере (продолжение)

— Отстаньте уже от человека!—недовольно зевнул ещё кто-то из темноты.—Он—больше не будет, сколько вам повторять!

Вот тут и понеслось на разные голоса:

— И мы—не будем…

— Не будем мы его есть, пока…
— …пока с названием блюда не определимся…
— Факт!
— Тебя как зовут-то? Эй!

Ответа не последовало. А кому ж захочется быть поданным к обеденному столу под своим собственным именем вместо соуса?

— А, я понял: это Иван-дурак! — предположил кто-то.

Тут богатырь сильно разозлился сам на себя за свой позорный страх. Завопил что было мочи:

— Хотите сожрать — жрите! А обзываться-то зачем?

— Обиделся, — грустно констатировал голос, до сих пор молчавший.

А другой переспросил:

— Не понял. На что обиделся-то? На Ивана, что ли?
— Ну не на дурака же. На правду кто обижается?
— Ясен пень!
— Значит, это Илья Муромец?
— Или Добрыня Никитич.
— Да нет же, говорю вам — это Алёшка Попович, можете даже не сомневаться. Я его всегда по запаху определяю.
— В смысле, он чё… уже — ага? От остроты ощущений, типа?..
— Ну что ты! От него же ладаном и миррой благоухает. Во, чуешь?
— Не, я не очень как-то… Насморк у меня…

8. Господин Никошев

Новый обитатель пансионата появился примерно через неделю после Дядь Лёшки. Забавный такой. Плюгавенький, на тонких ножках, животик — как пивная бочка. И шибко сердитый. А уж апломбу!

Он, в отличие от бывшего лесника, назвался строго по фамилии:

— Господин Никошев.

Вот так. Ни больше, ни меньше.

Дядь Лёшка, простая добрая душа, улыбнулся приветливо, головой кивнул, спросил:

— Никоша, значит?

В ответ на такую возмутительную фамильярность господин Никошев метнул глазами две страшных молнии и прорычал громоподобно:

— Я тебе, старый болван, никакой не Никоша! Запомни это, и детям своим, и внукам передай!

— Непременно передам, — не стал спорить покладистый по природе Дядь Лёшка. — И обязательно запомню. Так, значит, говоришь, не Никоша? Тогда по логике вещей что получается? Коша?

Надо ли говорить, что молнии из глаз этого самого Коши засверкали с удесятерённой силой? Но Дядь Лёшка за свою долгую жизнь привык не бояться грозы. Эка невидаль! Погремит, погремит да и перестанет.

История господина Никошева оказалась печальной. Почти как у короля Лира.

То есть сначала-то всё было хорошо, просто замечательно. Счастливое пионерское детство. Комсомольская юность. И почти сразу — руководящие должности в райкоме: сначала — в комсомольском, а потом уже и в партийном. Грянула перестройка — тоже не беда. Сразу попал в струю: партбилет на стол, и — вперёд, на строительство нового светлого капиталистического будущего! Развернул собственный бизнес (благо было из чего начинать, спасибо приватизации!). Ума, энергии и предприимчивости хватало с избытком. Комсомольскую, партийную и общечеловеческую совесть, слава Богу, упразднили как пережиток проклятого социализма. Жить стало легко и свободно.

В общем, постепенно сколотился кое-какой нехилый капиталец. Квартира в центре города. Машина. Дача на берегу моря. Яхточка. Всё как положено. Женился. Детей, правда, родить не получилось. Ну, это не так страшно: усыновили двух племянников, круглых сирот. Вот и доброе дело. Глядишь, на Божьем суде — зачтётся.

Мысли о Боге в последнее время стали посещать его всё чаще, всё настойчивее. Лежит, бывало, господин Никошев ночью, когда не спится, глядит в тёмный потолок и думает: «А вдруг Он и вправду есть? Чем, как говорится, чёрт не шутит?..»

После внезапной смерти жены и вовсе. А тут ещё у самого сердце пошаливать стало. Как прижмёт — свету белого не видно. Уж и скорую вызывали, и в больнице лежал.

Мысли опять же: «Вот умру завтра — и что с бизнесом? И как мои мальчишки всё меж собой поделить сумеют? Передерутся же. Ещё и поубивают друг друга, Боже сохрани! Нет, с этим надо что-то делать!»

И сделал. Не дожидаясь смерти, расписал поровну всё своё имущество движимое и недвижимое, включая бизнес.

Наследникам сказал:

— Стар я стал. Устал от этой жизни. Моё время — прошло, ваше — наступило. Дерзайте, продолжайте мною начатое. А я… я отдохнуть хочу. Заслужил, поди?

Сыновья, разумеется, тут же в голос:

— Заслужил, батя, а то как же! Базара нет!

Устроили по такому случаю банкет. Заказали самый дорогой ресторан. Выпивка, закуска — всё как положено!

И как, и с чего вдруг понеслось? Нет, не вспомнить уже…

Слово за слово — поссорился господин Никошев со своими приёмными сыновьями. Он стал кричать что-то типа: да вы, мол, за свою жизнь палец о палец ни разу не ударили. Привыкли жить на всём готовеньком.

Парни, в свою очередь, ответили, что как он был гадом, так гадом и остался. И жену в могилу

свёл, и им, детям, хоть бы раз доброе слово сказал, по головке погладил!

Тот попытался, конечно, объяснить в категорической форме, что некогда ему было чьи-либо головы оглаживать. Дело надо было делать, деньги зарабатывать.

А сыновья на это ответили: да знаем мы, дескать, твои дела—воровать да рабочих обманывать!

Вот тут господин Никошев не выдержал. Сказал твёрдо:

— Всё! Передумал я. Завтра же все дарственные обратно разверну, ни копейки вам не дам! А зачем вам, таким честным и правильным, моё богатство, нажитое воровством и обманом?

Братья сообразили, что заигрались, языки прикусили. Потом сделали вид, что раскаиваются:

— Батя, прости дураков! Чего спьяну не брякнешь? Мы же тебя любим как родного. У нас же кроме тебя—никого на всём белом свете!

Ну и, как водится,—на мировую. Выпили по рюмочке. Выпили по две. Господин Никошев и не заметил, как отключился.

Очнулся в совершенно незнакомом месте. Без денег, без документов. В каком-то бомжовском тряпье. Мобильного телефона тоже, разумеется, нет.

Первым делом пошёл в милицию, заявил:

— Я известный бизнесмен. Будьте любезны, верните меня к себе. За хорошее вознаграждение, разумеется.

Весь участок хохотал минут примерно двадцать. А потом погнали беднягу взашей:

— Иди, дедуля, домой, спи. Бабка, поди, с ног сбилась.

— Ах вы! Да я вас!..

В общем, усадили буяна в «обезьянник». Там он притих, сник. Сидел тихонько, всхлипывал и всё просил дать ему мобильник на минутку.

На счастье, попался сердобольный лейтенантик, совсем зелёный, от суровой нашей действительности ещё не огрубевший. Согласился позвонить по указанному телефону. Там ответили, что господин Никошев вместе с сыновьями улетел на Канары. Когда вернётся—неизвестно.

Тут уж бедняга окончательно вышел из себя:

— Ах вы, твари купленные! Всё вы врёте! Пустите, я сам!

Сначала хотели морду набить бузотёру, для успокоения. Потом подумали: а ну его! Видно же, что старичок не в себе. Вывели, поддали коленом под зад:

— Дедуля, ещё раз здесь увидим—расстреляем без суда и следствия!

От такого унижения... от такой кошмарной безысходности подобрал господин Никошев на дороге кусок верёвки, привязал к ней камень и пошёл топиться.

Вот тут-то его и повстречала Софья Ивановна.

9. Жуть в пещере (окончание)

Голос из темноты радостно завопил:

— Лёха, ты что ли?

Другой поддержал:

— Проходи, гостем будешь!

А третий удивился:

— Чего молчим?

— Потому что это не я,—ляпнул богатырь, не подумавши.

— Как это?—не понял четвёртый.—А кто тогда? Котлета по-киевски? Или сосиска в тесте?

Богатырь со страху совсем потерял голову. Выкрикнул вдруг дерзко, неожиданно для себя:

— А ты сам кто такой?

— Я?—удивился голос.—Змей Горыныч вообще-то. О шести головах. А тебе кто нужен?

Наступила тишина. Она висела довольно долго. Наконец прозвучало неуверенное:

— А я никого из вас не боюсь. Я, может быть, сам—страшный...

Опять стало тихо. Потом поступило предложение:

— Давайте уже свет включим, что ли? Интересно же посмотреть на этого страшного. Вдруг и правда—испугаемся?

— Давайте. Кто у нас сегодня зажигает?

— Чур, не я!

— И не я. Не хочу свою внутреннюю энергию расходовать по пустякам.

— Ах, нет в душе того огня, но только дым, туман и сажа!—нараспев продекламировал кто-то.

— Эй ты, поэт хренов. Смотри и учись, пока я жив!

Послышался громкий выдох. Полетели искры. Которые моментально погасли.

— Спички купи, поджигатель!

— Умный, да? Сам ничего не можешь, кроме как золотые коронки скалить!

— Кто? Я не могу?

— А, что ли, можешь?

— Ну не могу...

Наконец кто-то сердито сказал:

— Достали, придурки. Нате вам.

Вырвалось пламя. Вспыхнул факел. Стало относительно светло.

То, что богатырь увидел перед собой, превзошло все его ожидания. Он затосковал в душе и подумал: «Уж лучше бы и дальше было темно...»

Огромная скала, покрытая чешуёй, с любопытством смотрела на него своими шестью ласково улыбающимися головами...

10. Эверестович

Четвёртый жилец поселился в комнате с окнами, выходящими на юг. Назвал себя он полностью, как в анкете: Аспиданский Серпантион Эверестович.

— Даст же Бог имечко!—сочувственно покачал головой Дядь Лёшка.

— Бог здесь ни при чём,—резонно возразил вновь прибывший.—Давать имя человеку—это прерогатива отца и матери.
— Ах ты ж, твою под ёлку! А они у тебя кто, если не секрет?
— Мужчина и женщина. Папа—мужчина, мама—женщина,—спокойно и терпеливо, как любознательному школьнику, взялся объяснять Серпантион Эверестович.—По-другому дети не родятся.
— Спасибо, просветил,—хмыкнул отставной леший.—А ты у нас, часом, не профессор биологии?
— Нет. Это мой папа был биолог. И не профессор, а академик. Серпентолог. Змей изучал. Серпентология—наука о змеях. Так понятно?
— Ну, если в общих чертах… Так вот, значит, откуда у тебя имечко-то произрастает?
— Именно отсюда. Это папина идея, он решил меня так назвать—Серпантион.
— Понятно, понятно. По-русски получается—змеюка.

Новенький неопределённо пожал плечами:
— Можно и так сказать…
— Вот я и говорю… Я что, собственно, говорю: змея—она ведь змея и есть! Над чем тут целому академику голову ломать? Или это шутка была насчёт папашиного учёного звания?
— Никаких шуток. Аспиданский Эверест Сидорович весьма известен в своих кругах. У него даже книга есть. Небольшая, правда. Но—своя.
— Своя—это хорошо,—одобрительно закивал Дядь Лёшка.—Сам написал—сам же и почитал на досуге. Но я что спросить-то хочу, да всё стесняюсь: а дедушка у тебя кем был? Альпинистом, академиком или шибко большим начальником?
— Почему начальником?—не понял новенький.
— Известное дело. Начальник—это шишка. Бугор. А самый высокий бугор на земле как называется? Вот то-то! Чем не имя для любимого сыночка—Эверест?
— Нет, мой дедушка был простым учителем. Преподавал географию в сельской школе. Аспиданский Сидор Иванович.
— Ну, слава те Господи, пошли-таки, наконец, уже нормальные человеческие имена,—обрадовался Дядь Лёшка.—А то я уж подумал…
— Подумали что?—напрягся в душе Серпантион Эверестович.

Дядь Лёшка ответил вопросом:
— А сам-то ты в каком звании? Тоже, поди, академик?
— В прошлом—профессор. Историк. А точнее—преподаватель истории в столичном университете одного из сопредельных государств.
— Ух ты, башковитый какой! Так, выходит, мне на тебя снизу вверх глядеть надо, рот открывши от уважения?
— Это совсем не обязательно,—заскромничал профессор.—Тем более что было оно, можно сказать, в прошлой жизни. А потом… потом я был никем… Буквально до вчерашнего вечера… пока меня не подобрали эти волшебные женщины.
— Понятно,—сочувственно развёл руками Дядь Лёшка.—В том сопредельном государстве история больше никому не нужна? Правильно я говорю?
— Увы. Сию вредную для национального сознания простых граждан науку упразднили и заменили на… Нет, я даже не хочу произносить этого вслух.
— И не произноси. Лучше давай подумаем, как мне тебя, профессора, звать-величать попроще и чтоб не обидеть?
— Вообще-то я не обидчивый. Ну, скажем, так: Серпантион Эверестович. Можно и просто по отчеству, чтоб без церемоний.

Дядь Лёшка почесал затылок:
— Я вот что подумал: гора—она гора и есть, сколь бы там в ней километров росту не насчитывалось. А коль скоро Эверест—гора, то будешь ты у нас—Горыныч. А? Хорошо ведь? И язык не сломаешь!
— Ну ладно,—без энтузиазма, но и без особого сопротивления согласился Серпантион Эверестович.—Если вам так проще…
— И давай уже на «ты». А то я человек простой, от земли, так сказать, от природы.
— А, давай!—профессор махнул рукой и как-то сразу преобразился, расслабился, сделал выражение лица попроще и улыбнулся—широко, от уха до уха.—Я надеюсь, мы найдём общий язык? Тем паче что исторически все европейские языки произошли от санскрита, то есть имеют один общий корень, а язык восточных славян ближе всего к оному, а стало быть…

Но Дядь Лёшка перебил:
— И головастый же ты мужик, Горыныч: чё говоришь—сам не догоняешь. Не говоришь—песню поёшь: так бы слушал и слушал!

11. Головастая гора

— Ух ты какой!—радостно сказала гора.
— Ни капельки не страшный.
— Красавчик!
— И вку-усный, поди…
— А то!

Богатырь окончательно сомлел. И это, надо полагать, стало заметно, потому что одна из многочисленных голов наклонилась поближе к его уху и прошептала почти интимно:
— Да не едим мы людей. У нас диета.
— Заткнулись все!—строго распорядилась самая авторитетная голова.—А ты ответь: на Калинов мост тебя каким сквозняком занесло?
— К-к-куда?
— С-с-сюда,—передразнила голова.

Ариэль на всякий случай огляделся, пытаясь понять, где этот мост и зачем он ему нужен. Однако ничего не увидел, кроме кромешной тьмы вокруг.

— Чего смущаешь нашего дорогого гостя? — хихикну кто-то. — Не, пацан, никого не слушай. Калинов мост чуть дальше. Ты до него ещё не дошёл. А здесь у нас база отдыха. Спим мы тут. А ты чё, в натуре не знаешь, куда шёл?

Тут богатырь вдруг решил, что коль скоро его есть не будут, так и бояться особо нечего. Потому он собрался с духом, кашлянул в кулак и заявил, почти не заикаясь:

— Куда надо, туда и шёл!

— А куда надо?

— Я сам знаю куда!

Кто-то заботливо посоветовал:

— Если по нужде — то это за угол, направо.

А главная голова качнулась и продолжила допрос:

— Так чего ты хотел-то?

— Известное дело: постоять…

— В каком смысле «постоять»? Вообще-то у нас тут не постоялый двор.

— Не, ну я… хотел постоять… за это…

Нужные слова куда-то вдруг все подевались. Так бывает.

— Просто фонтан красноречия, бьющий из-под земли! — Змей Горыныч начал терять терпение. — Может, тебе по башке дать?

— Не… не надо по башке. Я всё скажу. Постоять хотел… за это… вспомнил: за правое дело!

Повисла одобрительная тишина. Потом одна какая-то, наверное, самая наивная голова спросила:

— А за левое? За левое — не хочешь… постоять?

Богатырь слегка озадачился: такая постановка вопроса застигла его врасплох.

— Нет. В книжке написано: «постоять за правое дело». А про левое там ничего не было…

— На заборе тоже пишут, — резонно заметила главная. — Думать не пробовал?

Тут богатырь почему-то сильно расстроился:

— Это как?

— Не знаю, не знаю… — развёл руками Змей Горыныч. — Некоторые головами думают. Мы, например. А диплодоки, так те, я извиняюсь, этой самой… В общем, у них все мозги к заднему отделу позвоночника сдвинуты.

— Ага. Потому они задним умом сильны, — пояснила какая-то из голов и на всякий случай уточнила: — Очень!

— Так что ты сам решай: чем думать, зачем, и главное — о чём.

Увидев растерянную физиономию богатыря, все головы дружно, по-лошадиному, заржали.

Ариэлю захотелось провалиться сквозь землю. Или хуже того — сесть и заплакать. Не, ну нормально, да? Он же, в конце-то концов, сюда биться пришёл, а не насмешки терпеть!

И тут вдруг у него во внутреннем кармане куртки зазвонил телефон.

12. Красотку привезли

— Пацаны, а к нам девчонок подселять начали! — сообщил запыхавшийся Дядь Лёшка.

— В каком смысле? — захотел уточнения профессор.

— В смысле — женщину привезли. Жить будет в угловой комнате.

— Красивая?

— Не видал ещё. Пойдём глянем?

— Всенепременно. Лично я уверен: она просто писаная красавица!

— Так идём уже или как?

— Ай, фигня всё это, — зевнул господин Никошев, однако от коллектива отрываться не стал, пошёл вместе со всеми.

Писаная красавица оказалась высокорослой, длинноносой, длинношеей, немного горбатой и хромой на левую ногу…

— Разрешите представиться: Серпантион Эверестович Аспиданский, — Горыныч галантно изогнул измученную остеохондрозом спину и протянул свою ладошку лодочкой, дабы принять у новенькой ручку для поцелуя. — Добро пожаловать в нашу тихую обитель!

— Каргашевская Ягвига Космовна, — в тон ему отрекомендовалась вновь прибывшая.

— А попроще? — вежливо поинтересовался Дядь Лёшка. — Или нельзя?

— Отчего ж нельзя? Можно и совсем просто: бабка Яша, например.

— Ну нет, для бабки вы слишком молодо выглядите, — бессовестно сподхалимничал Эверестович. — Я бы всё-таки предпочёл по имени-отчеству: Ядвига… как там дальше?

— Только не Ядвига, а Ягвига, — осторожно поправила та. — Космовна.

— Кузьмовна? — обрадовался Дядь Лёшка. — Так пойдёт?

— Пойдёт, куда ему деваться, — не стала возражать старуха.

— Вот и славно. А я — Дядь Лёшка. Дядь Лёшка, и всё. Я вообще люблю, чтобы всё — по-простому.

Дошла очередь до Коши. Он сдержанно, чуть высокомерно поклонился своей лысой макушкой:

— Господин Никошев.

— Очень, очень приятно! — новенькая закивала в ответ. — Пани Каргашевская.

Эверестович между тем решил продолжить расспросы:

— К нам какими судьбами?

— О, это целая история. Боюсь, что она покажется вам скучной и не очень весёлой.

— Да у нас тут у всех примерно то же самое, как на подбор. Так что просим, просим, без церемоний!

13. Мама — это святое

— Эй, что там у тебя булюкает?

— Да это в животе у него,— подсказали с левого фланга.— От страха.

Богатырь между тем достал мобильник, удивился:

— Надо же! Только не говорите, что у вас тут ещё и сотовая связь есть!

— Вообще-то у нас есть ВСЁ!— резюмировала главная голова, сильно акцентируя на слове «всё».

— Кроме того, чего нету,— вредным голосом добавила другая.

— А «исотовая связь» — это что?— осторожно поинтересовалась самая любознательная из голов.

— Потом расскажу,— отмахнулся богатырь.— Можно, я сначала маме отвечу? Чтоб она зря не волновалась. Ей нельзя, у неё гипертония.

— Мама — это святое!— дружно закивал всеми своими головами Змей Горыныч.— Маме непременно надо ответить. Отвечай, мы подождём.

— Алё, мама! Мама! Тебя плохо слышно. Погоди, я попробую громкую связь включить — может, так лучше будет?

Из динамика послышались пронзительное шипение, хрюканье, какой-то треск. И вдруг совершенно ясный женский голос обеспокоенно спросил:

— Элечка, мальчик мой, ты где?

Богатырь поморщился, будто откусил пол-лимона:

— Мама, я тебя сто раз просил: зови меня по-человечески, а не этим дурацким девчачьим именем!

— И вовсе даже оно не девчачье,— привычно парировала мама.— У тебя очень красивое, мужественное имя.

— Ага. Элечка…

— А что, Васечка или Колечка — тоже девчачьи имена?— не то сердито, не то обиженно спросила трубка, и сама себе ответила:— Эля — ничуть не хуже. Неужели родная мать не имеет права называть своего малыша нежно и ласково?

— Мама, я не малыш!

— Понимаю!— с нескрываемой печалью вздохнул голос из телефона.— Время идёт, дети растут, матери стареют… Да, мой маленький мальчик — вырос. Но только для мамочки он был, есть и всегда будет милым, добрым карапузом, моим маленьким ласковым Элечкой.

Богатырь опять поморщился. Но промолчал.

— Алё, алё!— заволновался голос в трубке.— Сыночек, ты где? Почему молчишь? Что-то случилось? Я до тебя с утра не могу дозвониться!

— Ничего не случилось. Всё в порядке. Просто тут связь плохая, не везде берёт.

— А ты где?

— Да здесь я, здесь… Где мне ещё быть-то?— не зная, что сказать, пробубнил богатырь.

— С тобой там всё в порядке?— обеспокоенность в мамином голосе явно возросла.— Алё, алё, сынок, я тебя не слышу!

— Да, да, мама, со мной всё в порядке,— не очень уверенно соврал богатырь.— Не волнуйся, пожалуйста, тебе это вредно.

— Как же я могу не волноваться?— обиделась мама.

— Со мной всё нормально. Всё хорошо. Честное слово! Ну хочешь — поклянусь!

Тут голос из трубки сделался недоверчиво строгим:

— Ариэль! Я тебе не верю! Я всегда чувствую, когда ты говоришь маме неправду! Мальчик мой, ты попал в беду? Тебя поймали хулиганы? Они тебя били, обижали?

— Мама, никто меня не обижал. Со мной всё хорошо, просто замечательно!

— Вот ведь!— жалобно возмутилась мама.— Посмотрите на него: врёт и не краснеет!

— Ну почему сразу не краснею?!— в отчаянии выпалил богатырь.— Ты же меня сейчас не видишь.

И сам сообразил, что ляпнул что-то не то.

— А мне и не надо ничего видеть. Мне материнское сердце всё подскажет и всё покажет.

Голос у мамы стал звонким, как натянутая струна.

Змей Горыныч, до сих пор слушавший молча, не выдержал, удивился вполголоса:

— Эй ты, как тебя там?.. Это ты натурально с мамой базаришь?

— Тише!— зашипел богатырь.— Конечно, с мамой, а то с кем же?

Очевидно, мама что-то услышала, заволновалась ещё больше:

— Эленька, родной, кто там с тобой рядом?

— Мама, ну что ты вечно выдумываешь? Никого тут нет, один я…— опять соврал богатырь Ариэль, совершенно не представляя, что ещё можно сочинить, чтобы успокоить любимую родительницу.

И тут связь неожиданно оборвалась. Телефонная трубка жалобно пискнула, хрюкнула и замолчала.

14. Печальная история бабки Яши

В паспорте у неё было написано так: Каргашевская Ягвига Космовна. Воистину, даст же Бог имечко!

А когда-то было ещё противней — Ядвига. Непонятно — то ли от слова «яд», то ли от глагола «двигать». Куда двигать? Кого? И главное, зачем?

Назвали девочку в честь её польской прабабушки, которую та ни разу в глаза не видела. Даже на фотографии.

Зато отец, Косма Богуславович, обожал рассказывать про свою горячо любимую бабуню (царство ей небесное!) поучительные истории, причём всё время разные, часто взаимоисключающие.

Несмотря ни на какие рассказы, имя своё Ядвига терпеть не могла. И даже стеснялась. Называлась обычно Ясей или Яшей. И всегда в душе сильно обижалась на родителей: ну почему было не назвать ребёнка простым человеческим именем? Машенькой, например. Или Верочкой.

При очередном обмене паспорта, уже в суматоху перестройки, Яся сумела каким-то чудесным образом убедить паспортистку, что правильно надо писать Ягвига. Наврала, что там не буква «д», а «г». Они, мол, Каргашевские, родом из Польши. А поляки кириллицей не пишут из принципа. Пишут латиницей. Вот и произошла путаница. Ведь то, что на кириллице «д», на латинице — «г» или даже «ж».

Каким образом паспортистка всей этой околесице поверила — одному Богу известно! Но, как бы то ни было, новый паспорт Яся получила уже с новым именем — Ягвига. Тоже не фонтан, конечно, но всё-таки…

Работая в библиотеке, Яша вычитала в словаре, что имя Ядвига — скандинавского происхождения и означает «воительница». Вспомнилось вдруг, как в раннем детстве она и вправду была сорви-голова. Домой вечно являлась в синяках и ссадинах. Соседи не уставали жаловаться: «Усмирите свою малолетнюю хулиганку, а не то мы примем меры!»

Бедная, бедная мама Галя! Ох и намучилась же она с этой несносной девчонкой, ох и пожалела же, наверное, не раз о том, что…

Правда открылась, разверзлась и оглушила неожиданно. Как гром среди ясного неба.

Стоял ясный, солнечный майский день. Ребята постарше были ещё на занятиях в школе, а они, счастливые дошколята, толкались во дворе, прыгали через скакалки, копались в песочнице. Потом всё это как-то надоело, захотелось чего-то новенького, необычного.

И тут заскучавшая ребятня впервые обратила серьёзное внимание на пожарную лестницу, ведущую вверх, на пятый этаж. Или даже ещё выше — на саму крышу? Снизу это было не очень понятно, потому возник спор. Одни говорили, что да, на крышу ведёт лестница. Другие не верили: нет, этого не может быть, уж никак не выше чердака!

— А слабó залезть поглядеть? — спросила вдруг Яська.

— Да ну тебя, кто туда полезет? — ответили ей. — Высоко ведь. И страшно.

— Я полезу!

— Ой, попадёт тебе, — с тайной надеждой на приключение выдохнул кто-то.

— И пусть! — гордо и презрительно оттопырила нижнюю губу девочка. — Ну-ка, подсадите меня, а то мне до ступенек не дотянуться.

И она полезла.

Сначала страшно не было. Были азарт и предвкушение победы. Лестница, казалось, уходила прямо в небо, где плавали редкие белые облака, летали голуби и вороны. И сама Яська как будто летела вместе с ними. Ах, ведь это её самая заветная мечта — летать!

Она была уже где-то в районе третьего этажа, когда снизу закричали:

— Яська, слазь, дворник дядя Петя за дяденькой милиционером побежал. Давай быстрей, а то тебя арестуют и в тюрьму посадят!

В тюрьму не хотелось. И хоть жаль было бросать дело на середине, Яська решила побыстрей спуститься с небес на землю.

Она посмотрела вниз. И тут вдруг у неё начала кружиться и голова.

Это было странно, неожиданно и неприятно. Руки и ноги почему-то сделались ватными и почти перестали слушаться. Сознание уплывало. Как в тумане, почти ничего не видя, Яська нащупывала скользкие железные перекладины лестницы и медленно-медленно опускалась. С каждой минутой становилось всё трудней и трудней.

Очнулась Яська в больнице. Очевидно, она всё-таки потеряла сознание и упала вниз. Слава Богу, было уже не очень высоко, так что до смерти не убилась. Отделалась серьёзным сотрясением головы и переломом левой ноги. Тоже серьёзным. Нога эта впоследствии так и осталась хромой, да ещё и страшной — кривой и ужасно тощей. Просто кости, обтянутые кожей. Но ходить можно — и на том спасибо.

Яська помнит, как плакала, стоя на коленях у больничной койки, мама Галя, как умоляла больше никогда так не делать.

Приходил и отец. Внешне он казался суровым и спокойным, но Яська видела по глазам: он тоже очень сильно переживает.

А потом Яську выписали. И она лежала дома одна. То есть мама, разумеется, прибегала проведать дочку каждый раз на большой перемене. Благо школа, где Галина Ивановна работала учительницей литературы, была совсем рядом, буквально в двух шагах. И соседка, тётя Маша, заходила по нескольку раз на дню. То есть особо-то ни в чём нужды Яська не испытывала. Вот только скука смертная!

Ну да. Телевизора в доме не было (это в те времена считалось большой роскошью). Репродуктор, конечно, тарахтел с утра до ночи. Да только там мало интересного для шестилетнего ребёнка. Хорошо хоть читать ребёнок уже умел довольно сносно. Так и лежала Яська в окружении книг. Точнее — полулежала-полусидела.

Самое страшное случилось тогда, когда уже сняли гипс и разрешили немножко ходить по комнате, осторожно, с костылём.

Однажды было совсем скучно. И Яська решила пошариться в письменном столе: а вдруг там отыщется что-нибудь занимательное?

Самый нижний ящик, который всегда почему-то запирался на ключ, оказался вдруг незапертым. Яська полезла в него и…

Сейчас уже не вспомнить дословно, что было в той проклятой бумаге, которую Яська тогда нашла. Но из неё следовало, что она, рождённая такого-то числа, такого-то месяца и года — не родная дочь

собственных родителей, а — приёмная. Что взяли ребёнка из дома малютки в трёхмесячном возрасте.

Уж лучше бы она лежала себе дальше на кровати и никуда не лезла! Так больно, так страшно в шесть лет узнать вдруг: ты — приёмыш. У тебя нет ничего из того, что даётся каждому по праву рождения: папа, мама, родной дом… У тебя всё — чужое. Не твоё…

Эта ужасная находка переломила Яськину жизнь, разделив её на «до» и «после». И если «до» она была маленьким сорванцом, счастливым, летящим по жизни очертя голову, то «после»…

Да, именно с этого дня она навсегда сделалась тихой, послушной и даже какой-то безропотной.

15. Светка

— Ну и что там у нас насчёт сразиться? — зевнула одна из голов. — Бум или как?

Ответа почему-то не последовало.

— Чего молчим? Эй, как тебя там… Элечка… Ты готов к труду и обороне?

— Естественно, — каким-то не очень естественным голосом отозвался богатырь. — Готов…

— Оно и видно, — хохотнули сразу две головы. — Можно было и не спрашивать.

— Ну, тогда подождём, пока наш славный воин штанишки поменяет, и, как говорится, начнём, благословясь?

Богатырю от этих слов стало ну совсем уж обидно. Он опустил голову и сердито подумал: «Чего ржать-то? Ну страшно мне. А кто бы на моём месте не испугался живой горы, увешанной головами?»

— Так нечестно, — пробормотал он. — Вот если бы на равных…

— На равных так на равных, — великодушно согласился Змей Горыныч.

Что-то в воздухе сверкнуло, зашипело. И вот уже вместо головастой горы на него, нагловато прищурившись, надвигается обычный человеческий субъект среднего роста. По виду — типичная шпана середины пятидесятых годов прошлого века: помятая кепочка козырьком назад, пиджачишко нараспашку, поношенные брючата в еле заметную клеточку, дымящая папироска в зубах, чуть приседающая, вразвалочку, походка. В общем, не английский лорд, конечно, но в сравнении с тем, что было, — вполне себе ничего.

— Ну и? Какое мы выбираем оружие? Финский нож, кастет или заточку?

Богатырь задумался, не зная, что ответить: если честно — ему не нравилось ни первое, ни второе, ни третье.

Тут снова зазвонил телефон.

— Опять мама? — вежливо поинтересовался бывший змей-горыныч.

(Хотя почему бывший? Внутренняя же его сущность ничуть не поменялась, а внешняя видимость — это дело второстепенное.)

Богатырь посмотрел на экран:

— Нет, это Светка. Сеструха. Ей-то чего надо, спрашивается?

— А ты спроси и узнаешь, — посоветовал Змей.

— Без тебя бы я ни разу не догадался, — огрызнулся богатырь.

Он отвернулся, нажал на клавишу, спросил вполголоса:

— Чё надо?

— Арька, ты где потерялся? Почему трубку не берёшь? Мама уже полфлакона валерьянки выпила. Немедленно домой, а то получишь у меня!

— Ой, боюсь, боюсь. Щас всё брошу!

— Ты повозникай мне! Я тебе не мама.

— Ясен пень — не мама. Вот и не строй из себя.

— Ах так?! — рассердилась Светлана, но тут же сменила тон, и в голосе её зазвучало беспокойство: — С тобой всё в порядке?

— Да. И вообще, отстань, не отвлекай меня. Я тут со Змеем Горынычем сражаюсь.

— С кем?!!

— Не важно, — отмахнулся богатырь, сообразив, что сболтнул лишнего.

— Я тебе покажу — не важно! Арька! Стой, где стоишь, я сейчас…

16. Печальная история бабки Яши

(продолжение)

Когда-то давно Яша мечтала стать лётчицей. Или парашютисткой. Было это, само собой, до падения с лестницы. На этом месте все высокие мечты оборвались.

После восьмого класса мама посоветовала дочке поступить в библиотечный техникум:

— Ты же любишь книги. Вот и будешь всегда в их окружении.

Яша спорить не стала: действительно, чем не профессия?

Отец, Косма Богуславович Каргашевский, в то время уже ушёл из семьи и уехал на родину, в Польшу, искать свою первую любовь. И, кажется, даже нашёл.

Мама сделалась печальной, часто болела. Потом умерла, оставив дочь одну в двух комнатах коммунальной квартиры.

Вскоре от одной из комнат пришлось отказаться в пользу многодетной семьи, вселившейся на место переехавшей в деревню тёти Маши. Когда инспекторша из райсобеса предложила гражданке Каргашевской уплотниться, она не спорила: было бы странно, если б новые соседи со своими тремя детьми ютились в одной комнатке, а она, одинокая, без шанса выйти когда-либо замуж, жировала в двух…

Жизнь сложилась, в общем-то, не так уж плохо. Работать в библиотеке было интересно. Особенно нравилось то, что располагалась она на первом

этаже Дворца культуры. А этажом выше занимался самодеятельный театр.

Театр. Это было для Яси одновременно и сказкой, и недосягаемой мечтой. Предложить себя в качестве актрисы не хватало смелости. Но зато она как-то незаметно навострилась писать сценарии к детским утренникам, а также и к другим не менее важным мероприятиям.

А вскоре при библиотеке организовалось небольшое литературное объединение под названием «Ромашка». Может, от слова «роман», а может, с намёком — гадаем, мол, по лепесточкам: есть талант, нет таланта?

Звёзд с неба в «Ромашке» не хватали, однако на встречах было хорошо и душевно: чаёк, домашнее печенье. Ну и чтение собственных произведений, разумеется. Восторги, щадящая критика, планы на будущее...

Яша никогда не считала себя поцелованной Богом в темечко. То есть серьёзно к своему творчеству не относилась: ну, сочинит там эпиграммку, стишок ко дню рождения... или, опять же, сценарий к Новому году.

А если что-то по велению души, так это — сугубо для себя. И никому не показывала. Страшно было: а вдруг скажут, что вся её писанина — полная чушь? Ведь тогда хоть сквозь землю от стыда проваливайся!

Её уважали как человека. Ценили как работника. Наверное, даже любили — за спокойный, доброжелательный характер, за вечное стремление всем помочь.

Но что-то такое сидело внутри. Какая-то заноза. Время от времени накрывала с головой совершенно дикая, похожая на срывающий крыши ураган тоска. Хотелось разрушить всё, к чёртовой бабушке, — мебель, стеллажи с книгами и саму жизнь: подняться на крышу пятиэтажного дома и — полететь, полететь... плашмя, прямо на асфальт...

Старость подошла незаметно. Проводили Ягвигу Космовну на пенсию. Подарили голубенькую, в горошек, вазочку для цветов, коробку конфет. Обычный, совершенно нормальный жизненный расклад.

Всё бы ничего, да новые соседи поставили себе цель — выжить старуху из комнаты, чтобы самим занять всю квартиру полностью.

И начались мелкие пакости. Мелкие, но неприятные. Особенно когда их много.

Баба Яша с радостью поменяла бы своё жильё на что угодно. Но кто бы с ней стал меняться?

И вдруг, откуда ни возьмись, — благотворительная фирма: выкупает у одиноких стариков жильё (точнее, ищет на это жильё реальных покупателей), а потом подыскивает где-нибудь за городом небольшенький домик. А если вырученных денег не хватает — то добавляет свои, с условием, что с пенсии разница постепенно будет компенсироваться.

Покупатели нашлись быстро — дражайшие соседи. Фотографию домика представитель фирмы (представительный такой представитель!) показал, рассказал подробно — где и в каком месте (чисто — рай!). И даже про будущих соседей упомянул: мол, добрейшие люди, такие же старички, уставшие от городской жизни.

— А завтра в половине двенадцатого подойдёт грузовик, погрузит ваши вещи, заберёт вас и отвезёт на место. И всё это совершенно бесплатно, за счёт фирмы. Так что будьте готовы и ждите внизу, у подъезда: мебель там, чемоданы приготовьте. Чтоб шофёру долго не задерживаться. А то у него работы много, надо ещё одних старичков завтра же отвезти.

На миг мелькнула мысль: а не на кладбище ли? Не в овраг ли ближайший, вместе с мебелью? А потом махнула на всё рукой: ай, хуже уже не будет! Потому как — некуда!

Ан нет. Хуже — оно всегда есть куда...

Просидела Ягвига на чемоданах и узлах, рядом со шкафом и комодом, до позднего вечера. Всё пыталась отыскать в оставленных благотворительной фирмой бумажках адрес или телефон. И чем дольше сидела — тем яснее понимала две вещи. Во-первых, что она не просто дура, а дура, каких поискать. А во-вторых, и это совсем уж печально, идти-то ей — некуда. Причём — совершенно! В бывшую квартиру соседи на порог не пустят. А других вариантов просто нет...

Ах, если бы не Софья Ивановна, каким-то чудом забредшая в эти края! Она-то и забрала старую дуру вместе с комодом, посудным шкафом и прочей рухлядью в свой пансионат.

17. Старшая сестра

Светлане было пять лет, когда родился Ариэль. Всё время, пока взрослые готовились к счастливому прибавлению семейства, девочка ходила задумчивая и какая-то напряжённая. Соседка, тётя Ира, однажды обмолвилась, что с рождением малыша она, Светочка, перестанет быть самой маленькой и самой любимой: любовь мамы, папы, бабушки и дедушки безжалостно будет разорвана на две неравные части. И уж, конечно же, бóльшая часть станет принадлежать не ей, а кому-то другому...

Этого другого Света заранее ненавидела всей глубиной своей детской души. Его рождения она ждала как чего-то ужасного и несправедливого.

И вот этот день настал. В дом внесли маленький пищащий свёрток, и тут же моментально все забыли про старшую дочь и внучку, а принялись суетиться, ахать, охать...

Светланке стало противно, она ушла к себе в комнату, уткнулась лицом в подушку и заплакала.

И так лежала и плакала, пока не уснула прямо в одежде на неразобранной постели.

Проснулась утром, раздетая, под одеялом. Бабушка, как всегда, принесла ей прямо в кровать стакан молока с печеньем, погладила по головке:

— С добрым утром, родная.

Ничего не изменилось? Или…

— Солнышко, ты не хочешь взглянуть на своего маленького братика?

— Не хочу,—буркнула девочка и отвернулась.

Вечером началась суета по поводу первого купания малыша. Кипятили воду, ошпаривали новенькую ванночку, разводили марганцовку. Светлана хотела опять уйти к себе, чтобы не видеть этого всего. Но детское любопытство оказалось сильней, и она осталась посмотреть, что же будет.

Когда мама вынесла из спальни крохотного человечка, завёрнутого в тонкую пелёнку, Света невольно вскрикнула:

— Ой, кто это?

— Тише. Это Ариэль, Элечка. Твой братик.

— А разве живые люди бывают такими маленькими?—не поверила девочка.—Меньше моей куклы Зины.

— Как видишь.

Дальше Света смотрела во все глаза. Вот мама осторожно опустила крохотное тельце в тёплую водичку. Ариэль испуганно распахнул свои совершенно круглые глазёнки, вздрогнул, вскинул вверх ручки-веточки, измазанные зелёнкой, но не издал ни звука. И пока бабушка поливала его водой из ладошки, он молчал, пытаясь понять, что это с ним такое происходит.

Только тогда, когда купание было закончено и его, совершенно голенького, вынули из воды, он заплакал. Тихонько и так жалобно, что старшая сестра вдруг неожиданно для себя поняла: любого, кто посмеет обидеть это крохотное существо, её братика, она, Светка, порвёт на куски, покусает, исцарапает и не знаю ещё что сделает!

Между ними установилась непонятная, никак с научной точки зрения не объяснимая связь. Это мистика какая-то, но сестра всегда знала, где её брат и что с ним. Если Ариэлю что-то угрожало: дворовые ли мальчишки, злой ли соседский пёс,— Светка возникала словно из воздуха и кидалась на обидчика с таким остервенением, что тот невольно отступал.

Когда появились мобильные телефоны, она научилась по звонку определять, где сейчас находится её брат и что с ним. И моментально приходить на выручку, если что…

Вот и на это раз:

— Арька, стой где стоишь, я сейчас!

В трубке пискнуло, экран на мгновенье вспыхнул и тут же погас.

18. Любовь с первого взгляда

Дальше случилось невероятное: из темноты выбежала запыхавшаяся Светка, увидела хулигана, заорала что есть мочи:

— Ах ты, гад ползучий! Я тебе покажу, как маленьких обижать!

И со всего разбега—тресь беднягу своей тяжёлой сумкой по голове. У того аж искры из глаз брызнули во все стороны. Как стоял—так и сел. Сидит, смотрит, глазами моргает.

— Ну, чего уставился, паразит?—сердито спросила Светлана.

— Ты…—он не переставал смотреть на девушку снизу верх, как инок на чудотворную икону.—Ты такая красивая… А я—Витя…

Любовь с первого взгляда—это чудо. Она и похожа на чудо, чудо и есть. Вот только что ты существовал сам по себе. И вдруг…

Вдруг ты понимаешь, что дороже этого человека нет никого в мире!

Витька потерял дар речи практически сразу. В секунду из грозного огнедышащего монстра он превратился в маленького счастливого пучеглазого телёнка.

А Светлана…

Светлана посмотрела на этого шлёпнувшегося прямо ей под ноги остолопа, моргающего своими синими, в длинных ресницах, глазами. И ей стало вдруг смешно. Будто в груди у неё щекотно запрыгала сотня солнечных зайчиков. А в ушах весело, как весенние ручейки, зазвенели не то колокольчики, не то бубенчики.

Ровно через полчаса они уже точно знали, что не смогут жить друг без друга.

Часть 2

Где начинается сказка

1. Катастрофа

Итак, птица Гамаюн прилетела в полночь и сказала:

— Все оставайтесь на своих местах, ничего не бойтесь. Всё будет хорошо!

И ей поверили.

Хотя минуту назад никто не сомневался, что всё—плохо, хуже не бывает.

А действительно, куда хуже-то? Куда они, бездомные, никому не нужные?

Месяц назад заявились какие-то прилично одетые люди и объявили, что земля, на которой стоит пансионат «Калинов мост», отныне принадлежит им по закону. Ну, купили они её, типа.

Софья Ивановна напрасно била ноги по разным кабинетам, напрасно пыталась объяснить, что

в «Калиновом мосту» живут одинокие старики, многим из которых в случае закрытия пансионата совершенно некуда деваться.

Чиновники слушали, сочувственно разводили руками:

— Где вы раньше-то были? Надо было вовремя продлить договор аренды. А теперь — извините…

Софья Ивановна пригрозила подать жалобу в вышестоящие инстанции. Ей сурово объяснили:

— Лучше бы вам этого не делать, если жизнь дорога.

— Не пугайте, не боюсь! — дерзко ответила женщина.

А через три дня случилось страшное.

Утром хозяйка «Калинова моста» в очередной раз уехала в город на своём «жигулёнке» искать справедливости. А вечером сотрудники ДПС обнаружили в придорожном овраге искорёженную машину, а в нём мёртвое тело женщины…

2. Начало конца

Горе-то какое! Эта внезапная смерть Софьи Ивановны — как гром среди ясного неба…

А тут ещё в пансионат приехали новые хозяева и потребовали освободить здание немедленно, в кратчайший срок. А кто не уберётся добровольно, того просто выкинут на улицу…

Поначалу старики наотрез отказывались верить в то, что такое возможно:

— Да быть того не может, чтобы прямо выкинули. Есть же правоохранительные органы. Соцзащита, наконец! Не среди людоедов же живём, не в дикой Африке.

А потом поползли слухи, что за новыми хозяевами стоят такие люди, такие силы… В сравнении с ними дикая Африка с её людоедами — просто песочница на детской площадке: эти, если надо, сожрут тебя живьём и даже не поперхнутся.

Итак, в течение месяца все, кому нашлось хоть какое-то пристанище, покинули «Калинов мост». А те, кому было некуда деваться, — остались.

Вначале их осталось пятеро: одна старушка (Ягвига Космовна) и четыре старичка (Дядь Лёшка, Эверестович, господин Никошев и таинственный Часовщик).

Потом Часовщик исчез. Вместе с часами.

Зато возник кот Фильдеперс.

3. Филька

Явился он поздно вечером, через форточку в комнате Ягвиги. Весь грязный. Огромный невероятно. И худой, как вязальная спица. Кот аккуратно спрыгнул на пол, не стал орать дурным голосом, как это обычно делают коты, требуя внимания, жратвы и сочувствия, а наоборот — молча уселся на коврике посреди комнаты и доверительно, без подхалимажа и жалобы на судьбу, посмотрел прямо в глаза бабушке Яше.

— Ну и чего припёрся? — сурово спросила та. — Нас самих выгоняют, так что на тёпленькое местечко можешь не рассчитывать.

Кот ничего не ответил.

— Ладно, покормлю, так и быть.

Старуха налила в блюдце молока, отрезала колбасы кусочек. Кот всё это с удовольствием очень интеллигентно съел. Добавку, соблюдая этикет, просить не стал.

— И что мне с тобой делать? Может, ты обратно в форточку пойдёшь, погуляешь? А?

Гулять коту не хотелось.

— Ладно, идём, я тебя помою, пока тёплую воду не отключили.

В коридоре им встретился Дядь Лёшка.

— Вот, — словно оправдываясь, объяснила Ягвига. — Пришёл, понимаешь, котофиля… и куда его теперь? Попробую отмыть, а то он, я чувствую, у меня на кровати спать захочет.

— Это запросто, — согласился Дядь Лёшка. — А как, говоришь, твоего зверя по имени-отчеству?

Яша задумалась.

— Филькой назову. В детстве у меня любимый кот был — Филя. Фильдеперс. Красавец, белый как снег. И шерсть такая — как шёлк, мягкая, длинная…

— Очень похоже, — кивнул Дядь Лёшка на облезлое, непонятного цвета животное.

Отмытый в ванне и просохший Фильдеперс оказался пегим: пепельно-серая шкура, а по ней — крупные тёмные с рыжеватой подпалиной пятна, разбросанные как попало. Одно, самое большое, — под левым глазом. Будто котик только что с хулиганами подрался.

Он, как и ожидалось, залез на бабкину кровать, улёгся мокрый прямо на подушку и моментально заснул сном праведника.

4. Прощай, «Калинов мост»

После обеда явился управляющий и сказал:

— Завтра в десять часов утра прибудут рабочие. И чтоб к этому времени духу вашего здесь не было. Иначе пеняйте на себя!

— Куда же мы? Нам некуда! — заплакали старики.

— Мне это глубоко по барабану, у меня приказ.

Ну вот и всё. Прощай, «Калинов мост».

А как здесь было славно!

Сосновый бор, светлый и чистый. Речушка Смородина. Мостик, где так приятно прогуляться вечером, поглядеть на воду, на заходящее солнышко.

Мостик назывался Калиновым не только потому, что переброшен был через реку Смородину, но и потому, что у входа на мост с обеих сторон росли пышные кусты калины.

Обитатели «Калинова моста» любили впадать в детство. Они даже не считали это чем-то зазорным. Скорей наоборот.

Время от времени они организовывали себе пионерско-пенсионерские сборы: сидели у костра

в красных галстуках, пекли картошку, пели песни своей юности, вспоминали те времена, безвозвратно ушедшие.

А ещё любили рассказывать сказки. И читать. И даже маленькие любительские спектакли затевали время от времени.

В общем, вернули себе всё то, чем жили в счастливом детстве и что напрочь было утрачено либо отодвинуто на задний план в суровой взрослой жизни.

И оказалось вдруг, что старость — это не страшно. И с немощью можно бороться, если не раскисать, если научиться радоваться каждому новому дню…

И вот всё кончилось.

5. Тяжкие ожидания

Итак, завтра утром — конец всему. Что с ними будет дальше? И куда им, бездомным, бесприютным?

Кто-то предложил пойти поговорить ещё раз с дочками Софьи Ивановны: поди, не бросят они стариков на произвол судьбы. Хоть советом помогут.

Быстренько все четверо подхватились и поковыляли в сторону флигеля, где жили хозяйки пансионата.

Однако, к неприятному удивлению стариков, на дверях висел большой амбарный замок.

Стали вспоминать, когда сестёр видели в последний раз. Оказалось — тому назад дня три, а то и больше.

Нет, завтрак, обед и ужин — всё это было вовремя и на месте. А вот их самих не видел никто.

— Ах, сучки… сбежали! — некрасиво выругался господин Никошев. — Бросили!

— Пока ничего не известно, так что нечего зря лаяться! — одёрнула его Ягвига Космовна.

— Да чего тут неясного-то?! — он злобно махнул рукой и, продолжая нецензурно ругаться, подался к себе.

Почти сразу стало плохо Серпантиону Эверестовичу. Он схватился рукой за сердце, тихо охнул и осел на газон. Кое-как удалось его грузное обмякшее тело отбуксировать до ближайшей скамейки.

Ягвига вынула из кармана свой чистый, отглаженный платочек и стала обмахивать им лицо сомлевшего товарища по несчастью. А Дядь Лёшка припустил к колодцу за водой.

Вернулся он с полным пластмассовым ведром. Больше половины сразу вылили на поникшую голову бывшего профессора. Остальное тот выпил жадными глотками, после чего задышал ровнее, и лицо его, утратив бледно-болотный оттенок, начало приобретать нормальный человеческий цвет.

И тогда внезапно началась истерика у Ягвиги. Честно говоря, она и сама не ожидала от себя такой стыдобы: схватилась руками за голову, сползла со скамейки на землю и заскулила, завыла противным высоким голосом.

Мужчины кинулись успокаивать. Дядь Лёшка опять побежал за водой, а Серпантион Эверестович, несмотря на не прошедшую ещё слабость в теле, заходил вокруг, запричитал, стараясь успокоить.

Струя воды, вылитая на макушку, подействовала на старушку благотворно. Истерика закончилась. Правда, начали клацать челюсти, но это уже по сравнению с тем, что только сейчас было, казалось ерундой.

— Люди, давайте уже перестанем истерить и падать в обморок! — предложил Дядь Лёшка.

— А что делать? — риторически вопросил Серпантион Эверестович. — Что делать?

— А мы сделаем вот что. Мы уйдём в дремучие леса, поставим там домишко и станем в нём жить-поживать, горя не знать!

— Как в сказке, — остаточно всхлипнула баба Яша и попыталась улыбнуться.

— А хоть бы и так! — не стал возражать бывший егерь, которому жить в лесу всегда нравилось.

— Давайте мы сделаем так, — ненавязчиво предложил профессор в отставке. — Мы подождём до утра. И если за это время ничего не изменится в лучшую сторону — вернёмся к природе!

— А что может измениться-то? Тем более к лучшему…

— Кто его знает? Давайте подождём!

6. Кикилия Бенедиктовна

Они сидели в комнате отдыха и молчали. А о чём говорить? За время, проведённое в стенах пансионата, старики узнали друг друга так близко, что иногда начинало казаться, будто знакомы они ещё с детства, с ясельной поры: вместе на горшках сиживали, манную кашу по тарелке размазывали, из-за игрушек дрались, в песочнице строили дворцы и замки…

А вот теперь, в конце жизни, все вместе оказались на одной свалке истории. Это если говорить красиво, с пафосом. А если грубо, по-простому, то в одной ж… Но не будем опускаться до пошлости.

Итак, старички сидели, занятые печальными мыслями. И тут в гости к ним заявилась старинная Ягвиги Космовны приятельница, Кикилия Бенедиктовна Заболотникова. Келя, проще говоря. Или Киля. Или даже Кика.

Она вообще частенько заглядывала сюда. Ей чрезвычайно нравилось непринуждённое, по-домашнему простое общество обитателей пансионата. Она даже вздыхала: «Эх, и мне бы сюда!» Но, во-первых, для дома престарелых она была ещё слишком молода. А во-вторых, у неё был дом, была семья: мама, муж и куча детишек мал мала меньше. Она их всех ужасно любила.

Любовь, в житейском понимании этого слова, — вещь утомительная, требующая много сил, как душевных, так и физических. И потому, выжатая,

как лимон, уставшая от домашних хлопот, она приходила сюда отдохнуть.

Когда-то давно они вместе (Келя и Яша) посещали литературный кружок «Ромашка». В отличие от Ягвиги, не находившей у себя литературного дара, Кикилия считала себя талантливой и весьма перспективной поэтессой. Свои бессмертные творения она подписывала красиво и звучно: Цецилия Орхидея.

Рядом со своей высокорослой подругой Келя казалось гномиком: маленькая, шустрая, со вздёрнутым носиком, на котором для солидности сидели большие, как у черепахи Тортилы, очки.

Практически каждое появление в «Калиновом мосту» подающей надежды поэтессы знаменовалось чтением очередного шедевра.

Так и на этот раз. Она пришла, присела на стульчик, облокотилась на стол. Помолчала. Потом, соблюдая правила этикета, выразила своё глубокое сочувствие по поводу надвигающегося закрытия пансионата. Потом опять замолчала. Однако было очевидно, что сидеть просто так ей невыносимо трудно. Глаза её, взгляд которых она тщетно пыталась спрятать под стол, так недвусмысленно горели, что Ягвига в конце концов не выдержала:
— Хватит ёрзать. Давай уже выкладывай, что там у тебя?
— Может, это не ко времени сейчас,— стыдливо начала Цецилия Орхидея и покраснела,— но на меня сегодня утром напало вдохновение.
— Как? Опять?— всплеснул руками Дядь Лёшка.— Оно у тебя просто маньяк какой-то!

А господин Никошев вдруг тоже решил пошутить:
— Может, пора в милицию заявить на маньяка?
— Поздно,— отрезала Ягвига.— Милиция нам уже не поможет.
— Это почему?
— Потому что нету её, милиции. Полиция у нас. Газеты надо читать, телевизор смотреть.
— Да ладно вам,— немного обиженно прервала их поэтесса.— Вы слушать-то будете?
— Всенепременно.
— Тогда я читаю:

Листья с дерева падают, падают
В нашем самом любимом саду.
Но они меня больше не радуют:
Я сюда никогда не приду!

— А? Как вам?— и вопросительно оглядела сидящих, ожидая восторженной реакции.
— Нам?— переспросил Дядь Лёшка.— Ну, лично мне нравится. Хорошее оно у тебя получилось, душевное.
— Ага!— согласилась Ягвига.— И что характерно— абсолютно оригинальное.
— Это в каком смысле?— насторожилась Келя.
— В смысле— ни на что не похожее.
— Да?— удивился господин Никошев.— Странно, а у меня такое ощущение, будто я что-то подобное уже где-то слышал.
— Да это песня такая,— тихонько толкнул его в бок Серпантион Эверестович.— По телевизору недавно пели.
— Нет-нет,— возразила Келя.— Если вы намекаете на плагиат, то у меня всё совсем не так. Вот смотрите. Там, например: «Листья жёлтые медленно падают»,— а у меня: «Листья с дерева падают, падают...»
— А, ну, если такое принципиальное различие налицо— тогда конечно!— не стала спорить Ягвига.

А Кикилия вдруг погрустнела, попросила:
— Яша, давай не будем язвить друг дружку. В последний-то вечер.
— А ведь и правда,— вспомнил Серпантион Эверестович и тоже погрустнел.— Это же мы— в последний раз вот так...
— И чего мы все до неё докопались?— удивился в свою очередь Дядь Лёшка.— У человека, может быть, душа тоскует, пытается слова найти, подходящие случаю, а ты, Кузьмовна, с критикой своей неуместной лезешь. Нехорошо.
— Ладно, Киля, не обижайся на меня,— вздохнула Ягвига Космовна.— Это я от безысходности зверею. Мысль меня не покидает ни на секунду: что с нами дальше?

Этого не знал никто.

7. Коша ушёл стреляться

Они всё ещё сидели все вместе в той комнате, которая называлась красиво и торжественно: «Клуб». Ни играть в шахматы, ни вязать, ни смотреть телевизор— ничего не хотелось. Сидели просто. Либо молчали, либо говорили бог весть о чём. Ни о чём, можно сказать.
— Возможно, тайный смысл старости— в переоценке ценностей?— спросила бабка Яша непонятно у кого.— Она даётся человеку для того, чтобы понять: главный смысл жизни— это просто возможность ходить по земле, радоваться солнцу, верить в добро, бездомную собаку накормить или, скажем, кота. Словом, всё как в детстве: смотреть на этот мир и радоваться.

Дядь Лёшка ностальгически вздохнул:
— В детстве— хорошо...
— Да,— кивнула Ягвига.— А во взрослой жизни столько сложностей реальных и придуманных, что сквозь них не всегда самого себя в зеркале разглядишь.
— Ой, не разглядишь,— прочувствованно подтвердила Келя.

Она суетливой своей походкой подошла к висящему на стене большому зеркалу, посмотрелась в него, ахнула:
— Ах ты ж, Господи! Какая же я стала страшная. Давно ли парни на меня глаза пялили, как мимо иду? А теперь...

Бабка Яша тоже подошла к зеркалу, с любопытством глянула в него. Сказала жизнеутверждающе:
— Слава Богу, моя красота с возрастом не теряется.
— Невозможно потерять то, чего не было,— фамильярно хихикнул Дядь Лёшка.
— Молодец,— неожиданно одобрила старуха.— Рубишь фишку.
— Я не фишку рублю, я правду-матку…
И тут вдруг ни с того ни с сего вспылил господин Никошев:
— Да что вы как дети малые, ей-богу! Болтаете чёрт знает что, думаете о чём угодно, но только не о насущном. Что нам делать-то, что делать?— в голосе его послышались истерические нотки.
— Ждать,— пожала плечами Ягвига.— А что мы ещё можем?
— Эх, были бы у меня мои денежки— плевал бы я тогда на все проблемы. Укатил бы куда-нибудь на Канары и забыл бы вас всех как кошмарный сон!
Он нервно встал, прошёлся из угла в угол, злобно прошипел:
— Пошли вы все! Ухожу я от вас.
— Куда?— удивился Дядь Лёшка.
— На Кудыкину гору. Пойду застрелюсь, чтоб только не видеть ваши идиотские рожи!
И вышел прочь, громко хлопнув дверью.
— Он что, реально стреляться пошёл?— обеспокоенно спросил Серпантион Эверестович.
Дядь Лёшка пожал плечами:
— Пёс его знает…
— Ой, так нужно же немедленно бежать за ним! Вдруг он правда что-нибудь с собой сделает?— засуетилась сердобольная Келя и рванулась было к двери.
Но Ягвига охладила её пыл:
— Ничего с ним не будет. Такие не стреляются. Это во-первых. А во-вторых, откуда здесь огнестрельное оружие?
— Это да,— согласились все.
— Эх, был бы у меня пистолет,— загорелись вдруг вдохновенно- романтическим светом глаза у Цецилии Орхидеи.— А ещё лучше— пулемёт. Я бы дождалась утра и перестреляла бы всех-всех-всех, кто придёт отнимать у нас «Калинов мост»!
— Всех не перестреляешь,— скептически заметил Эверестович.— Да и кто придёт-то? Работяги. Они— просто пешки. А до короля с ферзём нам не добраться.
— Не добраться,— опять согласились все.
Помолчали. Потом Келя вдруг вспомнила про господина Никошева, презрительно поморщилась, забыв, что пять минут назад рвалась спасать его от лютой смерти:
— До чего же он неприятный тип, этот ваш Коша! Кричит, хлопает!
И кивнула на дверь.
— Да нет, мужик он, в сущности, неплохой,— вступилась баба Яша.— Но налицо неправильный приоритет ценностей: материальное для него— на первом месте.
— Наверное, детство было тяжёлое,— предположил Серпантион Эверестович.— Недоедал, ходил в обносках…
— Не-не-не,— возразил Дядь Лёшка, хорошо знавший историю господина Никошева.— Детство здесь ни при чём. Это всё нервы. Экология опять же.

8. Туши свет

— Хорошо у вас, однако мне пора!— вздохнула Келя.— Уже темнеет, а пока до дому доберусь— вообще хоть глаз коли будет.
Ягвига немного смущённо, оттого неловко и грубовато, обняла старую боевую подругу:
— Ну, прощай, моя радость! Авось ещё встретимся, не на этом свете, так на том!
— Типун тебе на язык! Придумала тоже— на том,— Кикилия чуть помедлила и добавила не слишком уверенно:— Яш, а может, всё-таки у нас поживёшь?
— Ай, не говори глупостей,— привычно отмахнулась та. Видно было, что эта тема уже поднималась.— Меня вам только и не хватало. Самих— как сельдей в бочке. Небось, спите по очереди. А тут ещё я, будьте любезны радоваться! Нет, нет. Это даже не смешно.
— А как же ты?— с подчёркнутым сочувствием и явным облегчением выдохнула подруга.
— Как все. Бог не выдаст— свинья не съест.
Келя ушла. Эверестович, как галантный кавалер, вызвался проводить её до остановки.
Ягвига Космовна и Дядь Лёшка остались вдвоём.
И тут погас свет.
— Интим заказывали?— фыркнула старуха.
— Раскудрит твою поперёк берёзы!— тихо выругался Дядь Лёшка.— Вот сволочи, уже и свет отключили. Чтоб мы, значит, не сомневались уже.
— Это точно. Чтоб не сомневались.
В густых вечерних сумерках, которые после яркого электрического света казались совсем мрачными, сидеть было тоскливо.
— Схожу-ка я за свечкой, где-то у меня завалялся, кажись, огарочек.
Ушёл. Вернулся, держа в руках две свечки.
Зажгли. Стало немного веселее.
Вернулся Эверестович.
— Ну что, Горыныч, проводил барышню?— спросил Дядь Лёшка.
— А то.
— Тады, может, в картишки? В подкидного, а? Сообразим на троих?
— Да ну их. Лучше посидим, поговорим. В живой беседе человек облагораживается. А насчёт «сообразим»— это можно!
И достал из-за пазухи бутылочку.
— Глянь, Кузьмовна, наш Змеюка зелёного змия приволок,— тихо возликовал отставной леший.

— Ой, как это вовремя! — одобрила и Ягвига. — Такое настроение, что либо напиться, либо утопиться!
— Остановимся на первом, — предложил Серпантион Эверестович. — Не в службу, а в дружбу — сбегайте кто-нибудь за стаканчиками, пожалуйста. Ну и закусочку какую, если есть.
— Щас нарисуем, — охотно откликнулся Дядь Лёшка и потелепал в сторону кухни, подсвечивая себе карманным фонариком.

9. Прощальный ужин при свечах

А потом они сидели, пили какое-то, не самое плохое, между прочим, вино, закусывали холодными голубцами и разговаривали. Обо всём.

Заговорили, в частности, о чудесах. Самая актуальная сейчас тема! А на что им, кроме как на чудо, можно уповать, оказавшись в такой, я извиняюсь… ситуации?

Медленно, но уверенно стали склоняться к мысли, что чудеса случаются только с теми, кто в них искренне, всем сердцем верит.

Оказалось, что все сидящие за столом — верят. И чем дольше они сидели — тем сильнее становилась их вера.

Когда бутылка опустела, никто уже не сомневался, что в этом мире столько всего загадочного, столько непостижимого. Все эти параллельные миры. Все эти таинственные сущности, являющиеся Бог знает откуда и черт-те куда потом исчезающие…
— Кто с уверенностью может сказать, что в этом мире существует само по себе, а что — исключительно в нашем сознании? — взялся прояснять суть вопроса малость перебравший профессор истории, который в юности увлекался ещё и разными оккультными, с позволения сказать, науками. — Во всяком случае, реальный мир имеет очень мало общего с нашим о нём представлением. Но лично я в эти дебри сильно далеко стараюсь не забредать. Слишком мало шансов потом оттуда выбраться в здравом уме и трезвой памяти.

Спорить с его авторитетным мнением никто не рискнул. Все согласились. Особенно с последней фразой.

Вот тут-то и прилетела птица Гамаюн.

Да, но вначале пару слов о самой птице. В сказке она всегда играет позитивную роль. Встреча с ней сулит удачу и счастливое разрешение самых безвыходных ситуаций. Она не только предсказывает будущее, не только объявляет людям волю верховных богов, но, по слухам, сама является одним из воплощений Велеса. Кто такой Велес, я думаю, объяснять не нужно?

Так вот. Птица появилась ниоткуда. Просто возникла из пустоты: не было, не было, и вдруг — фр-р — и сидит прямо на столе неземная красота. Полуптица-получеловек. Женская голова с двумя чёрными змеевидными косами увенчана алмазной короной. Огромные распахнутые крылья — белы, как первый снег. А голос — ласков и нежен, как цветущая яблоня.

Странно, но всем почему-от моментально вспомнилась Софья Ивановна.
— Всё будет хорошо! — сказала она. — Ждите. На рассвете всё решится.

И исчезла…

10. Большой Совет

— «Калинов мост» придётся сжечь! Мы не можем оставить этим отморозкам оголённый нерв Сказки! — лицо птицы Гамаюн было печально и сурово.

Я прошу прощения: с этого места нужно кое-что прояснить. Иначе непонятно будет.

Сказка — это не город, не окружённая высокими стенами крепость и даже не остров. Потому что её пространство ничем не ограничено.

Сказка — везде. То есть именно так: везде-везде-везде…

Попасть в неё можно из любой точки того мира, который мы называем реальным. Я не до конца понимаю, как это происходит. Очевидно, есть множество ворот, калиток, лазеек… А можно, я думаю, и так: идёшь, идёшь, и вдруг раз — и ты уже в Сказке.

Что такое Сказка? Параллельный мир? О да. Огромный, практически не ограниченный ничем. Мир со своими законами, порядками и иерархией.

Сказка неоднозначна и неоднородна. Она многомерна и многослойна (как, собственно, и наша обыденная жизнь). Её диапазон — от детских прибауток до глубинной мудрости древнейших религий мира.

Или даже так: Сказка — это тотальная мудрость, принявшая в себя всё, что человечество сумело насочинять (или осмыслить?) за долгие века своего существования. Сонмы богов, героев и чудовищ… Мифы о сотворении мира… Ну и так далее…

Сказка не только отражает человеческий мир в своём волшебном зеркале, но и спасает его от беспощадной Истины. От Первородного Хаоса (правильнее бы назвать это Гармонией Мироздания, но не суть важно). То есть это то, что нам не дано понять — по определению. (А разве не так? Мы и видимый-то мир изучить толком не можем, что уж говорить про то, что находится за пределами возможности наших бедных органов чувств?)

Истина человеку нужна, как… как ужастик, чтобы пощекотать нервы, может быть — взбодриться. Но жить в пространстве Истины — невозможно. Это всё равно что стоять голышом на вершине Эвереста.

Каждый нормальный человек хочет тепла и защищённости. Для этого он строит себе жилище,

украшает его чем может и прячется там от всего того, что не соответствует его представлению о комфорте.

Сказка строит человечеству тот самый пресловутый воздушный (а воздушный ли?) за́мок…

Нет, я бы лучше сказала так: скафандр… батискаф… или звездолёт. То, без чего человек не сможет выжить. Как в открытом космосе или на дне Марианской впадины…

Как-то так…

Прошу прощения ещё раз, но без этого, может быть, слишком пафосного и претенциозного отступления трудно понять, что я подразумеваю под словом «Сказка».

Но продолжу историю.

Итак, птица Гамаюн сказала:

— «Калинов мост» придётся сжечь!

— А как же старики?—ахнула Алконост.

— Стариков мы, разумеется, спасём. Но потом Финист подожжёт всё: пусть останется лишь зловещее чёрное пепелище.

— Я сделаю это, матушка,—сказала птица Финист.

— А чтобы не возникло желание что-либо построить на том месте—мы поселим на пепелище ужасных стражей. Кот Баюн уже там. Чтоб ему не было скучно, вот-вот прилетят грифоны. Шишига себе жилище под мостом уже обустраивает, ей вообще не принципиально, где жить. Пусть народ пугает. В случае чего и на дно утянет.

— Она может,—с удовольствием засвидетельствовала птица Сирин.

— Упыри обещали подойти. И костомахи. Этих красавцев если один раз увидеть—страху на сто лет хватит.

— Не любят на Руси мертвецов, вылезающих их могилы, да ещё в полуистлевшем виде!—сдержанно хихикнула Алканост.

Финист с отвращением передёрнула плечами:

— Фу, какая гадость!

— Без гадости не получится!—резонно заметила Сирин.—Слишком серьёзный враг.

А Гамаюн продолжила:

— Сам Вий грозился прислать пару-тройку своих верных слуг. В реку Смородину Марана напустит морока и ядовитого смрада, дабы всё соответствовало и названию, и заведённому в сказке порядку. Чтоб никому на пушечный выстрел подходить не захотелось.

— А что будет с мостом?—осторожно спросила Алконост.

— Мостик, конечно, жалко. Ну да мы сделаем так: видимость у него останется прежней, а вот пройти по нему будет невозможно.

— Змей Горыныч не пустит?

— Увы, Змеюка выпросился на вольные хлеба. Влюбился, оболтус, хочет к своей возлюбленной, в реальный мир. Там, говорит, за полвека столько всего поменялось: техника, электроника, ну и прочие блага цивилизации. Он до этого дела большой охотник. Я пыталась образумить. Ни в какую: отпусти, мол, не то сам убегу.

— И что же мост?

— Выкрутимся. Теперь стеречь его будут Ужас, Кошмар и Паника. И если они втроём на кого нападут (да хоть на роту солдат!)—мало не покажется!

— Это да.

Такую серьёзную защиту по всем направлениям сочли достаточно надёжной. Нет, не напрасно Софья Ивановна отсутствовала столько времени, не напрасно…

В общем, всё складывалось не так уж плохо. Хотя, разумеется, пансионата было жаль до слёз. Да и расставаться с шестиглавым Змеем не хотелось.

— Любовь—зла…—весело и резонно чирикнула птица Финист голосом Любаши.

— Полюбишь и дракона,—согласилась с дочерью Софья Ивановна.—Но это бы ещё полбеды. Матушка его, Марфа Васильевна, карга старая, туда же. Полдня рыдала: хочу внуков понянчить, не лишай, мол, меня простого человеческого счастья!

— И опять станет простой смертной! Неужели она этого не понимает?—удивилась Верочка-Сирин.

— Говорила, пыталась переубедить. Никакого толку. Уж лучше, твердит, помереть счастливой, чем вечно маяться в одиночестве, когда ни одной родной души рядом.

Наденька-Алконост только вздохнула:

— Вольному—воля.

— Разумеется,—кивнула Софья Ивановна.—Тем более что тюрьма её сыночку больше не грозит, все сроки давно вышли. Да, кстати, пока не забыла: документы им обоим нужны. Верочка, сделаешь?

— Хорошо, мама,—с готовностью откликнулась средняя дочь.—Но я подзабыла уже: за что его посадить собирались?

— Обыкновенная вещь: по малолетству, по глупости связался с дурной компанией. Что-то они там не то украли, не то собирались только. Витёк наш—он душа чистая, наивная, сам не знал, во что ввязался. А в тюрьме ему всю эту чистую душу затоптали бы грязными сапожищами. Вот мы и пожалели парня. Тем паче что мать его готова была в петлю лезть от горя и отчаянья.

— Бедная женщина,—вздохнула Наденька.—И что теперь? Где мы новую бабу-ягу возьмём?

— В «Калиновом мосту», разумеется. Ягвига—чем плоха?

— Ой, как всё славно образуется!—обрадовалась Любочка.—Славно, славно!

На радостях она даже сбросила с себя птичье оперенье и затанцевала, запрыгала на одной ножке, как дитя.

— Любовь, веди себя прилично!—одёрнула её Софья Ивановна.—Ты на Большом Совете, а не на дискотеке, прости Господи…

— Хорошо, мама,— не стала спорить дочь и приняла видимость согласно регламенту.
— А как же наши старички?— осторожно спросила Надюша.— Дядь Лёшка, Эверестович? Они такие славные.
— Им тоже найдётся место.
— В Сказке?
— В Сказке, в Сказке. Где ж ещё?
— А нельзя ещё эту… поэтессу? Она такая смешная.
— Подумаем…

11. Кто куда

На востоке ещё не забрезжило, когда Дядь Лёшка вдруг подхватился бежать в лес.
— С ума спятил! Куда?
— Ой, Кузьмовна, я, кажись, забыл там свой любимый посох, как последний раз гулять ходил.
— Так оставил или кажись?
— Не знаю. Нету его нигде, обыскался уже.
— И чего в нём такого? Не проще новый сделать?
— Понимаешь, привык я к нему. Удобный очень получился. Ловкий такой. Лёгонький. И в то же время— крепкий. Да я быстренько сбегаю: одна нога здесь— другая там!
— Смотри не перепутай, где какая,— посоветовала старуха.— И не забывай: с рассветом за нами придут.
— Да помню я…
— И не заблудись уже!
— Ага, учи старого лешего.

Только он ушёл, как приспичило во двор Серпантиону Эверестовичу.
— Ты-то ещё куда?
— Надо мне…
— Если по нужде— то туалеты вроде как ещё работают.
— Не. Не в этом дело. Хочу попрощаться. Уж больно тут хорошо было.
— А ведь правда. Знаешь, и я— с тобой!

Они вышли на свежий воздух, прямо под тихо шумящие сосны, под медленно тускнеющие звёзды.
— Если есть на земле рай, то он здесь!— вздохнула Ягвига Космовна и добавила совсем уж грустно:— Был…
— Вот и я про то. А пойду-ка я к колодцу, умоюсь в последний раз.
— Иди. Я тебя здесь подожду. Зябко мне что-то, никак простудилась.
— Жди, я мухой. Только вот что меня мучает. Сомневаюсь: а не враньё ли это? Ну, насчёт того, что придут за нами на рассвете. Ты-то как думаешь?
— Тут— думай не думай…
— А я не могу не думать. Не могу, и всё.
— Понятное дело. Ты ж у нас— профессор. Не голова, а Государственная Дума…

А потом случилось вот что. Стоило профессору отойти шагов на двадцать, как вдруг, откуда ни возьмись,— вихрь. Закрутил Эверестовича, завертел, поднял над землёй и унёс в неизвестном направлении.

Бабка Яша при виде такого чуть сознание не потеряла. Рот двумя руками зажала, чтобы от ужаса не закричать, глаза выпучила, каждый по блюдцу, и мычит. Это что ж, она совсем одна осталась?

Но тут откуда-то припёрся пегий кот Фильдеперс и заговорил человеческим голосом:
— Хватит кукситься. Бери свечку, спички и ступай за мной.

Старуха пребывала в таком сильном душевном волнении, что даже, кажется, не удивилась противоестественной разговорчивости домашнего животного. Поинтересовалась только:
— Куда идти-то?
— Там увидишь.

Оказалось, одна из тех дверей, что в кухне, ведёт в подземный коридор. Длинный такой.

Они шли, шли, шли по тёмному сырому подземелью. Шли так долго, что Ягвига Космовна, кажется, заснула прямо на ходу…

12. Зрелище не для слабонервных

Птица Финист уронила огненное перо на крышу пансионата, и моментально всё вспыхнуло. Огонь запел, заплясал свой дикий танец, в небо полетели искры. Они поднимались всё выше, постепенно угасая или теряясь среди звёзд.

Из тьмы вынырнули волколаки, заходили, запрыгали вокруг горящего строения, держась за руки, душевно подвывая и в такт пританцовывая.

Вскоре к ним присоединились костомахи— жуткие, почти полностью лишённые мяса скелеты, вылезшие из своих могил полюбоваться на происходящее. Полыхающий огонь просвечивал их, как рентген, так что видно было каждое рёбрышко, каждую косточку. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво.

Откуда-то набежали зеваки. Они неуверенно топтались по ту сторону реки, глядели на всю эту жуть и пребывали в раздумьях: ещё постоять посмотреть или уже, от греха подальше, вертаться восвояси?

Потом из пламени начали выскакивать ужасные саламандры. Они отвратительно извивались, со свистом и шипением разевали свои огромные пасти и плевались огнём на большое расстояние, иногда— прямо под ноги особо любопытным.

Толпа значительно поредела. И тут произошло вообще невероятное: из самой сердцевины пожара вылетел чудовищных размеров огненный петух. Движения его были неестественно плавны и размыты, как на замедленной прокрутке старой киноленты. Так же замедленно и оттого особенно неприятно для человеческого уха он проорал: «Ку-ка-ре-ку!»— и в тот же миг крыша бывшего пансионата с грохотом обрушилась, огонь хотел

было метнуться вверх, но почему-то передумал это делать, осел, сник, скукожился и почти моментально погас. Стало темно, и только чьи-то горящие глаза — зелёные, мутно-алые, жёлтые и даже нежно-голубые — таращились из мрака на оставшихся зрителей, медленно отступающих и тихо лязгающих зубами от избытка впечатлений.

13. Вот отсюда и начинается сказка

Баба Яша открыла глаза и обнаружила себя сидящей под большой берёзой. И совершенно этому не удивилась почему-то. Более того — всё, что она увидела сейчас, было до боли родным и знакомым. Хотя совершенно ведь очевидно: здесь, в этом лесу, под этой берёзой, она впервые в жизни.

Возможно, что-то такое снилось когда-то… Бывают же сны, когда просыпаешься с ощущением чего-то светлого и счастливого, а что конкретно тебе привиделось — вспомнить не можешь.

А тут вдруг раз — и вот оно…

Она сидела на траве, жадно нюхая запахи нагретой желтеющей листвы и хвои. Вслушивалась в перекличку птиц, пытаясь понять: о чём это они? И понимала только одно: хорошо! Всем хорошо: и ей, и птичкам, и разным там жучкам-паучкам…

Однако нужно было вставать и идти домой. Куда? Самое странное, что Ягвига совершенно точно знала нужное направление. Почему? Знала, и всё!

По дороге неожиданно встретился Дядь Лёшка. Но странный какой-то: неделю будто небритый, весь всклокоченный, в галошах на босу ногу. А глаза так и светятся от радости. Издалека завопил:

— Кого я вижу?! Кузьмовна! Ох ты ж, ёлка с сосновыми шишками!

Вместо того чтобы удивиться (ба, знакомые всё лица!) или обрадоваться, Яша почему-то решила рассердиться. Или хотя бы сделать вид.

И она сделала. Буркнула:

— Иди куда шёл!

И сама себе удивилась: что это у меня с характером?

— А я, между прочим, не куда, а — откуда! От Змея.

— От Эверестовича, что ли?

— Во, я так и говорю: от Горыныча.

— И как он? — всё так же сварливо, но уже с интересом спросила старуха.

— А чего ему, головастому? Живёт себе. Сам с собой ссорится, сам промеж себя учёные беседы ведёт. Так что ему не скучно.

Бред какой-то! Какие головы? Чего он несёт? Выпил, видать, лишнего.

Ягвига пожала плечами, но уточнять ничего не стала. Лень было. Да и погода такая, что хотелось просто идти и любоваться природой, а не тратить время на пустую болтовню с пьяным мужиком. Кинула небрежно:

— Ну, привет от меня Эверестовичу, как увидишь.

— Ага, передам всенепременно!

Но надо бы пару слов сказать про то, что случилось с Серпантионом Эверестовичем и Дядь Лёшкой.

Дядь Лёшка, как мы помним, пошёл в ближний лесок за своим любимым посохом. Он шёл и почему-то совсем не узнавал привычных окрестностей. Вначале решил было, что это — нервное, от большой печали. Так бывает: расстроишься сильно — и уже ни себя не помнишь, ни окружающего ландшафта.

А потом понял, что заблудился. Кинулся в одну сторону, в другую… И вдруг увидел перед собой красивый замок, стоящий на скале. Подумал: «Какая интересная галлюцинация! Надо подойти, рассмотреть поближе, пока не растаяла».

Таять галлюцинация почему-то не стала. Оказалась натуральным замком. Серьёзное такое сооружение, старинное: шпили в небо, арочные окна. Всё как положено.

У входа, разложив головы в траве, дремало чудо-юдо о девяти головах. Дядь Лёшка как такое увидел — не сдержался, высказался негромко и непечатно:

— Твою… да под распиленную ёлку!

И только собрался благоразумно дать дёру, как девятиглавый змей одну из своих многочисленных голов из травы поднял, глаза открыл и страшно обрадовался:

— Леший, ты, что ли?

— Ну, предположим так… А ты?

— Не узнал?

Тут Дядь Лёшка не сдержался во второй раз:

— Ах ты ж… чтоб меня переколбасило — никак Горыныч?

— Он самый! — осклабился всеми проснувшимися мордами Серпантион Эверестович. — Заходи в помещение, гостем будешь!

В долгой застольной беседе выяснилось, что Серпантион Эверестович своего чудесного превращения вразумительно объяснить не может. Вышел он тогда с Ягвигой Космовной водички попить из колодца. И вдруг как налетело, как закружило… Очнулся — перед ним вот этот замок, а сам он — чудище многоголовое. Такими в русских сказках богатырей пугают.

— И как тебе в таком непотребном виде? — решил посочувствовать Леший. — Не тяжко, нет? Не противно?

— Не. Наоборот. Мне даже нравится. Во-первых, я летать могу. Во-вторых, это моя истинная сущность. Я, как оказалось, всегда таким был, только скрытно, в душе. А в-третьих, я, если надо, могу и в человеческую ипостась преобразиться. Вот, смотри!

Девятиглавый дракон встряхнулся и действительно принял вид рослого полноватого старичка. То есть стал в точности таким, как был тогда, когда проживал в пансионате Софьи Ивановны.

— Ты даёшь, однако! — восхитился Дядь Лёшка.
— А то! Я это дело так понимаю: мы с тобой оба попали в Сказку и теперь тут живём.
— Я думаю, за это дело непременно нужно… ещё по семь капель? — предположил Леший. — Или как?
— Категорически поддерживаю! — одобрил Змей Горыныч.

И достал из-под стола недопитую бутылку.

А Ягвига Космовна шла себе дальше. Потом на пути у неё возникла Цецилия Орхидея. Кикилия Бенедиктовна. Она стояла при дороге, глядела из-под руки вдаль. Увидев старинную свою приятельницу, обрадовалась:
— Здравствуй, Яша! Я всё жду, жду тебя…
— А ты здесь каким ветром?
— О, этот ветер странствий! — голосом, исполненным романтического раздумья, воскликнула поэтесса. — Где же мне ещё быть, как не с тобой, моя подруга дорогая? Тому миру я глубоко чужда. А тут… — она на миг замолчала и продолжила уже тоном попроще: — А тут такая оказия случилась… В общем, я теперь тутошняя кикимора. Ой, умора, кому рассказать!
— И как оно?
— А хорошо, чего Бога гневить? В гости не зову, тесно у нас, сама понимаешь: мы с мужем, деток куча, сама со счёту сбилась сколько штук, да плюс мама. Так что уж лучше я к тебе. А?
— А, — Яша махнула рукой. — Приходи, куда от тебя денешься?..

И пошла дальше.

На пороге избушки на курьих ножках сидела сердитая женщина преклонных лет с узелком. Видно было, что она сидит тут давно и чего-то ждёт.
— Наконец-то, — проворчала она. — Вот где тебя носило до сих пор? Вещи твои третьи сутки здесь, а она всё шлындает, понимаешь, непонятно где!
— А вы, собственно…
— Марфа Васильевна я. Бывшая баба-яга. Предшественница твоя. В общем, идём, принимать хозяйство будешь.

14. Смена караула

— Вампиры, могильные упыри и вурдалаки, ведьмы, маги, волхвы и прочие мозгокруты — это всё хозяйство Велесадара. Так что ты на эту тему можешь даже не заморачиваться.

Они сидели в избе, друг напротив дружки, перед скатертью-самобранкой, пили чай с бубликами. Тут же стоял открытый сундук, откуда выглядывали разные волшебные вещи: яблочко на серебряной тарелочке, сапоги-скороходы, шапка-невидимка…
— А кто такой Велесадар?
— Стар-карачур. Ведьмак.
— А если по-русски?
— По-русски? — не поняла Марфа Васильевна. — А я по-каковски говорю? Главный колдун, чего не понятно?
— Понятно… — не слишком уверенно кивнула баба Яша.

Понятно было одно: кажется, сбылась её заветная мечта. Мечтала же она сыграть роль Бабы Яги. И вот тебе пожалуйста, получите и распишитесь.

Ягвига очень, очень хотела соответствовать новому своему статусу. И очень боялась, что у неё не получится. Вдруг ей не хватит чего-то: актёрского таланта, харизмы… ума, наконец?..

Она спросила осторожно:
— А моя работа в чём будет заключаться?
— Твоя-то? — бывшая баба-яга склонила голову к правому плечу, почесала себе затылок под платочком. — Наше дело простое: бдеть. Ну и кого куда послать, естественно. Это главное.
— Кого? Куда послать? Чего бдеть?
— Да какая разница? Основное предназначение бабы-яги — просто быть, потому как без неё русской сказки — не существует! И всё вроде как вокруг неё крутится, вертится… вертится, крутится… Что, опять непонятно?

Марфа поджала губы. Начала уже сердиться на бестолковость своей сменщицы.
— В общем, твоё дело — следить за общим ходом жизни Сказки. Теперь понятно?
— Ну, хорошо, — сказала Ягвига. — А как насчёт волшебства? Ведь баба-яга по определению должна уметь колдовать. Кто меня этому научит?
— Тут и учить не надо. Считай, ты всё уже умеешь. Но если ты такая зануда, то заклинания на все случаи жизни вон в той книжке можешь подсмотреть.
— А вдруг у меня не получится? — опять усомнилась Ягвига. — Я же никогда ничем подобным не промышляла. Даже трав лечебных не знаю.
— О, за этим дело не станет. Всё у тебя получится, можешь не сомневаться. А если что непонятно — ты по ходу дела можешь у кота Васьки узнать. Он здесь с незапамятных времён живёт, так что всё знает. Конечно, у него, я извиняюсь, характер. Но ты приноровишься постепенно, ничего… Это тебе вроде как презент!

«И что мне с тем подарочком делать?» — почему-то без особого восторга подумала бабка Яша. А вслух сказала:
— Спасибо, конечно. Но я больше собак люблю… — и добавила с тайной надеждой: — А вдруг он не захочет со мной оставаться?
— Куда он, на фиг, денется? — небрежно тряхнула рукой Марфа Васильевна: забирать кота с собой она точно не собиралась.
— Помимо Васьки, завещаю тебе козу Артемиду и во́рона Карлушу, ему в субботу сто пятьдесят лет будет. А равно и его супругу, Веронику, эта помоложе малость, ей не больше сотни, однако…

15. Сказочное утро

Яркий рассветный луч пролез через оконное стекло, вскарабкался на край кровати, а оттуда—на подушку. Яша спала сладко, как в детстве, тихо улыбаясь чему-то во сне.

Лучу жаль было прерывать такой хороший сон. Но потом он всё-таки решил немножко пошутить с бабушкой. Скучно же так просто сидеть!

Он заполз на щёку, пощекотал её, попрыгал на одной ножке. Однако это не возымело предполагаемого действия. Тогда луч сместился чуть в сторону и проделал то же самое на лбу спящей. Опять никакого результата.

Ну всё, осталось последнее средство, самое радикальное: пощекотать в носу.

— Апчхи!

Новая баба-яга наконец-то проснулась. Глянула в окно: Господи, благодать-то какая! Кряхтя и почёсываясь, слезла с койки, распахнула створки. В комнату ворвалась восхитительная свежесть раннего утра. Запахло сосной, полынью и ещё чем-то знакомым, полузабытым.

— Красота!—ахнула Яша.

— Лепота!—поддакнул кто-то.

Интересно—кто? Голос звучал со стороны неба, но совсем близко. Значит, с Бога подозрения можно снять: не Он это. Старуха свесилась за подоконник, задрала голову. Большой чёрный ворон удобно расположился на резном наличнике и смотрел на неё оценивающим взглядом сверху вниз.

— Доброе утро!

— Доброе,—немного растерялась баба-яга.—Значит, ты и есть мой говорящий ворон, как же тебя?.. Э…э… забыла, прости!

— Карл Иванович меня зовут. А кто тут чей—это ещё вопрос, который не мешало бы прояснить. Но сие не к спеху. Кстати, вечером я вас со своей супругой познакомлю, сейчас она в отсутствии, гостит у дальней родственницы.

— Как же, помню, помню! Её зовут… кажется—Вика, да?

— Ну, можно и так сказать. А сейчас, сразу после завтрака, мы отправляемся с дружеским визитом к Велесадару. Нужно, чтобы вы с ним именно подружились, ибо от ваших взаимоотношений зависит атмосфера в пространстве Сказки.

— Это я тоже, кажется, помню. Главный колдун?

— Ведьмак,—уточнил ворон.—Стар-карачур. Старший чёрный хранитель, проще говоря.

— Как это—чёрный? Злой, что ли?

— Злой бывает волк или медведь. А ведьмак—он просто держит в повиновении все тёмные силы. Чтоб не зарывались.

— Ух ты!—одобрила Баба Яга.—Трудно, небось?

— Думаю—нелегко. Но наш ведьмак—молодец, справляется.

— Надо же,—неопределённо пробурчала себе под нос старуха.

И тут взгляд её упёрся в висящее на стене зеркало.

— Ой, что это со мной?

— При переходе из одной реальности в другую трансформация как внешней, так и внутренней стороны личности практически неизбежна,—тоном учёного доцента сообщил ворон.

— Умный какой,—удивилась Ягвига Космовна.— И слова вон какие знает, обалдеть можно!

И принялась изучать своё отражение. Нет, страшней, чем была, она не стала. Скорей наоборот, черты лица сделались резче, таким образом подчёркивался непростой характер пожилой женщины, привыкшей думать, рассуждать и иметь на всё собственную точку зрения. Даже шарм какой-от появился. Ну, или харизма, если угодно.

— Смолоду не была красавицей—чего уж теперь!— успокоила Баба Яга своё отражение и пошла завтракать.

Она развернула на столе скатерть-самобранку, скромно попросила себе стаканчик кофе и парочку творожных блинчиков со сметаной.

— А вам, Карл Иванович, чего бы хотелось?— обратилась она к ворону.—Прошу откушать чем Бог послал!

— Благодарствуем. Как-нибудь в другой раз,—отозвался тот.—Жду на крылечке.

16. Два слова об Избушке и прочих полезных вещах

Пока баба Яша, точнее—Баба Яга, завтракает, самое время прояснить кое-что. Ну, хотя бы про саму Избушку на курьих ножках.

Первое. Это практически одушевлённое существо, имеющее свой характер, свои симпатии и антипатии и вообще—собственное мнение обо всём на свете.

Второе. Примечательно, что изнутри она совершенно не такая, какой кажется снаружи. Снаружи-то она простая, как алфавит: дверь, крылечко, два подслеповатых оконца. Ну и знаменитые куриные ноги, разумеется.

А вот интерьер свой она может менять в зависимости от собственного настроения или от настроения бабы-яги (которую она, Избушка, к слову сказать, считает скорей подругой, нежели хозяйкой!), а также от характера каждого заявившегося к ним гостя. К примеру, может быть тесной, тёмной, как берлога, закопчённой, затянутой паутиной. А может быть просторной, уютной и светлой, как сейчас.

Суть же её при всём при этом остаётся неизменной.

Намедни состоялось их первое знакомство. Новую свою обитательницу Избушка приняла вежливо, но с любопытством: мол, кто ты такая? Яша сразу поняла, что со сказочным жилищем нужно найти общий язык, иначе—дело дрянь.

Она первым делом протёрла везде пыль, похлопала половички. Пол помыла. Печку растопила. И при этом не уставала нахваливать:
— Ах ты ж, моя Избушечка! Какая же ты славная! Какая ты у меня умница-разумница! Красавица ты моя писаная!

Похоже, что эта откровенная лесть произвела нужное действие: Печь весело запела, избушка потеплела, посветлела. Стало хорошо и уютно.

Притомившаяся в хлопотах Баба Яга вымыла руки, переоделась в чистое, уселась с ногами на диванчик, откинувшись на спинку, и наконец почувствовала: всё, она—дома!

Скатерть-самобранка к новой хозяйке с самой первой минуты отнеслась лояльно, с пониманием. Тем паче что разговаривала та со своей кормилицей уважительно и очень интеллигентно.

Яблочко на серебряном блюдечке тоже не стало вредничать: покатилось, закрутилось, показало всю панораму Сказки.

И с шапкой-невидимкой Ягвига Космовна наигралась вдоволь:
— Ой, тю-тю Яси! Где у нас Яся? Ку-ку! Вот она, наша Яся!

Гусли-самогуды порадовали старушку музыкой, от которой ноги сами в пляс идут, будто лет двадцать с плеч долой!

Меч-кладенец подержала в руках—тяжёлый, зараза! Но вынимать его из ножен и размахивать поостереглась.

И сапоги-скороходы не рискнула испытывать: пёс их знает, а вдруг они выкаблучиваться начнут, брыкаться?.. Да и куда старухе в них ходить? Некуда. Вот кому надо будет—тот пускай и проверяет волшебную вещь на дееспособность.

Испытание ковра-самолёта также решено было отложить до поры до времени. Ибо—не к спеху.

Но если с Избушкой и прочей волшебностью договориться получилось, в общем-то, без проблем и практически сразу, то с летающей ступой всё оказалось немного сложнее. Средство передвижения оказалось малость строптивым.

Вначале она нипочём не хотела выкатываться из сарайки, где была припаркована. Кое-кое-как, буквально из последних сил, старушка вытянула упрямицу на свет Божий.

А потом Бабе Яге долго не удавалось в неё забраться: только она ногу поднимет, чтобы шагнуть внутрь летающего механизма, как механизм этот либо подпрыгнет, либо отшатнётся, либо вообще—упадёт и покатится по дороге: иди, догоняй, поднимай, ставь опять в вертикальное положение.

Помог говорящий ворон. Он сказал:
— Так—бесполезно. Чтоб эту заразу уконтрапупить—её нужно метлой как следует отходить!
— А не обидится она на меня?—засомневалась Ягвига.
— Не. Наоборот—хозяйскую руку почувствует. Это как норовистая лошадь: пока не зауважает седока—ни за что не подчинится.

Метла нашлась под кроватью. При виде бабы-яги с метлой в руках ступа неуверенно качнулась с намерением улизнуть. Однако это ей не удалось. Яша сама от себя такой шустрости не ожидала: подскочила в три прыжка и давай охаживать ступу, приговаривая:
— А вот тебе, вот тебе!

Ступа даже подпрыгнула на месте.
— Ах, ты ещё и прыгать?! Вот тебе, вот тебе! Будешь меня слушаться, шалава летучая? Я в последний раз спрашиваю: будешь?
— Буду,—выдохнула наконец та и присмирела.

И стала как шёлковая: ни на земле больше никаких подлянок, ни в воздухе не тряхнёт, не укачает!

17. Первый визит

«И как-то ещё меня примет этот чёртов старикан?—летя вслед за вороном на своей только что укрощённой ступе к домику стар-карачура, напряжённо думала баба-яга.—Опять же не факт, что и он мне понравится. А вдруг у нас с ним окажется психологическая несовместимость? Что тогда?»

К удивлению, Велесадар оказался вовсе даже не стариком. Стройный, широкоплечий, высокого роста мужчина лет тридцати с хвостиком. Длинные волосы, перехваченные на лбу ремешком. Загорелое, немного хмурое лицо славянского типа, жёсткие губы, большие серые глаза.

В общем, впечатление он производил вполне приятное. Подумалось даже: «Девки, поди, табуном за ним ходят и сами в штабеля складываются!»
— Чайку с устатку?—любезно предложил ведьмак, после того как ворон представил их друг другу.
— Пожалуй, можно…
— Или что покрепче?
— За знакомство?—уточнила баба-яга.
— Ну, как-то так…

Велесадар сходил в погреб и принёс оттуда бутылочку домашнего вина.

Незаметно перешли на «ты». Теперь она называла его—Лесик, а он её—баба Яша. Лесику-Велесадару старая карга напоминала чем-то его добрую, давно умершую бабушку. А баба Яша старалась увидеть в нём сына, но это как-то слабо получалось: сложность состояла в том, что детей у Ягвиги Космовны никогда не было.

После второй или четвёртой рюмочки разговор штопором ушёл в высокие сферы.
— Баба Яша, а ты в Бога веришь?—спросил ведьмак.
— Да. Но без фанатизма. То есть лично я против Христа ничего не имею. Равно как и против Будды. И кто там у нас ещё? Магомет? Юпитер?

Вицлипуцли? В общем, дай Бог им всем здоровья и долгих лет жизни.

Велесадар одобрительно закивал:

— Вот-вот! И всё это можно объединить одним словом…

— Каким? — старуха прикрыла рот ладошкой и этично не то зевнула, не то икнула (трёх рюмочек ей оказалось достаточно и даже более того!).

— Сказка!

— В каком смысле? — не поняла Ягвига Космовна. — Враньё, что ли? То есть я хотела сказать — выдумка?

— Сказка не выдумывает. Она лишь открывает сокровенное. Так понятно?

— Даже не знаю, что тебе сказать…

Молодой колдун посмотрел на неё несколько обескураженно. И терпеливо продолжил втолковывать бестолковой старухе прописные истины:

— Сказка — это точка отсчёта. Именно от неё танцуются всевозможные философские танцы.

— С музыкой? — вежливо предположила Ягвига Космовна.

— Баб Яш, не сбивай с мысли! — Лесь досадливо поморщился. — Так вот. Из данной точки философы рисуют два противоположно направленных вектора и от этого уже, что называется, пляшут.

— Под музыку! — опять не удержалась баба-яга.

— И возникает то самое единство противоположностей, — по-лошадиному мотнул головой Велесадар, — которое движет миром. Плюс — минус. Чёрное — белое. Тьма и Свет. Добро и Зло… Ну что, ещё по одной?

— Однако, хватит. А то я дорогу домой не найду.

18. Замок змей-горыныча

Замок змей-горыныча расположился на окружённой с трёх сторон лесом скале. Потому что с возвышенности легче взлетается.

С четвёртой стороны раскинулось Змеёво озеро. Довольно живописное, с каменистыми берегами. По слухам, в нём водится какая-то огромная тварь, похожая на плезиозавра, хвостатая, с длинной шеей. Иногда по ночам она якобы выныривает на поверхность, громко булькает и шлёпает чем-то по воде, пугая прохожих, а также и русалок, которые, к слову сказать, именно по этой причине почти все уже переселились в соседние озёра.

Замок не слишком большой и не слишком уютный, как, наверное, все старинные замки: узкие окна, высокие потолки, обитые железом массивные двери, каменный пол… И никакой тебе мягкой мебели, персидских ковров или портьер.

В спальне — огромная кровать, деревянная, с соломенным матрацем и девятью (на каждую голову по одной) жёсткими подушками. Стол в столовой тоже громоздкий, тяжеловесный, без скатерти и клеёнки.

В общем, интерьер, прямо скажем, так себе. Никаких удобств. Даже сортир, я дико извиняюсь, во дворе.

Но Горыныч — ничего, освоился. Ему с его масштабами другое бы и не подошло. Да и не привык Серпантион Эверестович себя баловать излишней роскошью.

А спать на жёстком — это даже полезно для позвоночника.

Вот лежит Змей Горыныч, раскинулся головами по подушкам, смотрит в каменный потолок, думает. Строит планы на будущее.

Во-первых, хорошо бы библиотеку собрать, книжек раздобыть разных умных — научных и не только. Чтобы было что почитать. И мозгам тренировка, и душе — удовольствие.

Во-вторых, цветочки надо посадить перед окнами, чтоб цвели и пахли. От этого бывает радость.

Окна, опять же, хорошо бы сделать открывающимися, а то душно.

Ну а главное (и это уже не то в-третьих… не то в-четвёртых) — надо бы побыстрей заколотить проклятый винный погреб, оставленный от прежнего хозяина (кто такой — бес его знает). Потому что если этот окаянный погреб не заколотить в ближайшее время, то дело — дрянь! Ибо бутылок там — видимо-невидимо, а вина всё отборные, одно другого лучше. Где ж тут удержаться? Так ведь и спиться недолго. Оно и так уже…

В общем, заколачивать надо срочно. Прямо сегодня. Во-от такими гвоздями! Чтоб больше уже не открыть было. И забыть!

Нет, ну можно, конечно, перед этим достать пару-тройку бутылочек на всякий случай: вдруг — гости?

19. О чайнике, самоваре и путях постижения Непостижимого

— Кстати, о дороге, — авторитетно заметил ведьмак. — Путей постижения Непостижимого много. И все они, в общем-то, правильные. Но подаются они столь мудрёно, что сам подающий не может понять и половины того, что вещает.

— Ай-яй-яй! — огорчилась Ягвига Космовна. — Так-таки и не может?

— Не-а, — развёл руками Лесь. — А я люблю, чтобы всё было просто и понятно, как чайник. Ну, в крайнем случае — как самовар, — он повернул ручку краника и долил себе в кружку кипятка. — Итак, исходим из того, что существует нечто *непостижимое* в принципе. То есть — ну совершенно никак!

Выпитые пять рюмочек сделали Велесадара чуть больше нормы болтливым.

— Так вот. Есть два способа делать вид, что ты про это Непостижимое знаешь всё-всё-всё. Или хотя бы что-то. Первый способ — научный, когда учёные мужи (и жёны тоже!) пытаются что-то из себя изображать и делать выводы обо всём

на свете. В том числе и о порядке Мироздания. Что в принципе — невозможно. Я понятно говорю?

— Понятно, понятно, — лениво закивала баба-яга.

А про себя подумала, что не такой это простой, как было обещано, самоварчик. И уж тем более — чайник!

— Вот, — Велесадар поднял вверх указательный палец, словно ответ на поставленный вопрос был написан на потолке. — И любят они называть это своё блуждание в потёмках — просвещением. Факел бы им в руки, как говорится. Но… В общем, поскромнее надо быть…

Ведьмак сердито замолчал, густо намазал хлеб черничным вареньем, два раза откусил, запивая чаем. Похоже было, что говорил он сейчас о наболевшем. Причём наболело оно — сильно.

— Но есть ещё Сказка. Это другой путь. Тут всё элементарно просто: каждому предлагается включить фантазию и поставить себя на место Господа Бога. Как бы ты поступил? С чем из бесчисленного множества субстанций позволил бы поиграться своим, так сказать, возлюбленным чадам без риска поехать крышей далеко и без обратного билета? Ну?

— Ну? — бесцветным эхом отозвалась старуха.

Такая длинная тирада её малость притомила.

— При этом ведь нужно, чтобы живое существо имело шанс выжить. Что, а?

Вопрос показался ей риторическим, и Баба Яга ничего не стала отвечать. А распалившийся Лесь с удовольствием сам взялся перечислять все пять способов познания окружающего пространства: видеть глазами, слышать ушами, нюхать носом, пробовать на язык и осязать кожей. И — как бонус — мозги (в часы досуга размышлять о своём месте под солнцем, ибо про себя самого ведь тоже иногда кое-что узнать не вредно).

Ведьмак говорил умными словами, красиво, вдохновенно и очень долго.

А Ягвига Космовна тоже знала много умных слов — не зря же всю жизнь проработала в библиотеке.

— Мне глубоко симпатична твоя нестандартная концепция, — прервала она его пламенную речь на самом интересном месте. — Но я рискую предположить: а вдруг изначально человеку от того же Бога было дано больше? Столько было дано, что бедный мозг уже не знал, что со всем этим счастьем делать. Но тут очень вовремя пришла фея-спасительница Лень (по научному — Эволюция) и всё лишнее отключила. Существует же теория, что человеческий мозг используется на десять-пятнадцать процентов. И лишь в экстренных случаях включается что-то дополнительно — например, интуиция.

— В этом что-то есть, — Велесадар задумался. — А ты, баб Яша, не такая простая, как кажешься, да?

— Ась? — придурковато улыбнулась Баба Яга, вспомнив, кто она теперь, и поспешила вернуться в образ. — Я слушаю, слушаю. Ой, глубоко копаешь, хлопчик! Так и до самого ядра, не ровён час, докопаешься. Если лопата не расплавится, конечно…

Вволю наговорившись, ведьмак отпустил-таки старушку восвояси.

20. В гости

И тут — стук в дверь. Никак гости?

Вставать не хотелось. Однако — пришлось. Змей Горыныч тяжело оторвался от кровати и пошлёпал к входным дверям.

На пороге стоял Леший, несмотря на ранний час — бодрый, весь такой позитивный, улыбающийся во всё лицо. В руке — не то корзинка, не то авоська какая-то, полная грибов.

— Ты стучал?

— Я. А ты, что ли, не рад старому приятелю?

— Да рад я…

— Пройти-то можно?

— Проходи. А грибы кому? Если мне, то я не большой охотник с ними возиться.

— Не охотник — и хорошо! Я вообще-то Кузьмовне насобирал. Не желаешь вместе со мной до неё прогуляться? Пообщаемся, чайку попьём!

— Ну, в принципе…

— Тогда собирайся по-быстрому, я подожду.

Змей задумался:

— Может, мне с собой бутылочку прихватить, как ты думаешь?

— Прихвати. Дело хорошее.

— Это как посмотреть… — вздохнул Серпантион Эверестович, и настроение у него подпортилось. — Или, может, лучше — ну её?

— Ну, если зажмотил — то чёрт с тобой, — не стал спорить Дядь Лёшка. — Идём так.

— Да не зажмотил, при чём тут это? — совсем расстроился бывший профессор и безнадёжно махнул рукой.

Леший, однако, не обратил на его душевные муки никакого внимания. Спросил:

— И как тебе на новом месте?

— Как видишь…

— Вижу, вижу. А я тоже ничего себе обосновался! Нашёл чьё-то брошенное жилище. Вполне себе исправное, крепкое и не протекает. Кроме того, пару избушек планирую срубить в разных концах леса. А тут ещё, недалеко от тебя, дупло есть — большущее, глубокое. Я в него сена натаскал. Славное гнёздышко получилось: тепло, сухо. Всё как я люблю.

— Ты, что ли, белка? Или ворона? — скучно поинтересовался Змей, продолжая собираться. — Для чего тебе гнездо?

— Мало ли? Например, пойду к тебе в гости, а на обратном пути непогода настигнет. Или просто не захочу до избы тащиться. Вот и заночую.

Наконец Змей Горыныч собрался.

— А ты, кстати, как мыслишь до Кузьмовны добираться: пешком или по воздуху?—как можно более безразличным тоном спросил Леший.
— По воздуху, разумеется.
— А я?

Дядь Лёшка произнёс это так, чтобы у Змея внутри непременно что-нибудь проснулось—или совесть, или чувство сострадания к ближнему.

И что-то действительно проснулось:
— Да подвезу я тебя, не плачь. Садись уже.

Леший радостно вскарабкался на широкую чешуйчатую спину и крепко ухватился за среднюю шею. Горыныч тяжёлыми шагами подошёл к краю скалы, взмахнул огромными перепончатыми крыльями, оттолкнулся. И они полетели.

21. Честная компания

Кикимора заявилась аккурат к обеду. Баба Яга только-только разложила на столе скатерть-самобранку и задумалась над меню, как дверь без стука отворилась и внутрь избушки всунулась любопытная очкастая физиономия:
— Как дела, подруга?
— Тьфу ты, напугала! Стучаться надо!
— Хорошо,—не стала спорить гостья.—Тук-тук!

И она пару раз коснулась костяшками пальцев дверного косяка.
— Заходи уже,—проворчала Ягвига.—Садись. Суп на тебя заказывать?
— Лучше чай. С лимоном. И пирожное «Птичье молоко», я его обожаю!
— А ничего не слипнется?
— Яш, ну ты чего—не с той ноги встала?
— Ладно, чёрт с тобой,—махнула рукой старуха.—Скатёрка, в общем, мне—борщ со сметаной, хлебца, само собой. И компот на десерт. А этой кикиморе болотной выдай чего она просила. Чай там, пироженки. Только без фанатизма. А то она растолстеет, станет круглая, как шар, будет у меня по двору кататься. Мячик в очках—представляешь зрелище?
— Не, Яша, мне это не грозит!—радостно откликнулась Кикилия Бенедиктовна, с аппетитом следя, как на столе возникают её любимые лакомства.—У меня конституция такая. Не толстею я.
— Ничего, вот изберут новую Думу—она твою конституцию-то перепишет!

Баба Яга зачерпнула ложкой красивого ярко-красного борща со сметаной, отломила хрустящую горбушку.
— Опять эти твои политические шуточки,—отмахнулась Кикимора, прикидывая, с какого пирожного начать трапезу.—Не смешно. Ой, глянь-ка, никак Эверестович сюда летит. А кто это на нём? Ну конечно, Леший, кто ж ещё!

И действительно. С неба грузно опустилась девятиголовая летающая махина с пассажиром на загривке.
— Привет, бабоньки!
— А, чтоб тебя!—высунулась из окна Баба Яга.—Смотреть надо, куда садишься! Всю бруснику мне вытоптал, ирод крылатый!
— Да мы это…
— Грибочки вот, свеженькие…
— Ладно, заходите. Сегодня я на удивление добрая и гостеприимная. Да ноги вытирайте, я вчера только полы намыла. А ты, жертва Чернобыльской катастрофы, скидывай с себя свою многоголовую жуть, иначе не пущу.

Леший кинулся с усердием вытирать ноги о тряпку под порогом. А Горынычу что-то вдруг не захотелось трансформироваться в человека, потому он предложил:
— Может, лучше—на природу, а? Организуем пикничок. Погода стоит—когда ещё такой дождёшься?—чуть помолчал и добавил неуверенно-провокационно:—У меня и бутылочка есть… на всякий случай прихватил!

Баба Яга, у которой голова не отошла ещё после давешней беседы с ведьмаком, в душе поморщилась, но промолчала.

Зато Кикимора заныла, симулятивно держась за колено:
— Ой, а у меня нога…
— У меня целых две ноги, и что?—удивился Дядь Лёшка.
— Я это к тому: а может Зме́юшка наш и меня прокатит?
— Отвезу!—великодушно пообещал девятиглавый дракон.

И они полетели. Леший и Кикимора—на Змее Горыныче, а Баба Яга—автономно, в ступе.
— Смотрите, какие удивительные птички вон там, вдалеке. Леший, это что за порода?
— Даже не подскажу! Но красиво летят, ёлы-палы!

22. Четыре птицы

Четыре странные птицы перелетели через Змеёво озеро и опустились на солнечном берегу под столетним дубом. Вблизи стало видно, что это Гамаюн, Сирин, Алконост и Финист.
— Девочки, может, искупаемся?
— О да!

Птицы сбросили оперение и превратились в четырёх женщин сказочной красоты.

Вода была тёплой и прозрачной, дно—песчаным, окружающий пейзаж—волшебным. Наши сказочные красавицы бултыхались, брызгались, прыгали, визжали, совершенно как простые деревенские девки.

Искупавшись, они улеглись на траву, стали греться в горячих лучах, сушить волосы.
— Что новенькие?—спросила Софья Ивановна.
— По-моему, вполне,—живо отозвалась Верочка.—Обустроились. Привыкают к нашим правилам, осваиваются.

— А наши влюблённые? У них как дела?

Любаша блаженно потянулась, ответила:

— Тоже превосходно. Скоро свадьба. Марфа Васильевна ходит, вся светится от счастья, как новая люстра. Всё представляет, как внуков будет нянчить.

— А как мы будем объяснять, куда девался Змей Горыныч, да не один, а со всеми шестью головами?—подала голос Надя.

— Ну, скажем так: пал геройской смертью на Калиновом мосту, защищая родную Сказку,—предложила Вера.

— Печально. Но впечатляет.

— Объявим трёхдневный траур…

— Шести,—подсказала Люба.

— Что—шести?

— Шестидневный траур. По числу голов.

— Это юмор такой? Смешно…

— А не пора ли нам, девочки, продолжить дежурный облёт?—спросила Софья Ивановна и сама себе ответила:—Пора!

Красавицы опять превратились в больших сказочных птиц и полетели.

Сверху им было видно всё как на ладошке. Вон—замок Змея Горыныча вонзается в небо своими шпилями. Чуть в стороне—Избушка Бабы Яги на зелёной полянке, через которую протекает маленький, но очень чистый, никогда не высыхающий ручеёк. Столетнее дерево с дуплом—там Леший ночует, когда ему лень тащиться до дому. Усадьба Кикиморы—Цецилии Орхидеи…

Сказка—огромна. И не имеет видимых границ.

А хочешь—возьми её в ладонь, спрячь в кулаке, как горошину, и унеси с собой. Пусть она всегда будет рядом. Ты храни её. А она—будет хранить тебя.

Эпилог, который хотел быть прологом…

Они сидят в городском парке, на скамейке, под отцветающей яблоней. Четверо детей—три мальчика и одна девочка. И с ними—старик. Высокий, сухопарый, седой. Прилично одетый, в чистом, немного старомодном клетчатом костюме, на голове простая соломенная шляпа.

Но какой-то он странный. Какой-то неправильный. И даже не сообразишь сразу, что в нём не так.

Вроде бы старик как старик, каких много. Вообще ничего примечательного. Вот разве что на левом запястье—пятно в виде серпа-полумесяца. И непонятно: или это старый шрам, или такая родинка?

Да ещё глаза…

На первый взгляд—тоже ничего особенного: усталый старческий взгляд, бледно-голубые, выцветшие от времени радужки. Но если внимательно присмотреться, становится очевидно, что всё это—лишь видимость. Своего рода линзы-обманки. А под ними—бездна.

Но детям на такие вещи обращать внимание некогда, да и незачем. У них другие интересы в жизни.

Старик рассказывает сказку. Говорит он, может быть, чересчур нарочито, как не слишком хороший актёр. А дети тем не менее сидят, слушают. Вежливые такие ребятишки, воспитанные.

…………………………………………………

«Когда-то давным-давно на нашей голубой планете царила Смерть. Но Солнце, Великий Бог и Создатель Всего Сущего, захотело, чтобы здесь поселилась Жизнь.

И Земля ожила.

Смерть вначале была возмущена тем, что кто-то так грубо нарушил её царственное уединение, но вскоре поняла: Жизнь—очень вкусное лакомство.

Чем больше Смерть ела, тем больше становился её аппетит. Наконец Жизнь взмолилась:

— О Солнце! Ещё немного—и жадная Смерть уничтожит меня. Не дай же мне погибнуть!

— Хорошо,—ответило Солнце.

И оно загнало Смерть внутрь планеты.

Но Жизнь должна была кормить это чудовище: оголодав, оно могло вырваться из своего заточения и натворить ужасных бед.

Так воцарилось Великое Равновесие: Жизнь давала пищу Смерти, а Смерть, в свою очередь, ткала ту материю, из которой Жизнь шила одежды для всего сущего, рождающегося на Земле.

И Земля расцвела и наполнилась звуками и красками. И так она была прекрасна, что дети Солнца, солнечные лучи, тоже захотели жить на ней.

— Пусть Жизнь сошьёт одежды и для нас!—попросили они.

— Хорошо,—сказало Солнце.—Да будет так. Живите. Только постарайтесь не забыть, кто вы!

И солнечные лучи стали жить на Земле. В людском обличии.

Лучи…

Люци…

Люди…

Люди оказались самыми добрыми обитателями голубой планеты, потому что им не нужно было убивать даже растения: вполне хватало воздуха, воды и солнечного света.

По вечерам, уходя на покой, Солнце оставляло своим детям частицу самого себя, чтобы ночью им не было холодно и страшно. И потому у каждого над головой ярко сияли во тьме три луча: красный, жёлтый и синий.

О счастливцы! Они никогда не болели, не знали голода и тоски. И страха смерти дети Солнца тоже не ведали, потому что им даровано было бессмертие.

Вся Земля, прекраснейшая из планет во Вселенной, принадлежала людям. Только одно место было

для них строго заказано: глубокое ущелье среди высоких скал, где росло одинокое дерево. Даже приближаться к нему запрещалось под страхом самого ужасного наказания.

И, конечно же, в конце концов возникло любопытство: а что там? Почему туда нельзя?

Однажды, когда Солнце скрылось за горизонтом и наступила самая длинная ночь в году, люди собрались в одну большую группу и поспешили к заповедному ущелью.

Они пришли и увидели недалеко от кривого одинокого дерева, прямо на земле, большой железный люк.

Крышка у люка оказалась очень тяжёлой, но всё-таки мужчины поднатужились и подняли её. И открылась бездна. Она уходила в самую глубь Земли и была так черна и беспросветна, что у заглянувших в этот колодец закружилась голова и тошнота подступила к горлу.

Люди решили уже захлопнуть крышку и поскорей отправляться обратно, пока Солнце не встало, не увидело их здесь и не прогневалось за ослушание.

Но только они собрались это сделать, как из бездны вынырнул маленький толстенький лысенький человечек и сказал весело:

— Здоро́во, народ! А хотите, я вас кое-чему научу? Подойдите-ка к дереву, сорвите-ка с него по пригоршне сладких ягод да съешьте. И вам откроется Истина!

Все пожали плечами, а самые смелые подумали: „Ну, сорвём мы две-три ягодки — и что?“ И стали есть запретные плоды. От этого в головах поплыл туман, сделалось ужасно весело. Ослушники принялись смеяться, плясать и петь песни.

Остальные, глядя на них, подумали: „Кажется, им очень хорошо. Надо бы нам тоже попробовать!“

И стало так шумно, что проснулась маленькая белая птичка, которая спала на дереве.

— Безумцы! — испуганно защебетала она. — Что вы наделали?! Радость жизни, ни с чем не сравнимое счастье быть частичкой самого Солнца вы променяли на пустое веселье от пригоршни переспелых, перебродивших ягод! Теперь обрезана пуповина, оборвана та связующая нить, что протянута была меж вами и вашим Богом! Вы погубили себя!

Люди, услышав это, затихли и посмотрели друг на друга. И увидели, что все синие лучи у них над головами потускнели и погасли, и теперь в ночной темноте светятся уже не три, а только два: красный и жёлтый…

И тут же все почувствовали ужасную слабость. И стало холодно. И в животах появилось неприятное ощущение пустоты.

И заговорили так:

— Наверное, мы умираем! Ах мы, глупые, неразумные! Зачем же мы нарушили запрет, и пришли сюда, и открыли этот проклятый люк, и выпустили подлого обманщика, который нас погубил?

Люди сели в кружок на землю и заплакали. Только сейчас они осознали, что нарушили запрет Создателя и потому — нет им прощения! И значит, наказание — неотвратимо».

…………………………………………………………

Старик ненадолго замолчал, будто что-то обдумывая, не то вспоминая. Потом продолжил.

…………………………………………………………

«Итак, люди сидели на земле и горько плакали от холода, голода и отчаяния.

Тогда всё тот же маленький лысенький человечек, вынырнувший из люка, сказал:

— Не плачьте: я вас погубил, я вас и спасу!

Он развёл костёр. Почувствовав тепло, люди немного успокоились.

Но в желудках по-прежнему урчало и ныло. Тогда человечек сломал ветку дерева, соорудил из неё лук, убил антилопу, которая паслась неподалёку, и приготовил жарко́е.

Насытившись, люди опять повеселели, стали громко смеяться, петь и прыгать через огонь.

Вновь проснулась маленькая белая птичка и закричала:

— Что вы наделали?! Съев это мясо, вы перестали быть бессмертными. Вы заключили союз с самой Смертью. Отныне вы подвержены всем болезням, которые только есть на Земле, и значит, вы станете медленно и мучительно умирать от них! А кроме того — ваш ненасытный живот начнёт съедать вас изнутри, и вы будете жить в первую очередь ради него и слушаться его, как своего господина и повелителя!

Услышав такую речь, люди снова впали в уныние. Они посмотрели на светлеющее небо, почувствовали неодолимый страх и поняли: это — страх смерти. Страх перед неизбежной расплатой.

А потом посмотрели друг на друга и увидели, что у каждого над головой погас уже и красный луч, и теперь осталось только по одному — жёлтому…

Люди кинулись рвать на себе волосы и плакать:

— Как же мы предстанем перед нашим светлейшим Создателем? Что мы ему скажем? И что он скажет нам? Наверное, захочет уничтожить нас, и правильно сделает: ведь мы не оправдали его надежд и растеряли почти весь подаренный нам божественный свет!

А проклятый маленький толстенький человечек громко рассмеялся и сказал:

— Какие же вы глупые! Боитесь гнева Солнца? Но ведь вы — часть его самого. А значит, каждый из вас — маленький бог! Перестаньте-ка скулить и почувствуйте себя достойными того, чьим подобием вы являетесь! А если вам недостаёт волшебного сияния, то я добавлю: вот, смотрите!

И он швырнул им под ноги золото и драгоценные камни. Всё это заискрилось и засверкало в разгорающемся свете утренней зари. Люди, увидев такую красоту, ахнули от восторга.
— Это называется богатством,— весело сказал человечек.— Вы же слышите: „бог“ и „богатство“ звучат так похоже! Верьте мне: новый бог заменит вам Солнце и, в отличие от него, будет с вами постоянно, независимо от времени суток и погоды! Вместе с этими самоцветными камнями и золотом в вашу жизнь войдёт море удовольствий. И слава, и власть. И веселье, и радость. Так не стойте же, хватайте кто сколько может: богатства не бывает много!

Люди бросились подбирать рассыпанное золото, бриллианты, рубины, жемчуга, изумруды… Словно обезумев, они толкались, отчаянно дрались за каждый камешек. И вот уже пролилась кровь. И вот уже кого-то убили до смерти.

Маленькая белая птичка ещё пыталась перекричать весь этот рёв, все эти крики, стоны и злобную ругань.
— Опомнитесь, люди!— взывала она.— Что вы делаете?! Это фальшивые ценности, а вы продаёте за них своего Бога! И вы не просто продаёте Бога, вы предаёте самих себя, потому что, променяв истинные ценности на ложные, вы уже никогда не будете счастливы!

Но её, разумеется, никто не слышал и слышать не хотел. И никто не замечал того, что вот погас уже и последний, жёлтый, луч, и теперь ни над одной головой нет никакого света.

Никто не заметил и того, что взошло Солнце…»

…………………………………………………………

Старик закончил говорить, поправил шляпу. Огляделся вокруг, словно он очень давно не видел этот мир так близко. Потом достал из кармана большие серебряные часы на золотой цепочке, открыл украшенную орнаментом крышку и стал внимательно что-то там разглядывать. Интересно— что? Ведь ни стрелок, ни даже циферблата у этих странных часов не было!

А дети сразу же, как только рассказчик умолк, нетерпеливо заёрзали, заболтали в воздухе своими тоненькими, свисающими со скамейки ногами. Им почему-то казалось, что сказка ещё вся не закончилась, и нужно было как-то попросить продолжения.
— Ну а дальше-то что?— дерзко спросил рыжий конопатый мальчишка и насупился от смущения.
— Дальше?— удивился старик.
— Ну да, дальше!— требовательно подтвердила девочка.
— Люди бы не смогли ведь так жить?.. Ну, без этого самого?— сурово предположил рассудительный белобрысый мальчик в аккуратной панамке.
— Да, наверное…— неуверенно согласился, а может быть— удивился, старик.

А куда ж ты попрёшь против таких веских аргументов?

Дети смотрели на него выжидающе, молча требуя продолжения.
— Значит, интересуетесь— что дальше?
— Ну да,— третий мальчик задрал край своей растянутой майки, почесал живот и застенчиво улыбнулся.
— Тогда— слушайте.

…………………………………………………………

«Выпустив Смерть на свободу (а ведь тот толстенький улыбчивый человечек как раз был одним из посланников Смерти), люди тем самым обрекли на гибель всё живое— и самих себя в первую очередь. Более того, Смерть превратила людей в своё слепое оружие и с помощью него уничтожала Жизнь на Земле.

Катастрофа была неминуема, она приближалась стремительно и неотвратимо, и Солнце отвернулось от Земли, решив бросить её на произвол судьбы. Но вмешалась Сказка…»

…………………………………………………………

— Сказка?— удивился мальчик в растянутой майке.
— Ну да, Сказка,— подтвердил старик.— Правда, у неё много имён: иногда её называют Мечтой, иногда— Смыслом, но чаще— Мудростью.
— А как она выглядела?— спросила девочка, потому что это ведь очень важный вопрос для любой женщины, пусть даже для совсем маленькой.
— Как выглядела?— переспросил старик и задумался.— А точь-в-точь как жар-птица. Собственно, это она и есть, если говорить начистоту… Но слушайте дальше.

…………………………………………………………

«Итак, Сказка решила заступиться за людей. Она полетела к Солнцу в его царственный чертог и стала просить:
— О Владыка, спаси Землю, не бросай её, ведь она так прекрасна!
— Да?— удивилось Солнце.— А надолго ли? И я уже ничего не могу сделать, потому что люди оборвали со мной все связи и возомнили себя (это даже смешно!) разумными. Однако разума им хватает только на то, чтобы набивать всякой мерзостью свой ненасытный живот и скулить, что жизнь тяжела и невыносима и нет в ней ничего хорошего!
— Но ведь Ты— Бог, Ты можешь всё! Сделай же что-нибудь.
— Разумеется, я Бог,— сурово ответило Великое Светило.— Но люди меня таковым не считают. Их бог— Жадность, ненасытная, всепожирающая Жадность. И только ей они намерены служить верой и правдой. Уйди, я не хочу больше об этом говорить. Мне горько видеть, как гибнет лучший из моих замыслов!

И Светило отвернулось, давая понять, что разговор закончен.

Но смелая, отважная Сказка не испугалась гнева Создателя. Она решила спасти Жизнь на Земле во что бы то ни стало! Она сказала так:
— Да, люди превратились в монстров. Всему виной коварный обман. Люди захотели быть Твоим подобием. Это дерзко, да. Но не забывай, что они — Твои дети. Конечно, у них нет Твоей мудрости и Твоего света…

Сказка на миг замолкла, подбирая слова. Потом продолжила:
— Разум их — тёмен. Но их ли это вина? Прости, но нельзя же, чтобы душа величайшего из Твоих творений была пуста, как голова куклы из папье-маше. Согласись: нельзя винить бедную марионетку за то, что она имеет лишь видимость живого существа!

Выслушав эти неслыханно дерзкие речи, Солнце недовольно нахмурило чело своё и собралось обрушить на бедную Сказку весь свой справедливый гнев. Но вдруг спросило:
— В твоих словах я слышу не только упрёк, но что-то ещё?
— Да! — ответила Сказка. — Я хочу просить Тебя о величайшей милости. Позволь мне заполнить пустоту людских душ Твоим Светом. И они из тупых монстров превратятся опять в лучшее из Твоих творений.
— Ну хорошо, — ответило Солнце. — В конце концов, никогда не поздно поставить жирную точку в этой печальной истории! Уйди, я подумаю. Подожди там, за дверью.

Солнце думало долго, очень долго. Сказка уже начала сомневаться в успехе своего дела, но тут прозвучало громкое и повелительное:
— Входи!

Когда Сказка вошла и опять предстала пред ликом лучезарного Создателя, она услышала следующее:
— Лети на Землю, свей гнездо на самой высокой горе и снеси три яйца. И пусть из них выведутся три птенца. Тот птенец, что проклюнется первым, будет самым сильным из всех. Но характер ему достанется изменчивый и непредсказуемый, как весенняя погода. К тому же у него сразу обнаружатся серьёзные проблемы со зрением. Потому он будет обречён носить очки розового цвета, которые периодически станут разбиваться или теряться, но потом опять находиться. И так всегда, до скончания веков. Ты назовёшь своего первенца Любовью и окрасишь его перья в царственный ярко-алый цвет, потому что именно Любовь должна править миром. Второй птенец будет почти такой же сильный, но в отличие от первого — более спокойный и уравновешенный. Хотя проблем со зрением у него окажется не меньше. И что хуже всего — в отличие от своего старшего брата, он ни за что и никогда не согласится признать свою слепоту. Второго птенца ты одень во всё синее. И дай ему имя — Вера! А третий, последний, пусть возьмёт себе оперение цвета тёплого золота созревающей пшеницы. Он будет тих и ненавязчив, как луч света в затемнённой комнате. Это — Надежда. И пусть она станет искрой в кромешной тьме, глотком воды в знойной пустыне, потоком свежего ветра в затхлой душегубке, солнечным зайчиком на подушке умирающего… И пусть сама она умирает последней! Да будет так! А теперь — ступай. Как знать, может быть, тебе и твоим птенцам суждено стать связующей нитью между людьми и мной, их истинным Богом. Той ниточкой, которую они так опрометчиво оборвали, заключив союз со Смертью, тем самым подписав себе смертный приговор.

Вот так сказало Солнце, величайший из Богов, создатель всего сущего…»

Старик опять замолчал.

Рассудительный белобрысый мальчик солидно покачал правой ногой, потом левой. Наконец решил более ясно выразить своё мнение по данному вопросу. Он сказал так:
— Вот это да!
— Ну ништяк, классно наворочено! — поддержал его тот, что в растянутой майке.

Девочка была не столь категорична, она поправила свой капроновый бантик и спросила:
— Ой, а это правда так и было?
— Сказка! — презрительно скривился рыжий-конопатый. (Интересно, эти девчонки вообще чемнибудь думают?)
— Конечно, сказка, — согласно покивал головой старик. — Но ведь Сказка — это больше, чем правда. Это — путеводная звезда в туманах Истины Мирозданья…

Сказал — и сам понял, что перемудрил: рано ещё этим сосункам лезть в такие дебри, где и взрослый философ средней руки ногу сломает.
— А что потом? — рассудительному белобрысому не терпелось расставить все точки куда следует. — Ну, снесла она яйца — и что? Всё так в точности и стало, как повелело Солнце?
— Ну, как-то так… — развёл руками старик. — Что было предписано — то и свершилось. Впрочем…

Он, кажется, хотел что-то сказать ещё, но передумал.
— А, тогда и слушать больше нечего! — капризно вздёрнула носик девочка.

Она вообще не слишком любила сидеть и слушать, как говорят другие. Куда приятней было бы болтать самой о чём-нибудь интересном: про куклу Дину, например. Или про новые туфельки с золотыми пряжечками.
— Лично я иду покупать мороженое! Кто пойдёт со мной?

И она грациозно спрыгнула со скамейки.

— Ну, допустим, я пойду! — конопатый, если честно, тоже мало что понял из услышанного.

Он лениво встал и пошёл догонять девочку.

Белобрысый задержался чуть дольше, поправил сползающую на глаза панамку, сказал воспитанно:
— Спасибо, всё было очень интересно.

И тоже ушёл вслед за девочкой.

А третий почему-то всё медлил, будто ждал чего-то ещё. Наконец он вздохнул, провёл босым ногтем большого пальца правой ноги по пыльной земле, почесал затылок. Потом неторопливо встал, сделал шаг, оглянулся. Пробормотал смущённо, не поднимая глаз:

— До свидания, дедушка.

Помолчал, как бы запнувшись, потом неуверенно добавил:
— Спасибо! — и, не оглядываясь, припустил вслед за товарищами — только голые пыльные пятки замелькали.

И стало тихо-тихо, так тихо, что пролетавшая мимо воробьиха решила, будто тут никого нет. Она опустилась на спинку скамейки и только тогда заметила старика. «Это ещё что за чучело сидит?» — неприязненно подумала птичка, недовольно передёрнула крыльями, чирикнула и полетела дальше.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Алёна Мужаева (4 класс)

Лучшее место на земле

Я сегодня проснулась в прекрасном настроении. В кругу своих родных людей. В нашем уютном доме. В самом любимом месте. Что же это за место? И почему оно самое любимое? Я с радостью расскажу о нём. Это моя малая родина. Моя деревушка с красивым и добрым названием Сергеевка. Называется она так по имени первого жителя. Находится она в нашем Красноярском крае, в самом сердце тайги. Ровно десять лет назад я появилась в жизни деревни, а деревня — в моей жизни. И с каждым днём она становится мне родней и дороже. Я люблю здесь каждый метр, каждый забор, каждый дом, каждое дерево, каждого жителя. Всё оно моё, родное. Здесь, вдалеке от города, тихо и спокойно течёт моя жизнь.

Я люблю свою Сергеевку, независимо от настроения, в любое время года. В каждом из них она хороша, и в ней много интересных и хороших событий.

Весной мы вместе пробуждаемся от зимнего сна. Приятно видеть и слушать, как журчат весенние ручейки. А как радостно с друзьями пускать по ним кораблики! И ходить в лес за первыми подснежниками и берёзовым соком. Наблюдать, как оживает и расцветает природа под лучами ласкового солнца.

Люблю деревню летом. Просыпаться по утрам под пение птиц и крики петуха. С утра до вечера играть, гулять, купаться на озере, собирать цветы, ходить за ягодами и грибами. А ещё прополка грядок, сенокос.

Невозможно не любить и осень, с её непогодой и дождями, с красивой пёстрой листвой, со сбором урожая и заготовками припасов.

Зима — моё любимое время года. Здесь оно самое лучшее — с морозами, со снегом. И самое увлекательное занятие: катание на санках с горки, на лыжах, на снегоходе.

Так как мне уже десять лет, у меня есть и обязанности по дому. Я очень люблю помогать родителям: маме — убираться и мыть посуду, папе — управляться с лошадьми. И конечно, учёба. Я стараюсь учиться хорошо. Со слов взрослых я знаю, что в нашей деревне проблем хватает. Но я пока маленькая и о них не думаю. Ещё я люблю свою деревню, потому что здесь живут мои самые любимые люди: родители, сестра, бабушка с дедушкой, друзья.

Сергеевка — это самое лучшее место на земле. Я решила, что не хочу никуда уезжать отсюда. Я не представляю своей жизни без моей деревни. Я хочу и буду жить здесь.

Марат Валеев

Заметки из-под капельницы

Клизма

Весной 2012 года подошла моя очередь по государственной квоте на стентирование. На всякий случай поясню, что это такое, хотя и не сомневаюсь, что народ у нас и без того просвещённый. Итак, стентирование коронарных сосудов сердца проводится для их расширения. В такой операции обычно нуждаются люди, или перенёсшие инфаркт, или находящиеся недалеко от этой беды.

Операция эта нетравматичная: через прокол в сосуде на бедре или руке «в устье суженной коронарной артерии вводится специальный катетер, через который проводится тонкий металлический проводник под наблюдениями на мониторе. Проводник снабжён специальным баллончиком, размер которого подбирается в соответствии с особенностями суженного участка. На баллончике смонтирован в сжатом состоянии стент, который обязательно совместим с органами и тканями человека, гибкий и упругий, подстраивающийся под состояние сосуда. Введённый баллончик на проводнике раздувается, стент расширяется и вдавливается во внутреннюю стенку. Для полной уверенности в том, что стент расширился правильно, баллон раздувается несколько раз. Затем баллон сдувается и удаляется из артерии вместе с проводником и катетером. Стент остаётся и сохраняет просвет сосуда».

Понятно? То есть благодаря этому стенту, а то и сразу нескольким, сердце вновь начинает получать кровь по насильно расширенным артериям в необходимом для нормальной работы режиме. У страдающего стенокардией человека уходят боли из сердца, исчезает одышка и наступают другие благостные моменты, в том числе и полноценная сексуальная жизнь, без тревожного ожидания, что в самый ответственный момент можешь свалиться с жены (или у кого кто) с инфарктом, а и то вовсе склеить ласты.

Вот один такой стент мне и должны были поставить в Красноярском федеральном кардиологическом центре. Ну, про то, что сам центр, построенный, кстати, сравнительно недавно, представляет собой самое современное медицинское учреждение в крае, с вышколенным персоналом, оснащённое ультрасовременным оборудованием, наверное, тоже нелишне будет упомянуть. В палатах здесь лежат всего по два человека, есть и одиночные.

Когда я «сдался» в кардиоцентр, там царила непонятная суматоха. Впрочем, я на это особенного внимания не обратил. Моей задачей было скорее попасть на стол к хирургу и так же по возможности быстро выписаться домой; как и всякий нормальный человек, в больнице я лежать не люблю.

В палате на двоих (с небольшим плазменным телевизором на стене, холодильником, душевой комнатой и туалетом, с предусмотрительно вмонтированными в разных местах кнопками для экстренного вызова медсестры, панелью над кроватью с целым рядом каких-то хитрых розеток, разъёмов для подключения какого-то оборудования) я оказался один.

Если бы не шныряющие туда-сюда работники центра в синей медицинской униформе, да бродящие, как лунатики, и придерживащие рукой все еще болезненные места операционных разрезов на груди после шунтирования граждане, можно было подумать, что это — гостиница средней руки.

Только я расположился, как в палату пришла мой лечащий врач-кардиолог, приятная такая, моложавая и рыженькая особа с зелёными русалочьими глазами. На бейджике было написано её имя: Александра Болотова.

Александра попросила вкратце рассказать мне о своём самочувствии и ощущениях на этот момент, я сделал это ещё короче, сказав:

— Да нормально всё!

Врач померила мне давление, сказала:

— Действительно хорошо, завтра будем оперироваться, — что меня очень порадовало: вот это оперативность так оперативность!

Правда, к этому моменту я готовился несколько месяцев, пока собрал все необходимые документы, прошёл все анализы и обследования, консультации.

После ужина в палату буквально бегом вошёл довольно молодой ещё врач (в кардиоцентре, как я смог заметить, почти весь медицинский и обслуживающий персонал состоит из молодых

и чрезвычайно вежливых людей) и почти весело сказал:
— Завтра с утра ничего не есть, будем готовить вас к операции. И скажу вам по секрету: возможно, вас будет оперировать японский профессор!..

И сказал японское имя или фамилию, которое я с ходу не смог запомнить. Наверное, от волнения. Он что, этот учёный самурай из Японии, специально ради меня прилетел? Чтобы сделать мне здесь харакири? За что? Что я ему сделал?

Поток моих сумбурных мыслей оборвала пришедшая ближе часам к десяти вечера молоденькая медсестра с маской на лице (впрочем, маска не могла скрыть ни её молодости, ни смазливости). Она приветливо сказала мне:
— Пройдёмте на клизму.
— Но операция-то не полостная,—переполошился я, вспомнив, что́ из себя представляет эта процедура.—Через прокол же, под местной анестезией… Зачем здесь клизма?
— Больной, вы сегодня у меня не один!—строго сказала медсестра.—Итак, я вас жду.

Ну что ж, клизма так клизма. На что не пойдёшь ради укрепления здоровья.

Процедурная была шагах в десяти от моей палаты. Конфузливо улыбаясь, я улёгся боком на покрытую клеёнкой холодную кушетку.
— А штаны-ы?—укоризненно пропела медсестра.

Ах да, штаны-то надо спустить, иначе же у нас с ней ничего не получится…

Получив порцию слабительного, подхватился с кушетки и, не глядя на медсестру с улыбающимися карими глазами поверх марлевой повязки, мелким шажком зарысил в свою палату. Едва успел прикрыть за собой дверь, как мощный позыв оскорблённого кишечника бросил меня на унитаз…

Облегчённый, свалился на койку. И, немного посмотрев телевизор в одиночестве (ко мне пока так никого и не заселили), заснул. Во сне медсестра снова домогалась меня с зажатым в её руке здоровенным наконечником клизмы. Проснулся с дурными предчувствиями.

Забежал вчерашний озабоченный врач.
— Не завтракать, ждать!—скомандовал он, закрепив распоряжение взмахом длинного хирургического пальца.

Ну, ждать так ждать.

Вот уже и завтрак прошёл, дело к обеду. А за мной никто не идёт. Вот и обед пролетел мимо меня со свистом. Высунулся из палаты—по коридору бродят с такими же недоуменными лицами ещё несколько человек. Выясняется, что у них тоже на сегодня назначена операция, но пока никого не вызывают.

Перед тихим часом в палате появилась старшая медсестра, будничным голосом сообщила: операция перенесена на завтра, так как сегодня был какой-то симпозиум или коллоквиум с участием заезжих медицинских светил.

Ох, не зря мне снилась медсестра со смазанным штуцером: через пару часов после ужина, который я с жадностью проглотил, как оголодавший зверь, на пороге палаты появилось очередное прелестное медицинское создание в обтягивающих длинные ноги синих штанишках и натянутой на груди такой же блузке, с маской на лице.
— На клизму!—прозвучала знакомая уже команда.
— А завтра операция точно будет?—на всякий случай осведомился я, выключая телевизор и поднимаясь с кровати.
— Вы в плане,—пожимает плечиками создание.

Сегодня не та, что была вчера. Но тоже ничего. Хотя какая мне разница, кто мне будет совать в попу шланг от клизмы? Главное, чтобы это было нежно…

На ходу утешаю себя тем, что клизма—это в любом случае полезно, ведь при этом происходит очищение внутренних органов. А тут уже, выходит, двойная польза организму!

Эта девчонка толк в клизмах знает! Вставая с кушетки и натягивая штаны, даже галантно её поблагодарил.

Однако кишечник тут же заявил своё «фи», и я, теряя тапочки, помчался в палату.

Позвонила жена. Интересовалась, что да как. Рассказал. Утешала, что клизмы—это действительно полезно. Согласился. Опять лёг спать с пустыми внутренностями. Спал плохо. Проснулся—ещё шести не было. Желудок бурчит, как Зюганов на единороссов.

Пошёл на всякий случай в туалет—оказалось, нечем. Попытался снова заснуть—не получилось. А тут и больница проснулась, зашаркали швабами технички, забегали с уколами сестрички. Аппетитно запахло овсянкой. Завтрак! И этот мимо. Потому что меня пока кормят здесь другими «завтраками». И не только меня. Медсестра «утешила», сообщив на мой законный вопрос: «Доколе?»—что нас, плановых операбельных больных, собралось что-то уже около десятка. (Оперируют здесь на нескольких столах, стентирование вообще поставлено на поток, операция в среднем длится от сорока пяти минут и больше. Мне нужно было поставить только один стент. И вот из-за одного этого неполного часа я торчу здесь уже двое суток!)
— Сегодня, надеюсь, меня прооперируют?—хмуро спросил я на обходе врача.
— Да, вы у нас в плане, ждите,—уклончиво сказала она.

Я обречённо уткнулся в сканворд. Блин, хоть бы кого подселили, а то и словечком перекинуться не с кем.
— Вот здесь располагайтесь,—сказала выросшая на пороге палаты плотная няня.

Из-за её крутого плеча выглядывал худощавый рыжеусый мужичок. Он сел на аккуратно заправленную постель, по-птичьи завертел головой, осматривая палату.

— На стентирование? — спросил я его.

— Чего? А, ну да, — кивнул головой мой сосед.

Он оказался очень неразговорчивым. Но всё же выяснилось, что у него уже стоят два стента после инфаркта. Но делали их ему ещё в Новосибирске, так же по квоте. Пришла нужда поставить ещё один, на соседней артерии. А поскольку это нужное дело с декабря 2011 наладили уже и в Красноярске, его из Назаровского района направили сюда.

— Всё ближе, да и дочь здесь замужняя живёт, всегда можно на пару-тройку дней остановиться, — поделился он со мной своими соображениями.

Прихватив станок, сосед отправился в туалетную комнату брить пах — ему сказали, что он в плане на завтра. Я побрился ещё дома. Но если операцию мне раз за разом будут откладывать, то как бы мне не пришлось снова взяться за станок.

Вспомнилось, как перед коронарографией (обследованием артерий перед операцией через прокол в бедре), которую мне проводили в краевой больнице, я лежал на каталке в коридоре перед операционной в живой очереди.

Одних закатывали, других выкатывали и везли обратно в палаты, где нужно было неподвижно пролежать не меньше суток, чтобы прокол в артерии хорошенько зажил.

Нас было человек пять-шесть, все голые, завёрнутые в простыни, как в тогах, — ну чисто собрание сената в Древнем Риме. И тут чего-то зашёл разговор, кто, где и как брил пах перед операцией.

Один мужичок вдруг беспокойно завозился и присел на своей каталке, свесив ноги.

— А что, надо было с обеих сторон брить?

Мужики переглянулись.

— Ну да.

— А я только слева побрил: сказали, с этой стороны катетер вводить будут. И что теперь?

По коридору в это время проходила дюжая медсестра.

Недобрившийся повторил свой вопрос ей.

Та задумалась на секунду. Потом сказала:

— Ну что, пошли ко мне в процедурную…

Мужик сполз с каталки, поплотнее оборачиваясь в простыню.

— Только вот станка у меня нет, — уточнила медсестра. — Но ничего, ты же мужик, потерпишь. Я тебе пинцетом общиплю…

Мужик, шлёпая босыми подошвами, тут же дунул вдоль коридора в сторону отделения, где были наши палаты.

— Я щас… Я сам… — задыхаясь, бормотал он на ходу под наш жизнерадостный хохот.

Но смех смехом, а за мной всё не идут. Из коридора потянуло аппетитными запахами — это раздатчица развозила по палатам на специальной тележке упакованный в пластиковые германские контейнеры горячий обед. Кормят в кардиоцентре, надо признать, очень даже прилично, и никакой тебе столовой — всё доставят прямо к кровати.

Так, а что же со мной? Где моя каталка для операционной?

Зашла старшая медсестра. Будничным тоном говорит:

— Ваша операция перенесена на завтра.

И, не выслушивая меня — я только было возмущённо открыл рот, — вышла из палаты. И тут же после неё зашла раздатчица, неся в руках два контейнера — для меня и моего соседа:

— Обедать!

Она поставила контейнеры на стол и вернулась к тележке.

Я махнул рукой и открыл крышку своего контейнера — так, рассольник и котлета с гречкой, салат, кисель.

С удовольствием поел, и чувство возмущения и обиды тут же куда-то улетучилось. В конце концов, всё равно мне рано или поздно поставят этот чёртов стент. Значит, не так ещё плохи мои дела, если операцию откладывают раз разом, значит, есть у этого сложного и громоздкого медицинского аппарата по имени «кардиологический центр» дела более важные.

Конечно, если бы я прямо вот тут начал у них помирать, они немедля поволокли бы меня в операционную. А я же пока ничего. Вон, даже обед с каким аппетитом уплёл.

Из душевой вышел хмурый сосед. Сказал, что весь порезался, пока брился. Я ему сказал, чтобы не расстраивался — до утра всё затянется, и показал на стол: вон твой обед. Нормальный, между прочим.

Виктор Петрович — он так назвался — вздохнул, сел за стол и, громко сопя, стал задумчиво хлебать рассольник.

Я почитал прихваченные с собой еженедельники — «АиФ-ку», «Комсомолку» — и не заметил, как уснул. Да так крепко, что проснулся только перед ужином. Никому я пока не был нужен здесь, никаких лекарственных процедур у меня не было, вот никто и не беспокоил особо.

Сосед на своей кровати тоже вовсю высвистывал явно простуженным носом незатейливую мелодию. И тут пришла моя докторица Александра.

— Ну, вы у нас уже человек опытный, — сказала она. — Всё уже знаете. Так что за ужином особо не усердствуйте, а с утра — ни пить, ни есть. Завтра операция.

Ага, щас! Знаем мы эти ваши «завтраки»! Я слопал весь ужин, состоящий из куриной голени

и приличной порции картофельного пюре, запив всё это дело чашкой горячего чая.

И, довольный, как удав, перебрался из-за стола на постель — переваривать только что проглоченный харч. Под бормотание телевизора закемарил. И подскочил как ужаленный при знакомой команде:

— На клизму!

Медсестра была позавчерашняя — та самая, длинноногая и хорошенькая, звалась Оленькой. Грубить ей было как-то не с руки. Да и было у нас с ней уже это, так чего уж тут ваньку валять? И я безропотно поплёлся в клизменную.

Оленька была само очарование и предупредительность. Она действовала точно и безукоризненно. Когда влившаяся через штуцер жидкость стала распирать мне требуху и искать выход, я, натянув штаны, всё же ещё успел пошутить:

— Оленька, а поцеловаться?..

Но на большее меня не хватило. Едва не сшибив выходящего из нашей палаты Петровича, я залетел в сортир. Вскоре меня сменил сосед. Спать мы с ним улеглись совершенно опустошёнными.

Наступил третий день моего пребывания в кардиоцентре. И он оправдал мои ожидания: в районе одиннадцати утра меня таки повезли на операцию.

Сжимая в руке под простынёй конвертик с диском, на котором было записано последнее исследование моих артерий на коронарографии, я смотрел в проплывающий надо мной блестящий масляной краской потолок коридора и старался думать о приятном.

Ну, о том, например, что истязания меня клизмами наконец закончились, и я скоро буду дома, и мы со Светиком должным образом отметим восьмое марта — до него оставалось всего несколько дней.

В операционной меня подкатили к какому-то громоздкому, негромко гудящему аппарату, обвитому кабелями и проводами, с монитором.

Около него стояли два человека в хирургических костюмах, с масками на лицах. Одна из них — похоже, ассистентка, — сноровисто подготовила лежащее перед ней тело к операции: смазала йодом место прокола, обезболила. И в дело вступил хирург.

Я чувствовал, как он проколол мне бедро и стал вводить в артерию катетер. За всем, что происходит в моём теле, он внимательно наблюдал через монитор, я же, как ни пытался разглядеть, что там, — не мог: мне запретили активно двигать головой.

Боли не было, только неприятно подёргивало место прокола, через которое к моему сердцу, вернее, к суженному просвету в артерии, двигался катетер.

Вот он поёрзал-поёрзал и остановился, а хирург буквально влип в монитор. Потом врач вздохнул, и катетер, чуть подавшись назад, вновь стал штурмовать забитый сосуд.

Хирург возился со мной подозрительно долго, что-то иногда бормотал себе под нос, ассистентка время от времени промокала ему лоб салфеткой — всё как в кино, ей-богу!

Неожиданно я стал ощущать боль в области сердца. Сначала несильную, а потом всё ощутимей и ощутимей. Я закряхтел.

— Что такое? — спросил врач.

— Больно в сердце, — признался я.

— Больно? — обеспокоенно переспросил он и сделал небольшое движение кистью руки.

И боль тут же ушла — видимо, катетер отвели от проблемного места назад.

— У нас с вами сложный случай, — наконец признался мне хирург. — Пока что я ничего сделать не могу. Полежите тут пока, отдохните, я скоро.

Он ушёл, а я загрустил. Это что же получается? Если стент мне не поставят, значит, придётся делать аорто-коронарное шунтирование. А я за эти два дня насмотрелся на прооперированных по этому поводу. У них огромные, на всю грудь, багровые швы, у кого-то торчат тоненькие дренажные трубочки.

Они ходят очень тихо, сгорбившись, и прижимают одну руку к операционному шву. А кто так и вообще не ходит, а ездит на инвалидных колясках.

Всё это свидетельствовало об одном: операция эта полостная, довольно тяжёлая и с большим реабилитационным сроком. Понятно, что если вопрос встанет о шунтировании — никуда я не денусь и лягу под нож, жизнь дороже. Но ой как этого не хотелось! Пока...

Мои тягостные раздумья прервал хирург. Он вернулся в сопровождении ещё одного врача, они посмотрели на монитор, потом отошли в сторонку и недолго посовещались, о чём — я не мог расслышать.

Да конечно же, о том, как успешно завершить операцию — главнее задачи для них в этот момент просто не могло быть. Иначе что же — цельных три вставленных мне клистира пойдут насмарку? Большей несправедливости на свете просто быть не могло!

Но вот хирург вернулся, что-то скомандовал ассистентке, она склонилась надо мной и сказала, что сейчас меня введут в лекарственный сон — и всё будет хорошо. Она уколола меня в вену, и я заснуть не заснул, а как бы поплыл. И сквозь этот полусон снова почувствовал лёгкие уколы боли в сердце, но такие... совсем лёгкие, что можно было не обращать на них внимания и продолжать дремать. А вскоре я расслышал весёлый голос хирурга:

— Ну вот и всё, поздравляю: у нас получилось!

Я не стал расспрашивать хирурга, с какой же он такой сложностью встретился. Скорее всего, просвет в артерии настолько сузился (ведь я после коронарографии почти год дожидался своей квоты на операцию, и ситуация за это время в моём моторе могла кардинально измениться), что почти не было шансов пробиться сквозь это проблемное место для установления стента, и дело могло окончиться моим инфарктом здесь же, на столе.

Однако ребята сумели добиться благоприятного исхода операции, раздвинули стенки артерии и поставили стент. В результате сердце моё забилось ровнее, боль из него при ходьбе и прочих делах ушла, и я снова стал чувствовать себя полноценным человеком, за что низко кланяюсь оперировавшим меня медикам и всему персоналу кардиохирургического отделения номер один Красноярского федерального кардиоцентра. В частности, хирургу, кандидату медицинских наук Дмитрию Столярову, врачу-кардиологу Александре Болотовой, ну и самому заведующему отделением, кандидату медицинских наук Дмитрию Шматову.

Домой они меня, правда, отпустили не сразу: сутки пришлось пролежать почти без движения, чтобы, не дай Бог, не открылось место прокола в артерии,—частью в реанимации, остальные часы у себя в палате. Ещё двое суток я пробыл под наблюдением врачей и четвёртого марта 2012 года благополучно отбыл домой с приехавшими за мной женой и сыном. Так что праздник мы провели вместе.

Да, спросите вы, а что же японский гость? Был он, был! Уже дома, в новостной ленте (http://kp.ru/online/news/1095692/), я нашёл сообщение об этом событии. Действительно, как раз в эти в Красноярском кардиоцентре с мастер-классом находился ведущий японский рентгенхирург с мировым именем, профессор Тошийя Мурамацу, возглавляющий сердечно-сосудистый центр госпиталя Иокогамы.

Это ведь именно японцы придумали метод реканализации—то есть без большой операции, без остановки сердца открывать закрытый холестериновой бляшкой просвет коронарной артерии.

И японский профессор таки самолично провёл за эти пару дней на сердцах выбранных им восьмерых больных красноярцев операции по стентированию артерий.

Я, выходит, в этот список не попал. Да какая, собственно, разница? Это японское медицинское светило так и заявило, цитирую: «Я не ожидал увидеть в России такую клинику с самым современным оборудованием, грамотными врачами, которые владеют всеми необходимыми технологиями в сердечно-сосудистой хирургии. Приятно, что все врачи общались со мной на свободном английском языке».

Так что наши кардиологи—великолепные специалисты, это говорю вам я, лежавший у них на операционном столе и получивший необходимую помощь даже тогда, когда она казалась неосуществимой.

Ну а клизмы… А что клизмы? Это штука очень даже полезная!

Шрамы

— А это что у вас за шрамы? Что за операция была?

Идёт утренний обход, и черноусый заведующий хирургическим отделением, в синем халате и синей же шапочке, внимательно рассматривает оголённый солидный живот крупного мужика, лежащего вторым от окна. На табличке, прикреплённой к спинке его кровати, мужик значится как Владимир Петрович К. (пусть будет для краткости ВПК).

А на первой от окна койке, то есть рядом с ним, табличка обозначает присутствие на ней другого Владимир Петровича, только Ж. (ну, этот у нас будет, соответственно, ВПЖ). Но табличка есть, а ВПЖ нет.

А, вот он и идёт, вернее, ковыляет мелким гусиным шагом, слегка откинувшись назад, иначе пузырь живота заставит клюнуть его носом в пол. ВПЖ уже шестьдесят шесть лет, у него атеросклерозом поражены артерии и более мелкие сосуды конечностей, потому ему очень трудно передвигаться. Дальше будет ещё хуже, хотя он и регулярно капается в больнице два раза в год. Потому что ВПЖ не хочется отказываться от курения, а это никотин спазмирует, схлопывает сосуды, и кровь плохо поступает к тканям. Здесь недалеко и до гангрены.

ВПЖ, сдерживая дыхание, чтобы врач не уловил запаха табака, пробирается к своей кровати и с пыхтеньем усаживается на неё.

— Так что это за шрамы?—повторяет свой вопрос врач.

— Ножевые ранения были. Пять штук,—нехотя говорит ВПК.

— Ясно,—резюмирует врач.

Он профессионал и, узнав происхождение этих шрамов, теряет к ним всякий интерес. А вот я бы послушал, за что это моего сопалатника так издырявили.

Пощупав живот и вытирая руки протянутым ему медсестрой влажным полотенцем, врач говорит:

— Ну, вот и мы вам добавим шрамчик. Готовьтесь, завтра прооперируем.

ВПК угодил в нашу шестую палату (не ждите никаких аналогий с персонажами знаменитого чеховского рассказа—просто наша палата действительно шестая) с грыжей. Говорит, купили

новую квартиру на Солнечном, перетаскивал мебель, тут она и вылезла.

Она и раньше была, но ВПК как-то управлялся с ней, укрощал грыжу бандажом, сам вправлял её обратно, когда слишком выпячивалась. И продолжал бригадирствовать в своей строительной бригаде. Ему под шестьдесят, он ростом куда выше среднего и весит, по собственному признанию, сто пятнадцать килограммов.

Врач между тем, оставаясь в этом же проходе между койками, повернулся теперь уже к ВПЖ.

— А вы что, Владимир Петрович, так и продолжаете курить? — укоризненно говорит он, пожимая руку ВПЖ (что означает — они хорошо знакомы).

— Да уже меньше, — конфузливо отвечает ВПЖ и отводит глаза.

Врач разочарованно машет рукой и делает пару шагов к соседней кровати. Всего в палате их восемь — я впервые лежу в больнице при таком скоплении народа в одном помещении. До этого как-то лежал в краевой клинической, в глазном центре, так там везде в палатах было максимум по пять человек. А здесь — целая толпа!

Больница эта старая, ей уже больше сотни лет, и уже не первый год идут разговоры о её сносе и строительстве новой, но пока, похоже, не получается. И буквально сыплющаяся больница (её перестали ремонтировать) продолжает исправно лечить больных.

— Это хорошая больница, — неожиданно заявил ВПК после обхода. — Тут к больным как к людям относятся. А вот я после того, как меня подрезали, в тысячекоечной полежал, так там полный отпад!

Я ловлю Владимира Петровича на слове и прошу его рассказать, за что и где его подрезали. ВПК, заметив, что на него с выжидающим любопытством смотрю не только я, а, считай, вся палата, прокашлялся и совершенно будничным голосом рассказал свою историю, от которой у меня буквально волосы зашевелились на голове.

Дело происходило в конце восьмидесятых. ВПК, тогда ещё совсем молодой парень Володя, со своим братом и ещё тремя парнями после рабочего дня выпивали на берегу Енисея. На пятерых у них было такое же количество бутылок водки да пара плавленых сырков. Ну и ещё сигареты.

Любовались на открывающиеся на той стороне могучей реки виды, травили анекдоты, говорили за жизнь — всё как полагается в таких мужских компаниях — и быстро пьянели от выпитого. И вдруг послышался топот многих ног, ругань, и из-за ближайших деревьев к месту уединения друзей вывалила шумно дышащая, разгорячённая компания незнакомых парней. Их было человек пятнадцать-двадцать.

— А, вот они, суки! — прорычал самый здоровый из них и рыжий.

Он сжимал в руке штакетину. Какими-то палками, обрезками труб и арматуринами размахивали и остальные члены этой непонятно для чего и по какой причине собравшейся банды не банды, но очень воинственно настроенной группы.

— Мочите их, пацаны!

И «пацаны» с рёвом накинулись на не успевших даже встать на ноги друзей. Володя, получив здоровенный пинок в грудь, едва не укатился под высоченный обрыв, но успел сгруппироваться и вскочить на ноги. И повторно налетевшего на него рыжего здоровяка он встретил мощным апперкотом в челюсть — как учили в боксёрском кружке, куда он как-то ходил целый год.

Рыжий даже лязгнул зубами и с откинутой головой попятился назад. Но добить его Вовка не успел — его ударили чем-то твёрдым сзади по затылку, и он «поплыл», а пришедший в себя здоровяк снова накинулся на него.

В руке у него в этот раз блеснул нож, и он несколько раз подряд прямыми тычками ударил им своего обидчика в живот, а последним, пятым ударом, зло ощерив редкие жёлтые зубы, с хеканьем полоснул лезвием поперёк брюшины. Володя со стоном упал на колени…

Буквально втоптали в пожухлую осеннюю траву и его недавних приятелей-собутыльников, так некстати оказавшихся на пути разозлённой оравы. Позже выяснилось, что неподалёку от этого места гуляли свадьбу. А две подружки решили уйти с неё на дискотеку. Но для начала им зачем-то понадобилось сбегать домой.

Они жили в частном секторе и, чтобы спрямить путь, пошли берегом Енисея. Девчонок на безлюдной тропинке перехватили двое каких-то пьяных отморозков, избили, сняли с них золотые серьги, отобрали и вывернули сумочки, порвали на них одежду.

Подружки еле вырвались и убежали обратно на свадьбу. Вот оттуда-то и снарядилась карательная экспедиция и стала прочёсывать берег Енисея — излюбленное место для любовных свиданий и пьянок местной молодёжи. Искали по запомнившимся ограбленным девчонкам приметам своих обидчиков: на одном из отморозков была синяя рубашка, на другом — зелёная.

Как назло, ни сном ни духом не ведавшие о том, что произошло недалеко от того места, где они так хорошо сидели, Владимир и его брат Николай были одеты в рубашки именного такого цвета — синюю и зелёную. За что и огребли по полной от жаждавшей мести толпы.

— Пацаны, кто первым очухался, говорили потом: я сидел на траве, подбирал с неё и заталкивал себе обратно в живот вывалившиеся кишки, — покашливая время от времени, продолжал свой

жуткий рассказ ВПК.—Досталось и остальным: у кого-то была пробита голова, у кого рука сломана. У брательника моего полопались рёбра, и что-то внутри отбили. Но больше всех, конечно, досталось мне: тот здоровяк, которому я так хорошо врезал, не иначе убить меня хотел, да вот свезло мне, не до конца убил. Кто-то сбегал в посёлок, вызвали милицию и скорую. И пока они ехали, я всё время был в сознании, но в таком—мутно всё вокруг было. И почти не больно—от шока, наверное. Вот тогда-то меня с братом и отвезли в тысячекоечную больницу, и меня сразу положили на операционный стол. Я вообще-то должен был умереть после такого ранения. Но хирург сказал, что мне невероятно повезло: во-первых, в желудке у меня было пусто, не считая водки, во-вторых, кишки вывалились не в грязь, а в сухую траву, так что инфекции не случилось. Но, блин, когда требуху укладывали обратно в живот, прямую кишку мне вывели в бок и прицепили снаружи этот, как его, калоприёмник. Врачи сказали, что пока кишечник внутри не уляжется как надо, мне придётся походить вот так. А какой там походить—я пошевелиться-то не мог. Раны у меня плохо заживали, и меня спихнули в гнойное отделение. У себя в палате я лежал один. Этот грёбаный калоприёмник время от времени надо было освобождать—говно в него плывёт само по себе, хочу я срать или не хочу. Из дренажных трубок гной прёт. Вонь в палате стоит—хоть нос зажимай. Вдобавок у меня ещё пролежни на спине пошли— я тогда хоть и поменьше весил, чем сегодня, но центнер во мне был всё равно, и никому такую колоду ворочать не хотелось. Так что ни медсестры, ни нянечки было не дозваться, когда они нужны были. Хорошо, братишка мой быстро оклемался—он ведь тоже в хирургии лежал, вот он-то и помогал мне здорово во всём, что должен был персонал делать…

ВПК замолчал, уставившись в потолок и легонько поглаживая утянутую бандажом паховую грыжу.
— А дальше-то что было?—первым не выдержал его сосед, другой Владимир Петрович.
— Да, давай уж выкладывай свою историю до конца,—поддержал его мой сосед, ждущий операции на желчном пузыре.
— Ну, выписали меня только через пару месяцев, инвалидность временную дали,—грузно усевшись на кровати, продолжил Петрович.—А тут и суд подоспел над этими, что нас долбили в тот день, а меня чуть не убили,—нашли их как-то удивительно быстро. Судили-то, конечно, не всех, но человек восемь из них в клетке оказалось. Этому рыжему, что меня порезал, дали шесть лет, остальным кому три, кому два, а кому вообще условно. Рыжий—я запомнил, Тимченко его фамилия,—у меня прощения просил на суде за то, что они попутали нас с теми бандюками, что на их девок напали, и за то, что он так сильно порезал меня…
— И что, простил ты его?—спросил ВПЖ.
— А, рукой махнул: дескать, хрен с тобой,—и ничего не сказал,—буркнул Петрович.—Больше я его не видел.

Потом он вдруг оживился:
— Но земля-то, как говорят, недаром круглая. Лет пять тому назад за драку отсидел старший сын моего брата, того самого, с которым мы попали в ту заваруху. И он потом рассказывал, что на зоне повстречал—кого бы вы думали?—того самого Тимченко. Он сам к нему подошёл, когда услышал его фамилию, и спросил, не родственник ли он мне. А племяш здорово похож на меня. Ну и сказал, кем мне доводится. Тимченко же к тому времени, оказывается, превратился в матёрого уркагана, у него то ли пятая, то ли шестая ходка уже была, и он был на зоне за смотрящего. И племяш мой потом весь свой срок проблем не знал—так Тимченко поквитался за свой должок передо мной. Ну что, удовлетворил я ваше любопытство, болезные? Тогда я пошёл курить. А ты куда, тёзка? Тебе же нельзя!

Но ВПЖ только досадливо рукой махнул, и два Владимира Петровича, торжественно выпятив свои животы, важно пошагали из палаты в курилку…

Заметки из-под капельницы

Думал—бронхит

…Рядом со мной в палате реанимации лежит старая китаянка с торчащей из трахеи трубкой. Её жёлтое лицо вполоборота обращено ко мне, и я иногда ловлю на себе страдальческий взгляд узких смородиновых глаз. Она время от времени тихо стонет, водит тонкими руками с синими жилами под пергаментной кожей по простыне на груди, мелко подрагивает ногами с особенным образом собранными в горсточки на крохотных узких ступнях пальцами (это так называемый золотой лотос—подсказал мне «Гугл»).

Глубокая ночь, но свет в палате реанимации, в которой заняты больными ещё четыре особенные противопролежневые кровати, практически никогда не гаснет: здесь постоянно находятся врачи, медсёстры, санитары. Они все в белых, синих и даже чёрных защитных герметичных костюмах, масках, очках, перчатках, бахилах на ногах. Больше похожие на космонавтов или даже каких-то пришельцев, выхаживают своих тяжёлых подопечных.

На разные лады мигают, пищат, дышат, хрипят и даже истерично вскрикивают какие-то аппараты рядом с койками страдальцев. Картина просто сюрреалистичная, и мой мозг иногда отказывается признавать, что я нахожусь здесь уже не первые сутки. Меня и моих товарищей

по несчастью — спасают. От настигшего-таки нас коронавируса, от вызванной им двухсторонней пневмонии.

Нам со Светланкой этот гадский COVID-19 нынче уже подгаживал: сначала сорвал весеннюю поездку в Иорданию на Красное море (страна закрылась), затем то же самое повторилось с Турцией. В конце концов, мы отдохнули в Белокурихе и, кстати, остались крайне довольны этой поездкой. Но на море, на море-то мы ещё нынче не были! И в конце концов, перебрав все возможные варианты, решили поплескаться в бархатный сезон в водах Чёрного моря в Абхазии.

Но до отъезда туда необходимо было пройти профилактическое лечение в сосудистом отделении Красноярской БСМП: чтобы относительно нормально себя чувствовать, мне предписано пожизненно два раза в год прокапываться сильнодействующими сосудорасширяющими препаратами. Ну, я собрался и лёг в больницу по графику. Всё там было нормально, лечение шло размеренно, правда, в отделении из-за угрозы коронавируса был установлен карантин: масочный режим, запрет на свидания с посетителями и так далее.

Однако к концу лечения я почувствовал, что простыл — в палатах было душно, и мы их время от времени проветривали, и я где-то не уберёгся, продуло. Появился небольшой кашель, а главное — температура выше тридцати семи. При такой, как известно, сейчас в самолёт на посадку не возьмут. И я в предпоследний день прокапывания отпросился у врача домой, чтобы оперативно пролечиться самому перед отъездом — опыт есть, Светлана уже не первый раз самостоятельно выхаживала меня от хронического бронхита.

Дышу, как рыба на суше

Супруга на всякий случай отселила меня на диван в гостиную, развернула свою аптечку. Однако несколько дней усиленных попыток согнать у меня температуру ничего не дали, а нам вот-вот вылетать! Вызвали на дом участкового врача. Приехал молодой долговязый парень, послушал меня, измерил температуру, взял мазки, лечение рекомендовал продолжить. А температура на месте, появилась одышка.

Светлана во время очередного похода в аптеку додумалась купить пульсоксиметр (я ей рассказал, что перед выпиской из больницы видел, как наши медики начали там облачаться в противоковидные костюмы). И замер показал, что уровень кислорода в моём организме упал до восьмидесяти пяти (нормальный показатель девяносто пять — сто). А тут ещё позвонили из лаборатории, куда уехали мои мазки, и сообщили: у меня положительный результат. То есть я заболел коронавирусом.

Ну, сказать, что мы со Светланой были поражены этой новостью, наверное, нельзя. Возможность заражения COVID мы не исключали никогда, по крайней мере, с начала пандемии. И вот я — в числе тех, кто всё-таки не смог уберечься от этой напасти. Неужели я ещё и Светлану заразил? Однако она чувствовала себя как обычно, в отличие от меня, уже начавшего задыхаться при ходьбе по квартире и при резких телодвижениях, и потому оставалась надежда, что Бог её миловал.

В такой ситуации ничего другого, кроме как вызвать скорую, не оставалось. Мой «больничный» рюкзак ещё не был до конца освобождён после недавней госпитализации в БСМП, потому запихать в него самое необходимое было делом нескольких минут. Скорая действительно пришла скоро, и вот мы со Светланой и фельдшером спускаемся к лифту. И я осознаю, насколько серьёзно моё положение: десяток шагов преодолеваю, дыша как рыба, выкинутая на сушу. Однако ж быстро развивается у меня хворь…

Меня привозят в краевую клиническую больницу. Светлану сразу отделяют и уводят куда-то в зал ожидания. Я и ещё несколько человек сидим в приёмной и ожидаем решения своей судьбы. У меня берут анализы крови, мазки, замеряют время от времени сатурацию. Она всё снижается. Всё это время мы со Светланой на связи. Но вот формальности окончены, и меня в темпе ведут… на кислород — у меня начали синеть губы.

Без кислорода не могу

В помещении, где есть аппарат, на меня тут же надевают маску, и я начинаю вдыхать кислород. Содержание его в моём организме, естественно, поднимается, мне становится легче. Теперь надо на КТ (компьютерную томографию), и без кислорода отправить меня туда не решаются. Сажают на каталку, рядом устраивают небольшой кислородный баллон. Я надеваю маску, обнимаю баллон, чтобы он не выпал вдруг, и дюжий молодой фельдшер скорым шагом катит меня куда-то по коридорам, мы выезжаем на улицу, катимся по тротуару, снова въезжаем в помещение и попадаем в отсек, где и установлен компьютерный томограф…

Здесь небольшая очередь. Через два-три человека лаборантка КТ просвечивает и мои лёгкие. Едем обратно. Ещё с полчаса — и сообщают результат КТ: у меня «закрыты» семьдесят пять процентов лёгких, вот откуда такая нарастающая одышка, сердцебиение, ну и немного тревожное состояние. Принимается решение о моей госпитализации в третье отделение пульмонологии краевой больницы, куда меня и отвозят с вещами на той же тачанке, с кислородным баллоном в обнимку. Сообщаю жене о своей диспозиции, и она едет домой.

В палате на четыре койки нет ни умывальника, ни туалета, но зато есть стационарная подача

кислорода, а для меня это сейчас главное. Мы лежим напротив ординаторской, и я обращаю внимание на то, что весь персонал нашего отделения — молодые ребята и девушки, стройность и подтянутость их фигур не скрывают мешковатые скафандры, и они сноровисто и часто снуют по коридору, между палатами, каждый со своими обязанностями. Приходит и представляется мой молодой врач — Сумаков Илья Олегович, если не ошибаюсь. Он цепляет сатуратор к моему пальцу, смотрит с озабоченностью на результат — там где-то в районе восьмидесяти. Очень мало. Врач настоятельно рекомендует мне без нужды не снимать кислородную маску.

Мне надо в туалет. Встаю с кровати и выхожу в коридор. Иду медленно, но одышка не оставляет. До санузла надо пройти метров пятнадцать; бреду, удерживаясь от искушения держаться за стенку. Сердце стучит где-то внизу живота, в ушах шумит. Да это что же со мной такое?! Вот ведь несколько дней всего назад был относительно здоров!

В палате нас четверо, по возрасту всем явно за шестьдесят. Мой бородатый сосед Виктор Николаевич много лет проработал на северах, сейчас на пенсии. «Корону» подцепил и он сам, и его жена. Она лежит недалеко от мужа, время от времени навещает его, приносит ему к обеду куриную ножку (дочка нажарила им их целую прорву и отправила передачей), поправляет постель, что-то внушает ему. В общем, проявляет заботу — семья и здесь остаётся семьёй.

По назначениям мне начинают ставить капельницы, буквально горстями носят таблетки (как-то посчитал — было больше десяти за раз), закачивают в меня даже гормоны, время от времени берут кровь. Но сдвигов нет: сатурация падает, я перестал есть, ничего не лезет. То есть просто начал угасать. Светлана звонит часто, разговариваю с ней срывающимся голосом. Она чувствует, что мне плохо, пытается всячески подбодрить, и я от неё ещё не слышал столько ласковых, нежных слов, сколько она говорит мне их сейчас. Слушаю её, и в носу щиплет, глазам жарко. «Я вернусь скоро домой, рыбка моя, не переживай», — бормочу я.

В реанимацию так в реанимацию

Приходит врач Сумаков и сообщает, что мне по всем показаниям необходимы реанимационные мероприятия. Я вздыхаю и согласно киваю головой: это же очевидно. Тут же появляется каталка, я успеваю подписать какие-то бумаги, позвонить жене относительно своих дальнейших перемещений. Мне надевают на лицо кислородную маску (баллон снова у меня под боком), и ребята шустро катят меня по коридорам, и через несколько минут мы оказываемся в довольно просторной палате на несколько коек, уставленной аппаратурой.

Меня подкатывают к крайней койке, заставляют снять с себя всё до последней нитки, и я, в чём мать родила, переваливаюсь на какой-то странный комковатый матрас (потом разобрался — противопролежневый), на лету пытаясь укрыться простынёй. И снова вижу вокруг молодые глаза и лица, прикрытые очками, масками — это персонал реанимационного отделения тут же берёт в работу своего очередного пациента.

Я же тем временем успеваю хоть немного осмотреться. Примечаю, что в палате шесть мест. Почти напротив меня на спине лежит грузная женщина, изо рта у неё торчат трубки, руки привязаны к бортам кровати, рядом сипит аппарат. Ага, вот это и есть интубирование, догадываюсь я.

Рядом со мной лежит китаянка, о которой я упомянул ещё в начале своих заметок. Ну и дальше по моему ряду, у большого окна, за которым видны трубы ТЭЦ, мужчина в маске, и он всё время машет рукой, подзывая кого-то из персонала. Не пустуют и две другие кровати по другому ряду, на них возлежат женщины в кислородных масках. Вольно или невольно также подмечаю, что все они, как и я, прикрыты только простынками, и под каждой постелью покоятся писсуары и утки. Да, вздыхаю я про себя, это всё очень серьёзно и, пожалуй, не на один час.

Подружиться с ИВЛ

Между тем дежурный врач берёт в руки пластиковую маску, от которой к аппарату на тумбочке рядом с кроватью тянется прозрачный гофрированный шланг, надевает мне её на лицо (тут же в рот, в нос бьёт струя кислорода), туго стягивая лямки на затылке и на ходу поясняя, что аппарат искусственной вентиляции лёгких будет дышать не за меня, а вместе со мной, мне надо лишь приноровиться к ритму подачи воздуха. И началось. Я то попадал в режим подачи кислорода, то нет, и тёплая струя (почему-то время от времени кислород нагревался) самостоятельно шуровала у меня в носу, во рту, пока я судорожно пытался приспособиться к настойчивому напору аппарата. Да, вот ещё: оказывается, у кислорода есть привкус, кислый такой.

Уже через час-другой губы под маской начало обмётывать, во рту сохло, глаза стали слезиться — струйки кислорода пробивались сквозь маску, хоть и затянута она была туже некуда. Иногда я уставал дышать с аппаратом, и тогда старался хоть ненамного оттянуть край маски и подышать самому внешним воздухом. Но аппарат был начеку и тут же начинал верещать дурным голосом, ябедничая персоналу о нарушении герметичности маски. Обалдеть просто, как я в первый день устал от этого чёртова ИВЛ, хотя и понимал, что по-другому сейчас просто нельзя.

Одновременно с накачкой кислородом в меня вливали капельницу за капельницей необходимые

препараты, опять же пичкали таблетками, без конца мерили температуру (она долго держалась в районе тридцати восьми), уровень сатурации. Передышками служили приём пищи и воды (её приносили по первой же просьбе). Есть я толком не мог ещё два или три дня, столько же до этого в палате, соответственно. Но где-то в середине срока реанимации, то есть через четыре дня, когда я уже подружился со своим аппаратом ИВЛ и мне стало значительно лучше, у меня вдруг открылся аппетит.

Спасибо вам, ребята!

Дорогие врачи, санитары, медсёстры: Артём, Захар, Елена, Оксана, кто там ещё—всех не упомню,—я, как, думаю, и другие прошедшие через ваши бережные руки больные, бесконечно вам благодарен за ваши профессионализм, чуткость и безупречную исполнительность. Вы сумели так поставить себя при исполнении своего профессионального долга, что проходящие через реабилитационное отделение чувствуют себя здесь не просто тяжелобольными, а именно людьми, к которым здесь относятся с глубоким уважением и пониманием.

Эти молодые ребята делают всё возможное, чтобы поставить на ноги попавших к ним больных. Увы, спасти удаётся не всех: в реанимацию чаще всего поступают люди немолодые, с большим процентом поражения лёгких, с ослабленным иммунитетом. При мне скончались моя соседка китаянка и ещё три человека (это за те восемь дней, что я провёл в реанимации), вечная им память.

Все эти дни я был лишён связи с женой. Но мне сообщали, что Светланка звонит в реанимационное отделение каждый день, расспрашивает о моём состоянии, передаёт мне пожелания скорейшего выздоровления и возвращения домой. Я время от времени обращался к персоналу с просьбой дать мне позвонить жене, но они говорили, что мобильников у них с собой нет, а по служебному посторонним звонить нельзя. И всё же в день рождения Светланки, восемнадцатого октября, я выпросил у дежурного врача телефон и позвонил жене, поздравил её. Не передать словами, как жёнушка моя обрадовалась этому звонку: она и плакала, и смеялась, ну и так далее.

На седьмой день мне разрешили дышать через обычную маску, а на следующий выписали из реанимационного отделения для дальнейшего лечения в пульмонологии. Я очень тепло простился с персоналом реанимации, они же пожелали мне больше здесь не появляться (надеюсь, так и будет).

Берегите себя и близких

Ну, рассказывать о дальнейшем моём лечении, думаю, нет смысла, потому что там была уже рутина—я пошёл на поправку. Обмолвлюсь лишь, что вернули меня не в мою палату и даже не в моё, а в соседнее, четвёртое, пульмонологическое отделение (всего же их в краевой больнице десять!). А через несколько дней и вообще перевели в другую, четвёртую краевую межрайонную больницу, откуда я был выписан уже на шестой день, тридцать первого октября. Я от души благодарю всех медиков, вернувших меня в строй, и желаю им самим здоровья и терпения: это ведь очень непросто—провести восьмичасовую смену в герметичном костюме и жить там же, при больнице, до окончания вахты.

Вероятно, в завершение этих записок следовало бы поделиться какими-либо ценными выводами и наблюдениями. Так вот, коронавирусом можно заразиться совсем не там, где предполагаешь: я подхватил эту заразу во время плановой госпитализации в БСМП (кстати, в четвёртой больнице встретил своего сопалатника по тысячекоечной—он заразился там же).

Какими были симптомы коронавируса у меня? Я поначалу ошибочно принял своё состояние за очередное заболевание хроническим бронхитом. Но оказалось—нет. У меня поднялась температура (до тридцати восьми и четырёх), появились одышка, слабость, пропал аппетит. А вот кашля практически не было, и обоняние не исчезало.

Сейчас продолжаем лечение дома, под наблюдением участкового врача. Знающие люди говорят, что в норму я приду месяца через полтора-два, а то и три, когда смогу, наконец, дышать полной грудью. Вот, пожалуй, и всё.

Берегите себя и своих близких, друзья, не пренебрегайте установленными защитными мерами, особенно в семьях, где есть пожилые люди—они очень тяжело переносят заболевание коронавирусом, которое может стать для них фатальным.

Сергей Тенятников

Из книги «Щекотки»

Из разговора со старым европейцем

везде мусульмане. бездельничают,
пиво не пьют, свинину не едят,
Рождество не празднуют — в общем,
не уважают наших традиций.
только и делают, что детей делают.
ещё молятся с утра и до утра.
а больше ничего.
скоро в Европе будет как в турецкой бане.
христианство умирает, в церкви пусто.
а когда, спрашивается, в церковь ходить?
пахать надо!
вот мусульмане хорошо устроились —
бездельничают,
пиво не пьют, свинину не едят,
Рождество не празднуют…

Золотой осёл

я встал в четыре восемнадцать,
а лёг в двадцать три сорок девять.
целый день я работал,
таскал чужое дерьмо-добро туда-сюда.
шеф орал петухом.
рабочие бегали и тоже петушились,
никому не хотелось быть похожим на курицу.
вечером мы приехали к загону с ослами…
шеф заговорил с ними человеческим
голосом,
делал им комплименты.
через неделю я получу зарплату,
пойду в супермаркет—как человек.

Души

в немецком, английском и испанском
ввп считают по головам,
а в русском—на душу населения.
сдаётся, загадку русской души
не под силу решить
даже крупному рогатому капиталу.

Вечерний разговор

вечерний разговор на непонятном языке
плывёт по улице.
можно подумать, что эти двое молятся.
выглядываю в окно:
соседи обсуждают что-то своё, соседское.
мне это знать незачем,
пусть это остаётся вечерней молитвой.

Все люди любят

все люди любят обобщать,
говорить: все русские,
все китайцы, наши, все блондинки,
власть, все водители, все мужчины,
запад, все полицейские, они,
все поэты, все студенты и т. д.
я никогда не обобщаю,
а вот люди любят.

Творение

после того, как Творец создал человека,
Он подумал: хорошо поработал, —
и хотел было поставить точку,
но неожиданно чихнул, и
получилось многоточие.

Миф о пещере

очереди в супермаркетах.
налогоплательщики скупают блага
цивилизации—
туалетную бумагу и средства дезинфекции.
вглядываюсь в их лица:
не с ними ли мне придётся стоять
в очереди из пещеры за светом?

Вселенная

я никогда, никогда не встречал нло.
как же я одинок во Вселенной…

Каминг-аут

одни считали меня путинистом,
другие называли антисоветчиком,
третьи так и вообще записывали в русофобы…
а я сидел и ел квашеную капусту с картошкой.

Иероглифы

русские писатели говорят:
«у тебя всё как-то не по-русски.
это оттого, что ты онемечился».
немецкие вежливо молчат и думают:
«как-то у него всё не по-немецки написано».
и только китайские писатели улыбаются,
рассматривая мои иероглифы.

Бросить курить

бросить курить, конечно, легче,
чем бросить жизнь.
будто я превращаюсь в окурок—
и калека на улице спросил:
«извините, пожалуйста,
можно я вас докурю?»

Соринка

соринка попала в глаз.
как мало надо,
чтобы испортить себе мировоззрение.

Текст

мой доктор прочитал этот текст
и молча выписал рецепт.

Жажда

мы все пьём одну и ту же воду
и никак не можем напиться.

Арбузная экономика

когда я был маленьким,
в советской Сибири росли арбузы.
однажды родители купили мне арбуз,
я поднял его над головой и
хрястнул об пол.
когда я был маленьким,
в советской Сибири
повсеместно росли арбузы
и совсем не росли мячики.

Превращение

как за три секунды чистого арийца
превратить в квасного русского?
нет, квас для Превращения[1]
абсолютно не подходит.
водка же является довольно
посредственным средством.
наивернейший способ,
чтобы немец заглянул
в такие бездны, как
«Московский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
метрополитен имени В. И. Ленина»,
«Кочегар» Балабанова,
«Транссибирская железнодорожная
магистраль»,
«Великая Октябрьская социалистическая
революция»,
«Саяно-Шушенская ГЭС» и т. д., —
поставить на праздничный стол русскую
горчицу.
немец по привычке намазывает её на хлеб.
вы, как честный хозяин, его, конечно,
отговариваете и предупреждаете.
немец, конечно же, вас не слушает
и ухом не ведёт.

всё.
перед вами точная копия
ротмистра русской службы
Карла Фридриха Иеронима
барона фон Мюнхгаузена.
теперь с ним можно лететь
хоть на Луну, хоть на Камчатку,
хоть яйца Фаберже продавать.
тем более, что российский ювелир
Его Императорского Величества
Петер Карл Густавович Фаберже
на Камчатке, исследованной
офицером русского флота
Иваном Ивановичем Берингом,
никогда не был.
вот такая вот метаморфоза
происходит с людьми из-за горчицы,
которую немецкие колонисты в
девятнадцатом веке
широко культивировали в Поволжье
и которая под названием «Русская» ценилась
в Европе.

1. *Нем.* Die Verwandlung, см. повесть Франца Кафки.

Любовь Карзникова
Падение пера

● ● ●

Август нежными губами мне щекочет щёку.
Он со мною рядом бродит, мальчик синеокий.
Видя наш роман, осины жарко покраснели.
И ресницы опустили недотроги-ели.
Вся в рябиново-калинных бусах, шишках-брошках,
В танце пролетает осень, мчась на резвых ножках,
И закутывает нежно в шали-паутинки,
И, прощаясь с летом, прячет на траве росинки.

● ● ●

Есть у слова любого великая власть—
Оно может заставить наплакаться всласть,
Или горькое горе доставит со зла,
Иль сгорит и рассыплется, словно зола.
Потому-то стихи так на сердце лежат,
Потому голоса от надежды дрожат,
Потому каждый помнит хоть несколько строк:
Для кого-то—девиз, для кого-то—урок.

Полюби меня

Полюби меня серым воробушком,
Тем, который, под дождиком вымокнув,
Весь, как серый листочек скомканный,
Под стрехою сидит нахохлившись.
Полюби меня, слёзы льющую
И на целый свет в притязаниях,
К боку тёплому печки льнущую
И запутавшуюся в вязаниях.
Полюби такой. Ведь красивою,
И весёлою, и манящею—
Я любому стану желанною,
Лаской томною, проходящею.
Только лишь тому, кому верю я,
Я могу предстать такой разною:
И воробушком серым скомканным,
И Еленой самой прекрасною.

● ● ●

Больнее ранят те, кто ближе всех.
И раны заживут не до конца.
А в памяти живут весёлый смех,
Слова, тональность и черты лица.
Проходит день, неделя или год,
Но горечь не проходит… Не пройдёт.

Падение пера

Падение пера на гладь воды
Рождает ветер, уносящий жизнь,
Что пепельно-серебряным листком
Плывёт по волнам золотой реки
В осеннюю, всю в паутинках, даль.

Цепляясь за травинки берегов,
Жизнь оставляет капельки минут,
Которые слагаются в века
И так же в даль осеннюю плывут,
Рождая грусть и нежную печаль.

Осенний свет рассеянным лучом
Ложится на траву и на песок.
В песке бурливо катится река,
Как голубой прозрачный поясок.
Над ней тихонько кружится перо
В потоках ветра, под названьем Жизнь.

● ● ●

А душа остаётся юной,
Хотя тело летать не может…
Разум трогает сердца струны
И былое на прошлое множит.
Разум всё твердит: «Осторожней!»
Но душа улетает в небо,
И мечтает душа о звёздах,
Шепчет тихо: «А мне бы, мне бы…»
И восторгу мало предела,
И Земля звездою сияет.
Нет согласья души и тела.
Что же делать?
Но так бывает…

● ● ●

В снегопадный серый день
Пишутся стихи о грустном.
Снег хрустит листом капустным,
На окне от тучи тень.
И приходит с вышины,
А быть может, ещё выше,
То, что не всегда услышишь
В дни, что суетой полны.

Елена Галиаскарова

Воздух пахнет кипреем, полынью…

Румпельштильцхен

Густой паутиной опутан прекрасный дворец,
Вампиры бесстрастные ждут одиноких сердец.
Безмолвием ночи наполнен заброшенный сад,
И кажется, будто русалки на ветках сидят.
И чудится: скоро послышится призрачный вой,
Раздольные травы лениво шуршат под ногой.
Плетёт Румпельштильцхен загадочный пряжу луны,
В глазах его злых отражается холод зимы;
А ветер в окошко стучится, как загнанный волк,—
Давно его голос в тумане прозрачном умолк.
Пьянит жутких снов непроглядная вязкая мгла,
К рассвету от замка останутся пыль и зола…

Баллада о птицах

Каравай выпекало лето из жарких дней.
Становились ночи короче и сны длинней.
Перелётные птицы верности и любви
Скрылись в небе далёком, не находя земли,
Где их ждут, потерялись в облаке грозовом;
Им навстречу летели молнии напролом.
Застучали дожди, когда расступилась мгла,
Переливами света радуга расцвела.
Перелётные птицы верности и любви
В край вернулись родной, и ландыши зацвели.
Но побило жестоким градом волшебный лес,
И с тоскою умчались птицы в лазурь небес…

Дорога в детство

Недолётные птицы июля
Затерялись в густых облаках,
И спадает малиновым тюлем
На равнину лучистый закат.

Воздух пахнет кипреем, полынью,
На опушке поёт соловей,
Манят взгляды лазоревой синью
Васильки на просторах полей.

Погружаюсь я в памяти омут,
В вечер тёплый и пряный, как мёд,
Прохожу по дорожке знакомой…
Жаль, что детства никто не вернёт.

Герда и Кай

Берег реки крапивой густой зарос,
Блики луны в воде иногда мелькают;
В небе июльском светят гирлянды звёзд,
Герда идёт во тьму, чтобы встретить Кая.

Страхи отбросив, перешагнув мосток,
Ищет она с надеждой в глухую полночь
Папоротника в чаще лесной цветок—
Пусть он одно желанье её исполнит.

В сердце у храброй Герды живёт мечта,
Вишенкою заветною созревает—
Кая вернуть любимого навсегда,
Чтобы в их чувствах холод навек растаял…

А королевы Снежной в той сказке нет—
Головы автор людям легко морочит.
Герда идёт во тьму, чтоб увидеть свет,
Встретить любовь таинственной летней ночью…

Джульетта

Джульетта начинает танцевать,
Стремительно звучат оркестра звуки…
Тревожа льда сверкающую гладь,
Она изящно к небу тянет руки.

Здесь нет любви. Отпели соловьи,
И ясный день сменился на ненастный.
Пятнадцать роз пурпурных отцвели
Давно, и чувства нежные угасли.

Зачем ты строишь замки из песка,
Спешишь за ней угрюмой, мрачной тенью?
Неправедным достанется тоска,
Нечестным—равнодушье и забвенье.

Торжественно танцует менуэт
Судьба, печально дождь стучит по стёклам.
Джульетта верит: тьму заменит свет,
В победном такте музыка умолкнет.

Сергей Кузнечихин

Шесть голубых ёлок

Когда в самом начале семидесятых в устье Качи построили новую шашлычную, мало кто из её посетителей помнил, что место это называлось «Старым базаром». Разве что старожилы и краеведы. Шашлычная быстро набрала популярность, впрочем, как и любое злачное заведение в те времена, поскольку их катастрофически не хватало большому и весёлому городу. Уютная, удобная, почти в центре, и на бережок можно выйти, природой полюбоваться—спасибо власти за щедрый подарок. Шашлыки, кстати, были неважнецкие, и, по утверждению остряков, делали их из собачатины, поскольку в соседней Покровке и «Кронштадте» бегали и плодились своры бесхозных псов. Если даже и так? Люди шли не столько на шашлыки, сколько на пиво, которое туда пусть и не каждый день, но завозили частенько.

Первое время в шашлычной можно было сидеть. Если приходила большая компания—занимала столик, сдвигала к нему свободные стулья, кто-то доставал из портфеля прихваченное «на всякий случай» нечто покрепче, и разговаривали основательно, так что другим посетителям сидячих мест не хватало. Хозяева быстро сообразили убрать стулья и заменить низкие столы на высокие, с маленькими круглыми столешницами. Пропускная способность заметно увеличилась. В хорошую погоду сполна использовалась и ничейная земля вокруг шашлычной. И стоящие поблизости заборы ещё не снесённых частных домишек служили моральным прикрытием для тех, кому приспичило,—народец-то непритязательный. В десяти минутах ходу стоял трест «Сибэнергоцветмет»—а это монтажники, наладчики и прочая беспартийная техническая интеллигенция. Чуть дальше—мединститут с оравой недисциплинированных студентов и аэропорт с уставшими после рейса лётчиками. Можно сказать, что любителям самого демократического напитка такое соседство было по душе. Разливное пиво в ту пору стоило двадцать четыре копейки, бутылочное—тридцать семь, а с наценкой заведения—сорок, и бутылку можно было сдать там же, в шашлычной. Правда, принимали не всегда и сдавали не все.

Возле каждой обжитой пивной точки обязательно обитал городской юродивый, которого знали по имени. На железнодорожном вокзале, помнится, хозяйничал Коля. В шашлычной прижился Серёжа, плотный мужичок с густыми седыми патлами. Вроде и недоразвитый, но как-то усвоил, что стоять над душой и ждать, когда освободится бутылка, рискованно—за это можно было заработать окрик, чтобы не портил аппетита. Всегда выжидал в сторонке и хватал тару только после того, как её поставят на пол. Обменяв пустые бутылки на полную, он уже с чувством полноправного посетителя высматривал свободное место за столиком. Бутылки открывали о крюки, прикреплённые снизу к столешницам. И случилось, что Серёже не повезло—попалась плотно закатанная пробка. Он прилаживал её к крюку, дёргал, а она соскальзывала. Раз, другой, третий—бесполезно, пробка не поддавалась. Даже руку поранил. Увидел кровь и захныкал. Мужчина в лётной форме вальяжно подошёл к нему, забрал бутылку и попробовал открыть её обручальным кольцом—был в те годы модный трюк у самодостаточных мужиков, которых теперь принято называть «мачо». Хотел красиво, но не получилось. Тогда, уже без пижонства, попытался открыть о край стола, И снова осечка. За ним наблюдала вся шашлычная. А отступать он явно не привык. Осмотрелся, увидел дверную ручку с плоской гранью, приладил пробку возле основания и резко ударил ладонью. Пробка не слетела, но откололось горлышко. Серёжа увидел, как оно катится по полу, и его хныканье перешло в истеричный вой. Публика, готовая засмеяться, быстро притихла, а Серёжа продолжал выть. Разрулил ситуацию всё тот же лётчик—потрепал блаженного по плечу и отдал бутылку со своего стола, демонстративно открыв её перед этим обручальным кольцом. Как писал Евтушенко, «ссорит нас водка, братцы, пиво сближает людей». И они сближались.

Всякое можно было услышать возле столиков: и горькую исповедь об измене жены, и якобы утешающее—мол, ничего страшного, я неделю как из командировки вернулся, а жену ещё ни разу не ублажил, потому что после работы сюда—мужики съехались, послушать охота и самому рассказать, домой возвращаюсь еле живой и засыпаю на диване, не успев снять штаны. За одним столиком—жалобы на дурного начальника, за другим—на вредную тёщу, за третьим—на продажное

хоккейное судейство… В общем, нормальная атмосфера советской пивной.

Но продержалась шашлычная недолго. В восемьдесят втором году её снесли, а заодно с ней и деревянные домишки, стоявшие поблизости. Освободившуюся площадку быстро облагородили и воздвигли на ней бюст Константину Устиновичу Черненко. Прописанных в домах «под снос» было чуть ли не по душе на квадратный метр, все они получили благоустроенные квартиры, и всё равно счастливчиков было ничтожно мало по сравнению с «обездоленными» посетителями шашлычной. Лишённые любимого заведения роптали. Народ не замедлил откликнуться. По городу загуляла фраза: «Где стол был яств, там бюст стоит». Говорили, что запустил её какой-то журналист. Намекали, что знают конкретного автора, однако имя не называли. Времена были более-менее свободными, но про срокá за анекдоты ещё помнили. Впрочем, эпиграф к одной из глав «Дубровского»: «Где стол был яств, там гроб стоит»,—знали не только журналисты. Народ в те годы был начитанным.

Установка бюста нисколько не противоречила советским законам. Константина Устиновича в связи с семидесятилетием наградили второй Звездой Героя Социалистического Труда. Недаром же он успешно работал в молодости под руководством будущего пятирежды героя Брежнева. Но без нарушения регламента обойтись не смогли. Бюст должен был стоять на родине Героя, в деревне Большая Тесь, которая, к несчастью, давно находилась на дне Красноярского моря. Бывшие завсегдатаи шашлычной подшучивали, что для восстановления исторической справедливости бюст необходимо перенести на законное место, только раскошеливаться на водолазов никто не хотел, да и не по карману была такая акция рядовым любителям пива.

От бессилия люди частенько перестают контролировать себя и творят явные глупости. В одну из ночей на голову Героя вылили ведро краски. Бюст срочно закрыли холстом, демонтировали и спрятали в краеведческом музее. В это время столицу КАТЭКа Шарыпово переименовали в Черненко. Бюст хотели перевезти туда, но пока собирались, городу вернули «девичью фамилию» (вслед за Набережными Челнами и Рыбинском). Тогдашний губернатор Зубов подарил бюст главе администрации Новосёловского района. Выставлять его на всеобщее обозрение после ведра краски чиновник не рискнул и держал бюст у себя в кабинете. Может быть, в трудные минуты советовался со старшим товарищем, как управлять районом,—всё-таки человек пусть и недолго, но возглавлял крупнейшее в мире государство. Когда бури утихли, было решено возвратить вождя его бывшим подданным. И народ воспринял это без возмущения, даже с гордостью: всё-таки единственный земляк, сумевший сделать такую головокружительную карьеру.

А недовольные, как это часто случается, роптали не по адресу. Шашлычная была обречена. За два года до того, как Черненко получил вторую Звезду, по инициативе главного архитектора города Демирханова начались работы по проектированию большого ансамбля на Стрелке, и здание КАТЭКНИИ должно было стать символом Красноярска. Честолюбивые краевые власти поддержали смелого архитектора. Стометровая свеча могла стать самым высоким зданием за Уралом. Но скоро сказка сказывается, а с делом—постоянные непредвиденные сложности. Опыта не хватало. Сначала навалилась масса вопросов по фундаментам. Потом оказалось, что у нас нет крана, способного поднять груз на стометровую высоту. Стали искать выход. Узнали, что армянские строители разработали поэтапную технологию монтажа высоток. Поехали учиться в Армению. Освоили, преодолели—для сибиряков невыполнимых задач не существует. Начали строительство в восемьдесят третьем году, а закончили в восемьдесят девятом. И тут грянула перестройка—закончились деньги. Стройку заморозили.

В народных глубинах родилось очень точное имя для гигантского шедевра—*недоскрёб*. И стоял этот памятник советской архитектуры, похожий на фаллос, как символ недостроенного коммунизма, провоцируя домыслы и легенды.

Когда КАТЭКНИИ перестал существовать, здание выставили на торги. В смутные времена не до рискованных дорогих вложений. Покупатель нашёлся только в 2007 году. Начал переделки под свои цели и на свой вкус: убрал «шляпу», венчавшую здание, облицевал голубым стеклом. Но и у него закончились деньги.

И всё-таки выбор места для бюста был неслучаен. Он должен был придавать будущему архитектурному шедевру политическую солидность. После торжественного открытия возле бюста, по примеру крайкома, а если смотреть дальше—и Кремлёвской стены, были высажены голубые ели.

За долгие годы строительства ансамбля рядом с «недоскрёбом», без лишнего шума и суеты, возник китайский торговый центр—весьма популярное место для горожан. И получилось, что голубые ели, если верить в пророчества красноярского писателя Эдуарда Русакова, у которого в рассказе «Комендантский час» левобережье Красноярска находится на территории Китая, символизируют вовсе не кремлёвскую власть. Впрочем, ёлки успели постареть, голубизна иголок угадывается уже с трудом, зато ржавчина отмирающих веток, как перхоть в больных волосах, становится всё заметнее.

Лидия Сычёва

Перед исповедью

Вечер жизни

Палата была на пять мест, но в неё давно уже поставили шесть кроватей, а когда мест не хватало, так ещё приставляли топчан, и была такая теснота, что проходить можно было только бочком.

— К лю́дям относись хорошо — и они к тебе так же, — вещал маленький вдовец Черенков.

На всё у него было категоричное мнение, такое бесспорно-правильное, что ему никто и не возражал. Черенков любил спать под телевизор, он вообще его обожал, знал все программы, ведущих, их личную жизнь, одежду, пристрастия. Телевизор, огромную плазму, привёз Черенкову сын, водрузил на подоконник, и теперь истеричные звуки политических и бытовых шоу с раннего утра до поздней ночи не стихали в палате. Лишь обход врача прерывал показы: Черенков перед доктором благоговел, заискивал. Он очень хотел выздороветь и верил, что если точно выполнять назначения, то организм справится.

Черенков часто и много ел; на подоконнике, рядом с телевизором, у него весь угол был забит кульками и свёртками с печеньями и сладостями; он долго спал, убаюканный телевизором, и так громко храпел, что даже перебивал звуки рекламы, а в минуты активности любил поучать сопалатников. Воспаление лёгких он подхватил на рыбалке, которую страстно любил и мог рассказывать о ней часами. Он говорил, что во время особенно хорошего клёва его бросало то в жар, то в холод, вот он в азарте и подхватил простуду, а дальше — пошло-поехало.

— В наши годы надо беречься, уже не семнадцать лет, — вздыхая, изрекал Черенков.

О себе и своих максимах он был самого высокого мнения. Выше шёл только телевизор, который был и другом, и советчиком, и развлекателем. От одиночества телевизор стал его привычкой, и, совершенно забывая об окружающих, Черенков иногда разговаривал с завсегдатаями экрана, радуясь переменам в их жизни, бытовым новостям и остротам.

В паре с огромной чёрной плазмой Черенков доминировал в палате, изводя медийным террором других больных. Это были три безропотных деревенских старика разной степени ветхости, плюс молчаливый, мучавшийся животом Фёдор Сечкин, да ещё Петя в шортах песочного цвета — он лежал с бронхитом. Петя был человеком новой формации, он не принимал никакого участия в палатном общении, беседовал только с врачом — ухоженной и равнодушной женщиной, которую взволновать могли только благодарности в конвертах (для них на халате был нашит непрозрачный карман). В остальное время Петя лежал на кровати, уткнувшись в ноутбук и залепив уши наушниками, — сутками он смотрел сериалы, которых у него было закачано великое множество.

Кочерова привезли под вечер с тяжёлой полисегментарной пневмонией и положили сначала на топчан — мест не было. Утром, правда, быстро выписали одного из стариков, и Кочеров перебрался на кровать. Место было неудобное, напротив дверей, на самом сквозняке — из-за жары окно постоянно держали открытым. На следующий день, когда выписали ещё одного деда, лежавшего у стены, Кочеров не стал переезжать — у него уже не было сил.

Сначала он бодрился (боль сняли анальгетиками), заводил со всеми знакомства, спорил, доказывал своё (он был глуховат от перенесённого инсульта) и говорил громко, так что даже перекрывал телевизор; привязался к Пете, вызнал у него, что тот — торгаш средней руки, попытался взять номер телефона, чтобы проконсультироваться, как строить теплицу, но Петя номер не дал, а только пообещал:

— Потом, потом…

Петя был человеком расчётливым и сразу решил на «колхозников» не распыляться, не тратить силы.

От лекарств, от температуры, от боли Кочеров впадал в полузабытьё и вспоминал, как глупо всё вышло!.. Он копался в огороде, попал под сильный ливень, сразу начал кашлять, лечился народными средствами — пил чай с мёдом и травами, растирал грудь бараньим жиром, парил ноги на ночь в солёной воде. Вроде всё стало проходить, в груди не ломило. Через три дня снова вышел на огород — потравить колорадских жуков, и тут его скрутил такой сильный приступ боли в животе, что он потерял сознание. Очнулся уже в скорой — спасибо, соседи вызвали. А так бы и сдох между картофельных грядок, уткнувшись носом в землю.

Заросший пегой щетиной, весь в поту, со спутанными мокрыми волосами, в расстёгнутой клетчатой рубашке, в спортивных штанах, заправленных в домашние вязаные носки, Кочеров лежал на комковатом матрасе, застеленном латаной простынёй, и громко думал вслух:

— У меня дочь с зятем отдыхали на Багамах, а с ними за столом была пожилая пара американцев — негров. Им где-то по восемьдесят четыре, и они год назад поженились. У них уже десятое путешествие, никак друг другом не намилуются… Я это к чему говорю: по-разному живут пенсионеры в мире. Слышишь, Черенков?

Черенков слышал, но ничего не отвечал: рот его был набит пряником, он в очередной раз затеял чаепитие. Черенков воспринимал свою болезнь как досадное недоразумение, жизненный сбой. Он шёл на поправку, и Эльвира Львовна (лечащий врач) обещала ему скорую выписку, если в понедельник будет нормальный рентген. Всё шло хорошо, и вдруг привезли тяжёлого Кочерова, который дышит, как выброшенный на берег кашалот. Так можно и новую заразу подхватить! Из боязни инфекции Черенков теперь старался поменьше сидеть в палате. И уж тем более не вступать с беспокойным соседом в беседы.

— Сахарный диабет, гипертония, дискинезия кишечника, воспаление лёгких, — продолжал рассуждать вслух Кочеров, — целый букет. Могу ведь и ласты склеить запросто… А что, если это мои последние дни жизни? А вы — последние люди, которых я вижу на земле?.. Странно как всё… Температура жарит, внутри пёком… Я бы хотел остричься наголо, всё время волосы мокрые. Сдохну я или нет, как думаете? — обратился он к товарищам по палате, но больше — к себе. — Не хотелось бы… Вчера позвонил внук, сказал, что год закончил на пятёрки, спрашивал про свой старый велосипед… Обещал, что приедет, новые обода́ поставит… Я внука больше всего на свете люблю, да… Хотелось бы перед смертью его увидать…

И Кочеров впадал в плавающее, дурное состояние, которое он называл «кома».

Ближе к вечеру ему звонила дочь. Вся палата уже была в курсе, что дочь и зять Кочерова живут в Канаде, работают в хозчасти одной крутой фирмы, внук закончил третий класс, и в августе дочь с внуком должны точно приехать. А сейчас им сорваться с места никак невозможно: надо контракт расторгать, терять выгодную работу, — и Кочеров помирал (это понимали все, включая его самого) в полном одиночестве. Дочь что-то быстро и часто лопотала, Кочеров слушал её, слепив веки (по правде говоря, он плакал от боли и бессилия, но это было почти не видно, потому что слёзы тотчас смешивались с каплями пота, терялись в них); потом Кочеров собирал остатки воли и грубо говорил ей:

— Ну хватит болтать. Денежки капают, и немалые, — и, не дожидаясь слов прощания, обрубал связь.

Правда, Эльвира Львовна проявляла к состоянию Кочерова нерядовое внимание (видимо, дочь перевела ей деньги или как-то по-другому заинтересовала), так что нельзя сказать, что его не лечили. Ставили и капельницы, и уколы, и даже приходили ещё два врача из других отделений — для консилиума. Но болезнь развивалась, температура не падала, и с каждым днём Кочеров терял силы. Самолюбивый, властный, он не желал быть кому-то обязанным, но теперь, беспомощный, не могущий даже встать с постели, он полностью зависел от чужих людей: от настроения нянечки, выполнявшей самую грязную и стыдную работу — она подавала и выносила из-под него судно; от медсестёр, которые кололи, кто больно, кто бережно, его набрякшее тело; от соседей по палате, что приносили ему казённую еду или звали персонал, когда кончалась капельница; от посетителей, приходивших к другим пациентам, — одни вели себя шумно, «давили на мозг», другие, напротив, были тихи и скромны, журчали ручейками, и под их речь он забывался и вроде даже отдыхал.

Каждого нового человека он видел теперь выпукло, объёмно, как бы под увеличительным стеклом, а жизнь его представлялась ему при таком тщательном рассмотрении корявым недоразумением, нелепой, кособокой избушкой, построенной без плана и толка.

Он смотрел на своё прошлое издалека, отстранённо, и — изумлялся: как бестолково он прожил!.. Это был крах, полный крах его жизни. Внутренне Кочеров признал поражение и смирился с ним. Он не умирал только потому, что теперь против болезни и смерти боролся не он, разгромленный и побеждённый человек, а сама природа, частью которой он был. Кочеров всю жизнь проработал на земле и в минуты просветления думал о своих сараях, где и что надо бы в них подправить, пока лето, о том, что он тут валяется, а картошку, небось, сожрали жуки, что яблок в этом году будет тьма и что хорошо, что перепадают дожди, — огород выстоит и без полива. «Ничего… Кому-то добро достанется… Не пропадёт», — трезво думал он.

Но всё же, даже такой, брошенный, раздавленный болезнью, он всё равно пытался верховодить в палате. Все, кроме Пети с бронхитом, пребывающем в виртуальном мире, рассказывали случаи из своей жизни. Вот и он вспомнил забавное:

— У нас есть речка небольшая, неширокая, я к ней на тракторе подъехал с одной стороны прямо к воде, потом не поленился, объехал далековато по мосту, с другой стороны этот же трюк повторил. И по следу получалось, вроде как я её на тракторе переехал. Показываю бригадиру: «Миша, видишь, как я путь сократил! Я ж танкистом в армии

служил, не то что ты—стройбат». И он, дурак, полез!—Кочеров засмеялся, в груди у него забулькало, заклокотало, он закашлялся.—Он ка-а-ак застрял на середине, как завяз в иле! Материт меня страшно, ругает, проклинает, а мы с ребятами на берегу покатываемся. Ну, пригнали гусеничный трактор, кое-как выдернули его. Я потом к ним на бригаду месяц не показывался—он меня побить обещал.

—За хулиганство могли тебя и привлечь, и оштрафовать,—осуждающе заметил Черенков.—Надо жить по закону, по-человечески к лю́дям относиться.

Кочеров шумно вздохнул—возражать на такую глупость у него не было сил.

В палату заглянула медсестра, которую все даже в глаза звали Нюся-добрая (она была румяной, улыбчивой и всегда попадала в вену с первого раза):

—Кочеров, к вам пришли.

Из-за её спины испуганно выглядывала Света Ильичёва.

...Теперь он лежал на домашнем покрывале, на свежей, пахнущей ветром наволочке, всем предлагал чай из липы, душицы, мяты и шиповника—удивительно пахучий, целебный.

—Это всё у меня во дворе растёт! Пробуйте! А моцарелла домашняя?.. Я год козу выбирал, чтобы вкус у молока был хороший.

Как он был рад, что теперь у него есть что-то своё и что это малое он может отдать для всех, поделиться, как делились до этого с ним!..

—Чё ж, это баба твоя была?—заинтересованно спрашивал у Кочерова девяностолетний старик Чуев, которому до всего было дело.

—Нет,—мялся Кочеров. (Врать он не любил.)

—А похожа на бабу,—рассуждал дед, смирно лёжа на спине и сложив «по-ленински» руки на груди.—Симпатичная женщина, аккуратная. И вообще...—тут старик Чуев делал неопределённый финт рукой в воздухе. В лице его проявлялось нечто загадочно-плутоватое.

—Знакомая,—открывался Кочеров, удивляясь своей откровенности.—С женой я давно разошёлся, она в город уехала.

—А с этой дружите?—вкрадчиво интересовался старик Чуев.—Или соседствуете?

—По-разному,—отвечал Кочеров и чувствовал, что силы оставляют его, но как-то по-другому, чем в прежние дни.

Он уходил в сон, и так ему было хорошо, уютно, будто он был маленьким мальчиком, и после обид, несправедливости его наконец-то утешил, пожалел и пообещал защиту кто-то большой и сильный—старший брат, например. Или отец. И теперь он чувствовал, что он—не один, и от благодарности этому невидимому защитнику было тепло в глазах и в груди, но слёз уже не было, да и сил—тоже.

Наутро был понедельник, и всё переменилось. Черенкова не выписали, хотя рентген пришёл хороший; зато анализы—плохие.

Кочерову посоветовали настроиться на долгое лечение.

—Хорошо хоть не на кладбище,—буркнул он.

Выписали Петю с затяжным бронхитом: «У вас всё стабильно, будете наблюдаться амбулаторно».

Угрюмому Феде Сечкину пригрозили лишением больничного и штрафом—на выходных он нарушал режим, убегал домой. («Я помыться, на этаже душ не работает».—«Ничего, за неделю не завшивеете».)

Старику Чуеву, который жаловался на «вздутие живота», диагностировали пневмонию и запугали ужасами, если он будет отрицать антибиотики и другие таблетки (дед их выбрасывал в туалет, утверждая, что «пилюли убивают»; он верил только в уколы и капельницы).

Но главное—в палату заселили ещё двоих. Сразу стало тесно.

Сначала привезли парня-шабашника с разбитой головой, с сотрясением мозга—упал на стройке. Возле него хлопотала моложавая мать, отводила в сторону Эльвиру Львовну, плакала, совала свёрнутые рулетиком деньги в карман халата. Саша (так звали парня), лежал, скрючившись в позе эмбриона, с мертвенно-зеленоватым лицом. У него ещё были огромные синяки на боку, ушиб колена.

—Крепко попал парень,—уважительно хрипел Кочеров.

—Надо соблюдать технику безопасности, каску надевать,—назидал Черенков.

—Молодой, выживет,—обнадёжил старик Чуев.—Зарастёт как на собаке.

На моменте обсуждения Сашиных перспектив дверь открылась, и в проёме появилось новое лицо, которое сразу привлекло общее внимание.

Это был немолодой, высокий и широкоплечий мужчина в кипенно-белой сорочке, в светлых брюках, купленных явно не на местном рынке, в остроносых кремовых туфлях «сеточкой». В руке у него была коричневая трость, украшенная золотыми пластинами, на которую незнакомец опирался с большим достоинством. Крепкая, с большой лысиной голова, отчего его чистый, без морщин, лоб казался ещё больше, правильные сухие черты лица (нос с лёгкой горбинкой придавал незнакомцу властное, даже хищное выражение), волосы цвета чернёного серебра на висках и затылке, серые широко посаженные глаза,—весь его облик порождал впечатление чего-то неуловимо знакомого, как если бы перед публикой внезапно, без подготовки и представления, появился популярный артист.

Незнакомец ослеплял: дорогая «маркая» одежда, горделивая осанка, грозный, инспектирующий

взор, коим пришелец окинул жалкий интерьер «богоугодного заведения»,—всё выдавало в нём нерядового человека. Он будто шагнул в палату для бедняков из мира состоятельных и уверенных в себе мужчин. Всё в нём дышало изысканностью и победительной силой—и лицо, и фигура, и одежда, и манеры.

— Здравствуйте!—выговорил он густым, исполненным значительности голосом.—Будем знакомы: меня зовут Александр Рудольфович.

И он не спеша двинулся в угол, где уже два дня пустовала кровать.

Следом, скромно вымолвив: «Здрасьте»,—пробиралась миловидная молодая женщина с дорожной сумкой.

— Леночка, оставь вещи здесь,—ласково сказал ей «господин».—Ступай по своим делам. Когда будут новости, я тебя извещу,—и он подставил женщине замечательно выбритую щёку для поцелуя.

Леночка благоговейно и целомудренно, будто это был священник, чуть коснулась его щеки и, воспитанно кивнув всем на прощание, безмолвно отбыла.

Новенький не торопясь достал из сумки синюю, в мелкий рубчик, пижаму, новые домашние тапочки такого же цвета и не спеша, так что все обитатели оценили его увядающее, но всё ещё мускулистое тело, тронутое ровным загаром, переоделся. На шее у него блестела серебряная плоская цепь с крестом самой простой формы. Новый пациент аккуратно сложил вещи, спрятал их и с чувством глубокого довольства жизнью и собой вытянулся на кровати.

Тут же, как из-под земли, мгновенно возникла Эльвира Львовна, стала мерить давление, щупать пульс, слушать лёгкие и вообще крутилась возле него так, будто это был только что вернувшийся с Марса космонавт, не меньше.

Окончив манипуляции с новеньким, врач окинула взглядом палату и сухо приказала Черенкову:

— Телевизор, пожалуйста, уберите. Вы разве не знаете, что для коллективных просмотров в лечебных учреждениях выделены холлы?

И, едва коснувшись ухоженными пальчиками сотрясённой головы шабашника Саши, Эльвира Львовна царственно покинула палату.

Установилась напряжённая, гнетущая тишина. Черенков переживал обиду, которую ему сейчас публично нанесли, и с отчаянием смотрел на мёртвый экран плазмы. Федя Сечкин разглядывал «хиромантию» трещин на потолке и думал, какая же эта врачиха коза, с которой, вообще говоря, он жил на одной улице: «За мужиком бы своим лучше следила, а не за мной!» (Федя знал, что муж Эльвиры Львовны, инженер-дорожник, гуляет с молодухой, что, впрочем, на взгляд Сечкина, тот делал совершенно правильно.) Кочеров медленно погружался в «кому»—опять накатывал жар, пекло в животе. Всё так же скукожившись, закусив сизые губы, тряссся в ознобе Саша-шабашник.

И тогда старик Чуев сел на кровати и вперил строгий взгляд в новенького. Поймав ответный сигнал внимания от респектабельного пациента, он уважительно спросил:

— А вы что же, из начальников будете?

— Нет. Я механик,—новенький отвечал охотно, без важности.—На пенсии давно, но иногда работаю частным образом.

— А-а-а... Понятно,—в голосе деда послышалось разочарование.—А больной вы чем?

— Сердце. Кардиология.

— У-у, это серьёзно,—вздохнул старик Чуев.—Да... Да...

Снова повисла пауза.

— Значит, женщина, что с вами приходила, начальница?!..—вдруг озарило Чуева.

Новенький рассмеялся.

— Нет, это невестка моя, Леночка. В налоговой работает. Но вообще вы правы: большой начальник в моей семье есть. Вот как раз звонит.

Он нажал на кнопку мобильного и даже встал, отвечая кратко, по-военному:

— Да. Нет. Хорошо. Нормально. Назначили. Всё сделаю.

Палата тревожно наблюдала за разговором.

— Галочка, милая, я уже скучаю по борщу с пампушками!—вдруг вскричал, явно играя на публику, Александр Рудольфович.—По горяченькому! И сметанку—отдельно! И лучку зелёного не забудь! Целую тебя, моя радость! Жду! Люблю!..

— Жена,—довольно пояснил Александр Рудольфович, когда разговор был окончен.—Мой главный начальник и командир! Эх,—он с наслаждением потянулся, раскинув большие красивые руки в стороны,—Галочка ты моя сизокрылая!.. Пташка любимая!..

...Интересно, как один человек, вроде бы не прилагая никаких усилий, может перестроить жизнь многих! Только сутки новенький в палате, а всё радикально изменилось. Так добрый садовник одним саженцам даёт влагу, других освобождает от сорняков, третьих пересаживает на солнце, четвёртым укрепляет почву. Он восхищался оптимизмом Черенкова и хвалил хозяйственность Кочерова, выказывал почтение старику Чуеву («Молодёжь с вас должна брать пример!») и отдавал должное самообладанию Феди Сечкина, подбодрил Сашу-шабашника («Молодец, не нытик!»), а его матери тотчас посоветовал толкового врача-невролога из этой же больницы. И доктор—да, действительно помог, показал приёмы самомассажа, снимающего боль.

В каждом из своих соседей Александр Рудольфович так точно подметил хорошее, что все уверились: судьба не случайно свела их вместе. Такие достойные люди обязательно победят болезнь,

выздоровеют и через годы будут вспоминать эти дни с приязнью и добрым чувством, как о совместно пережитом стихийном бедствии.

И, когда Александра Рудольфовича увели на обследование в другой корпус, в палате сразу стало скучно, одиноко, как будто вместе с ним ушло что-то значительное, принадлежавшее всем. Кочеров лежал, думал о том, что в любом мужском коллективе (а он всю жизнь с мужиками работал в бригаде) всегда проявляется вожак. Звание это добывается в соперничестве; ему, например, и морды приходилось бить, и работать как зверю, чтобы доказать первенство. Или—он вспомнил, как заехал сюда,—надо одной ногой в могиле стоять. А тут—пожалуйста, явился «белый и пушистый» и всех взял играючи. Обаял. Или заболтал. А чем?.. Непонятно. «За явным превосходством»,—вспомнил он спортивный комментарий. «Победил нокаутом»,—вздыхал Кочеров.

Черенков грустил, сидя на кровати. Утром приехал сын, забрал плазму. Подоконник сразу опустел. Чай пить тоже не хотелось. От скуки Черенков взял в руки рекламную газету, стал читать объявления вслух, попутно их комментируя:

— «Продаётся дом с гаражом, газ подведён, участок двадцать две сотки». Да там и сдохнешь, на этих сотках. Утром встал, во двор вышел, а вечером зашёл—и не поймёшь, что делал... Не, дураков нету. «Отдам котят в хорошие руки, четыре мальчика, две девочки». Да утопи ты их, чё ты по газетам объявления даёшь, людей будоражишь?!.. «Куплю пшеницу». Ага, жди, кто же тебе продаст теперь. Надумал в июне месяце. «Материально обеспечен, вдовец, шестьдесят лет. Познакомлюсь с серьёзной женщиной для создания семьи». Прямо как про меня...—Черенков задумался.—А если я ещё двадцать лет жить буду? Здоровье у меня крепкое, тьфу-тьфу-тьфу. Прямо хоть женись. Саш, у тебя невеста есть?

— Я и женатый уже был... Развёлся,—мрачно отвечал Саша.

— А чё так?—старик Чуев аж приподнялся на кровати, чтобы лучше его слышать.—Готовила плохо?..

— Нет,—Саша повернулся на бок, лицо его исказилось гримасой боли.—Я вот даже не пойму теперь, честно говоря, из-за чего. Ругались всё время.

— Из-за денег, небось?—прохрипел Кочеров.—Среди баб много жадных.

Тут же он вспомнил Свету Ильичёву, которая вчера звонила и обещала прийти ещё, принести ему вещи и домашнего творога, и торопливо поправился:

— Но не все, конечно.

— Нет, не из-за денег,—думал вслух Саша, морща лоб.—Я, знаете, даже понять теперь не могу. Из-за глупости, мелочей. Дурак я, наверно, был.

— Видишь, упал и поумнел,—заметил Черенков, и все рассмеялись—так это было точно сказано.

— Баба в доме должна быть,—рассуждал старик Чуев.—Если ты самостоятельный мужчина, то без бабы—никуда. Вон Федя—весь больной, врачи никак не поймуть чем, какой орган воспалён, а он на выходные—к жёнке под бочок!

Сечкин только хмыкнул.

— Кха-ха,—засмеялся и закашлялся Кочеров.

— Подлечился!—развеселился Черенков.—Она ему спину потёрла...

— Эротический массаж,—не удержался Саша.

В самый разгар палатного веселья вернулся Александр Рудольфович.

— Вы, я вижу, не скучаете?

— Баб обсуждаем!

— Теоретики,—он усмехнулся.—А ко мне Галочка приходила! Мы с ней в столовой посидели, она меня борщом с пампушками покормила. Божественно, друзья! Огненное блюдо!.. Хотя врач меня ограничивает: и острого нельзя, и женщину нельзя... В любой момент могу крякнуть,—и он глубоко вздохнул.

— А на вид вроде крепкий!—подивился Кочеров.

— Был крепкий! Запросто по мешку цемента под мышкой нёс. Куда всё ушло?.. Друзья, Галя мне голубцы приготовила. Берите, хватит всем. Вечером ко мне внук придёт с провизией, не стесняйтесь.

— Я, пожалуй, не откажусь,—извиняюще сказал Черенков.—Соскучился по домашней пище. Ого! Это не голубец, а...

— Атомная бомба,—рассмеялся Александр Рудольфович.—У Гали всё глобально, такая она у меня. Берите, пробуйте.

Он так радушно приглашал, что все потянулись за угощением. Даже Федя Сечкин не удержался.

— Хорошо!—подвёл итог старик Чуев.—Хозяйка! Дай Бог ей здоровья.

— Я, ребята, почему не помираю?—Александр Рудольфович сел на кровать, подложил под спину подушку и привалился к стене, заведя руки за голову и сомкнув их в замок.—Не хочу, чтоб моя Галя кому-то досталась,—он обвёл всю компанию острым взглядом.—Я за ней два с половиной года ухаживал!..

— И как у вас терпения хватило?..—удивился Саша.

— Эх, ничего-то вы, молодёжь, не понимаете. А потом на каждой кочке спотыкаетесь,—Александр Рудольфович сменил позу, сел на кровати по-турецки, опершись руками о колени.—Запомните, Саша, любимая женщина—крылья вашей жизни. Он неё зависит высота полёта,—он разбойно подмигнул побитому тёзке.—А ещё—мягкость вашей посадки.

Мужики одобрительно загомонили, оценив шутку.

Александр Рудольфович замолчал, как бы взвешивая, что именно ему говорить и как, и после паузы, словно вглядываясь вдаль, начал:

— До тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года семья наша жила за колючей проволокой. Родители мои — чистокровные немцы, а в войну, как вы знаете, немцев стали выселять — на Урал, в Сибирь, в Казахстан. Нашу семью загнали аж под Караганду. Там много было ссыльных, в том числе и политических. Люди жили в землянках, родители мои работали на руднике. После смерти Сталина стало полегче — немцы отстроились, и наши посёлки до самого развала Союза продержались. Но не об этом речь. В семнадцать лет я уже вовсю ухаживал за девушками. Сначала за красавицей Катериной. У меня был друг Гена, смешливый парень, лёгкий на подъём. И вот мы пошли втроём в кино, Катерина между нами сидит. Вдруг я вижу, что она начинает с Геной кокетничать. Я на это дело не особо внимания обратил — мы уже год с Катериной дружили, дело к свадьбе шло, родители её во мне души не чаяли, так что чувствовал я себя весьма уверенно. Ладно. Закончилось кино, пошли мы провожать Катерину, и тут меня ребята с нашей улицы окликнули. Я отошёл к парням минут на пять, не больше. Возвращаюсь. И что же я вижу?! Гена и Катерина вовсю целуются! Вот тебе и друг!.. Плюнул я на это дело, развернулся и ушёл. (Катерина потом целый год за мной бегала, умоляла: вернись! Мол, это у неё случайно вышло. И плакала, и родителей насылала, но всё — бесполезно. Мои чувства к ней как отрезало, когда я её с Геной увидел. Говорю: «Гуляй, гуляй, а до губ не допускай!» Гена, кстати, её бросил. Она потом замуж вышла за сварщика, а он оказался алкоголик, — в общем, пропала по глупости.) И вот я иду по улице после этого происшествия, молодой семнадцатилетний лось, разъярённый донельзя. Иду пусть не с разбитым сердцем — говорю же, как отрезало, когда увидел их поцелуи, но — с пустотой в душе. С ожесточением. Что ни говори, а предательство — ранит. Я — человек в любви точный, а тут ни с того ни с сего — такая подлость. И от кого? От лучшего друга и от девушки, на которой я собирался жениться!.. Шагаю в расстроенных чувствах, а вокруг — весна бушует, сады цветут, парочки на скамейках шушукаются. И вдруг я слышу — из открытого окна музыка льётся. У нас целые улицы состояли из бараков, и вот в одном из них в угловой комнате играет патефон, пластинку крутят, женский смех доносится. Наверное, девчонки танцы затеяли. А я до танцев был огромный охотник. Стучу — тук-тук — в створку раскрытого окна. Выглядывает нарядная девушка, блондинка с открытки. Завитая, губки накрашены сердечком, голубая блузка на ней с отложным воротничком. Я говорю: «Девушка, вам не скучно? Не составить ли вам компанию?» Она смеётся: «Заходите! Познакомимся». Я подтянулся на руках и — раз — перемахнул через подоконник. Так в окно и вошёл. С веткой сирени, которую попутно с куста сорвал. И тут я увидел — Галю!.. — Александр Рудольфович, погружённый в воспоминания, улыбнулся. Лицо его на мгновение совершенно переменилось, что-то мягкое и беззащитное проявилось в чертах. — А она — ещё красивей, чем Рая, с которой я только что разговаривал. Высокая, статная, а глаза... Никогда я таких живых и радостных глаз не видел! Я отвести от неё взгляда не мог. Онемел. Пропал. Две девушки, две красавицы, сёстры двоюродные, а ветка сирени — одна. Робея (хотя, вообще говоря, я рохлей не был), протянул я Гале цветы. Она рассмеялась: «Вы же к Рае в окно залезли! Какой ненадёжный кавалер!» До самого утра мы танцевали, пели, разговаривали. А потом я бегал за Галей два с половиной года!.. Подарки дарил, всех ухажёров от неё отвадил. А Галя меня всё равно к себе не подпускала. Работала она учётчицей на руднике. По вербовке приехала, жила у Раи на квартире. Та была постарше и очень хотела меня на себе женить. Даже напоила однажды до такого состояния, что я себя не помнил. Замуж она так и не вышла. Может, любила она меня?.. Не знаю. Где лаской, где натиском уломал я Галю, согласилась она за меня выйти. Матери написала письмо: мол, так и так, нашла себе в Казахстане парня. Та отвечает: «А он что же, казах?..» Мы с Галей смеялись до упаду. И поехал я жениться в её родную деревню Ивановку — такое у Гали было условие, чтобы мать благословила. Хотя мы разной веры, родители мои — лютеране.

— А им как, Галя нравилась? — спросил старик Чуев.

— Родители в мои дела не лезли. Отец у меня очень умный был. Когда я принёс первую зарплату с шахты, он сказал: «Всё, сынок, ты — мужчина, сам за себя отвечаешь». Ну вот, приехали мы в Ивановку, день отдохнули с дороги — путь неблизкий. А потом мать привела мне двух коней, выпросила их в колхозе, чтобы возить навоз на огород. Три телеги я вывез, раскидал, дело привычное. И себя показал: будущий зять — не белоручка, работать умеет. Вот такое у меня было сватовство. Мать жила одна, бедствовала, отец их бросил — ушёл к другой женщине. Он был мужик жёсткий, много горя хлебнул. Призвали его на войну парнем, служил в сапёрах, когда вернулся, женился на Галиной матери, но — не удержался. В округе в каждой деревне от него по ребёнку было. Одних детей он признал, в других — сомневался, кому-то помогал, мимо других проходил. После войны мужчин не было, а женщинам он нравился — видный собой и добытчик. А вот с Галей и матерью не сложились у него отношения. Погостевали мы две недели, в сельсовете расписались, втроём посидели за столом — вот и вся свадьба. Но я счастлив — медовый месяц!.. На крыльях летаю. Хатёнку тёще подлатал, заборы подправил, во дворе порядок навёл. И говорит мне тогда хитрая

Галя: «Не хочу я в Казахстан возвращаться. Там всё чужое. Давай тут на землю садиться». Во как! Выманила меня, окрутила, утешила, а теперь ещё в зятья захотела загнать!..
— Ловко! — Кочерова история до того завела, что он аж сел на кровати, развернувшись к рассказчику.
— Именно! Задумался я крепко. Слов нет, Галю я любил, но бабьим умом никогда не жил. С другой стороны — что мне Казахстан?.. Как ни крути, чужая земля. Зачем мне шахта, рудник? Работа каторжная, вредная. Говорю я тогда Гале: «У нас будут дети — чему они в деревне научатся? Навоз возить? Быкам хвосты крутить?!.. Переезжать, так в город. Хотя бы в райцентр. До Ивановки от него — сорок километров. Мать состарится, ей больница понадобится, уход, мы её тогда к себе заберём». — «А жить где? По углам скитаться?» — «Построимся».

Александр Рудольфович взял с тумбочки стакан с водой, жадно отхлебнул.

— Взволновали меня воспоминания! Ну, слушайте. Как мы строились — отдельная песня! Вдвоём дом поставили. Брёвна наверх тягали. Крышу железом крыли. Галя — молодец, никакой работы не боится. Доски строгали, я потолок два раза переделывал, не получилось у меня сначала, перекосил. А потом — дефицит же страшенный, всё надо доставать по великому блату, а я — человек чужой. Ну, наладил связи, знакомства. Спасибо, деньжата кое-какие были, на шахте заработал, мать Гали нам помогала, тянулась. Ну и на своём труде сэкономили, никаких мастеров не звали. И когда мы построили дом, я под каждым окном посадил куст сирени — в память о нашей первой встрече, — рассказчик улыбнулся Саше, который слушал его, не отводя глаз. — А летом подался в Сибирь, на лесоповале сезон оттрубил. Денег привёз, соболей Гале на воротник. Ни у кого такой красоты на плечах не было. Она у меня королевой ходила!.. В общем, подняли мы дом — превеликими трудами. Каждая щепочка в нём нашими руками перенянчена, каждый гвоздь памятен. В этом доме дети выросли: всё, как я хотел, Галя сделала — мальчика и девочку родила, Рудольфа и Анну. В честь моих родителей назвали. Хорошие дети, грех жаловаться. И к внукам пока претензий нет, — рассказчик рассмеялся.
— А они кем же считаются, немцами или русскими? — заинтересовался старик Чуев.
— А это — где как. В России мои дети — немцы, а в Германии — русские. Мы ж с Галей уезжали в фатерлянд, почти два года там прожили.
— Во как! — изумился Черенков. — А потом?
— Вернулись, — Александр Рудольфович развёл руками.
— Из Германии? — Кочеров подскочил. — Сюда? — он невольно обвёл палату взглядом. — Зачем?!..

Александр Рудольфович пожал плечами: мол, всякое в жизни бывает.

— Расскажите, интересно, — попросил Саша.
— Ну что вам сказать, молодой человек?.. — Александр Рудольфович в задумчивости потёр подбородок. — Сначала уехала моя старшая сестра вместе с семьёй. Муж у неё немец, дети немцы, и они быстро приспособились, привыкли, стали отправлять нам богатые посылки, евро переводить, звать в Германию. А в России был полный развал, безнадёга. И стал я агитировать Галю за переезд.
— А дом? — ужаснулся старик Чуев. — Как же дом?
— Вот именно! Галя мне говорит: ладно, поеду с тобой на Неметчину, ты мой муж, раз решил, так тому и быть. Но прошу тебя: дом не продавай пока. Пусть год-другой постоит. На всякий случай.
— А дети? — заинтересовался Кочеров.
— А с ними удивительно вышло. Дети уже взрослые были, они посоветовались между собой и говорят нам: вы поезжайте на разведку, посмотрите, а мы к вам пока в гости будем ездить. И за домом заодно приглядим. В общем, уехали мы с Галей. Сначала всё шло чин чином. Поселились в небольшом городке, в квартире двухкомнатной, власти нам социальное жильё выделили. Работа мне сразу нашлась: устроился на бойню, на мясокомбинат. Производство механизированное, язык я знаю. Никаких переработок, чистота, зарплата хорошая. В четыре часа дня я уже дома, можно своими делами заниматься. Сестра недалеко живёт — не на пустое место приехали. В магазинах — всего навалом. Материально — не бедствуем. Но... Стал я примечать, что Галя моя — сохнет. Скучает. Здесь она вышла из дома — сразу за тяпку, на огород. Или за лейку — в сад. Или на улицу — языком за соседку зацепилась. Или вскочила в маршрутку, поехала детей проведала, на внуков поглядела. А тут? Вышла на улицу — кругом одни каменюки, брусчатка. Пусто, как в тюрьме, все сидят по домам. Ну, в магазин сходила. А дальше что? И стала её есть тоска. А тут ещё случай вышел. Пошла она к соседке познакомиться и, чтобы завязать беседу, попросила соли. Та ей с каменным лицом сразу целую пачку вынесла. Сестра потом стала Гале объяснять: мол, дали понять, что с тобой вообще не хотят иметь дел. Езжай в супермаркет, набери продуктов и не ходи по чужим людям. Стала моя хохлушечка вянуть, — Александр Рудольфович вздохнул. — То она была как цветок лазоревый — яркая, броская, певучая, весёлая, а то вижу, что превращается в сухофрукт морщенный. По врачам тайком бегает. Сестра мне говорит по телефону: «Александр, у Гали нашли онкологию. Наверно, придётся ей грудь отрезать». Для меня эта весть — как гром с ясного неба. Но я жене вида не подал, что всё знаю, веду себя обычно. И вот мы сели в воскресенье с Галей за стол, покушали пельменей, выпили чайку крепкого, и я ей говорю: «Галя! Неужели ты думаешь, что мне Германия — дороже тебя?! Да плевал я на эти евро, на тряпки, на пиво,

на колбасу! Возвращаемся домой! Проживём. В бараках выжили, в землянках за колючей проволокой, а уж в своём доме голодными не будем!» Никогда я этот миг не забуду — как она вспыхнула! Как будто солнце её озарило! «Прости, — говорит, — меня». А я ей в ответ: «Я тебя люблю, я это могу хоть на Красной площади сказать, хоть в бундестаге. Всё, возвращаемся!»

— Вот это да! Как в кино! — восхитился Саша.

Глаза его сияли, он хотел ещё что-то сказать, но ничего значительного, равного услышанному, придумать не смог.

— А как же грудь? — озаботился Черенков.

— Обошлось, рак задушили таблетками. А потом, как решили мы возвращаться домой, так сразу Галя переменилась! Откуда и силы взялись. Говорит: «Надо отсюда вывезти всё по максимуму. Инструменты, у нас таких нет. Запчасти на машину. Консервы, муку, крупы. Технику бытовую. Одежду закупить — чтобы и на детей хватило, и внукам на вырост. Хорошо бы и „мерседес“ пригнать».

— Хозяйственная! — позавидовал Кочеров.

— О, этого у неё не отнять. Мы к отъезду из Германии полгода готовились. Мебель и крупные вещи контейнером отправили, детей к себе вызвали, чтобы они затоварились. И да, два «мерседеса» я пригнал. Почти новые, отличного качества. А ещё я вывез вальтер в разобранном состоянии. И патроны к нему. Ничего, жить можно! Даже в России.

— Ой-ёй! — ахнул старик Чуев.

— Круто! — Саша смотрел на рассказчика с обожанием.

— Закон нарушать — себе дороже, — боязливо заметил Черенков.

— М-да, — неопределённо сказал Кочеров.

(Ему должны были ставить капельницу, но медсестра что-то не приходила. «Ладно, полчаса туда, полчаса сюда — ничего страшного», — решил он. Уж очень ему хотелось дослушать интересный рассказ до конца.)

Федя Сечкин смотрел на немца с внимательным уважением. Федя в молодости служил по контракту в спецназе и кое-что повидал в жизни, о чём не только не любил распространяться, но и вообще предпочёл бы забыть. И да, у него тоже были припрятаны дома обрез и несколько гранат — на всякий случай.

То, что немец так запросто говорил про оружие, поразило его. В спецназе Федю приучили держать язык за зубами, и он теперь молчал даже там, где надо было говорить.

— Что касается закона, — продолжал Александр Рудольфович. — Пришёл я в милицию за разрешением на приобретение оружия. Там у меня всё нормально, знакомые ребята служат. Говорят: нет проблем, неси справку из больницы. Ладно. За пять минут я прошёл нарколога, остался психолог. Захожу в кабинет. Сидит древняя старушонка, на вид — невыразимо противная. Она мне с первой секунды не понравилась. Бывает же такая антипатия необъяснимая. И что вы думаете? Спрашивает меня скрипучим голоском: «Как вы живёте со своей женой?» Я как попёр на неё! Ну, не матом (всё-таки женщина — по крайней мере, когда-то ею была), но близко к этому. Говорю: «Какое твоё дело, сушёная каракатица, до моей личной жизни?! Ты кто? Специалист по импотенции? Сексолог-геронтолог? Ты — психолог. Занимайся своим делом и не лезь в чужую постель». А она мне: «Вы психически неуравновешенны. Это был стресс-тест. Я вам справку не дам». И — выползла из кабинета.

Александр Рудольфович изобразил эту сцену так достоверно, с таким артистизмом, что народ в палате лёг от хохота, а в дверь заглянула Эльвира Львовна, которая как раз шла мимо по коридору и удивилась столь небольничным звукам.

— Ну ладно. Я провёл расследование, всё про старую грымзу вызнал, и вечером приехал к ней домой. Захожу во дворик. Старушонка на веранде пьёт чай. Сын рядом сидит. Кстати, холостяк безнадёжный, ни разу женат не был, она его затюкала, затерроризировала, он полностью под её властью. Я, когда ехал, настроился на мирный лад. Думаю: дам ей взятку и дело улажу. Здороваюсь чинно. Говорю, так и так, мне нужна справка для разрешения на приобретение оружия, давайте этот вопрос обсудим в деловом ключе. Но тут — кто бы мог подумать?! — рассказчик развёл руками, — стал возникать сын! Хомяк, евнухоидного типа существо, — Александр Рудольфович обрисовал в воздухе жестами округлую фигуру. — Ни с того ни с сего начал наскакивать на меня: мол, зачем вы маму тревожите, она отдыхает, такие вопросы надо в рабочее время решать. Я ему говорю: заткнись! Будешь вякать, я тебя безо всякого оружия, голыми руками удавлю! Уйди ты отсюда, ради Бога, по-хорошему. Это вообще тебя не касается. И он — слился! Ушёл. Потому как трус первостатейный. А старушонка сжалась, сидит, губами жуёт. Потом всё-таки родила фразу, выдавила из себя, что справку она не даст ни за какие коврижки. А поскольку я был в ярости, то со страху сказала правду: ей «сверху» велели мне справку не выписывать. Люди из госбезопасности. Потому как я могу быть иностранным шпионом.

— Но не переживайте, вальтер я всё равно применил, — Александр Рудольфович усмехнулся. — Невестка у меня немножко на рынке торговала, к ней рэкет стал приставать. Она заплатила. На следующий день к ней опять амбал подкатил: мол, неси ещё, завтра приду за наличкой. Невестка прибежала ко мне жаловаться, рыдает, слёзы ручьём. Я говорю: ничего не бойся, приготовь деньги и веди себя как обычно. Пришёл я на рынок, сижу в сторонке, спокойно наблюдаю. Как только к ней

амбал подвалил, я на него сзади кинулся. Одной рукой за волосы схватил, а в другой у меня вальтер, ствол ему в рот воткнул. Говорю на ухо: «Если ты, паскуда, ещё раз тут объявишься, придут другие ребята, мы вас всех перевешаем в сосне». Он, пока слушал, обмочился весь. И—всё. Как рукой сняло! Никакого рэкета. Орднунг, порядок! Так-то, друзья,—и Александр Рудольфович легонько хлопает рукой по подушке.

Долгий летний вечер. Тихо в палате. Александр Рудольфович лежит на спине с закрытыми глазами, дышит ровно и спокойно, пижама распахнута, на широкой, правильной формы груди—серебряная цепочка с аскетичным лютеранским крестом.

Черенков смотрит в окно, в больничный двор. Он пуст. Но вот появилась нянечка с тележкой, везёт постельное бельё в стирку. «Как в сериале… Про больницу…»—и Черенков пытается вспомнить, где и когда он уже видел такую сцену.

Федя Сечкин думает, стараясь не обращать внимания на боль в правом боку. Думает он всегда медленно и основательно. Лечения здесь никакого, только блатным—это он понял. А Федя Эльвиру Львовну никак не заинтересовал. Ему не денег жалко, а просто не умеет он взятки давать. Стыдно. Ну и чёрт с ней. «Поголодаю с недельку, и всё пройдёт». Печень шалит, было уже такое. Посадил, дурак, по молодости. Некому было мозги вправить. Ну, ничего, прорвёмся. А немец—мужик серьёзный. Надо найти его после больницы, есть одно дельце.

Старик Чуев взволнован. Он крутится на кровати и так, и эдак. Его будоражат одновременно и прошлое, и настоящее, и будущее. Воспоминания яркими картинками проносятся в его сознании. Ему тоже есть что рассказать—про колхозы, про обиды от властей, про стройку дома и сараев, про родную деревню, ныне совершенно убитую.

А сколько родни было!.. И какие люди!.. Вон, у его отца—семь братьев и четыре сестры. Целая улица в деревне. Её так и звали: Михайлова улица. И церковь Михайловская на горе стояла. А как загнали в колхозы, на войне мужиков перебили, стали нищетой травить, трудоднями, налогами, и—нету улицы. Вот и посоревнуйся тут с германцем!

В настоящем же моменте Чуева тревожит то, что лечение несерьёзное, никакой боли он не чувствует, а только слабеет от лекарств и лежачего образа жизни. А у него, как всегда, тьма планов!.. И, думая о них, старик молодеет лицом и потирает в нетерпении руки: во дворе надо непременно развалить старый курятник, кур перевести в сарай, где раньше были овцы. Надо попилить старые дрючки на дрова, перенести шифер под навес, нанять частника, чтобы поглядел, почему в большой дождь на коридоре протекает крыша… «Может, Сашу?»—старик Чуев оценивающе поглядывает на шабашника-неудачника. «Много не возьмёт… Парень честный. А будет ли от него толк?»—старика терзает выбор между экономией и эффективностью.

Этих «надо» у Чуева—целый ворох, одно «надо» цепляется за другое, так что совершенно непонятно: отчего умирают люди, если у них столько неотложных дел?!

А Кочеров—мечтает. Вообще, он реалист, к грёзам не склонен. Но вот сегодня что-то его повело. «Похудеть бы, сбросить живот. Сразу сахар упадёт, и сердцу облегчение, кровь веселей побежит. Подстричься, в баньке попариться. Поставить новую лавку. (У него самая простецкая на улице—всё руки не доходили!..) Не лавку, а скамейку даже, со спинкой. Из новых досок. Болгаркой отшлифовать. Лаком покрыть? Нет, краска лучше, лак потрескается, шелушиться будет. Мы бы на этой скамейке сидели со Светой Ильичёвой. И глядели бы, как внук на велосипеде гоняет. А что? Дочь против не будет. Ей даже лучше, что отец при ком-то. А Света видишь какая гордая, ни разу не сказала: „Давай сойдёмся“. Не хочет свой двор бросать».

Кочеров так громко вздохнул, что у него кольнуло в груди. «Хотя, с другой стороны, понятно, своё всегда жалко». А хорошо бы сидеть вдвоём на лавочке и—ни о чём не думать, не разговаривать, а просто радоваться—ясному вечеру, родному человеку и что ты на свете не один, кому-то нужен, для кого-то живёшь.

Саша хмуро раскрашивает сеткой из йода свои синяки. Кто бы знал, каким одиноким и потерянным чувствует он себя сейчас!.. «Если бы у меня был отец… Нормальный… Вот такой, с вальтером, как немец… Или старший брат. Как Федя. Конкретный мужик, не трепло. Или хотя бы дед у меня был вроде старика Чуева. Чудной он, интересный».

А у Саши—никого нет, только мать.

Где же справедливость? Почему одним—всё, а другим—удар по черепушке? Мать весь его аванс за шабашку сунула врачихе. Заработал, называется!.. А всё бедность, кроссовки лысые были, скользкие, и вот результат.

Почему так? Судьба? На роду написано? Вон Абрамович—тоже сирота, а стал миллиардером. Хотя поглядишь на его рожу—не скажешь, что умный.

Сашу постоянно терзают эти мысли, и он не находит на них ответа. И тогда он «соскакивает с темы», отмахивается от неприятных вопросов. «Пойду попрошу градусник. Надо температуру померить».

Саша не признаётся даже себе: им сейчас движет вовсе не забота о здоровье. На дежурство заступила постовая медсестра, на которую и посмотреть—счастье. Как такие девушки вырастают? Глаза—голубые, а лицо—нежное-нежное. И кажется, что улыбается она только тебе и всё

про тебя знает, а вот сказать ты ей ничего не можешь… Саша достаёт из пакета чистую футболку, лихорадочно переодевается, приглаживает волосы рукой и тихо, не привлекая внимания, выскальзывает из палаты.

Эльвира Львовна сидит дома за письменным столом под большой, похожей на шатёр, настольной лампой. Вытащила из сумочки смятые купюры, сортирует их по номиналу, тщательно расправляя и разглаживая деньги. Она ведёт три палаты терапии, сегодня у неё неплохой улов.

Совесть Эльвиру Львовну почти не тревожит. Как говорится, кто на кого учился. Она, например, в мединституте чуть с ума не сошла, сколько ей надо было впахивать, чтобы стать врачом. Это теперь родители своим чадам дипломы покупают, а потом удивляются, почему в стране бардак. Ей, кстати, тоже надо собрать «транш», чтобы Игорь оплатил проваленный экзамен. Сын на втором курсе, в медакадемию идти не хотел категорически, вбил себе в голову, что он — музыкант, рвался в институт культуры. Но Эльвира Львовна пресекла фантазии. Сказала, что полностью лишит довольствия, если он будет игнорировать мед, где уже всё проплачено надёжным людям и такая сумма внесена, что вымолвить страшно.

Игорь, покуксившись, покорился. Он, вообще говоря, не дурак, хотя и учится через пень-колоду. Ничего, с дипломом не пропадёт. Сейчас помучается, зато всегда с куском хлеба будет, ещё скажет матери спасибо.

Эльвира Львовна втайне даже чуть-чуть гордилась собой: она не бездушный монстр, ни у кого деньги не вымогает. Тем более у бедняков. Отблагодарили — спасибо, нет — ну и ладно. Не то что анестезиолог Оськин, у которого такса на все операции расписана. Он сразу говорит пациентам: «Нет денег? Возьмите кредит, если жить хотите». Вроде в шутку, а народ приучил — без взятки в хирургию не соваться.

А так, если люди несут ей деньги, она не отказывается. Чай, не последние. И, кстати, выздоровление лучше идёт. Поскольку человек думает: я заплатил, значит, врач лечит внимательней. Хотя на самом деле что с деньгами, что без — всё одинаково. Разница — в степени любезности.

Поздно, а Володи всё нет. Эльвира Львовна стала звонить мужу, он сбросил вызов, прислал сообщение: «Дела. Скоро буду».

И такая муть — почти каждый день. «Что-то не то», — дурное предчувствие шевельнулось в душе, и тяжёлая тень заботы легла на ухоженное, моложавое лицо Эльвиры Львовны.

А летний вечер всё длился и длился.

Наступало время скошенных трав, тёплых, свежих, в которые хочется упасть и лежать, хочется даже есть их, хочется их обнимать — такие они сочные и зелёные!..

Ах, как благоухают эти травы! Так, наверное, бывает только один вечер в году, во время первого сенокоса, и оттого, что скошенные возле палисадников травы чуть запорошили дорожки, по которым ходят, гуляют, едут в детских колясках и на велосипедах дети и взрослые, весь мир похож на храм, каким он бывает на Троицу, когда весь храм — это огромный мир и когда вера — это свобода, открывающая любые двери.

Тёплые травы — тайна. Тёплые травы — тоска по несбывшемуся. Тёплые травы — любовь, жизнь, смерть и всё-таки — жизнь.

Закат в этот вечер был розовый, долгий, он окрасил округу в мягкий добрый цвет. Так бывает только однажды, потому что в природе ни один день не похож на другой, и это особенно заметно вечером, когда солнце прощается с людьми.

Это был вечер белых и розовых пионов, которые уже расцвели в палисадниках, и тонкий их аромат плыл над землёй, смешиваясь с запахами сочных свежих трав. И застенчиво, рясно цвёл пышный куст шиповника нежно-малиновыми благородными звёздами, так что от них невозможно было отвести глаз. И уже отошла сирень; только под окном у Гали рос особенный, упорный куст, где всё ещё сохранялись сизые, чуть подсохшие гроздья.

Это были поздние, стойкие, терпко и горько пахнущие соцветия.

Прекрасный вечер жизни стоял над землёй.

Новогодняя ночь

Я — мужчина пожилой, старый алкоголик, можно сказать. Пью, потому как уверенней себя чувствую в хмельном состоянии. Мир после двух-трёх рюмок улучшается волшебно: всё становится разноцветным, праздничным, чувства обостряются, как в молодости. Раскованным становлюсь, остроумным — женщины от меня в восторге (мне так кажется, во всяком случае).

На исходе советских лет преподавал я в спецшколе, детишек учил. Была у меня одарённая ученица — Ксения Лапко. Девочка из интеллигентной семьи, тоненькая, светленькая, глазищи — голубые чашки, умные-умные. Родители на неё дышать боялись, мечтали вырастить из неё гармоничного человека: Ксюша и балетом занималась, и рисованием, и катанием фигурным. Чистота в ней была необыкновенная, обаяние, доброта. Замечательная девочка: глубокая, нравственная.

С отцом её, Игорем, я дружил со студенческих лет. У нас было общее увлечение: байдарочные походы, песни у костра, альпинизм. Мы с юности заразились романтикой: ждали лета, чтобы с рюкзаками в Карелию — полюбоваться высоченными соснами, устремлёнными в синее небо, или на Байкал — припасть к его священным водам, или в горы — покорять вершины, парить над миром, побеждать себя, земное притяжение.

Ксения выросла, таланты её развиться не успели—она в восемнадцать лет вышла замуж по страстной любви, одного за другим родила четырёх детей. Муж её в «лихие девяностые» разбогател, развернулся. Не буду называть его фамилию—он в России человек известный, на заре своего «бизнеса» был близок к солнцевским бандитам. А теперь он—государственный муж, респектабельный господин из высшего общества, занимается благотворительностью, помогает молодым талантам—музыкантам, художникам. Денег у него—вагон. Ксения часто путешествует по миру с детьми, к светской жизни она равнодушна. А Игорю и его жене Зое благодарный зять выстроил дачку в Подмосковье.

И вот старый друг позвонил мне перед Новым годом, говорит:

— Приезжай, посидим у камина, встретим праздник вместе. Что ты один будешь куковать?

(Знает, что с женой я развёлся—из-за моей пьянки, денег нет—откуда они у пенсионера-забулдыги?—и вообще, у меня «всё в прошлом»—как у двух старушек на картине с таким же названием.)

Прислал мне Игорь к подъезду иномарку с водителем, двинулись мы за город. Въезжаем в элитный посёлок, возле шлагбаума—охранник в камуфляже с автоматом. Я хмыкнул: вот, мол, как от народа его радетели отгораживаются!.. Водитель смолчал, включил мне радио—классическую музыку, чтоб не раздражался я, значит. Едем, улица узенькая, по обе стороны—многометровые бетонные заборы. Да… Ну, правильно, зачем соседям чужое добро видеть?!

Вот и дачка Игоря. О-го-го!.. Сколько я ни считал, пять этажей получалось. И один подземный ещё—там гараж с подвалом.

Вошёл внутрь—охи, ахи, «давно не виделись!..». Постарел Игорь, лицо бледное, круги под глазами. Я тоже, понятно, не Фанфан-Тюльпан—хотя раньше меня с ним и сравнивали. Глянул на себя в зеркальную стену: бодрый старикашка, наполовину лысый, в сером костюме с Черкизовского рынка (первый раз за три года приоделся—всё повода не находилось).

Сели в каминной—большая зала, огонь потрескивает, ёлочка огоньками мигает, шкуры на полу лежат, лосиные и оленьи рога по стенам ветвистые тени отбрасывают, в центре стол круглый («Натуральный дуб!»—похвастался Игорь), Зоя в праздничном платье—соболя на плечах. Три официанта в белых перчатках вокруг нас хлопочут: один вино подливает (из французских погребов, сумасшедших денег стоит), другой осетрину несёт на вертеле, третий соусом потчует…

Пошла у нас застольная беседа—вокруг Ксении, понятно, других-то общих тем нету; где она сейчас (кажется, в Греции) и как жизнь у неё ладно сложилась; правда, рисование и музыку она совсем забросила, но женское ли это дело—творчество?.. Жалко, конечно, что внуков она дедушке и бабушке редко показывает, но зато дети с ранних лет повидают мир, порадуются новым впечатлениям. «А мы что видели?!» Я подумал: а как же романтика, Домбай, Кандалакша и Листвянка?—но промолчал из вежливости, дабы не разрушать семейной идиллии.

Я—человек, не жадный на еду, но, чтобы не обижать хозяев, попробовал я всяческих блюд заморских—продукты из дальних краёв привезены и специально нанятым поваром настряпаны. Хозяева угощают, видно, что от души. А мне, честно скажу, скучно с ними. Затосковал по своей компании: сейчас ребята, поди, у гастронома уже вовсю праздник встречают, разливают по маленькой… Душевно, на природе! А Игорь—парень чуткий, заметил во мне перемену, говорит:

— Давай выйдем, пройдёмся по свежему воздуху. Чего сидеть?

А ночь была… бархатная, тихая. Снег искристый. Сугробы голубые. Перед Новым годом над Москвой ледяной дождь пролился, деревья от подошвы до макушки—в ледяном панцире, а каждая веточка—в чистейшем хрустале. Глянешь на аллею—красота неземная, фантастическая; и тут же себя одёрнешь: а сколько деревьев погибнет, рухнет под тяжестью льда, замёрзнет—дышать-то им нечем!

Игорь меня по дорожке тащит к фонарному столбу кованому:

— Сейчас увидишь!

Стал в сугробе рыть, откопал четвертинку, из кармана две конфетки замурзанные вытащил. Подмигивает:

— Мне Зоя не разрешает крепкое, я прячу от неё. Выпьем?

Пижонит, под народ подделывается: мол, я—могу и по-простому, из горла, хоть у меня три официанта за столом прислуживают. Слаб человек—не отказался я. Игорь приободрился:

— А помнишь, как мы жили, как за котлетами по семь копеек в очереди стояли?

Я киваю. Он хорохорится:

— Сейчас ткни пальцем в глобус—куда хочешь, туда и полетим. Хоть завтра. Мировое турне. Мы же мечтали джунгли Амазонки посмотреть!

— Нет,—говорю,—поздно мне на Амазонку. Ничего не хочу.

Думаю: друг мой старый, какую туфту ты гонишь! Мы же пятьдесят лет знакомы, вместе и за котлетами стояли, и последний сухарь в походах делили, и к девчонкам в общежитие лазили, и театр на Таганке штурмовали, и забугорные «голоса» слушали, и в стройотрядах вкалывали…

Игоря развезло, он меня стал за грудки хватать, задираться:

— Ты мне завидуешь, да? Ксении повезло, при чём тут я?!
— Дурак ты,—говорю я ему.—Чему завидовать? Ну, сидите вы за забором, знать из себя изображаете. А страна-то голая из-за вас, уродов! По миллиону человек в год вымирает. Очнись, глянь вокруг себя, чмошник! Красота ваша—мёртвая, как эти деревья, в лёд закованные. Весна наступит—кругом сучья чёрные. А Ксения… Я как представлю дочь твою, чистую, непорочную, как она в одну постель с этим Каином ложится, вынашивает в себе детей его,—мне страшно становится! Ради чего такие жертвы?! Из-за денег? Ксения не такая, чтобы за тряпки и побрякушки продаться. Ради любви? Поди, давно прозрела, поняла, кто рядом. Значит, из-за детей терпит, мается; надеется из них людей вырастить…

Он отстал от меня. Потом… заплакал.
— Я,—говорит,—про это стараюсь не думать. От меня ничего не зависит. Зять мне фирму купил—научно-популярный журнал. Водитель привозит на работу, я достаю из сейфа бутылку и пью по рюмке в час. По пятьдесят грамм. Спать стараюсь пораньше лечь, чтобы Зоя не ругалась. Вот такая у меня жизнь. А Зоя купила на свои честные деньги избушку на Оке (по сравнению с нашей дачей—это тьфу, сарай), уезжает на лето, ходит там по грибы, по ягоды.

Я усмехнулся: у богатых—свои причуды. Игорь—четвертинку под фонарём закапывает, Зоя—«народную жизнь» изображает… Я-то им зачем?! Для «экзотики»? Вот, мол, с бедняком Новый год встретили, благотворительный ужин провели.

Игорь уже успокоился, даже вроде и протрезвел. Стал меня просвещать:
— Я в своём журнале фактически ничего не делаю, так, иногда статейку какую прочту. Одна заметка меня заинтересовала: в Израиле учёный антихриста по атомам собирает.
— Зачем?
— К концу света готовится. Он раньше трупы замораживал, чтобы оживить их через триста лет.

«Допился до белой горячки»,—думаю. А вслух:
— Я атеист, ни во что не верю.
— Правда?—Игорь так обрадовался, будто вместо одной зарытой чекушки две нашёл.
— Ничего «там» (я дёрнул головой вверх, показывая на небо) нету. Я своим друзьям-алкашам неоднократно эту теорему доказывал. Так что живи спокойно, не рыпайся. Расслабься и получай удовольствие в своём тереме. Кому что на роду написано, то и сбудется: судьбу не проведёшь.

А про себя подумал: «Всё равно, Игорь, ты—чмошник, прихвостень криминального капитала».

Вышло, вроде как я—батюшка и грехи ему отпустил. Да мне не жалко—всё ж таки человек катал меня на машине, кормил, поил, развлекал, да ещё и кусок жареной индейки с собой завернул.

Ну, засим мы и расстались. Водитель повёз меня домой (бедняга, Новый год в гараже встретил). На обратном пути я ему язык развязал. Рассказал:
— Нормальные хозяева, хотя и с причудами. Но главное, платят в срок, жалование не зажимают.

Вот такой у меня праздник вышел.

Вечером отварил я картошечки, огурчик солёный достал из банки, старой подруге позвонил, поздравил её с тем, что дошкандыбали мы с ней своими мозолистыми варикозными лапами до нынешних дней. Потом стал петь в трубку:

Ой, матушка, грустно мне,
Боярыня, скучно мне…

Пел всласть, почти выл, и чем больше пел, тем веселей мне становилось: живём, хлеб жуём!

Перед исповедью

Летом на Севере ночи поздние. Солнца уж нет, а небо—как перед рассветом. Сизое, тревожное. От озера веет свежестью, холодом. Оно рядом: поверни за кирпичную монастырскую стену—у каменистой тропинки плещется расплавленный свинец, седая, тяжёлая вода. Лодку редко когда увидишь—разве что на другом берегу, у сельца.

Древний монастырь отгородился от мира мощной крепостной стеной, по углам—сторожевые башни. Кругом—густая трава, кое-где—чащи лопуха.
— Обкосить бы надо,—кивает на заросли трудник Иван, староста странноприимного дома.

Он худ, костляв, тощие белые руки с выпирающими жилами до локтей покрыты татуировкой, поверх которой—страшные ожоговые пятна, розовые шрамы. Щёки его поросли редким седым волосом. Серые глаза смотрят выпукло, открыто. Одет в чистые мятые штаны, клетчатую рубашку. На груди—большой серебряный крест с чернью на тёмном шнурке.

Они сидят на лавочке возле странноприимного дома, в закутке у свежей поленницы. Слева—монастырские стены и башни, справа, через дорогу,—тёмный разрушенный собор. Чем-то зловещим, страшным веет от его поруганного нутра, и это впечатление с наступлением ночи лишь усиливается.

Иван курит, пряча руку с папиросой под скамейку.
— Грешен,—сокрушается он,—ничего не могу с собой поделать! У отца Феофила уже дважды благословление брал бросить—а видишь, как бес силён! На исповеди каюсь, каюсь, после причастия весь день и не вспоминаю про табак. А назавтра—ну хоть ложись помирай. Не могу без него. А каждый наш грешок—бесам в зачёт,—горько-осуждающе говорит он, поглядывая на своего соседа.

Паломник появился в монастыре утром, в толпе туристов. Пока голоногая, в шортах, орава

опоясывалась юбками напрокат, чтобы войти в храм и поставить свечи, пока любители красивых видов щёлкали фотоаппаратами и ловили картинку в окошки видеокамер, а детишки гонялись в теньке за одинокой бабочкой, он, единственный из всех, растерянно мялся у паперти. Ну, тут Бог ему Ивана и послал.

— Мне бы, друг, переночевать где…

Попал в точку! Иван привёл постояльца в паломническую гостиницу (по правде сказать, в старый, с тараканами и запахом погреба, дом), записал паспортные данные, определил в «келейку», выдал чистое (хоть и рваное местами) постельное бельишко и, наконец, объяснил Павлу правила:

— Жильё бесплатное, трапеза—в монастыре—тоже. Пьянствовать нельзя. Распутничать, непотребствовать—тоже. А раз поселился тут—неси послушание. Сейчас же выходим с тобой на монастырский огород…

Весь день паломник молча, старательно выполнял задания Ивана—травил гусениц на капусте, прореживал морковные гряды, поливал картошку. Видно было, что работа для него непривычна—городской, из Питера! А Иван и такому помощнику рад. Рассказывает:

— У меня за последнюю неделю—ты один нормальный. То бабы наедут больные (какая с них работа?! охи да ахи), то алкаш прибился (вечером поселил, утром выгнал—под кроватью две пустые чекушки нашёл), а то вообще художник попался. Крепкий мужик, с бородой. Утром, вижу, встал в пять утра, ну, думаю, вот это молельщик—к ранней службе идёт! Гляжу, он с ящиком рисовальным через плечо. Я ему: «Ты куда?» А он: «Я—человек некрещёный, мне это всё не нужно». Ах, так—ну и иди отсюда.

Постоялец глубоко, шумно вздыхает. Наконец говорит:

— А ты знаешь, я тоже с церковью не очень…

— Все мы тут не очень… были…—Иван усмехается.—Видал, какая биография?—он показывает свои руки.—Прошёл и Крым, и рым. За год (я десять месяцев тут,—поправляется он) какого только народу не перевидал! И наркоманы, и зэки, и блудницы, и депутаты, и капиталисты. Бог—милостив, никому не отказывает. Главное—верить.

Павел качает головой, и лицо его искажается гримасой боли.

— Не знаю,—говорит он.—Как это так: жил как хотел, ничего не признавал, а вот когда подпёрло—помоги, Господи?

— А ты верь,—мягко увещевает паломника Иван.—Меня отец Феофил как наставляет: верить—это самое трудное. Тяжело, конечно, разумом такое объять. Но разбойник на кресте в Христа уверовал—и в Царствие Небесное вошёл. Всем нам, грешным, урок.

Павел молчит. Голубые его льдистые глаза потемнели. Черты лица его не лишены приятности, мужественности, но иногда они словно замутняются, «стираются» внутренним настроением, спина его горбится, и тогда Павел начинает походить на большого измученного муравья.

— Не бойся,—подбадривает его Иван.—Помолишься, исповедуешься отцу Феофилу—глядишь, и полегчает, отпустит.

— Не знаю,—голос Павла жалко дрогнул.—Прощается ли такое?.. Человека убил я…

Но на Ивана, кажется, это откровение не произвело никакого впечатления. Он так же спокойно смотрит пред собой на смутно белеющие монастырские стены—грозно-домашние, массивно-устойчивые.

Поёрзав на скамейке и ещё раз шумно вздохнув, Павел продолжал:

— Началось это… А кто знает, когда это началось? Семья наша была безбожной. Отец—коммунист, всю жизнь на оборонном заводе мастером проработал. Мать—там же, табельщицей. Мы их с сестрой и не видели почти: с утра до вечера на производстве, работа—вот их религия. О Боге, естественно, разговоров не было. Что про это мракобесие толковать?! Твоя судьба—в твоих руках, все дороги открыты. Правда, нас с сестрой (мы двойняшки) окрестили ещё в детстве. Бабушка настояла. Уговорила мать: «На всякий случай…»

Я, конечно, ни во что «сверхъестественное» не верил. Хотя ещё с детства чуял: «что-то» есть. Отдыхали мы с отцом на Ладоге, ему путёвку от работы дали. А там такие виды… Большая вода, валуны времён великого оледенения и—небо, небо! Оно всё время движется, неспокойное. Будто говорит о чём. И я подумал: неужели всё это—просто так появилось, само собой?! От прибрежной сосны до вечной волны?! И вся красота сотворённая—смысла не имеет?! Так меня это открытие поразило! Долго я потом от себя «морок» отгонял…

В армию я попал в Афган (тогда из институтов брали, после первого курса). Служил в танковой роте, заряжающим на т-62. Сопровождали мы колонны с войсками. Кругом—горы, за каждым поворотом—смерть. Главная опасность—не засады, а мины и фугасы. Командир танка, лейтенант Разумцев, кстати, у нас был верующим. Чего особо не скрывал. Меня это смущало ужасно: боевой офицер, орденом Красной Звезды награждён—Богу молится! Хотя матом иногда он с таким остервенением крыл—я такого больше никогда не слыхал!.. Но теперь, если честно, я вспоминаю эти годы как самые лучшие в своей жизни. Очень всё ясно, определённо было. Сейчас много пишут, как шурави мирное население обижали. Не знаю. Мы, например, никого не пытали и не расстреливали. Боевых потерь в нашей роте не было. Зато переболеть в Афгане тяжёлым гепатитом—это обычное дело. Много мы там здоровья оставили.

Вернулся я домой, в институт (учился на инженера-строителя), и закружила меня гражданская жизнь. Уходил салагой, обычным городским парнишкой, а вернулся героем—воином-интернационалистом! Жизненного опыта прибавилось, а ума—не очень... Хотелось мне «всё попробовать»—это с одной стороны, а с другой—тосковал я по любви-страсти, как в книжках. Но жениться не собирался, у меня и понятия, что такое семья, не сложилось.

В общем, загудел я—танцы-шманцы-обжиманцы. Уже Союз закачался, старая «религия»—что такое хорошо и что такое плохо—трещала по швам, а новой—откуда взяться?! Всё разрешено, что не запрещено законом. Политикой я никогда не интересовался, но жить в чумном бараке и не заразиться—не получилось.

На одной вечеринке познакомился я с девушкой. До этого я больше с однокурсницами «зажигал», а тут—милое созданье, простушка, вчерашняя школьница из области, училась в ПТУ на мастера обувного производства. Что-то в ней чистое, наивное было. Ожидание любви, чуда. А я, надо признать, был воспитан в убеждении, что все люди—друг другу ровня. Никаких представлений о разнице социальных слоёв у меня не было. Ну и правильно: пока мы с Катей перемигивались, пока я ухаживал за ней, на свиданья бегал, пока сгорал от желания, казалось, что мы созданы друг для друга. А я ведь и не знал её толком... Куда там! До этого ли?

В общем, добился я своего. И вгорячах не рассчитал—забеременела она. Ну, у неё-то и подавно никакого «опыта» до меня не было. Она—в слёзы! «Я замуж пока не хочу!» Можно подумать, я мечтал жениться!

Теперь мне думается: брось я её тогда, будь я подлецом более явным, определённым, может, лучше это для нас было бы? Конечно, она бы переживала страшно, может быть, прокляла бы меня, но жизнь её все равно бы со временем наладилась. А я решил поиграть в благородство.

Повёл Катю в больницу, избавляться от ребёнка. Женщина-врач так строго с ней говорила... И запугивала: подумайте, у вас детей может не быть... Вышла Катя из кабинета—губы трясутся. Белая вся. Очень она тогда впечатлительной была. «Не могу,—говорит,—страшно мне. Давай родителям скажем».

И пошли мы сдаваться. Порознь. Вместе—духу не хватило. Я дома сказал: так и так, Катя ждёт ребёнка, мы поженимся, в общежитии комнату дадут... Родители, конечно, в шоке. А у неё дома вообще полтавская битва: общий вой, уныние и бой посуды. Хотя, если вдуматься, ничего страшного ещё не случилось: рождение—не похороны!

К браку мы были не готовы. Что такое муж, семья, ответственность—у меня на этот счёт ноль представлений. А Катя, та в голос кричала: «Я замуж не хочу!» Не за меня, а вообще. Ругались мы жутко—и до свадьбы, и после, и когда Денис родился. Это теперь сын для меня—самое главное в жизни, а тогда... Обуза орущая...

Разные мы оказались люди. Совсем. Она—домоседка, а я—душа компании. Для неё главное—уют, занавесочки, салфетки, креслица, кастрюльки, а мне подавай книги, музыку, альпинизм. Я, честно скажу, презирал её за приземлённость интересов, за «бездуховность». Хотя, если вдуматься, у неё были естественные, совершенно нормальные для обычной женщины стремления. Искорёжил я ей жизнь. С другим-то человеком она наверняка была бы счастлива. И он—с ней.

А так... Мучили мы друг друга. Может, неосознанно мстили за жизнь в нелюбви. И Денис с нами мучился. Бедняга, как он в таком аду выжил, с ума не сошёл? Парень рос нервный, резкий.

Она поначалу за меня сражалась. Как могла: обедами, рубашками чистыми, уютом в нашей общежитской комнатёнке. Можно было, конечно, развестись: год промучились, два—хватит! И опять: не поздно это было бы для неё—новую жизнь начать, счастье найти. Но меня смущали предрассудки, гордыня: как это так—я женщину с ребёнком брошу? Что обо мне скажут? Общественное мнение волновало, а вот каково ей со мной—это дело второе. Тем более что мне с ней жить—тоже не сахар! К тому же на очереди мы стояли—квартиру должны были получить скоро, работал я инженером в стройуправлении. И это тоже сдерживало. Сейчас оглядываешься на прошлое и думаешь: какие глупости, мелочи! А вот имели они вселенское значение, на них-то жизнь и ушла!

И потом, что я о Кате, о её благополучии думал?! Её жизнь меня вообще мало волновала. Вся она казалось открытой, как на ладони. Никакой тайны. А я любви всё искал. Хотел познать, что это такое. Видно, были в меня какие-то страсти разрушительные заложены. И пустился я... ну, не сказать, что во все тяжкие, нет. Скорее, на поиски. Была у меня пара романов. Я, правда, аккуратно погуливал, Катя и не догадывалась ни о чём. Но разочаровался я в женщинах быстро. Всё одно и то же. Пустота. Никакого смысла.

И плюнул я на это дело. Было мне тридцать лет. Некоторые мои однокурсники к этому времени уже были по нескольку раз женаты, и все—неудачно. Кое-кто спился до бомжеобразного состояния. Некоторые в бизнес ушли, единицы—круто разбогатели. Кто-то жил более благополучно, кто-то менее, но счастливцев среди нас не было. Случайно ли это, или жизнь вообще—одна большая беда с вариациями?!.. Не знаю.

Карьерой своей я никогда не занимался, но профессию не бросал, и более-менее сносный

заработок она мне давала. Денис подрос, Катя устроилась на почту недалеко от дома. Внешне — благополучная семья. Ругань первых лет утихла, жили мы без лада, внешними целями — чужие люди, соединённые волей обстоятельств. Гулянки я свои бросил, ни на какие женские призывы со стороны больше не реагировал. Твёрдо решил: не для меня это. Тем более что все нормальные бабы, в принципе, стремились только к одному — к замужеству. Но менять шило на мыло я не собирался.

От прошлой моей жизни осталось только одно стойкое увлечение — альпинизм. Ещё в Афгане полюбил я горы. Вроде бы странное дело: горы несли опасность, смерть, тайну, — а всё равно… Тому, кто не испытал этого сладостного чувства — покорения вершины, альпинистов не понять. «Как мы с рюкзаками шагали по шатким уступам в горах, как медленно струйки стекали за ворот промокших рубах». Холод, ветер, дождь, снег. Камнепады, лавины, ледопады, гроза, тяжёлое оборудование. И — друзья, «посвящённые» в горы. Альпинизм — это не спорт. Это своего рода тоже религия.

Кучковались мы вокруг туристского клуба «Перевал». Тут, в тесном полуподвале, намечались маршруты, подгонялось оборудование, разучивались новые песни. Альпинизмом увлекались интеллектуалы — техническая интеллигенция в основном. Каждый поход в горы меня лечил от домашних бед месяца на два. Но потом начиналось обострение: я «заболевал», всё мне было немило, всё раздражало…

Рассказчик замолчал. Стемнело. Влажная озёрная свежесть всё больше забирала округу. Издалека, из города, доносились бухающие звуки дискотеки, истерические крики «Вау!».

— Утомил я тебя своими откровениями…

— Нет-нет, ты говори, говори, — Иван смиренно-деликатно чиркнул спичкой о коробок, закурил.

Павел машинально махнул рукой, отгоняя дым.

— Да… Не любил я её. Совсем! Веришь — жил как в клетке. Все слова, поступки Кати вызывали у меня протест. Истины её прописные, интересы приземлённые, лень вселенская (любила она поспать), хозяйство запущенное… Ну, думаю, это и есть жизнь. Буду терпеть. Все вокруг так живут (с вариациями, конечно). Есть и хуже. (А хуже всегда найдётся, потому можно себя оправдать.) Так, в великом терпении, и прожил я несколько лет — ни шатко ни валко.

И тут вдруг ударило меня. Не знаю, пожалела ли меня судьба или, напротив, наказать решила. Пришла ко мне любовь. Настоящая. Понял я это с первого взгляда. А я уже ничего не ждал, считал, что жизнь моя, весьма ординарная, кончена.

Встретились мы в «Перевале», в турклубе. Муж у неё — альпинист, и несколько лет назад, на лёгком участке ледника на Приполярном Урале, не прицепил «кошки». Сорвался. Живой остался, но сильно побился. Спинальник, на колясочке. И с головой у него появились большие проблемы — полусумасшедший человек, в общем. Хорошо хоть сам себя обслуживает. А у них уже двое детей было…

Вот, похожие у нас истории — жили мы с нелюбимыми! Но как-то у Марины получалось, что у неё на всех тепла хватало: и на своего мужа, и на меня. А я — как Янус двуликий. Одно лицо у меня обращено к Марине — светлая сторона луны — всегда счастье, праздник, а тёмная сущность на Катю смотрит — раздражённо и недовольно. Хотя, впрочем, легче я стал к жене относиться — не до неё стало, утешилось, наконец, моё сердце. Впервые рядом со мной появилась женщина-друг, женщина-советчик. Человек, которому я мог абсолютно довериться и знал, что меня поймут. И простят. Но хотелось мне перед любимой лучшим боком повернуться, лучше, чем есть, казаться. Она, наверное, всё это понимала. Но любила меня и слабость эту прощала.

Теперь, когда пришла любовь, я готов был в любой миг развестись. Готов был бросить семью, не раздумывая, — появилась у меня, наконец, настоящая, безусловная ценность в жизни. Но Марина сказала мне: «Любовь любовью, а Серёжу я не оставлю. У него, кроме меня, никого нет».

Вот так! Ну можно ли было такую женщину не любить?!.. А я ведь Катю мою фактически бросил. Нет, всё внешне было как прежде. Но душой, всеми думами я был с Мариной. Весь от счастья светился. Великодушный стал, щедрый. Не ходил — летал. Ну, победитель! А их — не судят. Им — покоряются. Любовь настоящая, она всё вокруг себя сжигает. Не может она быть в обложке из лжи. Это как ядерный реактор. Посторонние, те, кто не «в курсе», запросто могут лучевую болезнь получить.

А Катя моя будто сжалась вся. Ушла в себя. В переживания. Никаких сцен ревности, скандалов мне не устраивала. Отдалилась. А тут ещё Денис у нас в нехорошую историю попал. Связался с дурной компанией. Ребята там, похоже, наркотиками баловались, травкой. После первого привода в милицию я спохватился: сына теряю! Тут уж совсем не до Кати. (Авторитетом никаким она у сына не пользовалась — ну, он же чувствовал моё отношение к ней.) С Мариной мы обсуждали, что делать, как его от улицы отвратить. Я его хитростью, уговором и почти силой затащил в альпинизм. Да, не лучший, наверное, выход (горы — тот же наркотик), но что было делать?! Либо горы, либо тюрьма — такой получался выбор.

Три года я за Дениса бился — изо дня в день. Каждую свободную минуту — с ним. Если бы не Марина, упустил бы я сына. С ней во всём советовался. Так сложилась у нас виртуальная, неведомая

миру семья: я, Денис, Марина, две её дочери и даже Сергей — где-то на периферии нашего внимания, разговоров. Только Кате в этой «общности» места не находилось. Совсем она из моей души ушла. Мы как сожители в одной квартире существовали. Тем более что решение моё — Дениса альпинизмом занять — она не приняла. На этой почве ругались мы жёстко. Конечно, здоровьица, «физики» у парня маловато. Но всё равно — более-менее укрепил я его, отбил от компании, новые друзья у него появились.

Трудно было тогда с Денисом, а всё равно я жил и знал, что счастлив как никогда. Многое у меня стало само собой получаться — и на работе, и в спорте. Походы категорийные, новые вершины… Ты стоишь, а внизу в сизой дымке — изломанная линия хребта, другие горы, далёкие, до горизонта, красота — неземная, все оттенки синего, белого, серого, голубого, и ты понимаешь, как ты, в сущности, ничтожен и в то же время — велик… И я в этих «высоких материях» парил, почти не спускался на землю.

Однажды дома я взглянул на Катю и ужаснулся: как же она изменилась! Вместо весёлой девчушки — огромная бабища с тумбообразными ногами, с глазками заплывшими. И тут мне стало доходить: Боже мой, это ведь со мной она стала такой! Отдавали-то за меня замуж симпатичную, наивную простушку, а в кого она рядом со мной превратилась?! Как же я мог?! Совесть во мне заговорила наконец. Но было уже поздно.

Примерно через месяц увезли её прямо с почты, с работы, на скорой. Был апрель. У нас планировалось восхождение на Алтае. Врачи сначала сказали: ничего страшного, скачок давления. А Марина мне говорит: «Паша, откажись от маршрута. Ты здесь нужнее будешь».

Она, как всегда, права оказалась. День, другой, анализы, обследования… И выясняется, что у Кати — редкая сердечно-сосудистая болезнь. Это всё длинно называется — диагноз на полстраницы. Суть в том, что главные магистральные сосуды медленно, но верно и неотвратимо сужаются, душат человека изнутри. И сделать ничего нельзя. Медицина бессильна. Прогноз самый трагический. Это в сорок-то лет!

Я не скажу, что меня эта весть потрясла. Меня это просто перевернуло всего. Я бегал по врачам, по светилам, всех поднял, кого мог, везде кидался, спрашивал: что можно сделать? Как спасти? Может, за границей? Операцию какую? А главное: как появилась у Кати эта болезнь? Почему у неё, а не, допустим, у меня? Ну, все только плечами пожимали. Один профессор мне сказал: «Если бы мы знали точные причины, мы бы за это Нобелевскую премию получили».

А я бегал-то для самоуспокоения! В глубине души я знал: все болезни от нелюбви. И когда я представил, что Катя умрёт, — а до этого она всю жизнь со мной, идиотом, промучилась! — я… тогда я пошёл в церковь. Потому что всё, некуда больше было идти. На все свои теории и научные представления наплевал. Шёл как на казнь. И всё уже вперёд знал. А всё равно в чудо хотелось верить. Молился как мог, своими словами (ни одной молитвы не знал). Молился до полного изнеможения. Но и тут — смалодушничал. Хотел дать обет Богу, что брошу альпинизм, если Катя выздоровеет, но не решился. Молился, обошёл все храмы в округе. Больница и церковь — такой был маршрут.

Умерла Катя в Пасхальную неделю. На Пасху по палатам батюшка ходил, благословлял больных, желал выздоровления, кулич, яйца крашеные… Девочки в белых платьицах из воскресной школы пели: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ…» А Катя уже не вставала. У меня и тут не хватило духа попросить у неё за всё прощения: боялся я, что вдруг она поймёт, что умирает, или подумает, будто я в её выздоровление не верю… Я, наоборот, бодрил её, старался угодить во всём. Потом выходил в туалет и рыдал в голос. Истерически. По её земной погубленной жизни рыдал. И по своей загробной — погубленной. Потому что знал: это не Катя умирает, Катя что — безгрешная, простая, нетребовательная душа, это я на вороных в ад мчусь. И никаких оправданий я себе не находил.

Потому что преступление моё — жизнь без любви и доведение человека до смерти через это — ужасно. Вот, допустим, пьяный водитель сбил пешехода насмерть. Грех, конечно, страшный. Небрежение, распущенность. Хотя он тоже, как и я, трагического конца не желал. Но этот пьяница никого не мучил годами…

Думаю я о Кате теперь постоянно. Мечтаю: вот, попался бы ей какой-нибудь алкаш, она бы давно ушла от него и жила бы сейчас припеваючи. А так…

В общем, потерял я покой. Себя потерял. Вся моя прошлая жизнь — чёрное пятно. Дыра. Отчаяние страшное. Я бы, наверное, давно удавился, если бы не Марина. Это единственное, что меня держит в жизни. Нет, не могу я от любви её отречься, обидеть её. Разлюбить тоже не смогу. Но чувствую: в чём-то я оказался её недостоин. Не хватило мне великодушия, щедрости. Силёнок не хватило, мужества. Да много ещё чего… А она меня ни разу не упрекнула. Никогда, ни в чём. Я думаю: такому гаду, как я, — и такая любовь?! А Кате моей? Почему же так мало ей счастья досталось?!

Мучает меня чувство вины. И я не знаю: изживать ли мне его, заслонять житейскими заботами (их много, и есть важные — Денис постоянно требует внимания, контроля), или это будет трусостью, бегством от своей вины, а значит, многократно умножит мой грех?

Среди родственников Кати мне легче—на многое они смотрят проще, естественней, без иллюзий. А я… Особенно вечерами тяжело. Страшно мне стало оставаться одному—лицом к лицу со своей виной. Сердце моё, наверное, после всего пережитого добрей стало. Но какой ценой!

Ничего мне не мило, боль страшная. Зайду в церковь, вроде уже и решусь исповедоваться—а нет сил. Как про это расскажешь в нескольких словах?! Тут целый день нужен. А если всё расскажу, такому греху, наверное, и прощения нет… Страшно…

…Павел выговорился, устало и опустошённо замолчал. Он ещё и ещё раз пережил то, что так мучило его в последний год, а всё же ему кажется, что привычной тяжести на душе стало чуть меньше…

—Да… История…—Иван водит рукой по поленнице, скользит пальцами по неровностям.—Долго тебя бес водил. (Не к ночи будут эти поганые твари помянуты.) Я б тебе, конечно, сказал, что твой грех по сравнению с моими—чепуха, но… Ты вот что… Отцу Феофилу я за тебя словечко замолвлю. Может, поговорит с тобой. Ты не думай, он—добрый. Ангельского чина. Как возгласит: «Мир всем!»—на литургии, у меня аж дрожь по телу… Сколько ж сюда люди грязи своей человеческой привозят?!—Иван закурил, затянулся, закашлялся.—Надо бросать, так и до рачка докурюсь… Как Господь нас, таких грешников, на земле держит, за что?! Пути неисповедимые… А я тебе так скажу: не веришь в прощение—не верь. Но и не усугубляй. Это тоже грех—лишку на себя наговаривать. А в Господа—верь. И молись. И всё по твоему помыслу устроится. Господь наставит. А теперь—пора ко сну отходить. Поскорбели—и хватит…

Святые Ключи

Молчанов жил в городе, но жизнь его в последний год была что тёмный лес. С каждым днём он убеждался, что заблудился окончательно, чаща сгущается и просвета—не видать. Но самое поразительное было в том, что почти никто этого трагического состояния Молчанова не замечал и не понимал. Некоторые даже завидовали. А что? Молодой художник, с набирающим силу именем. Не без способностей. Честный. Не бомж и не пьяница.

…А внутри у него давно уже жила пустота. Он и не заметил, как она пришла, поселилась, ясно определилась с местом пребывания. Да, всё было хорошо, удачно в последние два-три года. Жанровые картинки Молчанова, пейзажи, простые и лаконичные, находили поклонников и какой-никакой сбыт; портрет «Девушка у окна» купил музей живописи, по рекомендации старика Копосова в его крошечную мастерскую приходили люди из Третьяковки, оценивающе смотрели, горячо хвалили его «Георгины», «Крестьянский обед»… Сам же Молчанов становился всё угрюмее. Теперь у него были лучшие краски, самые прочные холсты и дорогие лаки, импортные мольберты—всё, о чём может мечтать художник-профессионал. Под мастерскую он купил двухкомнатную «хрущобу», убрал разделяющую стенку, так что места, по его скромным замыслам, хватало. Это не то, как он мучился раньше—на кухне и даже в ванной, при электрическом свете. Теперь условия для работы были созданы. Не было только одного—желания работать. Всё, за что бы ни брался Молчанов, кончалось несколькими штрихами, наброском, в лучшем случае—этюдом. Ему абсолютно не хотелось писать. С каждым днём он погружался в жижу рутины; время шло, сначала он не тревожился: «А, устал»,—потом стал прислушиваться к себе, зорче присматриваться к жизни—натренированный взгляд художника легко ловил деталь, отмечал цвет; но дальше дело не шло—рабочее состояние не приходило; он включал волю, запирался в мастерской без еды и питья, удалял все раздражители—телевизор, радио, газеты, но всё было тщетно. Молчанов клял себя, называл дураком, лентяем, бездарью, с горя зашёл даже в церковь,—нет, как отрезало. Он чувствовал, что перестаёт быть художником, но даже отчаянье его по этому поводу было слабосильным, без должной страсти. Чувство ушло. Хоть режь, хоть плачь! Но, опять-таки, и плакать не хотелось! Совесть его была почти спокойна. Не терзало, но тревожило вот это «почти». Определённо, что в жизни человеческой был заложен какой-то смысл, и в жизни, в существовании Андрея Молчанова тоже; и смысл этот почему-то представлялся ему просекой в лесу или тропинкой, где, по крайней мере, на двадцать шагов ясен путь; так иногда ему чудилось; и понятно было, что сейчас он эту тропу потерял, сбился, забрался в дебри, и неясно, как теперь выбраться на твёрдый путь, спастись. Молчанов не помнил, и сколько бы ни оглядывался назад, не мог понять причин «сбоя»: никакого глобального, большого греха или предательства он за собой не чувствовал; ведь сравнительное (с другими художниками) благополучие—ну неужто это причина? Неужели, чтобы творить, нужно непременно валяться под забором? И, может быть, Молчанов как-нибудь успокоился бы, махнул рукой на все эти блужданья в сумраке смыслов, если бы не воспоминание о том, какое счастливое состояние наступает, когда работа «идёт», как радуется он несколько дней законченной картине; и, наконец, возвращаясь к своим старым работам, в чём-то наивным, бесхитростным, он невольно любовался чистотой красок, замысла и думал о том, как хорошо, должно быть, постороннему, совсем чужому человеку от случайной встречи с его трудом. Увы, теперь он не мог похвастаться новыми работами. И, в общем, это было ужасно.

В конце концов он понял, что одному ему не выкарабкаться, и двинул за советом к старику Копосову. Деду шёл восемьдесят седьмой год, но на творческие кризисы он не жаловался. С первых проталин марта до плотного снега сидел он на своей убогой дачке, в летнем домике-завалюшке, и едва ему позволяло самочувствие — работал, работал… Писал всё, что попадётся под руку, — глиняные кувшины с трещинами по горлу на дощатом щелястом столе, ржавое корыто с овощами — перец, помидоры, «синенькие» — всё вперемежку — близ засохшего дерева; заросли крапивы в малиннике; огородик с редко посаженным картофелем, куда заползала гигантская плеть с желтеющим тыквенным телом; полную продавщицу Машу, обнажённо-лежащую под яблоней; ромашки в литровой банке на перильцах старого дома… Всё — просто, бесхитростно, и всё имело право на существование, и никаких творческих мук: живи и работай; картины деда Копосова были написаны уверенной рукой. Талант есть вера. Молчанов же эту веру потерял. Сбился с азимута.

Он ехал к деду на электричке; стоял июль, в вагонных окнах мелькали летние наряды Подмосковья — ёлки с новыми шишками, берёзовые платья; пёрли в рост пустотелые стебли борщевика. Молчанов пожалел, что уже прошло пол-лета — и всё это время он просидел среди зловоний города; хорошо хоть дожди скрашивали этот искусственно созданный ад. А всё потому, что зарабатывал деньги для «художественной» свободы, это были халтуры и халтурки по офисному дизайну. Клиент шёл один за другим, а жизнь так вообще бежала вприпрыжку — и в движении Молчанов понимал это особенно остро. Он ведь любил лето и в это время когда-то много, мучительно работал. Муки забылись, остались акварели, гуаши, точные, ироничные рисунки, а в этом году от Молчанова, пожалуй, ничего не останется. Надо было на что-то жить, есть и пить, носить модную одежду, а потом уже — всё остальное. А у деда Копосова — всё наоборот. Свободен от всего и всех, и рука — уверенная. Годы? А что годы, если за один месяц Копосов пишет больше, чем Молчанов за год? Конечно, не в количестве дело; но ведь у деда всё сделанное — живое, никакого маразма и западений. «Это у меня, — подумал Молчанов, — маразм. Молодёжный маразм — неспособность к чувству и творческой работе».

Усадьба деда была глухо, безнадёжно запущена, хотя он всегда хвастался: «У меня — идеальный порядок». Огородик, правда, был посажен, но у забора лежал сушняк, лебеда вдоль дорожки вымахала по пояс, в рябиновых ветвях радовалась хорошему дню птица — звонко, высоко. День был отчаянно жарок, безоблачен, пахло солнцем и уходящей жизнью. У домика, спиной к Молчанову, сидел незнакомый мужик, голый по пояс, с мясистыми покатыми плечами, рисовал. Молчанов окликнул его, спросил Михаила Никаноровича.

— В хате, — мужик оказался бородат, хамоват, словоохотлив. — Вы кто? Откуда? Каким ветром к мэтру? — он далеко отклонился от работы и артистично прицелился кистью для мазка.

Копосов, впрочем, уж вышел из домика, стоял в кособоких дверях, вглядывался в нового гостя из-под руки. Они не видались год: старик стал ещё суше, меньше ростом, худее, одет был небрежно — какие-то сизые порты, линялая рубашка.

— Андрюша приехал! А я тебя всё выглядываю, — старик обнял его. Был он небрит, лёгок, как птица. — Ну, пойдём, пойдём.

Смущаясь, Молчанов протянул старику сумку с гостинцами. Копосов засопротивлялся:

— Ну что ты?! У меня всё есть!

— Берите, — вздохнул Молчанов.

Каморка была тесно заставлена небольшими картинами, этюдами. Дед по очереди выставлял работы на грубый топчан, солнце сумрачно освещало убогое жилище — глиняный пол, чёрные завесы паутины в углах.

Художник пояснял:

— Далеко я нынче не хожу — ноги не те… Тихая речка в рассветный час. Домик мой, когда вишни цвели. Внезапный снег: всё растаяло, и вдруг зима вернулась. Мальчик соседский, я ему лук помогал делать. Потом он стрелой чуть курицу не подбил. Кошка шпионит за ежиной семьёй — у меня ведь ежи живут под дровами, я тебе говорил? Сирень традиционная — её у меня иностранцы хорошо берут. Луг, копёшки первого сена. Удались, правда? Маша мне немного попозировала. Тут она ещё подругу свою приводила, но что-то у меня не пошло: всё при ней, а писать неохота. Бывает. Автопортрет у дерева, — себе Копосов, конечно, немного польстил, подмолодил. — Натюрморт с кабачками — бутылка с маслом, мука, чеснок… И снова речка, лодка, ряска у берега — летний полдень.

Молчанов не мог оторваться от воды — она была написана так живо, что хотелось войти в неё, ступить в прохладу.

Дед давно уже не нуждался в комплиментах, знал себе цену, но Молчанов не удержался:

— Здóрово!

— А ты?

— А, — Молчанов махнул рукой. — Потом, — ему вдруг расхотелось плакаться. — Кто это у вас во дворе?

Дед поугрюмел:

— Ученик бывший. Наезжает из Москвы за натурой.

Сидели в тишине. С дедом хорошо думалось. Молчанов смотрел на работы, расставленные в два-три этажа, аккуратно зарамленные; кое-где, конечно, была видна небрежность старости — глаз

ведь уже не тот, но, в общем, какова силушка — и без всякой натуги! А тут — он вспомнил свои жалкие метания — долбишь-долбишь этюдик, бросишь, разуверившись в его нужности. Молчанов знал, что настоящая работа тянет из человека жилы, тратит душу, нервную энергию; будто изнутри разматывается неведомая нить, одно неосторожное движение — и можно распрощаться с замыслом: нитка лопнула, истончилась, порвалась. «Катушка» внутри Молчанова давно уж вращалась впустую, вхолостую, и как бы он ни бередил, ни тряс себя, «нить» не рождалась, не шла, не ложилась узором на картину, не давала рисунку точности, убористости, дерзости. А Копосов что? Он работал, пока не уставала рука, и ни о какой «нити», поди, и не догадывался, не рассуждал. Так здоровый человек никогда не поймёт терзаний инвалида; конечно, посочувствует вполне искренне, но разве ощутит до конца: хочешь побежать, а ног — нету? А слепые? Ну, те, которые от рождения, — ладно, им не с чем сравнивать. Но вот был мир, и вместо этого — тьма, ощупь. На лице Молчанова, помимо его воли, обозначилось страдание, вышли морщины.

— Ты чего такой, Андрюш? — заметил его состояние дед.

— Давление или ещё что, — уклонился Молчанов, — голова болит.

— У меня тоже, — охотно подхватил тему Копосов. — Три дня провалялся с радикулитом, на сквозняке продуло, а сегодня — да, неблагоприятный день. И в газетке я читал.

— А что читаете?

— Да «Советскую Россию». Мне сосед, милиционер, носит, так мы обсуждаем текущий политический курс.

— Дрянь курс, — равнодушно заметил Молчанов. Курс его сейчас совершенно не интересовал. — А картины — хорошие.

— Правда? — дед, жалкий в своём отшельническом тряпье, взглянул на него строго. — На молодёжный вкус?

— На любой, — Молчанов поднялся.

Вышли на улицу. Сытый бородач довольно посвистывал у мольберта.

— Как дела, мужики?

— Понемногу, — сдержанно ответил Молчанов.

— Хоть бы вы, молодой человек, повлияли на господина Копосова! Вчера они с местным милицейским старшиной чуть не составили тайный заговор.

— То есть? — Молчанов, погружённый в свои думы, не сразу понял бородатого.

— Ну, Россия погибла, жиды у власти, нами правит кукла, ха-ха! Мы же интеллигентные люди — и вдруг такие пещерные рассуждения!

Молчанов опешил:

— Вы знаете, не мне судить Михаила Никаноровича…

Он чувствовал, что говорит не то, что до́лжно, у него было это качество — он всегда поначалу пасовал перед чужим хамским натиском.

— Пойдём провожу, — дед обречённо, как от стихийного бедствия, отвернулся от бородатого.

Дошли до калитки.

— А у власти-то жиды, — тихо, но твёрдо сказал дед. — У главного жена еврейка, и сам он — из них.

В уголках его глаз дрожали слёзы обиды. Он был такой жалкий, старый. Встреться он Молчанову где-нибудь в Москве, у метро, — не узнал бы, подумал — нищий.

— Ничего, ничего, — сказал Молчанов, обнимая старика. — Не обращайте на дурака внимания, — и он решился, пожаловался: — У меня что-то работа не идёт…

— А ты поедь, смени обстановку.

— Пробовал.

— Поедь, поедь, — не слушал его Копосов, — поедь, походи без оглядки, пока землю не продали. Я под Волховом чуть ногу не потерял. За что люди жизни отдавали?! При Сталине такого не было…

— Я ещё приеду, — пообещал Молчанов, не зная, когда он приедет, зачем…

Он отошёл, оглянулся — старик слабо ему махнул, потом оглянулся ещё, и ему стало нестерпимо больно — впервые по-настоящему — за своё бесплодие, бездарность; старик всё махал ему — маленький, сгорбленный, на что-то в нём надеялся, а внутри у него пусто, всё сожжено, ни одной зелёной травины, ничего живого; он заспешил к повороту, ещё раз торопливо махнул и с облегчением свернул за угол. Теперь он шёл не спеша, думы у него пошли совершенно бытовые, короткие, он будто спешил истребить в себе память об этой встрече, забыть её. Нет, не летать синице жар-птицей! Для чего он родился на свет, было Молчанову совершенно неясно.

Но всё же он был, видимо, не до конца пропащим человеком. Последним усилием воли Молчанов высвободил себе несколько дней и, собрав рюкзак, двинул на Ленинградский вокзал.

Он думал в поезде — ни много ни мало — о будущем человечества. Да, всё это мура — картины, когда есть фотоаппарат, плёнка цветная, объективы. Зачем тогда «ручная работа»? Художники вымрут как класс. Художественное творчество всё время двигалось по пути познания. Иконы. Парсуны. Портреты, жанр, пейзаж, натюрморт. Потом — гротеск. Потаённые стороны жизни. Ну и докатились до экскрементов. Нарисовали. Что дальше? Где здесь счастье?

Да, человечеству не нужны художники. Если есть действительность зримая, материальная и человек её копирует: стрекозы-вертолёты, гусеницы-танки, — то, наверное, существует и другая, невидимая действительность, которую человек тоже невольно копирует. Да-да, творчество — это

поход за завесу, в незнаемое, и если раньше, в юности, он легко туда попадал и даже не пытался рассказывать о том, что видел,—ему казалось, что все там бывают,—то теперь Молчанову туда нет никакого хода.

А впрочем, что за мура лезла ему в голову? Просто у одного есть способности, а у другого—пшик. У всех разный запас. Сколько народу было на его курсе в Суриковском—и где они? Все, конечно, что-то малюют от случая к случаю, но художники ли они? Он просто, как и многие, исчерпал свой бедный запас. Только у Евгеши Лагутина всё хорошо. Звонил: «Пишу кремлёвского повара. Представляешь, каких он клиентов потянет?!»

В отвратительном настроении он вышел из поезда на перрон. Долго стоял у станционного стекла, смотрел на своё отражение. «Дурак непутёвый»,—подумал он. В это же самое время кто-то ухаживал за женщиной, кто-то глушил водку в родной компании, новый русский любовно укладывал долларовые пачки в дипломат, мужики сидели в сауне, завернувшись в простыни, а он бегал по свету—стыдно сказать за чем! Кому это нужно?! Он выпил бутылку тёплого пива—с отвращением, похрустел сухариками, походил—вперёд-назад, покачиваясь в такт оттягивающему плечи рюкзаку. Был он высок, худ, жилист. А станция была равнодушна, пыльна и обыденна. Вокзальные торговки, всполошённые прибытием поезда, теперь рассаживались на лавках, пристраивая у ног коро́ба с мороженым, вёдра с кульками черники, подносы с копчёной рыбой—угрями и лещами. «Дурак»,—ещё раз сожалеюще подытожил Молчанов.

И вот он уже шёл по приземистой улице, обычной русской пыльной улице обычного русского города, где он хотел что-то найти, понять, разбудить в себе. Городишко был мал, прост, и он шёл, пока не устал так, что тоска его чуть отступила. Он задержался на автобусной остановке, с горечью услышал звук проносящегося вдали поезда. Да, жизнь одна, и тратилась она неизвестно на что и неизвестно как.

Он ехал в автобусе вместе с женщинами, которые, судя по простоте одежды, собрались на дачи; по привычке он всматривался в лица—все они были изъедены жизнью, усталы, почти не приукрашены; каждая из женщин, наверное, думала о счастье, и оно приходило к ним в обыденности, и никто из них или их мужей не бежал в чужие города, чтобы что-то понять, найти… Молчанов вышел вместе со всеми на конечной, глупо, бесцельно затоптался.

— Вы на турбазу?—некрасивая костистая попутчица тронула его за рукав.

— Да,—он не стал её разубеждать.

— Вон за деревьями их здание,—она махнула рукой на белеющий сквозь зелень двухэтажный коробок.

Молчанов покорно поблагодарил, пошёл. Был он утомлён и растерян—дорога не принесла ему успокоения.

Кабинет начальника—открытый настежь, пустой—он нашёл сразу. Молчанов снял рюкзак, в нерешительности остановился. Где-то в конце коридора мелькнули пугливые женские глаза, раздались голоса, и, держась стены, из недр здания возник руководитель: «Громов В. Д.»—заботливо сообщала табличка.

Мужик был донельзя, безобразно пьян, до синевы губ, подёрнутых белым налётом.

— Мест нет,—еле ворочал он языком.—Завтра дети уезжают, будет полно. Вера,—закричал он, пытаясь овладеть непослушным голосом,—возьми постояльца!

Тотчас возникла черноволосая крупная женщина лет сорока, тоже, кажется, слегка навеселе,—всё ж она показалась Молчанову сущим спасением от Громова В. Д.—тот уже растопырил, широко поставил подрагивающие руки для объятий.

— Я баба простая,—объясняла Вера, пьяно блестя глазами.

Они шли к ней на квартиру, условившись, что у Молчанова будет отдельная комната и полный покой.

— Видишь, Муська меня поцарапала,—вдоль носа у неё тянулись четыре ровные борозды.—У меня и собака есть, Зита.

Они поднялись на второй этаж блочного, в тряпье балконов, дома; Вера открыла дверь, собака—блёкло-оранжевая колли с тонкой мордой—несколько раз тявкнула на нового человека, затихла.

— Проходи сюда.

В нос Молчанову ударил жесточайший запах кошачьей мочи и собачьего жилья, он чуть было не закашлялся и, стараясь глубоко не вдыхать, прошёл в полузаброшенную комнату, свалил рюкзак на пол, выбирая место почище.

— Там муж мой жил,—объясняла тем временем Вера.—А муж у меня помер недавно. Ему сорок шесть лет было. Тромб оторвался. Хороший мужик был. Слушай,—она возникла на пороге,—я баба простая. Давай чаю попьём?

— Нет-нет,—поспешно отказался Молчанов.

Ему тягостно было в пыльной тесной комнатёнке со следами равнодушного давнего упадка: часы на стене показывали прошлогоднее или позапрошлогоднее время, секундная стрелка была наполовину отломана.

— Вы меня лучше по окрестностям проведите. Я слышал, здесь озеро есть,—печальная колли понимающе посмотрела на него из коридора.—Может, и собачку прогуляем?

— Потом,—беззаботно махнула Вера.

В разговорах о директоре-пьянице, о перестроечном упадке турбазы и красотах местной природы они вышли к озеру, к небольшому причалу.

Вода была спокойной, блестящей на середине, близкие берега чётко отражались, чуть поколебленные слабой рябью. Молчанов слушал и не слушал Веру.

— …Я вот что тебе скажу: мучает меня тоска. Так я ночью телевизор смотрю или музыку слушаю. Потом засыпаю. Когда Танюша со мной была, то не так, а вот одна осталась — ну невыносимо, — по-дружески она делилась с Молчановым. — Мы воспитаны по-старому. Хочется каких-то возвышенных чувств, чтобы мужчины подарки дарили или цветы. А сейчас — ну ты же видел наших криворотых? — Молчанов качнул головой, вспоминая Громова В. Д. — действительно, рот от алкоголя у него слегка свело на бок, — норовят за бутылку с тобой, да ещё чтоб не они нам ставили, а мы… Мне найти мужика — не проблема. Проблема — путёвого найти. А ты женат?

— Да, — вдруг неожиданно для себя соврал Молчанов.

— И дети есть?

— Двое.

— А жена кем работает?

— Учительница, — он сочинял на ходу. — Литературу и русский язык преподаёт.

— Это хорошо, когда есть образование, — завздыхала Вера. — Я вон работаю кастеляншей, а всё потому, что по молодости нигде не выучилась, замуж бежала…

— Пройдусь я, — решительно встал Молчанов.

— Иди, — согласилась Вера. — Дорогу запомнил? Я на ночь не закрываюсь — ключа тебе не надо. Не закрываюсь, — хохотнула она, — дожидаюсь: может, зайдёт кто?!

Он широкими шагами заспешил по тропинке вдоль берега, влево. Досада его душила: мало своих забот, так ещё Вера — с умершим мужем, собаками, кошками и мечтами о великой любви. «А дома — грязи по колено», — раздражённо подумал он, вспоминая её запущенное жильё. Но близость воды его постепенно успокаивала, размягчала, отвлекала. Озеро было небольшим, но, по-видимому, глубоким — так ровно, уверенно, основательно лежала вода. Оно так и называлось — озеро Глубокое. А деревня, до которой Молчанов почти дошёл, — Глыбочиха. Он покатал это слово во рту, повторил несколько раз. Дело шло к вечеру, крыши давнишних, старых домишек, горбыльные заборчики, бревенчатые баньки у воды — всё окрасилось закатным светом. Длинные тени берегов легли на воду, резко потянуло свежестью. Молчанов зачерпнул воды, плеснул в лицо — приятная прохлада ласкала усталые глаза. У берега, у мостков — две широкие доски, старая женщина набрала в ведро воды, медленно поднималась от озера к дому. Он остро почувствовал свою неприкаянность, рассредоточенность: далеко сейчас были его мама, его дом, его друзья и приятели — Молчанов считался компанейским малым, «человеком общественным», а он здесь — и никак не мог собраться, сжаться во что-то цельное, объяснимо-простое, определённое, как та же Вера, например. До поздней ночи, пока не стемнело, он ходил по берегу, весь в усталых мыслях, то садился у камышовых зарослей, то снова шёл, прислушиваясь к тихому шевелению трав, смотрел на воду, вздыхал, и когда в Глыбочихе погасло последнее жёлтое окно, побрёл к своему ночлегу.

Дверь, как Вера и обещала, была открыта; собака и кошка тоскливо, объединённые общей бедой, лежали в коридоре; из хозяйской комнаты слышалась музыка. Молчанов, стараясь быть бесшумным, юркнул к себе, заперся на шпингалет. Долго он не мог заснуть, прислушиваясь к шуму чужого дома; наконец, забылся. Снилась московская дребедень, Вера в лодке, копчёные угри… Сквозь забытьё он сначала слабо, а потом явно услышал бестолковый, частый лай собак с подвыванием. Вместе с лаем в нос ударила вчерашняя вонь, которая здесь, у открытого окна, была особенно невыносима. Наконец он понял: сна ему не видать, — вскочил, оделся, воровато собрал папку, этюдник, крадучись, вышмыгнул на улицу.

Было светло, ясно, тихо, только птицы звенели в вышине высоких елей, берёз. Вода лежала белёсым спокойным одеялом, подёрнутая белым паром. И оттого, что было небо, песок, лес, озеро, птицы, и оттого, что всего этого когда-нибудь не будет, не станет, ему сделалось грустно, больно. Ну и зачем всё это?! Он вдруг понял людей-разрушителей. Им нестерпимо знать, что их не будет, а красота — останется. Потому реки нужно непременно превратить в сточные канавы, воздух — в смог, леса свести на пни, птиц — прогнать. Да, когда человек убьёт вокруг себя красоту, он успокоится. Планета будет выброшена, как зарубленная курица, недра — вынуты, леса — ощипаны. И тогда человек станет царём природы, создаст железные корабли и полетит к звёздам.

Да, природа вовсе не нуждалась в человеке. Без него чисты от пластиковых бутылок берега, спокойны леса, тиха вода. Он-то и создан, чтобы оценить красоту. Ахнуть и сохранить. Но не получается. Значит, что-то в человеке «поломано», «неправильно устроено», если красота в природе ему противна. Да что в природе! Она ему и в картине собственной покоя не даёт! Человек не успокоится, пока не добавит в чистоту природных красок какой-нибудь дряни. Вот теперь — хорошо!

Молчанов вошёл в озеро, тихо поплыл, бесшумно раздвигая воду. Потом решился — нырнул, зафыркал, заплескался, как сильная игривая рыба. Он плавал, пока не замёрз, давал работу рукам, ногам, лёгким, плавал, прощаясь; жаль было расставаться с озером, но у Веры он больше оставаться не мог. Он знал, что не вернётся сюда никогда.

Он открыл дверь Вериной квартиры и был потрясён произошедшими здесь переменами. Вера, принаряженная в льняное светлое платье, с припудренным носом, так что царапин было почти не видно, вышла его встречать. В коридоре, комнате сияла новейшая, влажная чистота; пахло домом, уютом; он скосил глаз — на кухонном столике, в тарелке, высилась гора пирогов. Он, поздоровавшись, прошёл в свою комнату — и здесь побывала заботливая рука хозяйки. Молчанов быстро собрал рюкзак.

— Вы знаете, Вера, я поеду. Я понял, что работа у меня тут не получится — ну чего время терять?..

Она виновато на него взглянула.

— Спасибо вам за приют. Не дали комарам меня съесть, — он протянул деньги.

— Ну что ж, что ж... — она совсем опустила голову, спрятала глаза.

Молчанову было её жаль, он хотел сказать что-то ободряющее и не смог; спортивно сбежал по лестнице, поспешил к остановке и почти на ходу успел впрыгнуть в автобус. Да, есть на свете озеро Глубокое, а на берегу живёт Вера-кастелянша. Вот тебе и «Девушка у окна» — он вспомнил свою картину, проданную музею живописи, — натуру писал с Лены, двоюродной сестрёнки. А кому нужна правда о Верином поцарапанном носе? Никому.

Автобус уже въехал в город, бултыхался на ухабах. Молчанов глядел в окно, думал, куда ему двинуться дальше. Возвращаться домой — глупо, да и не с чем; оставаться — негде, да и незачем. Он вдруг подумал: а не отправиться ли ему назад, в Глубокое, Вера будет рада, — но тут же себя одёрнул. Автобус шёл мимо двух- и трёхэтажных домов; видимо, это был центр городка, его «пик», судя по частоте вывесок и магазинов. Он вышел у гостиницы — неприступной кирпичной коробки, с единственными, очень узкими, дверями.

— Мест нет, — сказала недобрая молодая девушка-администратор, тщательно накрашенная, не допускающая даже мысли об улыбке.

Молчанов опешил: здание и внешне, и внутренне казалось совершенно пустым. Он в недоумении потоптался у стойки.

— Места-то есть, — подала голос пожилая женщина с открытым простым лицом, — у нас белья нет, вот мы всем и отказываем.

Под честное слово, что у него не будет претензий, Молчанова поселили. В номере были кровать, стол, ниша для одежды и раковина. В кране, как ни странно, наличествовала и горячая, и холодная вода, и ненужное это удобство Молчанова умилило. Он был один, свободен и, как ни странно, почти счастлив. Он переоделся, положил в карман рубашки деньги. Подумал было взять с собой краски — бросил. Если он ничего не пишет год, что может изменить один день?! Рассохшаяся дверь не закрывалась, да и замок, впрочем, был выворочен.

— Там я вещи бросил... — начал было излагать свою просьбу Молчанов.

Пожилая администраторша вязала носок из белой шерсти, готовилась к зиме.

— Иди, иди, милый, мы поглядим, сюда никто чужой не заходит.

«Вот так у человека появляется цель в жизни — купить простыню», — иронически размышлял Молчанов. Он стал думать о том, что люди, как планеты вокруг Солнца, вращаются всю свою жизнь по определённой орбите, заданной им, скорее всего, с рождения. Но только вместо Солнца — смысл. И как ты ни бейся, ни трепыхайся, больше, чем положено твоей орбитой, тебе не узреть, не осознать. Можно, конечно, «соскочить» с курса — пьяницы, наркоманы, душевнобольные. Он, наверное, уже сделал первый круг и теперь не решался двинуться дальше. Тема ему была неясна, из-за этого — неуверенность в себе, нежелание работать впустую. Видимо, то, главное, о чём он должен писать, заключалось в смысле жизни, которого он не знал, не мог постичь. И этот смысл находился, скорее всего, вне художественного творчества, в самой жизни. Но в чём он? В чём?

Он вошёл в магазин «Промтовары. Книги. Парфюмерия», поискал постельное бельё — его не было, как, впрочем, и нательного, кроме нескольких пар детских жёлтых трусов. Книжный отдел — он скользнул взглядом — обычный набор литературы: «Тёщины советы» — из полезного, «Рэкетир с острыми зубами» — из занимательного, «Тайны магии» — из душеспасительного. Он механически взял тощую краеведческую брошюрку, рассеянно её перелистнул. И вдруг натолкнулся на заголовок — «Святые Ключи» — и стал читать, бессознательно «фотографируя» текст.

«Это маленькое селение знаменито уникальным родником-провалом, глубину которого не могут точно измерить до сих пор. Воду из источника люди называют живой. Как попасть к Святым Ключам? Нужно доехать на электричке до Алёшинки, затем пройти к ближайшей деревне, далее, за её околицей, будет видна колокольня Пятницкой церкви. Вы пришли на Святые Ключи».

Времени — он взглянул на часы — было пять. Он выскочил из магазина и, наморщив лоб, поспешно зашагал, потом быстрее, наконец, побежал к вокзалу. Он верил в интуицию, в предчувствие, и зачем-то ему надо было тащиться в это селение, к святым якобы ключам.

Он купил билет до Алёшинки, электричка уходила через десять минут. Сел у окна. Жизнь его снова обрела смысл. Да, человек, как планета, вращается по орбите. Человек есть вообще планета. Есть ли жизнь на Марсе? Ничего там нет! И у него — совершенно пустая, голая планета. Значит, нужно её населить, чтобы она цвела и здравствовала. Он умрёт, и другие люди умрут, и даже,

возможно, наша Земля, а его планета будет жить. И всё на ней должно быть самым лучшим — воздух, деревья, цветы, звери. А с чего начиналась жизнь? С воды. Со святых ключей…

Мысли эти пронеслись в голове Молчанова быстро, он усмехнулся: «Всё, крышу рвёт». И тут же успокоил себя: «Да просто еду посмотреть достопримечательность. Всё равно делать нечего».

Вагон быстро заполнялся людьми. Напротив Молчанова сели две женщины, видимо подружки. Обе — в рабочей одежде, резиновых сапогах, с пластиковыми ведёрками в руках. Та, что побойчей, Света, громко рассказывала:

— Встретила Юльку Бутову. Нарядная такая, не то что мы, фроси, — она фыркнула, стрельнув глазами в Молчанова. — Нарядная, на шпильках, несёт в руках крышку от унитаза. Фиолетовую, — рассказчица расхохоталась. — Представляешь? Фиолетовая крышка. Купила, говорит. А я ей: да ты в пакет положи, чего ты с ней ходишь по всему городу? А она: хочу и хожу, не твоё, Светка, дело! Обиделась, — и рассказчица состроила такую уморительную рожицу, что Молчанов не выдержал, улыбнулся.

Подруга негромко о чём-то её спросила.

— Ой, ягод полно! Люди едут и едут, назад пустой никто не возвращается. А вчера чё-то ходила по лесу, и так жутко стало! Мне Кузьмич рассказывал: медведи, они катаются по поляне, а потом языком ягоду слизывают. Я глянула вчера: вся поляна укатана. Ну, так мне показалось. Я как дёрнула оттуда…

Молчанов слушал их разговор, смотрел в окно, поглядывал в вагон, заполненный людьми с рюкзаками, лукошками, вёдрами; лица пассажиров были просты, усталы, печальны. «А есть ли я на свете? — вдруг подумал Молчанов. — Может, меня нет и никогда не было, а всё лишь длинный сон с продолжением, и сам я кому-то снюсь?..» А Светка теперь рассказывала, поглядывая на него, то есть отчасти и для него, как Зинке упала на голову антресоль со «стенки», а она, вместо того чтобы ехать в больницу, схватила велосипед — и на работу, и там уже ей стало плохо…

— …Представляешь, у неё сотрясение мозга, крыша едет, а она бралась поездами управлять.

…Он шёл уж второй час по затверженному в уме плану, давно уж миновал пристанционную, длинную, вытянутую рукавом, деревню; дорога становилась безлюдной, одинокой, бесились слепни и оводы — он обмахивался сломанной ольховой веткой; а никакой церковной колокольни не было и в помине. И раз, и два он хотел вернуться, опасаясь опоздать на последнюю электричку, но потом всё шёл, шёл… Дорога, окружённая низкорослым лесом, были извилиста, и за каждым поворотом открывался новый, и конца и краю этому пути не было видно. Он шёл, уворачиваясь от слепней, оберегая глаза. Раз, на пригорке, он оглянулся. И ахнул — позади, среди деревьев, виднелся крест колокольни. Обрадованный, он кинулся назад, свернул на едва приметную тропинку и теперь уже ясно видел ободранную, полуразрушенную церковь с пробитым жестяным куполом. Он заспешил, миновав несколько брошенных чёрных избушек с пустыми окнами — бурьян во дворе делал их хилыми, приземистыми. Наконец, тяжело дыша, он добрался до церкви. Двери были закрыты на чепок, для верности подпёрты берёзовой чуркой. Молчанов обошёл церковь, подумав, что давно уж тут никто не молился — у стены дыбились две могильные плиты, вывороченные со своих мест; сама церковь, ободранная здесь и там, краснела кирпичом — как будто с тела была содрана кожа и теперь были видны мышцы, мясо.

Он обошёл церковь раз, потом другой, осматриваясь, — родника нигде не было, и луг перед церковью, кочковатый, с порыжело-зелёной травой, был пуст.

Молчанов вдруг понял, что шёл зря. Всё давно пересохло. И ничего удивительного тут не было. Моря мелели, реки меняли русла, а тут — какой-то родник! Он растерянно стоял среди луга, среди мёртвой деревни, у давно не знавшей людей церкви. Но что-то, какая-то сила толкнула его к зарослям кустарника. И, подходя, он радостно почувствовал неожиданную мягкость, пружинистость почвы, напитанной водой.

Да, это были святые ключи! Молчанов встал на колени и замер, очарованный. Тихая глубина, до которой не добраться, не досмотреться, и пульс воды, её ток, кровь земли. Воронка — метра два в диаметре — была рыжеватой от накипи железа, а в глубине источника мерцали, загорались и гасли голубовато-зелёные искорки.

Он бережно зачерпнул горстью воду, отпил. Потом ещё, ещё. Вода была холодная, сдержанно-стального вкуса и очень сильная, живая. Он смочил водой глаза, уши, шею. Закрыл глаза. В воображении легко возник, закачался, замерцал родник. Он не ощутил в себе никакой перемены. Он просто стал другим. Пусть на минуту, на две. Но совсем другим.

Обратно ему шлось легко, широко и как-то бездумно. В пристанционной деревне он смотрел на белоголовых детей — мальчиков и девочек, синеглазых, тонких, играющих в свои сложные, понятные только им игры. На станции Алёшинки он ждал ещё час, улыбаясь сам себе и вспоминая свой поход. Поодаль от станционного здания был колодец. Молчанов подошёл, открыл крышку. Ведра не было. В ближнем доме колыхнулась занавеска, показалось старушечье лицо. Молчанов подождал. Бабушка в длинной белой рубахе вышла на крыльцо, слабо спросила:

— Что тебе, добрый человек?

— Воды…

Она принесла новенькое оцинкованное ведро. Легко вращая ворот, из дальних-дальних глубин он вытащил воду. Ведро серебрилось. Он сделал глоток, два — вода была не такая торжественная, как в ключе, но зато ломко-сладкая, мягкая, так что он вдруг не смог сдержать слёз. Он пил и пил, чтобы спрятать их, а слёзы бесследно исчезали в ведре, не давая горечи.

— Спасибо, бабушка. Хорошая ваша вода.

— Хорошая, да. Мы её зовём — доброй. Ты запомни, сынок, — доброй.

Старушка взялась за дужку ведра. Молчанов поднял голову. Очи на бабушкином лице были глубокие, иконные, и он поразился их печали, спокойствию.

— Гляди, — сказала она, — люди бегают, бегают… А чего бегают? У нас тут богач, купец жил, тряпки из Турции возил. Уехал он совсем. А позавчера вижу — хтось возле колодца топчется, вроде тебя. Я с ведёрком сюда. А это Мишка наш. Невесёлый, постарел. И выпивши. «Я, — говорит, — весь мир объехал и вернулся, а ты, баб Гань, какая была, такая и есть. А я чё-то потерялся». И заплакал. А я ему: «Миш, ды ты попей, попей водички, оно и отляжет». Ничего, говорит, не отляжет… Он-то, Мишка, жалостливый рос, всё с дитями соседскими возился. А вишь, в купцы пошёл…

Молчанов вернулся в гостиницу, застелил подушку чистой футболкой, лёг. На душе было так одиноко и так больно! Отчего это всё происходило с ним?! Он не знал… Сердце щемило — в предчувствии ещё большей печали и одиночества. Он почему-то представлялся себе воином перед битвой, победы в которой — не видать… И Молчанов крутился, крутился на скрипучей пружинной кровати, переворачивался со спины на бок, то пытаясь унять свою боль, то пугаясь, что она уйдёт. Надо было жить для главного, каждый день, жить сосредоточенно, держа главное в сердце. И он это понял и теперь боялся, что будущие минуты и дни заслонят его открытие суетой и заботами. Надо было жить как Вера у озера, как бабушка у колодца, как ключи у церкви — жить, забыв себя и своё принуждение к этой жизни. Он не верил в себя, не верил, что сможет *так* жить, хотя время у него ещё было…

Судьбой назначенный

Когда отцветающая сирень пахнет полынью, когда липы на бульварах смыкаются кронами, а дорожки парка «Динамо» на ладонь заметены тополиным пухом, тогда они и встретились.

Саша Темников спешил с вокзала домой. В «парадке», в накремённых ботинках, с чёрным кожаным дипломатом, который он то и дело перекладывал из руки в руку. Чувства сплелись в клубок: надежда, боль, ожидание, тревога. Какой стала теперь Лена? Что они скажут друг другу?

Она увидела солдата издали, и, хотя знала, что это не мог быть Саша — ему служить ещё две недели, сердце её, тревожно ёкнув, вдруг забилось лихорадочно, быстро. Лена шла к свекрови, несла свадебные фото. Снимками она осталась недовольна, хотя Олейчук позвал во Дворец бракосочетаний лучшего мастера в городе.

Да, прекрасно вышли платье, пелерина, фата и розы, отлично сидел костюм на женихе, а уж галстук она завязала ему узлом, который подсмотрела в иностранных журналах. Респектабельны и солидны гости, торжественно-значительна дама, что их регистрировала. Здорово был пойман момент обмена кольцами. Бокалы с пузырьками шампанского, традиционный торжественно-церемонный поцелуй.

Лена замечательно красива на свадебных фото, а Олейчук смотрелся барином, денди. Но всё же ей казалось, что у неё неуверенный, виноватый вид, а Эдик, напротив, слишком самодовольный, победительный.

«Нет, не Саша», — успокоилась она. Солдат был чуть выше ростом, чуть тоньше в талии, чуть шире в плечах. Он шёл чётким, уверенным шагом. Вот она уже различает черты лица…

«Саша!»

Она замерла, не в силах пошевелиться.

«Как могло так совпасть?!»

Досада, стыд, жалость к себе, жалость к нему, страх (вдруг кто-то из знакомых увидит!), ужас, смятение — она стояла, прижав сумочку с фотографиями к груди, будто боялась, что их отнимут.

Сотни, тысячи раз он потом возвращался к мигу их встречи. И удивлялся внезапной зоркости, которая вдруг посетила его. Он увидел будто бы всё сразу — и настоящее, и прошлое. Саша мгновенно, будто владел чудо-фотоаппаратом, запечатлел и её растерянность, и тонкое обручальное колечко, и припухшее лицо, и полные груди, к которым она прижимала дурацкую бело-серую сумку (из неё торчал большой плотный конверт), и чуть раздавшееся вширь тело, и непривычно, слишком «по-женски» подведённые глаза, и её новую блузку с легкомысленными воланами, и юбку-колокольчик (голубую), и босоножки — простые, белые. Он остро ощутил её чуждость, отстранённость. И смутное видение мелькнуло в сознании: невнятная, согбенная фигурка воришки, крадущегося вдоль глухой стены.

«Она будет несчастна».

Он будто читал книгу жизни, видел страницу с уже предначертанной судьбой.

Всё, что он так тщательно готовил для решающего разговора, теперь не годилось.

«Как же так, Лена?»

Она увидела вопрос в его глазах. Это был не упрёк, не сожаление, не гнев, не отчаяние. Изумление! Она словно оказалась перед всевидящим

судиёй и с ужасом почувствовала, как что-то надломилось в мире, изменилось, треснуло, что ход её жизни нехорошо повернулся.

Ответить было нечего. И тогда она поспешила переложить вину на него. Она — изменница, но виноват — он!

Два года назад, когда Сашу забирали в армию после первого курса института, да, она обещала ждать, сидела рядом на проводах, смущаясь пристальных взглядов его родителей, родни. И очень долго Лена аккуратно писала письма, прилежно училась, даже в кино выбиралась нехотя.

А жизнь, единственная, проходила мимо!..

Саше тоже досталось: он попал в Афганистан выполнять «интернациональный долг». Но при чём тут Лена?!.. Саше просто не повезло.

Шли месяцы. Их поцелуи, мечты, всё, что было прежде дорого, уплывало в туман прошлого, в дымку неопределённости.

Зато Олейчук стал реальностью. Если ему что-то нравилось, Эдик брал, не спрашивая, не рассуждая, сминая сопротивление, и считал, что так и дóлжно. Может, она тоже желала решительности разбитного старшекурсника?! А ещё — шикарных букетов, щедрых подарков, походов в дорогие рестораны. Хотя... Не в этом дело! Просто ей стало жаль своей молодой жизни. Надоело сидеть взаперти непонятно ради чего.

Весь рой доказательств, оправданий, раскладов, объяснений вихрем пронёсся в её сознании. И всё получалось логично, когда она прежде рассуждала сама с собой («Ах, нехорошо всё-таки с Сашей вышло!» — об этом она тоже думала и морщилась от неловкости); но теперь, когда они так нежданно-негаданно столкнулись («будто подстроил кто!»), все аргументы рушились. Перед ней стоял не скромный юноша с чистыми, акварельными чертами лица, которого она помнила, а молодой мужчина, собранный, требовательный. Глаза его, большие, страдающие, смотрели на неё с изумлённым, будто бы даже прощающим сочувствием.

И вдруг всё, что так радовало, что доставляло столько волнений — упоение страстью, свадьба, крики «Горько!», привязанность к Олейчуку, — всё показалось чужим, ошибочным.

«Зачем я за него вышла?!..»

Ощущение ужасной беды на миг захватило Лену. Плечи её опустились.

Она ждала, что Саша что-то скажет, и тогда, как за соломинку, она ухватится за любые его слова и — спасётся, «выплывет».

Саша молчал.

Ничего нельзя было изменить!

Он ещё раз внимательно и долго посмотрел в её лицо. Нет, он не мог в ней ошибиться! Это всё равно что ошибиться в самом себе! Точно так, как тайфун, ураган, пожар или песчаная буря ударяют по налаженной жизни, так и в их отношения вторглось что-то роковое, ужасное.

«А как же любовь?»

Кончики его больших чувственных губ дрогнули. В горле пересохло.

«Только бы не оглянуться! Только бы не оглянуться!»

Он шагал прямо, механически, холодный пот катился из-под фуражки. Он чувствовал, как взмокла спина под кителем.

«Прощай, прощай», — в висках стучали вразнобой молоточки.

Она долго смотрела ему вслед.

«Надо бы ему что-то сказать... Хотя бы извиниться, что ли...»

Может, и хорошо, что они сразу встретились! Ничего не надо объяснять. А жить надо — легко. У Эдика всегда всё в ажуре.

«Трезвость — норма жизни» — гласил плакат на гастрономе. Улыбчивые рабочий и работница, одетые в комбинезоны, стояли у станка и, наверное, лидировали в социалистическом соревновании.

У Саши в дипломате были две бутылки «Пшеничной» — дефицитный товар в пору антиалкогольной компании. В укромном местечке, за магазином, он выпил полбутылки. Потом ещё. Хмель не брал, волны ожесточения поднимались в нём и тяжело падали. Сердце кричало.

Он допил натощак бутылку и, наверное, разрыдался бы от жалости к себе, если бы не два «колдыря», вынырнувшие из-за кустов. Мужики искали чем полечиться. Он отдал им без сожаления вторую бутылку и, качаясь от горя, побрёл домой.

Когда Лена перестала отвечать, он сразу заподозрил неладное. Пометавшись несколько дней в неведении, он написал старосте их группы, общительной хохлушке по прозвищу Галя-всё-знает. В письме аккуратно спрашивал: не случилось ли что с Леной? Не заболела ли она?

Староста мгновенно внесла ясность. Галя-всё-знает рубила с плеча: «Темников, невеста твоя сбежала к другому и собирается замуж. Не жалей, всё к лучшему — не ты первый, не ты последний. Перестань бомбить Назарову письмами, она их даже не читает. Деканат тебя ждёт, возвращайся. Будь мужчиной. Не куксись!»

Нет, он не верил, что такое возможно. «Лена дождись меня приму любое твоё решение люблю тебя всегда», — Темников отправил из Термеза срочную телеграмму.

Он демобилизовался раньше (в счёт отпуска) и, пока добирался на перекладных до родного города, много раз представлял себе их встречу, объяснение. Проигрывал разные варианты: от спасительного до катастрофического. Но всё оказалось проще, обыденней.

На следующий день Саша не сразу понял, где он: узкая мягкая тахта, стеллажи с книгами во всю стену, пение птиц, тополь тянет ветку в открытое окно. Дома! Какое же счастье—быть дома!

Но тут же он вспомнил вчерашнюю встречу с Леной и, чтобы сдержать стон боли, закусил край наволочки. Жгучие слёзы побежали по щекам.

Мужчины не плачут?.. Тело его сотрясалось от рыданий. «Боженька, я не смогу без неё жить!»

Сознание рвалось. Тошнота подкатывала цунами. «Смерть, лучше смерть»,—просила она. Боль была невыносима.

Над пациенткой склонился хирург—в шапочке, очках, маске, раздвинул ей пальцами веки, чтобы увидеть мутный огромный зрачок.

Ассистент скороговоркой докладывал:

— Елена Антоновна Олейчук, тридцать лет, группа крови—вторая положительная. В результате дтп—резаные раны лица и кистей рук, переломы костей лицевого черепа, перелом левой ключицы со смещением, перелом пятого и шестого ребра справа, закрытый перелом бедра…

Пыточные клещи боли, кажется, отпускали её, и нечеловеческое страдание замещалось гулкой чугунной тяжестью. Лена попыталась подать голос, но провалилась в глубокую яму наркотического сна.

Она очнулась через сутки в реанимационной палате, в гипсе, вместо головы—белый кокон с прорезями для глаз и рта.

Первым её словом было:

— Марик…

И—счастье: у сына, он был на заднем сиденье, ни одной царапины! У Олейчука—только два синяка. Муж ехал на встречу к банкиру, она попросила подбросить их до школы. Эдик всегда нарушал правила, и всё ему сходило с рук. Но не в этот раз! Уходя от лобового столкновения, Олейчук крутанул руль, подставив под удар Лену.

Красавица «Ауди» разбита в хлам. Лена—тоже.

Полгода она пролежала в областной больнице. Консилиумы, операции, врачи, перевязки. Хирурги по кусочкам собирали её лицо.

Увидев первый раз себя в зеркале, Лена потеряла сознание.

«Лучше бы я умерла!»

Люди с такой внешностью не имеют право на жизнь, они—её оскорбление.

— Мама, я тебя боюсь,—плакал Марик. (Его наконец-то пустили к матери.)

— Жуть!—сказал Олейчук.—Лена, прости, я женился на красавице, а не на уродке.

Она и опомниться не успела, как оказалась разведёнкой без алиментов—официально Эдик нигде не работал.

Она осталась один на один с судьбой. Родители, подкошенные её несчастьями, тихо сошли в могилу: сначала мать, потом отец, Денег не было—все сбережения утекли на взятки врачам, на знахарей и гипнотизёров (к ним она тоже кидалась в отчаянии), на дорогие лекарства.

Ничего не помогало!

Олейчук быстро утешился—вскоре после развода он стал счастливым отцом в новом браке. О первой семье вспоминал дважды в год—на день рождения Марика и первого сентября, подкидывая немного деньжат.

Уборщица в гостинице—потолок её карьеры. Да и туда взяли по знакомству, из жалости. Помогли бывшие однокурсники, а Галя-всё-знает даже организовала сбор денег, когда ей было совсем худо.

Они жили с Мариком в двухкомнатной родительской квартире, дом был добротный, в центре города. Отец Лены когда-то работал инженером на оборонном заводе (предприятие давно закрыли, из цехов вывезли оборудование на металлолом, а корпуса теперь сдавали под склады). С балкона открывался вид на пологий склон, ведущий к реке. Раньше он был застроен частным сектором, теперь здесь появились жилые высотки, дворцы богачей, причудливые офисные здания. Кое-где ещё держалась старина—милые домишки с вишнёвыми садами, палисадники из штакетника, крохотные огородики.

Она решила обновить комнату Марику, оклеить её новыми обоями, выбросить хлам. Разбирая старый книжный шкаф, Лена наткнулась на тугой газетный свёрток, спрятанный за собранием сочинений Моэма.

Это были письма Саши Темникова. Несколько конвертов не распечатаны.

Она сидела на тонком узорном ковре, с душевной болью перебирая постаревшие тетрадочные страницы с мелкими чёткими буквами.

«Милая моя, единственная, несравненная, любимая Леночка!»

А вот Олейчук никогда не говорил таких слов. Он ей внушал, что красивые чувства—глупости. Что телячьи нежности—вредны. Жизнь—жёсткая, в ней надо урвать кусок. Дело надо делать, а не болтать!

«Когда выпадает свободная минута, я сразу же думаю о тебе. Ночью я мечтаю, как мы будем гулять в парке „Динамо“. Все будут завидовать нашему счастью. Знаешь, о чём я ещё думаю? Какой красивой была бы жизнь, если бы все любили друг друга так, как мы с тобой!»

Отцу сразу не понравился Олейчук, с первого взгляда. Она подслушала разговор с матерью: «Не верю я ему! Мутный он, ненадёжный». А Лена думала по-другому: красавец, спортсмен! Хозяйственный, родители богатые. А Саша—слишком добрый. Непрактичный.

В институт Темников после армии не вернулся. Кто-то рассказывал: Саша уехал на северá, на заработки.

Теперь, наверное, у него всё хорошо: жена, дети, работа... Как растревожили её эти старые наивные письма!

«Лена, что бы ни случилось с тобой, знай: всегда и везде, пока я жив, я буду любить и помогать тебе».

Всю ночь она не спала. То садилась на кровать, то подходила к окну, смотрела вниз, на пустой кусок асфальта под фонарём. Закрывала и открывала створку окна. Пришла на кухню, заварила чай. Да так и сидела над невыпитой чашкой, невидяще глядя в стену.

Зачем она погубила свою жизнь?!

Олейчук предал её, бросил. Так ведь и она предала Сашу!..

Тяжесть этой ночи, беспричинная тревога не ушли ни завтра, ни послезавтра.

А тут ещё Марик... Перед тем как бросить джинсы в стирку, полезла в карманы. А там—крошечный целлофановый пакетик с измельчённой травой.

«Наркотики!»

Еле дождалась сына с улицы. Перетрясла всю одежду, перевернула вверх дном комнату. Как она кричала, как умоляла его! Отхлестала полотенцем, рыдая и причитая в голос.

— Мам, да успокойся ты! Взял, чтоб парню передать. Я не принимаю—что я, дурак?

— Заработать захотел? Денег мало? В тюрягу сядешь!

Истерика нарастала. Марик пулей выскочил из квартиры.

«Я для него—никто! Ненужный я человек, конченый. Уродина».

Открыла коробку с лекарствами, стала глотать таблетки без разбора, пополам со слезами.

Почуял ли Марик беду? Или за вещами забежал? (Когда ругались, кричал он, что не может больше в этом кошмаре жить.)

Марик спас её. Вызвал скорую, позвонил Олейчуку, тот поднял на ноги всех, кого возможно. Откачали Лену.

Эдик сказал:

— Я мог бы упечь тебя в дурку и лишить родительских прав, но на первый раз прощаю. Запомни это и больше не чудесь,—и заржал как конь:—Бу-га-га!

Бессердечный циник! «Крупный рогатый скот», как говорит о нём Галя-всё-знает.

Лена совсем потерялась в жизни. Никакого просвета. А Марик пустился во все тяжкие. Учится кое-как, где-то пропадает. Отбился от рук, мать слушает снисходительно, вполуха.

Однажды зазвонил телефон. Мужской голос, тренер по лёгкой атлетике:

— У Марика способности. В него надо вкладывать деньги, силы. Готов хлопотать, чтобы вашего сына забрали в спортивный интернат, в школу олимпийского резерва.

Страшное волнение охватило Лену. Что делать? Держать Марика дома, возле юбки? Она с ним не совладает. Парню нужен пример, авторитет. Отправить «в люди», в интернат? Жалко! Заклюют. Полусирота—отец то ли есть, то ли нету.

Не с кем посоветоваться. Олейчуку всё равно, он и слушать не стал:

— Это ваши проблемы.

Позвонила Гале-всё-знает. И, надо же—везение: у неё в этом интернате шурин работает. Галя пообещала, что за Мариком присмотрят, а будут обижать, так пусть к дяде Васе обращается, тот быстро шороху наведёт. И, кстати, хорошо, что Лена позвонила, у Гали пропадают два билета профсоюзных—поездка в старинный город Гусев. Музей, прогулка, монастырь древний с чудотворным источником и парк этнографический. И всё—за копейки.

Лена так ни на одно свидание не собиралась, как в эту поездку. Сразу решила, что лицо никому показывать не будет. Платочком лёгким завесит так, чтобы одни глаза были видны. Хорошо, что поездка паломническая, все женщины православные, не будут модничать.

Марика, правда, она не уломала. Стал прикидывался больным: мол, в голове у него гудит, в животе крутит, в автобусе укачивает, и вообще, что он там забыл?! Ясно дело: стесняется матери. Махнула рукой: пусть дома сидит! Она сколько лет никуда не выбиралась, ничего, кроме больниц, грязных полов и унитазов, не видела.

На сердце и тревожно, и радостно—всё какая-то перемена. Крестик она никогда не носила, а тут достала из шкатулки—мамин подарок. И цепочку к нему тонкую серебряную. Лена иногда заходила в храм—свечки поставить. Хотя и не очень верила, что поможет, но—на всякий случай.

Место ей в автобусе досталось у окошка, и она, не отрываясь, смотрела: поля зелёные, перелески кудрявые, а вот серебристой змейкой мелькнула река, а вот серые домишки сиротливо притулились у дороги, а вот берёза белая, резным листом изукрашена. Вот мужика на велосипеде они обогнали—к раме коса прикручена, а вот козы на лужке пасутся, и два козлёнка при них—белый и белый с чёрным пятнышком на боку.

Экскурсовод Федя, школьный учитель истории, старинный город Гусев подал с таким шиком, так задурил путешествующим голову царями, князьями, эпохами, что, кажется, в Париже и то меньше достопримечательностей. И облупленные фасады домов, и бедные улицы с побирушками, не говоря уж про краснокирпичные строения Введенского мужского монастыря,—всё после рассказов Феди у паломников вызывало умиление.

Гостиница «Центральная», где их разместили, была самой простой — с обшарпанной, советской ещё, мебелью, с истёртыми покрывалами и рассохшимся паркетом. За стойкой регистрации сидела старушка в стёганой жилетке и вязала носок из козьей шерсти.

В номер Лену поселили вместе с Евдокией Мироновной, женщиной доброй и богомольной. Она сразу взяла шефство над ней: заставила снять с лица «занавеску», покормила лапшой быстрого приготовления (кипятильник и «сухой паёк» у Мироновны всегда при себе), напоила чаем и начертала план на завтрашний день.

— С утра нам дали свободное время, кто спать будет, кто на базар пойдёт за деревенским маслом, оно тут славное, а мы с тобой, Ленушка, давай сходим в храм к ранней обедне. Наши пойдут позже, по расписанию. А я, гляди, ранние службы люблю! Ни толкотни, ни духоты, и на душе просторнее.

После хлопотливого дня Лена долго не могла заснуть. Как там Марик? По телефону отвечал: «Всё нормально». Голодный, небось, сидит, хотя наготовила ему много, по кастрюлькам разложила, на бумажке всё написала.

Потом Лена стала вспоминать людей из автобуса. Федю, который так ловко «врал» и «заливал» про Гусев; благостные семейные пары — видно, что люди не первый раз на богомолье выехали; двух девушек-подружек с нечистой кожей, отчего, наверное, они и жались по углам, всё время отходя в сторонку от группы. Глупенькие, посмотрели бы на Лену!..

Ранним утром шли они с Мироновной в храм. Город Гусев, умытый скорым ночным дождём, сиял. Пахло липовым цветом, благоухали махровые пионы на самодельных клумбах. Соперничая, перекликались петухи во дворах, и так было свежо, легко, грустно и радостно — одновременно.

— Как пригож Божий мир! — вздыхала Евдокия Мироновна. — Живи — не хочу!

В этом торжественном раздумье они вошли в старые монастырские ворота.

В храме было малолюдно, две старухи с клюками сидели на длинной скамейке у стены, монашек монотонно читал непонятное из старинной толстой книги. Христос смотрел с высоты, из самого донышка купола — горько-свободным, спокойно-величественным взором.

Пахло воском, ладаном, сыростью, луговыми травами (у некоторых икон стояли букеты из ромашек, колокольчиков).

«Вот и жизнь прошла».

Лена даже оглянулась в удивлении — будто вслух кто сказал.

Она прижалась лбом к прохладному кирпичу колоны, да так и замерла. Что-то строгое и печальное затянули певчие, а монашек всё читал и читал грустное и божественное по церковной книге.

— Пойдём, — трогая за плечо, сказала ей Мироновна.

Лена повиновалась.

Они прошли мимо небольшой кучки верующих, свернули за колонны вправо и оказались в уютном крыле храма, отделённом от главной части. Возле высокого косого столика стоял монах с усталым лицом, с опавшей чёрной бородой.

Мироновна подвела Лену поближе к нему.

— Батюшка! Женщина эта никогда у исповеди не была.

Монах кивнул.

Лена осталась с ним наедине.

Молчание длилось.

— Вот, — сказала наконец Лена и убрала с лица «занавесочку».

Монах взглянул на её уродство, и ни одна чёрточка в нём не дрогнула, будто он каждый день видел такое чудо-юдо.

Стыд её сковывал. Она была не в силах разомкнуть губы.

— Я… Давно это было… Больше пятнадцати лет прошло… — Лена наконец заговорила и с ужасом слушала свой голос — чужой, заискивающий.

Она заплакала так горько, покаянно, что монах легонько коснулся её плеча, как бы предостерегая её, поддерживая.

— Аборт? — тихо, сочувствующе спросил он.

Лена, всхлипывая, замотала головой.

— Измена?

Она кивнула.

— Говорите, вам легче будет. Не торопитесь.

Она закрыла глаза и, выталкивая из себя слова, сбивчиво начала:

— Саша Темников… я обещала ждать его… письма друг другу писали мы…

Ни на экскурсию в краеведческий музей, ни на прогулку по вечернему Гусеву Лена не пошла. Лежала в номере, накрывшись простынёй с головой.

— Устала после службы, — объясняла Мироновна любопытствующим. — Завтра в дорогу, сил набирается.

Отец Георгий тоже лежал пластом в своей узкой, похожей на пенал, келье. Отпросился у настоятеля — резко занемог после утренней службы. Головокружение, ноги подкашиваются. Ослабел что-то.

— Может, перемена погоды или магнитная буря? — настоятель в миру был геофизиком и климату придавал первостепенное значение. — Идите, отец Георгий, трапезу вам принесут.

Монах лежал на своём твёрдом ложе как в гробу — вытянувшись на спине, сложив руки на груди. Он глубоко и прерывисто вздыхал, вспоминая тяжёлую исповедь.

«Как вы думаете, простит ли меня Саша?»

«Бог простит!»

«Может, мне найти его нужно?»

«Считайте, что вы его уже нашли. Если ваше раскаяние искренно, Бог его примет».

«А Саша?»

«Склоните голову, я сейчас прочитаю разрешительную молитву».

Отец Георгий встал и, тяжело шаркая, подошёл к полочке с книгами. Отодвинул их в сторону, достал небольшой пакет. Снял целлофан, развернул жёлтую, потёртую на сгибах газету.Это были письма Лены, которые когда-то она присылала в армию Саше Темникову.

Отец Георгий стоял на коленях перед иконой Спасителя и, прижимая письма к груди, горько-горько плакал.

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Елена Базаркина (11 лет)

Кордово — село моё родное!

Осенью ли, зимой ли, весной или летом я люблю прогуляться по улицам моего родного села Кордово, которое расположено около реки Кизир. Его окружают горы Громовая и Берёзовая, а также вдалеке вырисовывается красавица Джеланджа. Вдаль убегает змейкой железная дорога.

На наших улицах много красивых и ухоженных домов, магазинов. Вот возвышается крыша моей родной просторной и новой школы. В школьном дворе можно поиграть в футбол или волейбол, покататься по асфальтированным дорожкам на велосипеде или поиграть в детском городке, с ветерком покачаться на качелях.

В прошлом году распахнул свои двери бело-голубой модульный ФАП. На территории села работает «Курагинский промхоз», который занимается охотой, рыбалкой, заготовкой дикоросов. Наш знаменитый папоротник-орляк засаливают и отправляют в Японию.

Вот деревянное здание «Почты России», которое никогда не пустует. Люди сюда приходят со своими нуждами и проблемами и находят помощь и понимание почтовых работников.

Итак, идём дальше, здороваемся с односельчанами, любуемся окружающей природой, дышим чистым воздухом и смотрим в голубое небо, прикрывая глаза от яркого солнышка.

Вот мы пришли к памятнику воинам, призванным из Кордовского сельского совета, павшим в годы Великой Отечественной войны. На постаменте возвышается красная звезда, возле которой гордо реют красный флаг и триколор. У подножия звезды — мраморные таблички, на которых высечены фамилии защитников Родины! Вечная им память и благодарность за мирное небо над головой!

Почтив память павших, поворачиваем налево и, немного пройдя по улице Набережной, увидим старенький, но ухоженный детский сад «Земляничка». Сюда я приходила ребёнком, и мои любимые воспитатели и коллектив детского сада провожали нас в школу.

С улыбкой и воспоминаниями о раннем детстве пойдём дальше. Вот магазин «Саянский», контора филиала Минусинской геологоразведочной экспедиции. Здесь токарем работает мой папа.

Повернув направо, выйдем на берег протоки реки Кизир. Перед нашим взором предстаёт красавец — сельский Дом культуры. Он преобразился после капитального ремонта. Сюда я с подружками прихожу танцевать и занимаюсь в студии декоративно-прикладного искусства «Сувенир». А ещё в здании СДК находится сельская библиотека, в которой работает моя мама. Она привила мне любовь к чтению, рисованию и творчеству.

В нашем селе есть много красивых мест. Но моё самое любимое место — это наш красивый бор.

По моему мнению, бор — это самое красивое место в мире! Вот захожу я в бор и сразу ловлю множество приятных ароматов! Аромат хвои сосен, липкой смолы, ярких цветов, зелёной травки, а всё это — запах природы! Любой может сказать: лес как лес, что такого? Но если тот человек прислушается и приглядится в этот лесной мир, то я уверена, что он возьмёт свои слова обратно. Ведь лес — это не просто лес, а всегда цветущее царство растений, грибов, деревьев, животных и красоты. Мне очень нравится проводить время в бору. В нём каждая минутка служит для меня часом наслаждений! Есть ещё одна причина, по которой я люблю бор: мне очень нравится рисовать природу и её красивые места. А бор — это как раз то, что мне нужно!

Я очень люблю наш лес и своё село — это мой дом! Поэтому прошу: берегите природу, и пусть в моём любимом доме — Кордово — будут красота, чистота и порядок!

Альбина Мамаева

Смех и грех

Ильин день

Не увидали, как август подскочил. Опеть при́пас начинатца, рыжики с груздями да ягоды. Черёмуху надо бы поглядеть. А погодка стояла — ясно да жарко. Заехали в ко́лок, а её — черным-черно! Хватились — змея дала́, мы с чево без посудины-то поехали? Да нашарили в багажнике кошель, слава Бох. Черёмушка-то самай раз поспела, сладка́. А руками ишшо не да́витца, собирать ловко.

Кошель-то хоть и большушший, а двоём живо насбирали.

Сам-от взялся меня сомушша́ть:

— Давай на́ берег заедем, искупнёмся. Стыд: на реке живём, а за всё лето ноги́ не замочили.

— Так-ту чё не искупнутца?.. Гли-ка, а сёдни како число-то?

— Однако, второ ли, чё ли… Я в отпуску-то в численник не заглядываю. А тебе не всё равно, второво ли третьево купатца?

— Да так… счас на ум па́ло: второво-то Ильин день. Большой праздник. Старухи говаривали: мол, с Ильина дня купатца большой грех.

— Ну и сказанула! И чё, купатца не будем? Жаришша стоит… Ты навроде нормальна, а как сказанёшь — хоть стой, хоть падай!

— Чё я сказанула? Вот не веришь, дак послушай. Как счас помню…

Мы вить на реке-то, шшитай што, жили. По всему лету из воды не вылезали. Вся челядь там. Хто в воде плёшшетца, хто накупался — на камéньях отогреётца… Ну дак вот. Я, однако, классе в треттем-четвёртом училась… Эдак же было, второ августа. Собрались с девками под угор бежать. Баушка никак не отпускат: дескать, заморочáло, дожжик направлятца. А нам чё? В дожжик-от вода ишшо тепле кажетца. А она своё ведёт:

— Я кому говорю, не пойдёшь! Не знашь, какой сёдни день?

Я тоже не молчу:

— Нету никаково Ильи! Мы же, к твоёму сведенью, пионерки! И нам в школе хорошо распатро́шили: всё это сказки!

А баба никак не отступатца:

— Стары люди здря не скажут. Илья-то сёдни льдинку в Ангару опустил.

— Подумашь, одна льдинка!..

— А само-то главно, хто в Ильин день купатца будет, тово чёрт за ноги ко дну ута́шшит. Вот вить чё!

Да нас хто отговорит? Убежали на верхный край, к большому магазину, спустились на́ берег по сельповскому звозу. Там же нашли подходяшше бревёшко, оседлали ево да и поплыли нани́з — то на бревне, то рядом с ним. Думали до сельсоветсково звозу доплыть-то, да на нижнем краю самоходку увидали. Почево, а само главно, к кому пристали? Там и пристани-то нету. Эвон как далёко от берегу стоит — видать, на якоре. Поплыли к ней.

И ветру-то шибко не было… Не знаю уж, чем наше бревно подхватило? Глядим — относит нас в реку. Ума-то нету! Нет бы бросить его да поворачивать на́ берег… Опомнитца не успели, а нас на самоходку повернуло. Тут уж мы с ума сошли, оттолкнулись от бревна да давай сами подгребатца к ней. Рады бы к берегу, да далековато, силёнок не хватит.

На самоходке-то никово не видать, давай мы ручонками има́тца хто за што… Меня нанесло на цепь я́корну, схватилась за неё без памяти. Валькя, гляжу, на спасательном кругу́ виситца. А повыше поднятца не может — ноженки-то подмыват, утягиват книзу. Двое девок, постарше нас, сзаде булькаютца. А Наташка почево-то круго́м поплыла — видать, на другу сторону… Думаю, с этой стороны не нашла за што схватитца. Или уж теченьем её пронесло… Чё боле-то? Она вить воды-то на злу голову боитца, сама бы не поплыла ни за каки деньги… Вай, желта в рот, она ково делат? Не успела и́з виду скрытца, заныряла! Раз с головой ушла, два… Глядим, нигде её не стало… И всё молчком, это вить не с добра. Вай, ково делать-ту? По берегу ни души не видать: вся деревня вымерла ли, ково ли? Давай мы реветь во всю голову.

А в самоходке-то люди оказались. Кака-то баба выскочила, не растерялась, нырнула.

Тут ишшо два мужика тоже бросились пособлять. У меня пальцы какэсь свело судорогой, коекак от цепи-то оторвали. Другой опеть Валькю с кругу снял, да насдавали нам по мягкому месту, штоб лешак не водил куды не следует.

Повариха-то после сказывала: мол, была бы ваша девка обстрижена, дак не нашла бы её. А у этой

коса-то долгу́шша, да в воде расплелась. Так за́ волосы и вываташшила. Ишшо бы маленько, под днишше затянуло бы Наташку нашу. Она уж не здышала, синеть начала… Дак баба-то грамотна оказалась, всё сделала куды с добром!

Видать, шибко же мы испужались… Убей — не помню: хто откачал? Как нас на́ берег переправили? Почево в избе у Хомаек очутились?

Кто-то, видать, по тётю Марусю на свинарник сбегал… Как счас вижу: Наташка ишшо в себя добром не пришла, лежит на койке, а мать сидит у ней в ногах — краше в гроб кладут. Дак как? Она, Наташка-то, у матери одна порошши́на, никово боле нету…

Тётка Маруся-то шибко боялась: мол, отойдёт, дак хоть бы всё ладны было, испуг-то тебе не шутки… Она и вправду долго боялась одна в избе оставатца. Сколь раз роди́мчик хватал. Ну што ты! Вот бытто всё ничё, сидит ли стоит. Потом падат, губёнки посинеют, какэсь заумира́т. А отойдёт — ничё не помнит. Уж и так девка-то от Христа была, нигде воды не замути́т, а тут и овсе задумыватца стала. Моя-то баба долго ходила к ним, от испугу лечила.

Вот мы выросли. Из Дворца разъехались. У нас с Наташей уж по ребёнку было, одногодки. Угадали мы с ней в одно время на Дворец приехать. Как раз на Троицу. Заходит она ко мне, а я ребячье выполоскала да развешиваю в ограде. Ругать меня она не ругала, но всё же не утерпела:

— Здря ты сёдни грязну́-то работу делашь. Я уж давно по большим празникам не стираюсь.

Я и́здива вышла!

— Ты чё, — грю, — не одичала ли? Ты вить учительша. Физике челядят учишь. Спомли, как старух-то в концертах продёргивали?!

— Дак дураки были. Счас-то я вить не за себя боюсь. Представляшь, я сделаю чё-то неладно, а это не на меня повлиять, а на ребёнка…

— А моя баба говорит: Бох толькя лентяев не любит, а работать не грех.

— Ну не знаю… Никто вить не проверял, есть там кто-то или никово нету. А стары люди говорят: бережёново Бох берегёт.

Годов пролетело полно́. Вся жись. Так до сих пор и не знаю: есть там кто, или никово нету? Самой проверять неохота. А ну как на внучатах отразитца?

Боязно…

Уж эти свекрови…

— Шура! Обожди, догнать тебя не могу. Чё-то всё мимо бе́гашь — ни здоро́во, ни прошшай?

— Дак глаза худо видят — можеть, ковды и не признала сы́здале…

— Я уж думала, обидела тебя чем. Так-то мы вить с твоёй матушкой как-никак родня, кумовья были. Покойница, бывало, редкий праздник не зайдёт опроведать.

— Вай, Наталля, дак я не нарачи́, ей-бох, без обиды.

— Правду ли, нет ба́ют: Захарка-то у тебя опеть женился? Недолго гарцевал. Откуль бабочку-то привёз? Пошто не расскажешь, как но́ва-то невеска?

— Не скажу, зарок дала матом не ругатца.

— Дак чё, совсем худо дело? Спит долго? Или чем не угодила тебе?

— Вай, дак кабы спала, это бы ишшо чёрт с ним. Эта сама не спит и Захарке не даёт! Вить людя́м стыдно сказать… Гли-ка, день и ночь сидит с тилифоном да с паперёсой. А от паперёсы дым-то до чево еду́чай, все занавески пропитались! Ково толькя в них ло́жат — не знаю! Потом тилифон бросат и берётца за кампютор ли, хто ли он… Нагото́во окружала. Я дак и́здива выхожу́: как она ишшо пальцы не смузо́лила? Терплю-терплю да всё же подскажу, штоб перстятки надевала.

— А ей куды пальцы-то берегчи́? Ей вить не корову дои́ть… Куды с добро́м на готовеньком пожива́т. Чё не играть — свекровка-то всё сделат, дивья́!

— Вай, дак она вить по всему дню играт да жа́бат, играт да жа́бат! И куды в неё вохо́дит?! Ишь как раздобрела — в кожу не помешша́тца! И што за бабы пошли? Лишь бы ей хорошо было, а мужик хоть пропадай! Слышь, а ты-то почём знашь? Неуж по деревне разговоры пошли? Вай, стыдо́вишша, хоть на улицу не выходи!!!

— Как почём знаю? Я-то ишшо не ослепла. Вижу: три раз на́ день, как по расписанью, бегашь с сумками через дорогу. К кому ишшо побежишь? Чё-то как с Настей жил парень-то, ты не шибко к ним таскалась. Настя и работала, и скотинку держала. Управлялись без тебя. В избе чистота, кажду субботу все верёвки стираным завешены. Дак ишшо и настряпат. Оне с Захаром наедятца и про вас не забудут. А про самуё и говорить нечево, в ночь-полночь она как картинка, любо-дорого глядеть. За што бытто ты её незлюбила, дура ты старая?

— Как за што? Она вить день и ночь в работе. Из школы вечно последня уходила, дак ей ишшо мало — на́ дом ученики вало́м валят, наипаче которы в город собрались ехать учитца. А с двоешниками дак, не поверишь, за́даром вечера просиживала, нихто не платил ни копейки. Захарка с работы придёт, пои́сть сам себе подогреёт. То как-то гляжу, он и посудёнку после себя ополаскиват. Ну-ка, это чё — порядок? Я Насте-то раз сказала, два сказала… Она посмеиватца. Дескать, ро́дим наследника, хто мне пособлять будет? Пускай привыкат.

— Дак это разве худо? Готово-то дивья́ подогреть…

— Я вить не говорю, што худо… А знашь чё? Счас думаю: это вить я ревновала ево, ей-бох, ревновала. Он хоть и один когда к нам забежит, всё Настю свою с языка не спускат… Захар карахтером пушше в меня, чем в отца. Другой раз чё-нить скажу ему, наипаче поху́лю Настасью — он из себя выходит. Или чё-нить заставляю у них в избе переменить,

дак он ерепенитца. С ней-то, гляжу,—как шёлковый! А мне до слёз обидно... Думаю, ишшо маленькя меня ни во што ставить не будет... Правду бáешь, ума-то нету.

— Ну-ка, спомни, как сама молода-то хвасталась в конторе: мол, прихожу с работы, а мужик уж поисть направил. Да всё вить он пособлял и тебя слушался, старик-от. Сам не стыдился никакой работы и Захарку приучил. Он видит, што Настя-то место под собой не подогреет... Девка-то Христова, работяшша. Немного таких нонче. А старик-от ково про нову невеску говорит? Глянетца она ему?

— Старик-от? Штоб ему пусто было! Он туды и не кажетца. Говорю, сходи, постыди её. Можеть, она хоть тебя послушатца. Ну-ка, это вить кому скажи—не поверят. Вот прихожу я с продухтами, она сумку-то хватат да тут же на диване исть начинат, как всё равно век не едала. Я сперва терпела, а потом грю: ты пошто за стол-от не сядешь? Диван-от новай, ишшо году нету. Долго ли пролить на нево ково-нить? Сжабашь диван, не подавишься. Дак она окрысилась: иди, грит, домой и об своём диване думай, нечево в нашу жисть лезти.

— Старику-то рассказывала, как она тебя отчитала?

— А тот чё? Не идёт. Хотела, мол, нову невеску—терпи. И весь разговор.

— Да, девка... Я-то думала, раз уж ты так лебезишь перед ней, дак Захар принцессу привёз...

— Дак залебезишь... Я вить думала, раз она жáбат с телефоном, дак ей хоть ково дай, всё съест. Третьёводни взяла да приташшила вчерашный суп. Чё продухту пропадать? Он не кислый, ничё... мы и сами им отобедали. Дак она живо грит: не для тово меня мама рожала, штоб ваши объедки доедать!

— А ты Захару рассказала?

— Дак как! А он мне грит: Настя тебе худá была? Худа! Привыкай к этой. Я из-за тебя не собираюсь каждый месяц баб менять. Дак я слезами умылась... Дожилá, сколь бáско ли мамке на старости лет отвечать научился!

— Как ни крути, парень правду сказал...

— Тебе легко говорить... Мы-то со стариком внучат не чаяли дождать. А им нековды. То оне зарабатывают на машину, то на небеля́ да на ковры...

— Шурка, Шурка... Как была круговá, так и осталась. Головой думать надо было. Оне, должно быть, старалися обеспечить себя, докуль ребятёнка нету. На одну-то зарплату много ли потом наберёшь? Оне обои не такú, штоб с вас тянуть, на себя надеютца. А раз всё набрали, стало быть, скоро и до челядят дело бы дошло...

— Вай, мольчи лучче! Сама не рада. А от этой, от новой-ту, ково дождёшь? Думай-ка, с молодых годов спят нáразно.

— Свят дух Воспóдний! Не успели сойтись, а спят—нáразно? Ты неуж правду говоришь?

— Вай, молчи лучче, без тебя тошно. Я с чево врать-то буду, правды не пересказать? Дак говорю тебе, она сама хуже ребёнка—круглыми сутками играт. Захар-то дождатца не может, когды она наигратца, да идёт один в холодну постéлю. Ему вить на работу ставать. Не знаю, на сколь у меня терпення хватит. Не парень бы, дак сама знашь, сколь бы она у меня пирогов съела. Захарку жалко... Он вить за эти полгода отошшáл, все штаны спадывают. Было бы их у меня полно, дак ишшо бы ничё... а то вить один свет в окошке. Всё сердце выболело. Погляжу на ихну жизню—слезами обольюсь. Всё думаю, он вить у нас не дурак. А потом вспомню, каку невеску нам привёз, сразу задумаюсь: где только у него ум-то был?

— А я тебе говорила, одно дитё—не дитё! Не дай Бох случись чё с Захаром—и всё! Чё делать будешь?! Наши баушки-дедушки не дурней нас были. У них вить запасной челяди по пять-шесь штук было.

— Штоб я ишшо хоть раз с советами к нему полезла—ни за што! Только бы выдюжить. Вить как он не хотел расходи́тца, я вынудила. Вай, девка, оговорила Настю-то, нагородила всяково про неё. Стыдно в глаза глядеть будет... Я места себе не нахожу, вся испереживалась.

— Мне-то чё рассказывашь? Ишшо не родился такой мужик, который тебя переспорит. Упрёшься, дак мало не покажетца...

— Мольчи лучче, наградил Бох карахтером. Сама и страдаю от нево пу́шше-то. Гли-ка, ты вить с Настей-ту дружно жила. Она тебе, случайно, не сказывала, куды ей написать?

— Нет, Шура, она с меня слово взяла. Уж ей ли не знать, што попалась не свекровка, а танк неизвестной марки? Ну дак и она... уж еслив обидитца, дак может и не простить. А ты её крепко обидела, я бы не простила. Хотела другу́ невеску—вот и живи, радуйся, што по-твоёму вышло.

— Бох меня и так уж наказал... Ради Христа, дай адрес. Сама к ней поеду—упаду в ноги, только пускай ворóтитца!

— Я тебя не первый год знаю. Сёдни тебе Настю надо, завтре кака-нить фершалица приедет—ты её захошь. Она тебе не игрушка. Даже и не мечтай, ничё не скажу. Старику-то с молодых годов надо было тебя уму-разуму учить, да не как-нить, а по старинке. А счас тебя уж не переделать. Тебе вить надо, штоб у тебя все по струнке ходили. И лучше, штоб строем.

— Вай, знашь, сколь я передумала за эти полгода. Вот ей-Бох, ворóтитца к Захару—я ей буду ноги мыть и воду пить. Вот клянусь Пречистой Матерью и Христом Спасителем! Еслив вру—провали́тца мне на этом месте!

— Вот тебя припекло дак припекло. Пожалуй што, поверю. До меня доведись, я нонешну-то невеску на другой бы день попёрла из избы. Ладно, пошли

ко мне, расскажу, где искать. А ты побожись, што сперва спровадишь из деревни эту лахудру, штоб духу её не было тут, а потом поедешь к Насте.
— Чё уж ты эдак-то? Я вить не дурней тебя.

Неделя прошла в заботах.

Часа в четыре, ишшо не рассветало, хто-то в воро́та взялся то́ркатца. Кака́ змея не спит? Наталья окинулась полушалком, вышла на улицу:
— Я пошто не догадалася, добры-то люди в это время не бегают по гостям. Хто у тебя опеть стряслося?
— Вай, Таля, я не вытерпела. Мы вить счас приехали домой-то. Чё-то жеребец захромал — думала, не доедем! По гроб жизни я тебе обязана, што наставила меня на путь. Завтре всё расскажу, как съездили. Счас только само главно! Настя-то от нас уезжала — никому не сказала, што тяжела была. Дак на той неделе роди́ла двойняшек, парнишка и девчонка! Завтре выписывают из роддома!!! А, не дай Бох, Настя лишилася бы дитя-то?! Или назло не пустила нас к ним? Всю бы жисть я себе локти кусала. Как здумаю обо всём — волосы на голове шевелятца! Нисколь не вру!
— Тьфу-тьфу на тебя, плюнь через левое плечо! Да, паря, наделала ты делов…
— Натальюшка, спасибо тебе! Побегу Захарку подымать, пускай собиратца да едет стречать. Всё ладно, дак к нам сразу и привезёт. А мне стряпатца нады да у нево там прибратца. После этой лахудры-то я уж два раз всё перемыла, а дымом нет-нет да опахнёт… Ну-ка, ишшо бы маленькя — и не видать бы нам внучат. Всё же Настасья уж така́ молодчина, нахвали́тца не могу! От такой девки в своём уме никто не откажетца. Ну што ты! Вот невеска дак невеска — за один заход двоих принесла! Даст Бох — не последних.

Смех и грех

Изба. За столом сидят Маня и гостья, соседка Серафима. Разговаривают. Маня шмыгат носом, а Сима уговариват:
— Ну и чё, долго сидеть собралась? Ково плачешь-то? Уймись счас же, то скоро челядя́та прибегут. Иди умойся да обед направляй.

Тут Маня запричитала:
— Дак как не заревёшь с такой жистью? Коля-то вечёр чумадан склал. Я, грит, лучче к тётке Симе обратно уйду жить, чем с тобой позоритца. Это как у него язык-то повернулся сказать?! Чем это я его опозорила? Тётка Серафима, я вить с него пылинки сдувала… Всё в до́бры попасть хотела.

Серафима слушала-слушала, перебила:
— Ты это кому рассказывашь? Не забыла, Коля-то твой у меня почитай два года на фатѐре стоял. Я чужой человек, а от него худово слова не слыхивала. Давай-ка сказывай, чё подѐковалось?
— Дак чё? Ничё! Вот заставляла меня нянюшка учитца… Не раз говорила, што ремесло за плечами не таскать. А я, дура, не слушалась… Да ишшо тятя подсмеивался: дескать, не всем учёными ходить. А много будешь знать, скоро состаришься. Добры-то отцы не этому учат. Нет бы сказать: мол, учёбой мозги не надсадишь. Тоже не от большово ума буровил…
— Дак я чё, не помню тебя? До чево поперёшна росла: хоть ково присоветуй — всё как от стенки горох отскакиват. В одно ухо влетело, в друго́ вылетело… Хватит причитать! Обсказывай, потом разбиратьса будем. Да не виляй! А то я тебя скро́сь вижу!

Маня маленько пошмыгала носом.
— Обои виноватые, особенно он, — помолчала, потом всё же не утерпела: — Ладно у меня ума нету… А он вить учителем работат. Знат, што у самого тоже рыльце-то в пушку́, нет бы повиниться… Вот куды он девался? Как скрось землю провалился! В обшем, вчерась мужики у зятя баню перекрывали, Катерина к вечеру её истопила. Сама знашь, после баньки-то хоть займи, но выпей. Выставила магарыч. Мужики напарились, а потом выпили. Дак с устатку вино хорошо в голову-то попало, давай оне собирать про рыбалку да охоту. Мы с девками ушли от них в куть. Сидим, языками мелем. А те чё-то расшумелися. Прислушались, а оне моёво Колю к стенке прижали. Мол, чё ты на неё кинулся? Девок тебе в деревне мало? Ни кожи, ни рожи, ни грамоты. Зато челяди полна изба (ясно, што обо мне речь!). Любопытство их разбират, как мы живём. Молчи не молчи — оне разве отвяжутца? Ну, он и говорит: дескать, не знаю, как вам, а мне с бабой подфартило. Видели бы вы, как Маня своих ребят учит всему, книги им читат, одеват каждый день в чисто… Худово слова челядята от неё не слышат. Да чё там говорить? Не глядите, што в деревне родилась, а прямо настояшша ледя. А што грамоты не хватат, дак она не остаре́ла, выучится ишшо. Анбиции-то у ней о-го-го! Вот каково лешака я выскочила? Не знаю, чё меня пу́шше задело. Слушаю и ушам своим не верю. Главно, непонятно, то ли он меня хвалил, то ли надсмехался… Тётка Сима, но-ка погляди на мою анбицию: чё, уж я така́ страшна́я? Мне дак кажетца, нисколь не хуже некоторых… Вот тебе и добрый — прославил на всю деревню, выставил дурой. И чё-то мне так обидно показалося, да ишшо вино во мне заиграло — со всей дури залепила по ево-то черномазой анбиции. Он ажно побелел, — Маня опеть залилась слезами.

У Серафимы сердце зашлось:
— Вай, девка, ты не одичала ли? То-то мне казалося, што у тебя с головой не всё в порядке… А ты и вовсе с большим приветом оказалась. Парень-то вить от Христа, ты где ишшо тако́во найдёшь? Вся худа! У тебя откуль эта круговня-то?! А я ишшо за тебя заступаюсь, всё утро Колюшку-то уговариваю… Он вить как вечо́р лёг на койку, так и не подыматца. Лежит как неживой!

Маня опеть залилась слезами:
— Са́мо-то главно, у нас вить с ним послезавтре юбилей, как мы сошлись. И вот тебе на!
Старуха опешила:
— У вас какой ишшо юбилей-то? Он вить толькя другой год тутака…
— Ну и вот — уже будет ровно год и три месяца.
Серафима в сердцах поднялась со стула, направилась на выход, не вытерпела:
— Вот што я тебе скажу, Маня: раз такое дело, глаза бы мои на тебя не глядели! И бо́ле не пушшу тебя черезь мою ограду ходить, бегай круго́м! И по спички ребят не отправляй… Да! Ухват мой штоб счас же приташшила! Вот!
— Ишшо не башше. Ты-то с чево на меня осердилась?
— Не перебивай! Уж никак я про тебя не думала… Эх ты-ы!.. Не будешь другой раз так делать. Я к тебе с простой душой, а ты эвон чё придумала… И чё только у тебя в голове? Хоть маленько шевели мозгами-то! Ты как хошь, а я умываю руки, делай как знашь…
Серафима осадила себя, потом всё же решилась:
— Ну, раз уж пошёл такой разговор, всё выскажу. Подумай-ка своёй головой: тебе годов-ту сколь? Вот, скоро двадцать семь будет. А Кольша-то недавно из институту. Как к полюбовнице похаживал бы, глядишь, никто бы не дознался. А я вить толковала ему: мол, нады бы девку поберегчи́. Дескать, одна маетца, а одну бабу всяк может обидеть. Сама знашь, живо скажут: без всяково стыда на парня вешатца. Нет! Ему всё по честному надо, а то не подумал, што не одну тебя на шею посадил. Это вить петля. Народ-то не дурак, ребёнка родить — это полдела, а их ишшо нады выкормить-выпоить, одеть-обуть… Дитё-то не котёнок. Чё я тебе рассказываю? Сама знашь. Ну-ка, окроме тебя, ишшо пятеро челядят! Это вить только подумать! И сама без работы. Не то што зарплаты, илиментов и тех нету! Я всё стесняюсь тебя спросить: у тебя старши-то обои от Лёньки?
— Конечно, обои, оне вить двойняшки, Минька-то с Гринькой.
— Дак я всё думаю: почево ты их рожала-то? Школу пришлось бросить. Пошто ни с кем не посоветовалась-то?
— А я советовалась. Помнишь, врач-то у нас как раз приезжал? Старичок-то? Не помнишь, с плешивой-то головой? Мамка меня к нему отправила да наказала: мол, еслив строк небольшой да врач разрешенне даст, ты уж не оставляй дитё-то. Успешь ишшо нарожать. Да про здоровье, говорит, спроси, а то, не дай Бох, бездетной бы не остатца. Будешь потом локти кусать. Мне вить шешнадцать с небольшим было. Об этом и с мамой-то совестно разговаривать было, а врач-то мужик! Застыдилась я…
— Вай, вся ты кругова́. Разговаривать ей с мужиком совестно! А спать дак было в самый раз?!
— Как бы ни было, а я ничё не спросила. Испужалась… Думала, как скажу, он мне сразу брюхо резать будет. Ума-то не было…
— Дак как не страшно-то? Конечно, страшно… Гли-ка, я всё думала: чьи оне у тебя? Главно, двойняшки, а друг на дружку нисколь не нахо́дят. Оне тут ко мне забега́ли, водички да дровишек натаскали… Посадила я их ко столу. Оне едят, а я всё приглядываюсь. Мишка как был рыженький, так и растёт. А Гришку-то не здря евреем зовут. Он в ково у вас весь чернявый выродился? Думаю, дай-ка я ево спрошу. Вай, дак до чево то́дельный растёт! Ни за што не скажешь, што десять годов парню. Как большой рассуждат.
— Отку́ль ково берёт? Такой придумщик… Чё он тебе наболтал?
— Не бай, я все кишки надцади́ла над ним хохотать. Вот давай он мне всю родову вашу перебирать. Однако, до седьмого колена дошёл. Хотела остановить: мол, я не про стариков спрашиваю, мне интересно, пошто тебя евреем зовут. Сама знашь, это фулюганьё чё придумают — большой сроду не догадатца.
— Ну и чё, дошло у вас дело до прозвишша-то?
— Дак как дошло. Ты, грит, меня не перебивай. Но раз тебе подробности неинтересно слушать, то у меня по всему вышло, што по мамке я русский. А еврей — по папкиному другу. Еслив не веришь, спроси сама, у нас больше никаких евреев знакомых нету.
— Вот хлопу́ша растёт! Это кому незнаюшшему расскажи — поверит.
— Он у тебя головастый растёт. Даст Бог, выучитца — начальником будет. Гли-ка, а девки-то у тебя тоже Лёнькины?
— Ну дак как, Лёнька-то к тому времю уж на девятом хребте был.
— А этих почево рожала? Круго́м одна — без зарплаты, без по́мочи.
— Дак почево? Лешак знат почево. Тогда вить маму-то с тятей одного за другим схоронили, одна осталася. Эти ись-пить просят. А у меня никаково ремесла в руках нету. Спасибо, вся деревня помогала. А потом стал ко мне один захаживать. Командировошный. Воды натаскат, дровишек наколет. Да мало ли чё по хозяйству сделать надо? Так и сошлись. Одно мне в нём не глянулось — шибко жадный. Уж такой скупердяй, за копейку зайца догонит.
— Ну, паря, вы партизаны! Как это вы таились, што я и то не увидала?
— Ко мне вить тогда полно народу захаживало, дай им Бох здоровья. Ребята не успели подрасти, а я опеть забрюхатела. Он бытто не против был. Наладился на заработки: тут, мол, работать негде. Ну… уехал — и с го́лком. Вот тебе и заработки. Как в воду канул. Пошла я в больничку, а там врач опеть новый. Я и сама уж окружала от такой жисти, да он

ишшо взялся меня страшша́ть. Овсе с панталыку сбил. Какэсь с приступом ко мне: рожай, и всё, докуль молода! А то, грит, привяжетца кака-нить боле́сь, останесся на бобах. Повидал, грит, я вас таких: смолоду нишшету плодить неохота, а потом плачете, дескать, Бох детей не даёт. До старости бездетность ле́чите,— Маня маленько обопнулась: — Тьфу-тьфу, плюнь три раза, не моя зараза! Какэсь расклевил меня, до слёз разжалобил. Реву: мол, чё меня мамка таку несчастну роди́ла? И так доля горька, да ишшо, тово гляди, бездетность привяжетца. Спрашиваю дохтора: мол, она откуль берётца, бездетность эта? А он грит: разно быват, в основном наследственность. Вот, примерно, у твоёй матери дети есть? И чё на меня нашло? Я грю: не знаю. А он аж подпрыгнул: значить, и у тебя не будет. Так што давай рожай и не думай! Вот хоть верь, хоть нет, так всё и было.

Серафима согласилась:

— А вить и вправду, которы бабёнки всех врачей прошли, молятца день и ночь, а не даёт Бох маленьково. Стало быть, судьба у тебя така́. И, главно, хоть бы по одному рожала. А чё сделашь? Ничё не сделашь! Это уж на роду так было написано. Маня, раз уж заговорили, дак, можеть, сознашься: а меньша́ у тебя откуль взялась? Ветром надуло?

— Знашь чё? Еслив врасплох меня захватила да я тебе кое-чё растрепала — это ишшо не значить, што я тебе всё расскажу. И челядят моих не задевай. Так и знай, первы двое — Лёнькины, Сонька с Оллей — от Васьки, а Верка — лично моя. Вот и всё! Поняла?

Серафима обиделась:

— Так-то разобратца, дак оне все твои личные, ни одному папке не нужны. Столь годов одна на них тянешься.

В избу с визгом залетели девчонки, наперебой затараторили:

— Баба Сима, баба Сима! Ты така́ молодец, што зашла к нам! А мы на реке так накупались, так накупались — ажно исть отошша́ли! А ты нам молочка принесла? Холодненьково? Я бы попила сичас холодненьково-то!

Серафима попеняла девкам:

— Ох, девки, девки… Мамку скоро обрастёте, нет бы ей помогчи́ ково-нить, а вы всё скачете.

Сонька прямо остановилась:

— А вот и неправда! Меня мамочка очень хорошо воспитала. И я ей всегда с радостью помогаю. Вот, примерно, вчера она никак одна не могла дои́сть конфетки. Не успела попросить, мы с Оллей прямо запрыгали от радости! И сразу помогли, съели все до одной!

Серафима похвалила девчонок:

— Ну, молодчины, помошницы выросли. Чё бы мамка без вас делала? Заросла бы в грязе́. И конфеты бы все засохли не съедены. Будете хорошо помогать, дак мамка вам чё-нить купит на подарок. Или хоть пирогов настряпат…

— Мамочка, мы тебя всегда-всегда любить будем, и слушатца будем, и помогать. А ты нам куколок покупать будешь… Да, мамочка? И играть с нами будешь. Ладно, мамочка?

— Вай, девки, нам кто денег напа́шетца на подарки-то? Дедушка Мороз вам давно ли притаскивал кукол-то? Эвон, валяютца — одна без головы, друга без рук, без ног.

Сонька выскочила вперёд, матери в глаза заглядыват:

— Мамочка, а я догадалась знашь чё? Помнишь, ты рассказывала, што мы сначала у тебя в животике жили? Прямо вдвоём, помнишь?

— Дак где ишшо? Конечно, в животике и жили.

— А ты поглядеть можешь, вдруг там случайно наши игрушки остались?

Серафима согнулась пополам, зашлась от смеху. Дохохотала до слёз.

— Вай, девки, побега́йте-ка на у́лку. Какэсь брюхо заболело, што за че́лядь пошла? Где ково берут?! Да босиком-то не бегайте, холодат.

— Ладно, обуемся. Сонька, ты пошто опеть не на ту ногу сандалю-то напялила? Переодень на леву.

— А ты научи меня, как узнать, что это нога не лева?

Олька покрутила пальцем у виска:

— Ты чё, совсем уже? В этом году в школу пойдём, а как ты будешь знать, в какой руке ручку держать? Смотри — видишь, на левой ноге большой палец справа! Запомнила?

Серафима кишки надцадила хохотать над девками.

— Маня, ты куды девалась?

— Да тут я, тут. В куте́ сижу.

— От ково спряталась? Вай, откуль в бабе эстоль воды берётца? Ревёшь и ревёшь… надце́лась со слезами. Хто опеть заспе́лось?

— Дак гляжу, ба́шше моих челядят на свете нету…

— И чё ты тут слезами умывашься? Подумашь, взамуж её не зовут! Он вить тоже не дурак, обмозговать надо. Хоть какой мужик десять раз подумат. Кабы ты одна была… Ну-ка — взять бабу с такой бороно́й! Окроме тебя, ишшо пять ртов. Каки деньжишши нады зарабатывать, штоб таку́ семью содержать. Это вить толькя в школу всех одеть — где люди таки деньжишши берут? Цены-то — страшно выговорить! А я тебе знашь чё скажу? Не торопись в сельсовет ево ташшить. Я не первый год на свете живу, всяко бывало. А на мой нонешный ум, я бы и сама не торопилась. Ты чё, думашь, мой старик шибко гладкий был, царство небёсно, не тем будь помянут? Знашь, сколь раз прибить ево охота было? Тоже другой раз доведёт — собственными руками задушила бы! А нет — нельзя! Мне же ево в сельсовете под роспись выдали. Так што не торопись расписыватца… Вот и подумай. Дак ему тоже задуматца надо, а то вить хоть кто скажет: жених-то ку-ку! Ну а так-то не замечала, Коля ребят не обижат?

— Не-е-ет! Ты чё, Колю не знашь? Оне вить, наипаче парнишки, не отходят от нево. Без отца-то худо. Смех и грех, Гришка тут привязался: пошто, грит, взамуж не выходишь? Чё скажешь ребёнку? Так и сказала: мол, не берёт нихто. А чё, грит, ты уже всех спрашивала? Особенно дядю Колю? Он хороший, даром што учитель. Вот завела бы нам такого папку, в школе бы все обзавидовались… То рассуждают как больши, а который раз сморозят чё-нить — хоть скрось землю провались! Недавно за у́жной сидим, Коля возьми да чмокни меня в шшоку. Мишка-то как заревёт: «Хватит обниматца, и так уж семеро по лавкам, скоро спать негде будет».

Сима развеселилась с челядятами и забыла, что сердилась на Маню. А чё сердитца-то? Докуль нихто не мешат, нады садитца да обмозговать, как дальше жить.

— Ну чё надумала? Ишь как челядь-то к Коле прилепилась! Они не к каждому привяжутца… Я тут своим-то умом знашь чё думаю? Ты не сердись, а всёж-ки грамоты тебе не хватат. Образова́ння. Надо как-то тебе в эту сторону глядеть. Грамотны-то знашь сколь читают?! Все новости знают, об чём ни спроси. А ты, небось, в руки не берёшь?

— Меня чё со всеми равнять? Поисть нековды, не до книг.

— Ну, книги — это я верю. А хоть бы журналы или газеты. Еслив не против, дак я тебе буду «Крестьянку» давать. Интересный журнал. И картинки есть, моду всяку печатают.

— Дак я пошто не читаю-то? Газеты почитываю.

— Ну и сколь ты их читашь?

— Дак сколь? Сколь оторву, столь и прочитаю.

— Вай, она што за девка?! Што у тебя, што у челядят — одне анекдоты на уме! Ты вить не старуха, голова-то ишшо варить должна. Ему охота, штоб ты старалася, штоб ему не стыдно было с тобой в люди вытти. Пораскинь мозгами-то. Думашь, ему легко дало́сь? Вся деревня и́здива вышла, как он к тебе жить-то ушёл. В каждой избе только и разговору было, што ты без всяково стыда ему на шею вешалась. Профу́кашь мужика… Чё мольчишь? Воды в рот набрала?

— А чё тут скажешь? Ну, останусь без ухажёра… Завью горе верёвочкой… Пускай живёт с кем хочет…

— Да… Сама-то неуж не видишь, што ему, окроме тебя, никово не нады, провалиться мне на этом месте?

Сима насторожилась, выглянула в окошко:

— Не слышишь? Бытто кто-то в сени зашёл!

Старуха подхватилась, побежала открывать.

— Вай, каки́ к нам гости-то припожаловали!

— Баба Сима, я чумадан оставил пока, а с работы пойду — захвачу… Маня, примешь меня без чемодана?

Маня сперва было состроила мину, приготовилась сказать чё-нить, потом махнула рукой:

— Да хоть совсем нагишом. Ты уж прости меня, боялась сказать: мне вить после Нового года рожать… Вдруг опеть двойняшки будут? Семерых-то одна я не вытяну. Всё сказала, а ты счас сам думай: оставаться или убегать…

Люблю тебя, Уральский край!

Поэзия и проза участников литературных объединений «ОСТ» и «Неолит» (г. Снежинск)

Ирина Грехова

Голуби

…А в небе — голуби.
И мы
Летим над всем земным,
как птицы.
И в небо падают холмы,
И невозможно приземлиться.
Переплавляется
в глагол
Любое слово между нами.
И расцветает суходол,
Омытый тёплыми
дождями.

А выйдет нам с тобою срок
Делиться песней
голубиной —
Завоет гулкий водосток
Своей остывшей
сердцевиной.
Иссохнет зелени атлас,
Мы небеса забудем
вскоре,
И будут голуби
без нас
Парить на ветреном просторе

Владимир Малягин

Достоевский и церковь

Фёдор Михайлович Достоевский…

Вряд ли можно назвать другого писателя, чей художественный *вымысел* так безапелляционно и резко вторгается в живую жизнь, чьи невероятные по виду пророчества сбываются в *реальности* спустя многие десятилетия с железной и детальной обстоятельностью. Вопросы, с великой силой поднятые в литературе Достоевским, суть вопросы духа и совести — то есть главные вопросы для всякого искреннего людского сердца. Герои Достоевского всегда стоят на грани важнейшего выбора — между правдой и ложью, светом и тьмою, добром и злом.

Достоевский — реалист, но единственная реальность, которая его по-настоящему волнует, — это реальность *духовная*, реальность не видимой плотскими очами *внутренней жизни человеческого существа*; потому-то нам, людям, знающим о духовной жизни больше понаслышке, Достоевский зачастую представляется мистиком и даже фантастом. Но *всё видимое временно, невидимое — вечно* (2Кор. 4:18), мог бы повторить Достоевский вслед за апостолом и святыми отцами Православной Церкви.

Для всякого исследователя художественного творчества очевидно, что масштаб художника определяется прежде всего масштабом тех вопросов и тем, которые его волнуют. Достоевский никогда не брался за *неглавные* темы. Точнее сказать, под его пером любая тема обыденной повседневной жизни становилась главной. В каждом *частном* случае он как никто другой умел увидеть и вскрыть общий смысл происходящего, перипетии главной битвы российского и общемирового исторического процесса — битвы между верой и апостасией, Христом и Велиаром.

Для русского, российского сердца Достоевский особенно близок. Ведь именно тема русского, русскости, тема России была сквозной темой его творчества, а русская боль была его вечной болью. Вместе с тем Достоевский никогда, даже в малейшей степени, не был писателем-этнографом, воспевающим русские сарафаны и хороводы, не был и писателем-«народником», превозносящим народный быт и обычаи во что бы то ни стало. Наоборот, к народу, к его духовной действительности писатель подходил строго, не делая скидок, с теми же нравственными принципами, которым следовал в своей личной жизни.

Эта масштабность творчества Достоевского предопределила громадную и бесспорную славу русского писателя. За сто с лишним лет, прошедших со дня его кончины, о нём написаны сотни книг, тысячи статей. О нём, конечно же, будут писать и впредь, до тех самых пор, пока людскому обществу, хотя бы в малой своей части, удастся сохранить человеческий облик.

И, однако, несмотря на громадное, почти необъятное количество критической литературы о Достоевском, существует тема, до сих пор очень скупо, невнятно и противоречиво освещаемая исследователями его творчества. Тема эта — «Достоевский и Православие», или, определённее и конкретнее, «Достоевский и Церковь». Да, в отношениях между Достоевским-художником и Православной Церковью есть не то чтобы противоречивость и несовместимость, но — недоговорённость и неясность каких-то вопросов.

Это проявляется, прежде всего, в частных оценках его личности и творчества со стороны известных в церковной истории людей. Действительно, с одной стороны, мы слышим искренние, идущие из глубины сердца слова православных русских священников и архиереев, современников писателя, служивших панихиды «по нашему великому писателю и благочестивому христианину Фёдору Михайловичу Достоевскому»; с другой стороны, читаем в книге православного мыслителя Константина Леонтьева «Наши новые христиане» обвинения Достоевскому в придуманном им «розовом христианстве», в неправдоподобии образа русского православного монашества, нарисованного писателем в последнем, итоговом его романе «Братья Карамазовы».

В двадцатом веке мнение Леонтьева привыкли упоминать как курьёзное — и не более того. Даже такой известный православный критик творчества Достоевского, как митрополит Антоний (Храповицкий), упоминая об оценке Леонтьева, объяснял её «нежеланием понять нашего великого писателя крайне правыми элементами нашей литературы». Однако сегодня определение «правый» для настоящего *православного* сознания вовсе

не является ругательной оценкой. А обвинение в «нежелании понять» требует, по крайней мере, обоснованных доказательств. Поэтому подобное положение недоговорённости и невнятности в таком серьёзнейшем вопросе, как «Достоевский и Церковь», сегодня ненормально и неприемлемо.

Не претендуя, конечно же, на окончательное решение вопроса такого масштаба, попытаемся обозначить те ориентиры, которые необходимы для оценки творчества Фёдора Михайловича Достоевского с православно-церковной точки зрения.

1. Судьба

Для верующего человека художественное творчество, каким бы выдающимся оно ни было, никогда не может иметь абсолютной, самодовлеющей ценности. Не художественные образы писателя идут после его смерти и частного суда на мытарствах в райские кущи или в бездну адскую, а он сам, его личность, лицо, его душа. Поэтому любая попытка понять и узнать писателя предполагает прежде всего попытку понять и узнать в нём человека, узнать его судьбу.

Достоевский родился в 1821 году в Москве, в семье врача, в квартире Мариинской больницы для бедных, известной больше под именем Божедомки.

В роду Достоевских, известном с шестнадцатого века, были помещики и монахи, воины и епископы. Дед писателя был священником в Подольской губернии.

Такие качества маленького Феди, как душевная ранимость, сердечное участие к чужому страданию, горячность характера, тяга к чудесному и религиозное настроение, обращали на себя внимание окружающих. В той жизни, которой жили Достоевские, не было недостатка в страданиях, а значит, требовалось постоянное самоограничение ради других. Вот только один характерный случай. Когда сгорело крепостное село Достоевских, купленное отцом писателя после присвоения роду потомственного дворянства, Достоевские пожертвовали все свои деньги в помощь крестьянам-погорельцам. На таких примерах и рос будущий писатель. Уже первая его повесть, принёсшая ему недолгую, но громкую литературную известность, называлась «Бедные люди» и органичнейшим образом вытекала из переживаний детства и юности.

С самой ранней юности главной книгой Достоевского стало Евангелие. Короткая дружба с Белинским не поколебала основной любви писателя—ко Христу. Вот как вспоминал позднее о том времени Достоевский в «Дневнике писателя»:

«В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него,—прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня,—каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него всё лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы человек,—набросился он опять на меня,—поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком, так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.

— Ну не-е-ет!—подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели, а он расхаживал взад и вперёд по комнате.)—Ну нет; если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к движению и стал во главе его…

— Ну да, ну да,—вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский.—Он бы именно примкнул к социалистам и пошёл за ними.

Эти двигатели человечества, к которым предназначалось примкнуть Христу, были тогда все французы…»

Участие в кружке Петрашевского было, конечно, наиболее леворадикальным и революционным периодом в биографии Достоевского, но поразительно, что, даже будучи заговорщиком, писатель ни на миг не отшатнулся от своего главного Идеала. Перед казнью, когда шли последние к ней приготовления, Достоевский, по воспоминаниям князя Ф. Львова, подошёл к Спешневу, своему соучастнику-петрашевцу, и сказал: «Мы будем вместе с Христом!»—«Горстью пепла»,—ответил Спешнев.

В этом коротком диалоге замечательны и характерны обе фразы. Достоевский верил, что, участвуя в тайном обществе с целью освобождения крестьян, он делает Христово дело. Спешнев же, возможно, помимо своей воли сказал слова, для заговорщиков почти пророческие: умри бунтовщики в тот момент, не раскаявшись в своём преступлении, они наверняка стали бы для Христа лишь «горстью пепла».

Но жизнь их была продлена. Годы каторги стали для писателя годами великого духовного переворота: узнав, приняв и по-настоящему глубоко и искренне полюбив русский народ, он узнал и принял почти тысячелетнюю веру своего народа—Православие.

Вместе с тем каторга не подавила, а, наоборот, развила в нём его главные качества—сострадание, милосердие, любовь.

«Снисходительность Фёдора Михайловича к людям была как бы не от мира сего,—вспоминал о годах сибирской ссылки Достоевского после каторги его друг барон А. Врангель.—Всё забитое судьбою, несчастное, хворое и бедное находило в нём особое участие. Его совсем из ряда выдающаяся доброта известна всем близко знавшим

его… Он человек весьма набожный, болезненный, но воли железной…»

Впрочем, в этот период ещё не произошло полного воцерковления Достоевского. По воспоминаниям того же Врангеля, Достоевский «был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом».

Женитьба Достоевского на М. Д. Исаевой, случившаяся зимой 1857 года (он был тогда ещё ссыльным), основана во многом на тех же человеческих посылках: сострадании, желании спасти, пожертвовать собой. Правда, пожертвовать собой «ради счастья любимой женщины», в сущности, его не любившей. Этот максимализм воли при достижении достаточно фантастичной цели — тоже одна из характерных черт личности Достоевского. Брак этот, продолжавшийся семь лет, не принёс покоя и счастья, зато на всю жизнь Достоевский получил новую тяжкую ношу в виде пасынка Павла — фата, лодыря и лжеца, требовавшего от отчима только одного — денег.

Кстати сказать, до конца жизни нёс Фёдор Михайлович и ещё одну нелёгкую финансовую ношу: фактически содержал многочисленное семейство Михаила Михайловича Достоевского — своего рано умершего старшего брата. При этом надо отметить, что и пасынок Павел, и семейство брата эти жертвы Достоевского, имевшего уже и свою немалую семью и постоянно жившего в недостатке, воспринимали как должное, как его обязанность перед ними.

Подобно каждому человеку, Достоевский был обуреваем в жизни различными страстями: ревностью, например, или страстью к рулетке во время заграничной жизни, но нёс он при этом долгие десятилетия, начиная с Сибири, тяжелейший физический недуг — эпилепсию.

Достоевский умер христианской смертью. Вот как вспоминает об этом жена писателя Анна Григорьевна Достоевская:

«Когда доктор стал осматривать и выстукивать грудь больного, с ним повторилось кровотечение, и на этот раз столь сильное, что Фёдор Михайлович потерял сознание. Когда его привели в себя — первые слова его, обращённые ко мне, были:
— Аня, прошу тебя, пригласи немедленно священника, я хочу исповедаться и причаститься!

Хотя доктор стал уверять, что опасности особенной нет, но, чтоб успокоить больного, я исполнила его желание. Мы жили вблизи Владимирской церкви, и приглашённый священник, о. Мегорский, чрез полчаса был уже у нас. Фёдор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюшку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушёл и я с детьми вошла в кабинет, чтобы поздравить Фёдора Михайловича с принятием Святых Таин, то он благословил меня и детей, просил их жить в мире, любить друг друга, любить и беречь меня. Отослав детей, Фёдор Михайлович благодарил меня за счастье, которое я ему дала, и просил меня простить, если он в чём-нибудь огорчил меня…

…Затем сказал мне слова, которые редкий из мужей мог бы сказать своей жене после четырнадцати лет брачной жизни:
— Помни, Аня, я тебя всегда горячо любил и не изменял тебе никогда, даже мысленно…»

Похороны Достоевского вылились в удивительную демонстрацию христианского чувства со стороны неверующей, казалось бы, молодёжи. Тысячи людей, провожавших его, пели: «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас!» Множество задушевных речей было произнесено на отпевании Достоевского и панихидах по нему. Вот одно из таких слов, сказанное священником И. Петропавловским:

«Кто такой Фёдор Михайлович? Не титулованная, не знатная государственная особа, а просто человек и христианин. Христианин! В этом разгадка тайны его духа.

Мы высоко чтим его. Чем же приобретены им это уважение, этот почёт? Не восхождением в верхние сферы государственной жизни, а нисхождением в нижние слои народной жизни, служением человечеству. Это — бедный и самоотверженный труженик, много поработавший на благо человечества вверенными ему от Бога талантами; это глубоко верующий христианин, муж Креста Христова… Весь путь его жизни был усеян терниями. Чаша жизненных скорбей и невзгод испита была им до дна; но она не огорчила его сердца и только разожгла в нём огонь святой любви к своему народу, ко всему человечеству. И он был истинный сын своего народа, друг всего человечества.

Он открыл нам нашу народную жизнь в её самых низших, отверженных слоях и здесь вместе со страшными душевными язвами нашёл и указал нам в душе человеческой ту блестящую искорку, по которой мы все сродны своему Творцу, Отцу светов…

Богатое содержание его духа нелегко приобретено им: оно выстрадано им, вышло из горнила мучительных ощущений его сердца. Высокое ли — мы не знаем, близкое ли — не предрешаем, но, несомненно, он — подобие праведника».

Кончина Достоевского была кончиной воистину «безболезненной, непостыдной, мирной» — такой кончиной, какую Церковь просит в своих молитвах ко Господу для всех своих верных чад.

II. Творчество

Начиная с «Записок из Мёртвого дома» (1861–1862), вернувших Достоевскому угасшую было в связи с арестом и ссылкой его прежнюю громкую

литературную известность, всякое новое крупное произведение писателя оказывалось в эпицентре литературной и общественной борьбы того времени. Но если «Записки из Мёртвого дома» имели всё-таки более социальное и публицистическое значение, то «Преступление и наказание» (1866), первый великий художественный роман Достоевского, поднимал впрямую уже вопросы духовно-нравственного порядка. Именно с «Преступления и наказания» Достоевский становится, в силу своих выстраданных жизнью убеждений, одним из тех, кто сознательно противостоит в общественной жизни России ширящемуся либерально-демократическому «нравственному прогрессу», ведущему Россию к будущей катастрофе.

В своих набросках к роману писатель записывает:

«Православное воззрение, в чём есть Православие. Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом,—есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания.

Человек не родится для счастья. Человек заслуживает своё счастье, и всегда страданием…»

В этих же набросках формулирует Достоевский и своё понимание социализма:

«Главная мысль социализма—это *механизм*. Там человек делается человеком механикой. На всё правила. Сам человек устраняется. Душу живую отняли».

Именно с отнятием у человека его живой души писатель и не собирался мириться.

Главная мысль романа «Преступление и наказание» проста и ясна. Она есть воплощение шестой заповеди Божией: «Не убий». Но мало было бы пользы от этого благонамеренного стремления, если бы писатель просто декларировал в очередной раз одну из заповедей Божиих. Сила его великого художественного таланта именно в том, что он показывает читателю неотвратимость расплаты за содеянное зло, *свидетельствует* об этой неотвратимости. Именно потому, что и сам Раскольников тоже имеет живую душу (хотя бы он и пытался вообразить себя холодным и рассудительным *механизмом*), он несёт в себе самом наказание за своё преступление. Потому что, как говорит Тертуллиан, «душа человеческая—по природе христианка» и не терпит духовного насилия над собой.

Впрочем, Достоевский-мыслитель не мог, конечно, остановиться на идее возмездия, пусть даже вполне заслуженного человеком. Если в мире есть только справедливость, но нет милосердия, то такой мир никогда не удовлетворит Достоевского. Добавим от себя: в таком *справедливом* мире живой человек попросту задохнётся от холодности, механистичности, нелюбви людей друг к другу.

Вопль о нашем милосердии к «униженным и оскорблённым», ко всем «бедным людям» проходит сквозной темой в творчестве писателя. Но мало ему и этого. Как воскрес Христос, так может воскреснуть и каждая душа человеческая—воскреснуть, восстать из состояния своей греховной падшести. И без этого-то воскресения нет веры Достоевского; вернее—эта возможность воскресения любой человеческой души, как бы глубоко она ни пала, и является *основой* его веры.

«Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к её ногам. Он плакал и обнимал её колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и всё лицо её помертвело.

Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она всё поняла. В глазах её засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для неё уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит её и что настала же, наконец, эта минута…

Они хотели было говорить, но не могли. Слёзы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновлённого будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.

Они положили ждать и терпеть. Им оставалось ещё семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она—она ведь и жила только одною его жизнью!

Вечером того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников лежал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припоминал теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь всё измениться?..»

«Преступление и наказание»—может быть, самый стройный и художественно совершенный роман Достоевского. Его построение роднит его с классической трагедией, но трагедией не античной, а пронизанной светом христианской веры в обновление и воскресение человека. Другая причина художественной гармоничности романа, вероятнее всего, в том, что автор ещё не ставил в этом произведении задачи, почти непосильной для искусства,—задачи изобразить «положительно-прекрасного» человека.

Именно такая задача была поставлена Достоевским в романе «Идиот». Образ главного героя кристаллизовался постепенно. В начале своих раздумий Достоевский делает такие черновые наброски:

«Главная черта в характере Князя:
забитость,
испуганность,
приниженность,
смирение.
Полное убеждение про себя, что он *идиот*».

«Князь говорит про людей грешных: все больные, за ними уход нужен…»

«Смирение — величайшая сила».

«Чем сделать лицо героя симпатичным читателю? Если Дон Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.

Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он *невинен!*»

И наконец, Достоевский записывает несколько раз в течение одного дня, десятого апреля 1865 года: *«Князь — Христос»…*

Как видим, задача была поставлена действительно грандиозная. Была ли она выполнена?

Бесспорно, роман «Идиот» никак нельзя назвать творческой неудачей писателя. Изображение борений человеческой души со своими страстями, как всегда у Достоевского, пронзительно и глубоко. Но прекрасный человек, человек *смиренный*, вовлечённый в вихрь и водоворот этих страстей, окончательно гибнет, сходя с ума. Таким образом, *житейское море, воздвизаемое напастей бурею*, топит в своей пучине того, кто, по замыслу писателя, должен был стать если не равновеликим, то *подобным Христу*. Этот важный симптом в творчестве Достоевского разовьётся в дальнейшем и станет камнем преткновения для многих читателей и критиков писателя. Пока же только отметим этот симптом про себя.

Роман «Бесы», опубликованный в 1871–1872 годах, окончательно привёл Достоевского в лагерь «реакционеров». Либерально-демократические и социалистические террористы от литературы, порицавшие писателя уже за образ Раскольникова, в коем они не увидели достаточно пиетета и преклонения перед «молодым (нигилистическим) поколением», зато обнаружили «клевету на русского революционера», после «Бесов» изощряются в своём остроумии по поводу *отсталости* Достоевского.

Д. Минаев, например, соединяя в своей рецензии имена Достоевского и Лескова (у последнего недавно был опубликован антинигилистический роман «На ножах»), пишет, что оба писателя «до такой степени *окатковились*, что в новейших романах слились в какой-то единый тип, в гомункула, родившегося в знаменитой чернильнице редактора „Московских ведомостей“ (М. Н. Каткова. — *В. М.*), в одно творение Лескова — Достоевского — Стебницкого „Бесы — На ножах“».

В подобном же издевательском духе писались и другие «революционные» рецензии. Роман «Бесы» в левой критике приобрёл навсегда ярлык произведения одиозного, клеветнического, «реакционного», художественной неудачи Достоевского. Этим критикам не было дела до того, что как раз в эти недели и месяцы, когда писался и публиковался роман, в Москве слушалось «дело Нечаева», во многом перекликавшееся с сюжетом «Бесов». А многое, тогда ещё неизвестное, Достоевский попросту угадывал, основываясь на глубоком понимании «психологии революционера».

Но главная заслуга писателя была в том, что он своим романом срывал с заговорщиков-революционеров привлекательную маску благородных деятелей «во имя свободы и прогресса», показывал читателям подлинную личину этих разрушителей веры и нравственности, этих бесоподобных палачей человечества. За полвека до российской революции он увидел всю беспощадность той борьбы, которая развернётся на русской земле в начале двадцатого века. Увидел — и сказал об этом миру.

Сейчас мы знаем, что если Достоевский и ошибся в изображении революционеров, то совсем не той ошибкой, в которой его обвиняли. Действительность оказалась ещё страшнее и кровавее, а революционное беснование с такой силой охватило Россию, что отрезвление от кошмара растянулось на долгие десятилетия.

Впрочем, иной реакции, кроме хулы, от «освободителей» на свой роман писатель не ждал. В письме наследнику престола Александру Александровичу (будущему императору Александру III) от десятого февраля 1873 года Достоевский пишет:

«Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что были так „высокомерны“ в своём самомнении, и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и *высокомерно* самостоятельными.

Так думать у нас теперь и высказывать такие мысли — значит обречь себя на роль пария. А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моём».

Но, помимо пророчески-верной духовной анатомии всего российского революционного движения, в «Бесах» Достоевский попытался создать нечто и принципиально новое для себя. Это был первый роман писателя, в котором «на сцене» должен был появиться русский инок Тихон как духовный и нравственный судья Николая Ставрогина.

Каким же видел в это время Достоевский русского монаха-старца?

«...Проживавший на спокое архиерей, по слабости ли характера или „по непростительной и несвойственной его сану рассеянности", не сумел внушить к себе, в самом монастыре, особливого уважения».

«Библиотека тоже, говорили, была составлена слишком уж многоразлично и противуположно: рядом с сочинениями великих святителей и подвижников христианства находились сочинения театральные, а может быть, ещё и хуже...»

«(Ставрогина) разбудила тишина, и ему вдруг показалось, что Тихон как будто стыдливо потупляет глаза и даже с какой-то ненужной смешной улыбкой».

«— Креста Твоего, Господи, да не постыжуся,— почти прошептал Тихон, каким-то страстным шёпотом и склоняя ещё более голову. Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро».

Прочитав страшную исповедь Ставрогина о растлении им малолетней девочки, «Тихон снял очки и начал первый, с некоторою осторожностью.

— А нельзя ли в документе сем сделать иные исправления?

— Зачем? Я писал искренно,—ответил Ставрогин.

— Немного бы в слоге».

«Я вам радостную весть за сие скажу,—с умилением промолвил Тихон,—и Христос простит, если только достигнете того, что простите сами себе... О нет, нет, не верьте, я хулу сказал: если и не достигнете примирения с собою и прощения себе, то и тогда Он простит за намерение и страдание ваше великое...

Углы губ его задёргались, как давеча, и едва заметная судорога опять прошла по лицу».

В финале, когда Тихон предсказывает Ставрогину новое преступление, Ставрогин, лишь бы только не обнародовать свою печатную исповедь, называет его «проклятым психологом» и уходит прочь...

В сущности, определение «психолог» имеет основания. Достоевский явно считает главным качеством Тихона его психологическую проницательность, наделяя его при этом нервностью, чувствительностью, душевной утончённостью. Но суть старчества совсем в другом: старец—не проницательный психолог, а *духовный* руководитель, имеющий *власть* и *силу*. Это понимание явно не даётся Достоевскому, оттого-то и встреча Ставрогина с Тихоном кончается, в сущности, безрезультатно.

Немаловажная деталь: писатель называет Тихона несколько раз архиереем (хотя в жизни конкретного человека мы и называем конкретно—епископ, митрополит) и даже святителем (так Церковь называет уже прославленных святых из архиереев после их смерти), и в то же время Ставрогин обращается к нему «отец Тихон»—как к рядовому священнику.

Совершенно очевидно, что во время работы над «Бесами» писатель ещё очень поверхностно представлял себе монастырскую и вообще церковную жизнь. Поэтому издатель (напомним, им был М. Н. Катков) сослужил Достоевскому хорошую службу, не согласившись включить главу «У Тихона» в окончательный текст романа.

Следующий роман, «Подросток», некоторые исследователи литературы определяют как своеобразный воспитательный роман. Сюжет его состоит в развенчании идеи Подростка «стать Ротшильдом» и с помощью громадного богатства «повелевать миром». Есть в романе и герой-верующий. Это бывший крепостной Макар Иванович Долгорукий, названый отец Подростка. Он странствует по многочисленным русским монастырям, проповедует покаяние и произносит незадолго до своей смерти слова, наполненные глубокой верой в человека: «Безбожника... я, может, и теперь побоюсь; только вот что: безбожника-то я совсем не стречал ни разу, а стречал заместо его суетливого...»

Но время написания и публикации «Подростка» было и временем подготовки Достоевского к работе над своей главной книгой—романом «Братья Карамазовы».

Именно «Братья Карамазовы»—этот последний и итоговый (хотя, в сущности, написанный лишь наполовину) роман Достоевского—и вызвали главные споры в вопросе о мировоззрении писателя. Тема веры и неверия, вины и ответственности, свободы и рабства человека решается здесь на многих уровнях и планах. В этом последнем романе писатель, как и прежде, демонстрирует глубокое проникновение в душу каждого из своих героев, вскрывает подлинные, а не мнимые мотивы их поступков.

Вновь, как и в «Преступлении и наказании», возникает вопрос о *возможности* преступления, о разрешении преступления *по совести*. Конфликт обостряется тем, что на этот раз в виде жертвы выступает Фёдор Карамазов—человек в высшей степени развращённый, циничный, отвратительный, но—отец.

Братья Карамазовы несут на себе тяжкий крест—карамазовскую натуру. А она, как говорит на суде прокурор, безудержна: ей нужно одновременно и ощущение низости падения, и ощущение высшего благородства. «Две бездны, две бездны, господа, в один и тот же момент—без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше неполно. Мы широки, широки, как вся наша матушка Россия, мы всё вместим и со всем уживёмся!»

Но тема ответственности за преступление решается Достоевским в «Карамазовых» на ином, если можно так сказать, *более евангельском* уровне, чем в «Преступлении и наказании». Автором судится не только и не столько сам поступок, сколько

мысль, желание. Непосредственный убийца Смердяков, незаконнорождённый брат Дмитрия, Ивана и Алёши, поднявший руку на своего отца, в сущности, даже не предстаёт перед судом. Он осуждён уже заранее, изначально, потому-то и кончает жизнь, как Иуда,—в петле. Перед судом предстают Иван и Дмитрий как *желатели* и идейные вдохновители убийства: Иван—как свидетель, Дмитрий—как обвиняемый и приговорённый. Ибо подлинному суду подлежат не только дела, но и помыслы человеческие.

Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьёт, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной (Мф. 5:21–22).

Но роман, как и всегда у Достоевского, говорит ещё и об очищающей силе страдания. И Митя, приговорённый к каторге *юридически* безвинно, осознаёт, что *духовная* его вина перед убитым отцом неоспорима и что именно за эту невидимую миру вину наказывает его Господь видимым образом.

И хотя роман обрывается как бы на полуслове планами брата Ивана и Катерины Ивановны освободить Митю с этапа и вместе с Грушей отправить в Америку, читатель явственно ощущает, что этим суетливым и мелким планам не суждено будет сбыться. Да и слишком уж русский человек Митя Карамазов, чтобы найти своё счастье в Америке. «Ненавижу я эту Америку уже теперь!.. Россию люблю, Алексей, русского Бога люблю, хоть я сам и подлец!»—говорит он брату на свидании после суда.

И действительно, бежать с каторги Мите Карамазову было не суждено. Во второй, ненаписанной, части романа, по воспоминаниям Анны Григорьевны Достоевской, «действие переносилось в восьмидесятые годы. Алёша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя же возвращался с каторги».

По сути дела, именно Митя Карамазов является героем, сознательно приносящим себя в жертву. Или, во всяком случае, сознательно *соглашающимся* на такую жертву, сознательно идущим по пути искупления собственного греха и греха своих братьев. По нашему мнению, именно в образе Мити Карамазова воплощена в романе с наибольшей полнотой и мощью христианская тема.

Но писатель не ограничился этим образом для проведения в «Братьях Карамазовых» своих христианских идей. Полноправным героем романа, впервые в творчестве писателя, выступает православный монах и—шире—православный монастырь.

III. Учение

Именно в характерах людей верующих (и исповедующих сознательно свою веру) Достоевский воплощает систему своих христианских взглядов, которую, хотя и с оговорками, можно назвать его учением. Главный образ, важный для понимания этих взглядов,—конечно, старец Зосима.

В главе «Старцы» автор, кратко пересказав историю старчества в России и подытожив, что ныне, несмотря на гонения, старчество утвердилось и водворяется по русским монастырям, вдруг добавляет:

«Правда, пожалуй, и то, что это испытанное и уже тысячелетнее орудие для нравственного перерождения человека от рабства к свободе и к нравственному совершенствованию может обратиться в обоюдоострое орудие, так что иного, пожалуй, приведёт вместо смирения и окончательного самообладания, напротив, к самой сатанинской гордости, то есть к цепям, а не к свободе».

Что это за фраза, и в чём её смысл? Как старческое руководство может привести к сатанинской гордости, если это—духовное учреждение, богоустановленное именно для спасения человеческой души от потемнения гордыней?

Что такое эта фраза (кстати, достаточно неуклюжая и сама по себе, в литературном смысле)? Признак неверия самого Достоевского в старчество как благодатное явление или боязливый экивок *на всякий случай* для неверующих? Или же это—привычный для мастера психологический *парадокс*, которым он хочет удивить читателя? Но в любом случае такая фраза не может произвести доброго впечатления на церковного человека именно благодаря своему лукавству.

А фраза эта в романе неслучайна. Ниже прочитаем страницу рассуждений автора о кликушах-бесноватых, которых ему поначалу характеризовали как «притворщиц, чтобы не работать». «Но впоследствии,—пишет Достоевский,—я с удивлением узнал от специалистов-медиков (очевидно, это и есть высшие авторитеты в духовной сфере?—*В. М.*), что тут никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь… происходящая от изнурительных работ слишком вскоре после тяжёлых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов…»

Такие *медицинские* объяснения сложных духовных явлений тоже, конечно, не могут вызвать сочувствия у человека верующего.

Вот в описаниях монастыря мы находим портрет отца Ферапонта, монаха-отшельника, живущего строгим постником. Он «видит чертей», окружающих монастырских монахов, осуждает старчество и отца Зосиму, ненавидит (в буквальном смысле слова) всех мирских. А вот каково рассуждение отца Ферапонта о посте:

«Я-то от их хлеба (то есть монастырского.—*В. М.*) уйду, не нуждаясь в нём вовсе, хотя бы и в лес, и там груздем проживу или ягодой, а они

здесь не уйдут от своего хлеба, стало быть, чёрту связаны».

Такой уровень мысли и такое понимание сути поста говорят, конечно, об одном: мы видим перед собой карикатуру. Карикатурна и сцена скандала отца Ферапонта над гробом старца Зосимы, от тела которого «раньше естественного времени» пошёл почему-то тлетворный дух. Но почему единственный отшельник, нарисованный Достоевским, карикатурен? Неужели только потому, что путь отшельничества писатель не понимал и отвергал?

Однако, повторяем, центральное место в интересующей нас теме занимает образ самого старца Зосимы.

Есть в шестой книге романа, посвящённой целиком старцу и называющейся «Русский инок», бесспорно прекрасные страницы. Это, например, описание смерти Маркела — старшего брата будущего старца Зосимы. Его покаянное чувство перед смертью, его ощущение вины перед близкими людьми, перед слугами, даже перед птичками Божиими умиляет и размягчает сердце читателя.

Но в целом образ Зосимы, конечно же, слишком далёк от известного каждому верующему образа православного старца. Вот как писал Константин Леонтьев об этой теме романа в своей статье «О всемирной любви»:

«В романе „Братья Карамазовы" весьма значительную роль играют православные монахи; автор относится к ним с любовью и глубоким уважением... Старцу Зосиме присвоен даже мистический дар „прозорливости"... Правда, и в „Братьях Карамазовых" монахи говорят не совсем то, или, точнее выражаясь, *совсем не то*, что в действительности говорят *очень хорошие* монахи и у нас, на Афонской горе... Правда, и тут как-то мало говорится о богослужении, о монастырских послушаниях; ни одной церковной службы, ни одного молебна... *Отшельник и строгий постник* Ферапонт, мало *до людей касающийся*, почему-то изображён неблагоприятно и насмешливо... *От тела* скончавшегося старца Зосимы *для чего-то* исходит *тлетворный дух*... У господина Достоевского и в этом романе *собственно мистические* чувства всё-таки выражены слабо, а чувства *гуманитарной идеализации* даже в речах иноков выражаются весьма пламенно и пространно...»

Позднее в своих воспоминаниях Леонтьев писал: «Считать „Братьев Карамазовых" православным романом могут только те, которые мало знакомы с истинным Православием, с христианством святых отцов и старцев афонских и оптинских».

Снова, как и в предыдущей попытке («Бесы», глава «У Тихона») изобразить православного старца-руководителя, Достоевскому явно не хватило понимания сути духовной власти и духовной силы. В заповедях старца Зосимы, оставленных им своим ученикам, есть такие слова:

«Перед иной мыслью встанешь в недоумении, особенно видя грех людей, и спросишь себя: „Взять ли силой али смиренною любовью?" Всегда решай: „Возьму смиренною любовью". Решишься так раз навсегда и весь мир покорить возможешь».

В этой мысли есть некоторое недоразумение: какая сила тут подразумевается? Ведь не физическая же? Так значит, духовная! Но именно духовная сила есть главнейший признак духовной власти старца, даруемой ему самим Богом.

«Старец» Достоевского слишком восторжен по любому поводу, слишком занят пониманием мира и людской психологии, он даже как бы несколько душевно расслаблен. Перед смертью самым главным своим делом он почему-то считает ещё раз увидеться и побеседовать с ближайшими монахами: «Не умру, прежде чем ещё раз не упьюсь беседой с вами, возлюбленные сердца моего, на милые лики ваши погляжу, душу мою вам ещё раз изолью».

Как не похоже это на жития православных святых, великих подвижников, даже перед смертью считавших себя недостойными спасения и думающих о покаянии! Да и разве может любой из живших на земле (кроме самых редких святых) быть абсолютно уверен, что жизнью своей совершенно угодил Богу и заслужил Его милость? И хотя Достоевский, вместе с В. С. Соловьёвым, специально ездил в Оптину к старцу Амвросию, чтобы набраться реальных впечатлений о монашестве, эти впечатления, видимо, были слишком кратки и поверхностны, чтобы стать основой положительного учения.

Ошибка писателя в том, что из двух главнейших ипостасей Божия отношения к нам, грешным людям, — милосердия и правосудия — Достоевский абсолютизирует милосердие, как бы *забывая* о правосудии Божием, о Божией правде, без которой, как и без милосердия, не может стоять мир.

Старцу Зосиме (а значит, и Достоевскому) можно с полным основанием возразить, что наглые *нераскаянные* преступления (которыми в наше время переполнен мир) не могут быть покрываемы милосердием Божиим бесконечно: рано или поздно должно наступить правосудие. Божия любовь к человеку *требовательна* — но об этом никогда не говорил Достоевский.

Есть в романе и ещё одна характерная черта: писатель как бы стыдится исповедать реальное существование бесов. «Чёрт», приходящий к Ивану Карамазову, является плодом его болезненного воображения. Опять всё объясняется психологией, и эта абсолютизация психологии тоже наносит немалый вред роману и его создателю. Духовная жизнь и психология человека — области вовсе не равнозначные и часто даже не сопрягающиеся. Во всяком случае, духовные события не могут быть объяснены на психологическом уровне, такое

«объяснение» есть профанация духовной жизни, и это известно каждому верующему человеку.

Достоевский не создал в своих книгах положительного православного учения. Точнее сказать, не выразил его так, как само учение давно уже создано и хранится Церковью. Образы монахов традиционно не удавались писателю—он всё-таки недостаточно для этого знал и понимал строй монастырской жизни. И мы, его православные читатели, об этом сожалеем.

Но, к счастью, эти естественные несовершенства всякого человеческого труда—не главное в творчестве Достоевского. Это—лишь отдельные и досадные, конечно, неудачи великого писателя. Впрочем, не только и не столько его. В таких конкретных неудачах отразилась вся глубина атеистической расслабленности девятнадцатого века, вся тяжесть накопленного российским образованным обществом неверия и самоуверенной, высокомерной наглости по отношению к Русской Церкви.

Но в каждом романе Достоевского есть герои, сознательно выбирающие страдание как путь к духовному воскресению, сознательно берущие свой крест и идущие за Христом. Эти люди знают, что в жертве ради ближнего есть великое счастье, что «блажен, кто душу свою положит за други своя». Значит, эти люди имеют подлинно христианский опыт, как имел его сам писатель. И даже о «Братьях Карамазовых» нельзя повторить слова Константина Леонтьева с полным сердечным согласием: нет, это всё-таки православный роман, хотя и не в той своей части, которую полагал особенно православной сам Достоевский.

Сострадание к брату, милосердие, любовь, умение даже в падшем человеке увидеть непомутнённый и сияющий образ Божий—это и есть для нас подлинные уроки Достоевского-писателя, Достоевского-христианина, Достоевского—сына Русской Православной Церкви. И значение этих уроков непреходяще для русского ума и русского сердца.

Не забудем же мы и того впечатления, которое вынес из встречи с Фёдором Михайловичем батюшка Амвросий. После того как писатель покинул его келью, старец сказал о нём своим приближённым: «Этот—кающийся».

И вслед за православным священником, современником Достоевского, служившим панихиду по новопреставленному рабу Божию Феодору, мы и сегодня можем повторить:

«Братья-христиане! В общем почитании усопшего соединимся в один дух и в одно сердце и будем просить у Господа вечной памяти почившему там, на Небе, и здесь, на земле. Аминь».

Литературное Красноярье ∴ СИНЯЯ ТЕТРАДЬ

Ульяна Какович (3 класс)

Дороже всего

Земля—наш дом, и мы обязаны беречь и охранять его. Каждый человек, живущий в нём, должен заботливо и бережно относиться к нему, сохраняя все его ценности и богатства.

Природа—наш общий дом.
Природа находится в опасности.
Природу берегите!

Мой родной край—село Шушь Шарыповского района. Всё в нём красиво и хорошо. В наших лесах живёт много зверей, различных насекомых, красивых птиц. Богатый растительный мир, который украшает нашу землю.

Осенью у нас много грибов и ягод. Весной, если выйти за село в степь, она привлекает и завораживает своей многообразной жизнью и горько-сладким ароматом разнотравья! Весной она—зелёное море! В это время степь нас радует цветами. Их жёлтые и красные головки весело пестрят среди сочной зелёной травы. Пчёлы и жуки жужжат над их ярким ковром, собирая пыльцу. Эти цветы лично меня поражают своим сочным и ярким цветом. А если вспомнить, что подснежники—исключительно весенние цветы, то можно представить, какую радость, вдохновение и тепло они собой символизируют. Для меня подснежники являются символом тепла и весны. А летом, когда ковыль выкинет свои метёлки, степь становится белым морем.

И это всё в моём дорогом селе. Я люблю своё село за его свежий воздух, за его чудесные поля. Весной и летом весело поют птички, появляется отличное настроение.

Шушь—моя родина, и я очень счастлива, что живу именно здесь, в Шуши.

Для меня дороже всего мой родной край!

Елена Севрюгина

Разговор с Богом

Зубарева Вера. Об ангелах и людях. Трактаты и поэмы. М.: «Стеклограф», 2020.—120 с.

Истинный творец несёт ответственность за свои творения не только перед самим собой, но и перед всем, что принято называть культурогенезом и онтогенезом.

Иными словами, есть объективная и субъективная составляющие любого творческого процесса, когда в идеале мы одновременно воспроизводим культуру в себе и себя в культуре, уже переработанной нашим опытом.

В условиях современности, где поэт уподобляется шаману, творящему индивидуальные миры, оторванные от действительности, осознание себя частью общей культуры—явление довольно редкое. Приобщение к ней скорее происходит бессознательно, а не осознанно,—тем более на фоне этого всеобщего творческого «эгоизма» поражает то культурологическое чудо, которое мы обретаем в книге Веры Зубаревой «Об ангелах и людях».

Автор данного сборника трактатов и поэм уникален тем, что наглядно демонстрирует особый тип мышления человека эпохи Ренессанса, для которого характерен синкретизм, органический сплав научного и культурного знания о мире. Продолжая оставаться поэтом, Вера Зубарева не перестаёт быть учёным, исследователем, профессором Пенсильванского университета, создавшим уникальную теорию «безрубежья». Почти все её поэтические работы являются логическим продолжением тех мыслей, которые ранее были высказаны в эссе или научных статьях. Отметим также, что в этом году Вера за свою книгу «Об ангелах и людях» удостоилась золотого диплома XI Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь», что очень почётно.

Книга в целом демонстрирует глубокие раздумья автора о нынешней и дальнейшей судьбе русской литературы и культуры и о творческом процессе в целом. Таковы трактат «Об исходе» или по-своему уникальная поэма «Милая Ольга Юрьевна», в которой в наибольшей степени проявилось стремление автора свести к единому знаменателю объективную и субъективную составляющие творческого процесса.

Но хочется поразмышлять о книге в целом. С первой страницы вполне отчётливо вырисовывается образ автора—человека глубоко эрудированного и постоянно рефлексирующего по поводу культуры и дальнейших путей её развития. Сама Зубарева в предисловии утверждает, что «в центре всех трёх трактатов не философия и не богословие, а сознание современного человека, от лица которого всё это написано». Такой абсолютно реалистический подход к собственному творчеству заставляет автора дистанцироваться от повествователя и выражать своё отношение к происходящему с помощью, например, такой эстетической категории, как ирония или сарказм. Это необходимо учесть всем читателям, которые могут ошибочно принять парадоксальные утверждения рассказчика за мысли его непосредственного создателя. А между тем высказывания о том, что «в ангеле есть неразвивающаяся основа» или что «обезьяна—венец творения природы», принадлежат не автору, а герою Веры Зубаревой, нахватавшемуся марксистской («Знание, скрытое в Запретном Плоде, / Было подобно „Капиталу“ Карла Маркса; человеческой библией / Давно уже стал „Капитал“ Маркса: / Экклезиаст писал об убыли, а Маркс—о прибыли, / И на это откликнулась читающая масса»), феминистской («Революция в Эдеме совершилась по Ленину—/ В одной отдельно взятой аграрной области. / Феминистка Ева стала во главе сопротивления. / Но переписчик стёр все эти подробности. / Бог уготовал Еве узы замужества. / Ева же стремилась к высшему образованию, / Что свешивалось с древа, не внушая ужаса / И суля ей сладости больше, чем в Адаме»), дарвинистской («Под прочным знаменем дарвинизма / Орангутарии всех стан, соединяйтесь!») и прочих теорий, сдобренных идеологией. Автор, создавая образ «скромного ученика», эволюционирующего в «примат-доцента», вступает, таким образом, в скрытую полемику с подобной псевдотеорией, разрушающей онтогенез и все достижения культуры наподобие супрематического «Чёрного квадрата» Малевича. Но подобная скрытая диалогичность и объективизация художественного содержания текста вряд ли была бы возможна без опоры на те литературные источники, жанровые предпосылки которых всё же методологически считываются с текста без особенных на то усилий. Универсализм культурного мышления Зубаревой сказывается

на подсознательном уровне в стремлении к интеграции научно-культурного знания, в контексте которого могли быть восприняты и учения Птолемея и Фомы Аквинского о сонмах ангелов, и знаменитый, первый в истории культуры, стихотворный трактат Александра Поупа «Опыт о человеке», и, безусловно, французский просветительский романа с характерным для него документализмом за счёт дистанцированности автора и повествователя.

В любом случае богатые ассоциативные ряды у эрудированного читателя могут порождать множество аналогий. А у тонкого читателя—понимание оригинальности сделанного. Этому способствуют также язык и стиль, выбранные Зубаревой для своих трактатов и поэм (свободный акцентный стих с вольной ритмической походкой, о чём пишет в своём послесловии Ирина Роднянская), которые подчёркивают лишний раз эту фундаментальность и всеохватность авторского мышления.

Вся книга, включая не только трактаты, но и поэмы, представляет собой чётко выстроенную авторскую концепцию мира, и она вполне сотериологическая. Зубарева явно иронизирует над парадоксальной моделью антропогенеза, предложенной среднестатистическим учёным-интеллектуалом наших дней и основанной на необходимости возвращения homo sapiens к исходной точке своего развития, то есть к животному, доцивилизованному состоянию:

Все мы приматы и гоминоиды.
Будет весело вместе нам.
Возвращённые дети природы
Не будут томиться по зоопаркам и церквям.
Цивилизация—это войны и дороговизна.
Прогресс—это старая забытая радость.
Под прочным знаменем дарвинизма
Орангутарии всех стран, соединяйтесь!

В итоге размышления автора приобретают апокалиптический оттенок—в последнем трактате «Об исходе» явственно прочитывается мысль о том, что, изъяв из своей жизни Бога и подружившись с научно-техническим прогрессом, человечество не достигнет подлинной земли обетованной, двигаясь в прямо противоположном ей направлении:

Вопрос об Исходе и поныне
Бередит подрастающее поколение.
Начиная с Ренессанса, мы опять идём по пустыне,
Только уже в обратном направлении.
Испив образования сивуху
И отведав Просвещения наливной плод,
Мы оседлали прогресса Сивку-Бурку
И скачем задом наперёд.

Используя «масочный принцип», автор, наподобие героев итальянской комедии дель арте, опосредованно выражает свою позицию в тексте, представая перед читателем то в облике прилежного ученика, то площадным Полишинелем, порицающим недальновидность псевдоучёных мужей, то страдающим философом-антиутопистом.

Апокалиптическая тема логически продолжается в следующих за трактатами поэмах, поскольку в сознании Веры Зубаревой всегда уживаются страстный порыв поэта и рефлексия учёного, которому важно понять долю своей ответственности в общекультурном процессе. Но сделано это с большой долей остроумия афористического толка, которое является ведущим и в трактатах, и в других поэмах.

Квинтэссенция этой рефлексии содержится в особняком стоящей поэме «Милая Ольга Юрьевна». Эту загадочную героиню можно интерпретировать по-разному. Можно, вслед за Н. А. Бердяевым, на которого ссылается Роднянская, назвать её символом объективации литературного творчества, можно по-простому—книжной феей, но в определённом смысле это олицетворение авторской совести в её неуспокоенном состоянии или авторской ответственности «за содеянное», когда живое слово тетрадных записей превращается в стальную литеру книжного фолианта. Как привести к разумному соответствию авторское «я», живое дышащее слово, и объективную составляющую культуры, превращающую любой текст в духовное достояние человечества?

Понятно, что на помощь приходят Лукоморье и стоящий там дуб—аналог Мирового древа, средоточие вселенской гармонии. Вот где полёт авторской фантазии, способной продуцировать новые миры, соединяется с классичностью и универсальностью культурного знания. Не случайно и то, что единожды в данной поэме Вера Зубарева, как бы оговариваясь, называет Ольгу Юрьевну Вольга Рьюена. Это очевидный отсыл к Древней Руси—колыбели русской, да и мировой отчасти, литературы. Где, как не в текстах летописей и священных писаний, сакральное слово органически соединяется с объективной исторической данностью о мире? В сущности, то же Мировое древо—а точнее, Древо познания.

В конечном итоге злобная Ольга Юрьевна становится милой. Поскольку превращает подмастерье в Мастера, который мучительно ищет Священный Грааль творчества:

Фея моя злая и пугливая.
Свобода мне нужна, а не ей.
Но мне никуда не деться от дуба,
А ей никуда не деться от полок.
И мы продолжаем свой путь, покуда
В стекле чернильницы моей не забрезжит
Мантия рассвета с кровавым подбоем

Однако поиск эталона—дело совсем не простое, и Вера Зубарева в очередной раз задаётся вопросом: достаточно ли у современного поколения той духовной силы, которая позволила бы ему создавать

шедевры наравне с классиками прошлых эпох? Увы, ответ безрадостен. Его мы находим в поэме «Он прискакал». Усиленно пытаясь установить закономерности развития современного культурного сознания, Зубарева опирается на опыт духовных и культурных исканий прошлых эпох. Бесконечно примеряя, применяя к современности то один, то другой литературный источник, автор вынужден констатировать, что шапка снова оказалась не по размеру, что когда-то бессмертная книга умирает у тебя на глазах и обесценивается всё то, ради чего она и была создана. И вряд ли современному читателю будут интересны чувства какой-то деревенской непросвещённой Татьяны Лариной, и найдёт он в этой великой книге только *«холестерин у дяди и жирные пятна в уголках страниц»*.

«Современное общество десакрализовано, из него ушёл Бог»,—к такому выводу вслед за Достоевским, Гоголем, Лермонтовым приходит Зубарева. Квинтэссенцией её горестных раздумий и пиком катарсиса становятся поэмы «Реквием по снегу» и «Свеча», посвящённые трагическим событиям, произошедшим в Одессе второго мая 2014 года. Одесская Хатынь, о которой долго будут помнить её очевидцы, превращается в художественном пространстве Зубаревой в подлинный Апокалипсис. Оттого такими зыбкими, тревожными, чёрно-белыми тонами наполнено повествование, в котором мир лирической героини мучительно расколот, одновременно принадлежа десакрализованному пространству, в котором нет будущего, и всему макрокосму, в центре которого вечным олицетворением гармонии и совершенства стоит дуб Лукоморья. И какими-то незримыми чувствованиями Русалки, запутавшейся в его ветвях-сетях, навеки прикованной к ним, автор ищет себя вне своего земного существования.

Дно кровати—травы и мох,
Пружины корней уходят в подземелья
Снов, застающих всегда врасплох
Поэмы Сознанье, потерявшее бдительность в теле.
Город тикает. Полночь. Свет.
Мина ходиков поджидает бессонницы.
Там, где ты есть,—тебя уже нет,
Хоть одно с другим никак не сходится.

Что касается поэмы «Свеча», то она кажется на общем фоне самой настоящей песней скорби:

Чёрное море
Чёрное небо
Шепчут молитвы
Священник и ребе
Держит мужчина
В разбитом окне
Связку тюльпанов
(Дочке? Жене?)
Чёрное море
Чёрное небо
Чёрная лестница
Чёрного склепа

И всё же художественный мир Веры Зубаревой не является мрачным и беспросветным—она продолжает искать свой Эдем. Точнее, он всегда с ней, он никуда не исчезал, потому что внутри каждого человека всегда уживаются индивидуальные ад и рай. С адом необходимо бороться, а рай доступен каждому, кто не изжил в себе такие качества души, как ирония, чувство юмора, способность общаться «по вертикали» с благими силами, олицетворяющими добро и гармонию. Может быть, поэтому поэмы «Квартал» и «Собакиада» наполнены таким искромётным юмором, а в «Разговоре по душам» героиня обращается к Богу с такой искренней лирической интонацией, что не возникает никаких сомнений: Он её услышал.

А значит, Эдем возможен, и мир будет существовать. Не об этом ли в конечном итоге хочет сказать нам автор? Мне кажется, что именно об этом:

А мой троллейбус всё катит и катит.
Скоро увижу отца на остановке,
прежний город, море вдалеке.
Там я когда-нибудь и выйду,
вздохну глубоко, полной грудью.
А пока помашу им всем рукой.
Не на прощание. Прощания нет.
Есть только вечное движение к Встрече.

Ксения Савина

Некоторые проблемы начального этапа современной версификации[1]

Начнём с громоздкого названия. Откуда проблемы в современной версификации, стихосложении и что она такое? Современная поэзия складывается из масштабного *самотёка* и литературных *кругов* вокруг или около *Союзов писателей.* Благодаря разнообразным попыткам сближения с обеих сторон, даже пересечениям, возникает актуальный контекст современной поэзии, в котором могут быть выделены четыре проблемных поля, из которых подробно рассмотрим два. Кристаллизуются они в тех замечаниях, которые могут быть сделаны произведениям начинающих авторов, даже если те давно начинают. Таким образом, обозначение основных проблем, с которыми сталкивается автор при вхождении в профессиональную литературную среду (что бы мы ни считали признаком принадлежности к профессии), может оказаться стартовой платформой для формирования практической, *прикладной критики*, которой так не хватает современной версификации.

Дело в том, что то, что мы именуем самотёком, есть бóльшая часть современного поэтического продукта, пользующаяся новыми СМИ как масштабной свободной площадкой. Свобода эта играет злую шутку с литературным процессом, который идёт в ней, поскольку нормативная система образуется стихийно, почти случайно[2]. Литературное движение вне Союза и около Союза (вышедшее из советской контркультуры) не принимает традиционность Союза как следование нормативной системе, но само вырабатывает свою, весьма сомнительную. Союз же в таких условиях занимает крайнюю охранную позицию и отпугивает её негативными проявлениями. Почему сложилась такая ситуация и в каких проблемах она ярче всего показывает себя?

1. Доклад на I Всероссийской конференции по литературно-творческой педагогике. Челябинск, 16–18 апреля 2021 г.
2. Искусство невозможно вне нормативной системы, которую оно само вырабатывает,—ars poetica.
3. Впрочем, вкупе с заградительной манерой, побочным эффектом уважения к традиции, и неприятием иного (современного), это давало также и большое количество контркультуры, которая, честности ради, была поначалу тоже высокого уровня.

Проблема техники

Крушение государственной системы и резкая смена интересов в девяностые годы привели к разрыву поколений: двадцатилетние очень далеки, тридцатилетние далеки и растеряны, сорокалетние растеряны. Далеки и растеряны от чего? Советское государство проводило дальновидную культурную политику, поддерживая (придавая авторитет, оплачивая труд) и популяризируя (общедоступные журналы с большой аудиторией, серьёзные тиражи поэтических сборников) *профессиональное классическое искусство*, *традицию*, что вместе с одной из лучших систем образования давало *человека большого читательского опыта*, что означает—осведомлённого о норме и развитии нормы[3].

Стремительное *крушение* собственной системы и стремительное *влияние* заграничной культуры дали тот колоссальный пробел о котором мы говорим: современные начинающие авторы *пренебрегают техникой* не только от полного *отсутствия представлений об авторитете* (господство «интуиции» и «экспрессии», а не виртуозности и оригинальности), но и от простого *незнания* техники (метрика, рифма, ритм). Таким образом, новые поколения далеки и растеряны от традиции. Начинающие авторы не ставят перед собой задач по совершенствованию в технике: во-первых, они её плохо *знают*; во-вторых, *не стремятся* вступать в литературные объединения при Союзе или в сам Союз, где могли бы получить ясное представление о ремесле; в-третьих, это главное, не считают *классическую техничность* важной частью дела. В итоге мы сталкиваемся с повальным наличием ритмических сбоев, однообразием ритмов, неточными рифмами и прочими явлениями некачественной поэзии.

Авторитет профессиональным сообществом утрачен и по не зависящим от него причинам (изменение культурной политики молодого государства и стойкое ассоциирование профессионального сообщества с прежней, рухнувшей системой), и от неумения существовать в новых условиях (продолжение неприятия нового и иного, закрытость, государственное иждивенчество).

Проблема романтизма — объединяет штампы, пафос и вторичность

Многоплановая проблема, связанная со стремительным *угасанием* интереса к актуальной поэзии, после его значительного подъёма в шестидесятые-семидесятые годы, и совпавшим с ним *прекращением* государственной поддержки в девяностые, вылилась в несколько поколений новых читателей, знакомых с поэзией *только* по школьной программе, которая, в свою очередь, обеднела с развалом советской системы образования.

Таким образом, мы получили автора, в чьём представлении *«стихотворение как таковое»*, *образцовое стихотворение* (очень важно, какое у автора образцовое стихотворение, он не всегда сам это осознаёт, поскольку это прямым образом влияет на его собственные стихи[4]) — это *силлабо-тонические стихи авторов Золотого и отчасти Серебряного века*. Это приводит к тому, что за понятием «поэзия», то есть за понятием дела, скрываются силлаботонические стихи определённого — ограниченного — количества видов по *форме* (это и размер, и количество стоп[5]) и по *содержанию*, что, пожалуй, самое неприятное.

Под поэзией понимаются лирическая исповедь страдальца, влюблённого, философическое заявление, размышление, часто ещё и насыщенное, по причине образцового стихотворения, архаической лексикой как подтверждением высоты штиля и глубины темы, на выходе — *штампы* и *пафос*. И дело не в том, что нет вечных лирических тем. Они есть, и самый продвинутый поэт ими бывает занят. И штампы могут быть использованы либо очень к месту, усиливая эффект, либо неожиданно, обновляя смысл. Дело в трансляции определённого психологического типа — *романтического* (или «символического»), которого уже нет, неактуального типа, в нераскрытии современного психотипа в современных же обстоятельствах с их осмыслением! Ведь и «романтическая» историческая ситуация ушла в прошлое.

Когда современный автор задаётся теми вопросами и не выходит за пределы данных некогда вариантов ответов, получается либо просто вторично, либо вторично и пафосно; если же даётся ответ современного человека, то выходит неестественно и плоско, поскольку та героическая планка обстоятельств, которая давала возможность задаваться предельными вопросами и давать на них серьёзный ответ, не соответствует реалиям нового дня (нет ситуаций риска жизнью, положением, в которых проявлялись бы лучшие качества и устремления человека). Необходимо расширение понятия «поэзия» в образовании (каждый поэт может решить это самостоятельно) с погружением в поэзию доклассического периода и поэзию двадцатого века. Тогда возникнет владение разнообразием языков и дискурсов и возможно возвышение современного выбора, обнаружение в современности её болевых точек и порогов, рождение современной эстетики.

Без вдумчивой работы современная эстетика также рождается. Но, как мы уже говорили, это «самобытное» искусство на поверку оказывается литературой штампов или с набором своих штампов и отсутствием техники.

4. Аристотель сказал, что искусство есть подражание природе. Слегка перефразируя, скажем также, что всякое искусство есть подражание искусству.
5. Из Серебряного века отбираются более-менее стандартные, классические стихи, а из экспериментов «допускаются» только разностопные лесенки Маяковского и единичные «чудачества» по типу «дыр бул щил».

Екатерина Стасяк

Сахарные тараканы

Трагикомедия в пяти действиях

Лица:

СЕРГЕЕНКО ПЛАТОН ВИКТОРОВИЧ, поэт-отшельник, бывший участник литературных собраний.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, бывший участник и нынешний руководитель литературных собраний. Прозаик. Пишет на заказ народа.

СТАРИК ИВШИН, самый старый участник литературных собраний.

УЧАСТНИК(И) №X, местные писатели, авторы и приближённые к ним личности, присутствующие на литературных собраниях.

СТАРУШКА, живёт в деревне, рядом с Платоном Викторовичем.

ДЕД.

ИЗДАТЕЛЬ, работает на крупнейшую издательскую сеть.

Действие первое

Небольшая комната в местном Дворце культуры. Длинный стол.

Явление 1. Пётр Александрович, участники литературного собрания

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(перебивая коллег)*. Я предлагаю прекратить наше обсуждение. Говорить больше не о чем. *(Дожидается тишины и прерывисто выдыхает.)*

СТАРИК ИВШИН. Пётр Александрович, наши встречи устраиваются именно для дискуссий. Так было всегда. И вы, как начинающий руководитель, должны это понимать.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Менять я ничего не собираюсь, но без толку говорить о том человеке.

УЧАСТНИК №1. А почему мы не должны говорить о Платоне Викторовиче?

Поднимается негромкий гул.

УЧАСТНИК №2. Ведь это поэт с очень интересной историей! И к тому же ваш давний друг!

УЧАСТНИК №6. Он же отшельником стал только ради поэзии!

Становится очень шумно.

УЧАСТНИК №10. Пётр Александрович, а вы бываете у Платона? А то лишь у вас есть его адрес.

УЧАСТНИК №1 *(перекрикивая всех)*. Да вы что?! И больше близких и родственников у Платона Викторовича нет?!

УЧАСТНИК №17. Жаль одинокого. Он так молод, не старше нашего Петра!

Руководитель встаёт, облокачивается руками о стол. Он недоволен. Зол. Участники не замолкают.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Я повторюсь. Зачем нам обсуждать его заочно? *(Хватается за край стола и сжимает его.)*

УЧАСТНИК №4. А зачем тогда человек пишет *(делает паузу)*… если всё остаётся внутри его четырёх стен?!

УЧАСТНИК №2. Почему же внутри стен? А ты выйди на улицу! Читай людям! Читай природе! Читай всем! Да и тем более… не каждому писателю нужно признание со стороны.

УЧАСТНИК №4 *(вскакивает на ноги, хлопает по столу)*. Признание необходимо! И если великую силу писателя не признают при жизни, то обязательно признают потом!

УЧАСТНИК №2 *(вскакивает и бьёт кулаком по столу)*. Когда потом? Когда стены комнаты сменятся на стены гроба?!

СТАРИК ИВШИН. Господа! *(Взмахивает руками, привлекает внимание всех участников.)* Лучше скажите, кто-нибудь из вас читал хоть одно напечатанное произведение Платона?

Участники №2 и №4 садятся. Все призадумались. Кто-то сразу отрицательно покачал головой, а кто-то ещё пытался вспомнить то, чего в принципе не было. Но никто из присутствующих не смог утвердительно ответить на вопрос.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(шумно садится на своё почётное место)*. Вот видите. Нам нечего говорить по этому поводу. Я предлагаю на этом закончить наше собрание.

Кивая и тихонько копошась, люди стали покидать комнату. Перешёптывание и всякое обсуждение со временем тоже прекратилось. Участники уходят. Пётр поднимает с пола свой чемодан и последний покидает комнату.

Действие второе

Глухая деревня. Улица. Скамейка около дороги, на ней сидит СТАРУШКА.

Явление 1. Пётр Александрович, старушка

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(обращаясь к сидящей рядом старушке)*. Тётушка! Полдня уже по деревне брожу, ничего найти не могу! Подскажите, пожалуйста, где находится последний дом на Нижней улице?

СТАРУШКА. Ох, милок! Сколько живу здесь, а номера даже своего дома не знаю. Тут, вишь, ни у кого в деревни-и табличек нет! Так и гадай по калитке и лужайке, кто может жить (или уже не жить) в этом доме. *(Вздыхает.)* А тебе кто именно нужен-то?

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Поэта ищу! Сергеенко Платон Викторович. Он давно в эту деревню отшельником ушёл.

СТАРУШКА. О, чего вздумал! Поэтов ему подавай! Нет тут таких. Эй! Ты хоть не сильно расстраивайся! Пишущих сейчас не много в принципе. *(Толкает в бок.)* Я сама могу тебе частушки насочинять! *(Начинает невнятно напевать и присвистывать.)* В любые поэты гожусь! Жалко мне тебя. А пойдём я хоть чаем угощу? *(Снова толкает в бок.)* Пошли, пошли! Ты не стесняйся! Мои стихи послушаешь!

Пётр не стал противиться. Он спокойно поднялся с лавки и протянул бабушке руку.

СТАРУШКА. А ну *(отталкивает руку)*! Я сама справлюсь. Пока ноги есть, я могу ими пользоваться. *(Тяжело встаёт.)*

Идут к дому старушки.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. И надо же было ринулся в эту глушь! Загорелся идеей лично доказать ему и, наверное, себе, что я выбрал верный путь.

Старушка кивает.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. А я знаю, что нужно народу! Я знаю, как быстро продаётся вкусный товар! Главное—продать глазам, а не человеческому мозгу!

СТАРУШКА. Ой! Сейчас придёшь ко мне и сам узнаешь, что такое вкусно! Потом ещё будешь добавки с огорода просить!

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Нет, а вы послушайте! *(Останавливается.)* Как этот отшельник может написать что-то великое, когда не знает, что хочет видеть народ?! Да и откуда ему, отшельнику, знать хоть что-то?

СТАРУШКА. Ишь, чего встал тут? Про огород мой слушать не хочешь? У всех-то, кроме меня, одни крапивники! *(Указывает пальцем на дом рядом.)*

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Тётушка! А кто это живёт рядом с вами? *(Смотрит на соседний полуразваленный дом.)*

СТАРУШКА. Да разве жить там можно? Там так, бродит один лишь заросший какой-то. Из дома выходит редко, а по ночам свечи жжёт. Не слышно, не видно… Жив ли кто вообще? *(Снова толкает в бок Петра.)* А может, и неживой там шатается! Ишь, призрак чей! *(Смеётся.)* Ну, ты на глупости время не трать! Это же я шучу, шучу. Главное, в недавно опустевших домах поосторожней будь. Воруют там. И правда бродят всякие.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Тётушка, погодите! *(В оцепенении смотрит в сторону соседского дома.)* Я, кажется, знаю, кто там может жить! Я чувствую! Понимаете?!

Пётр бежит в соседний дом. Старушка до последнего смотрит ему вслед. Кряхтя, уходит.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(кричит с порога и забегает внутрь)*. Платон! Платон! Платоша! Скажи, что я не обознался. Скажи, что я прав! Платон! Ты тут?

Внутри дома слышатся шаги, резкие звуки от падения каких-то вещей. Шебуршание. Возня. Появляется СЕРГЕЕНКО ПЛАТОН ВИКТОРОВИЧ.

*Явление 2. Пётр Александрович,
Сергеенко Платон Викторович*

ПЛАТОН. Петя, ты ли это? *(Подносит свечу вплотную к лицу гостя.)* Правда приехал? *(Удивляется, рассматривает Петра.)*

ПЁТР. Здравствуй, Платоша. Я смотрю, отшельники всё так же не печатаются?

ПЛАТОН. И ты здравствуй! Зато такие хотя бы вольны в своём творчестве.

Пётр оставляет свой чемодан у входа, забирает свечу из рук Платона. Задевает груду вещей и роняет её.

ПЛАТОН. Ничего, я подниму.

Пётр молча проходит дальше внутрь дома. Платон остаётся в темноте поднимать упавшие бумаги, какие-то ветки, тряпки, книги, засохшие цветы и ещё много мелких безделушек.

ПЁТР *(обойдя две имеющиеся комнаты и кухоньку).* Платон, а отчего у тебя весь дом этим хламом заставлен?

ПЛАТОН. Не хлам это! Не понимаешь если, так и не критикуй. *(Закончил поднимать с пола вещи.)* Пойдём на кухню. Там светлее.

Сергеенко Платон Викторович и Пётр Александрович заходят на кухню.

ПЁТР *(отодвигает часть безделушек на кухонном столе и на пустое место ставит свечу).* У тебя это действительно хлам. Было бы это в меру, понемногу. А всё ещё какое пыльное! Грязное! *(Трогает какие-то бусы, лежащие рядом. Показывает почерневшие пальцы Платону.)* Я не удивлюсь, если у тебя в доме уже давно тараканы завелись!

ПЛАТОН. Петя, это вынужденный путь. Ты же понимаешь, что для меня ещё нет достойной творческой среды. Сам знаешь этих графоманов! *(Открывает дверцу шкафа, достаёт две кружечки.)* Из еды, кстати, могу предложить только травяной чай и немного орехов.

Пётр очень сильно удивлён.

ПЛАТОН. А тараканов, кстати… *(Смеётся.)* Эх!!! Живу я настолько бедно, что в доме моём нет даже ни единого таракана. *(Разливает отвар, пахнущий крапивой, по чашечкам. Петру протягивает целую кружку. А себе Платон берёт треснутую чашечку, в которой оказалось гораздо меньше напитка.)*

ПЁТР. Да как ты так живёшь?! Это хотя бы стоит того? *(Встаёт, нависает над Платоном, параллельно скидывает хлам со стола в разные стороны. Прозаик безотрывно смотрит поэту в лицо.)* Покажи мне свои произведения! Ты же хочешь, чтобы их опубликовали! Так сколько можно писать в стол?!

ПЛАТОН. Да полно их! Сам найдёшь.

Пётр отстраняется от Платона, берёт свечу и начинает ходить по дому. Среди прочих бумаг находит стихи, читает их. Некоторые листки не убирает на место, а оставляет у себя в руке. Параллельно шепчет что-то про маркетинг и ужасную продаваемость. Платон поднимает с пола свои вещи. Под утро Пётр возвращается на кухню.

ПЁТР. Это будет очень трудно продать! *(Садится напротив Платона и кладёт его стихи на стол, поверх всяких безделушек.)*

Платон молчит.

ПЁТР. Ты пишешь прекрасно! Но вот темы… Твои тексты похожи на сборник оскорблений, каких-то претензий к этому миру, осуждения пороков людей!

ПЛАТОН. Я понимаю, не горячись, пожалуйста, зазря. Может, я из тех людей, чьи произведения будут вечно жить внутри автора и среди его «хлама»… и уж точно не выйдут дальше комнаты? *(Пододвигает кружку поближе к Петру.)* Помнишь, как мы раньше соревновались, хотели превзойти друг друга? Двух равных победителей не бывает. И вот я сейчас ушёл в отшельники, зато пишу свободно, в своё удовольствие! А можешь ли ты похвастаться силой своего профессионального творчества, показать, что занимаешься не в кружке по интересам?

ПЁТР *(берёт чашку в руки).* Раньше-то ты другим был. А сейчас вдруг стал думать, что твоя самодеятельность может поравняться с моими публикациями. Платош! Я издаюсь! Меня читают! *(Демонстративно делает глоток. Морщится. С отвращением ставит кружку на место.)* Что за дрянь ты пьёшь? Что за горькое пойло?! *(Делает длительную паузу.)* Раньше ты не мог жить без сладкого, особенно без сахара. Что с тобой случилось? Я понимаю, что ты выбрал такую жизнь. Но хотел ли ты стать тем человеком, каким являешься сейчас?

ПЛАТОН. А смысл в чём, что ты пишешь?! Ты работаешь по заказу, и не боле! Да тебя как автора не видно в твоих же текстах!

Пётр злится, выходит из кухни. Возвращается он со своим чемоданчиком и демонстративно открывает его при Платоне. Петя достаёт оттуда бутылку хорошего вина.

ПЁТР. Такое ты себе точно позволить уже не сможешь. *(Впихивает Платону бутылку в руки.)* Так и быть. Я возьму твои стихи в город *(поднимает бумаги со стола).* Это самое ценное, что есть в этом доме…

Пётр Александрович уходит из дома Платона.

Действие третье

Глухая деревня. Улица.

Явление 1. Пётр Александрович, старушка

СТАРУШКА. Милок, а ты чаю-то будешь? *(Выглядывает из двери своего дома, подзывает рукой.)*

Пётр Александрович вздрагивает, останавливается, смотрит по сторонам.

СТАРУШКА. Ты меня-то, старушку, не обижай! Ты ж согласился со мною чаю выпить!

Пётр послушно идёт в дом старухи. Дом старушки простоват и с виду миловиден. В нём не было, в принципе, ничего такого, что могло привлечь внимание. Но как только Пётр прошёл в дверь, то не смог ступить дальше порога. Внутри этот дом был ещё больше захламлён, чем дом Платона. Сразу напротив входа висел громадный портрет неизвестного, наверное, даже самой бабке человека. Рядом с портретом находились два веника, и тут же, на гвоздиках, вбитых в стену, повешена верхняя одежда. В единственной комнате почти не было свободного места. Но зато себя там прекрасно чувствовали неработающие часы, полотенца, вазы, книги, очень много пустых коробок и большой самовар.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(проходит в комнату, осматривается).* Тётушка! А все ли деревенские живут так?

Внутри комнаты послышались посторонние звуки. Появляется ДЕД *— буквально похож на бомжа, но с чуть более опрятным внешним видом и приятным запахом.*

ДЕД. О чём ты, внучок? *(Очень близко подходит к Петру.)* Ты знаешь того, кто живёт так же, как и мы?

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Да! И он ведь прекраснейший писатель! Поэт! Его стихи — настоящее сокровище! Боюсь, даже потомки не смогут должным образом оценить его произведения! Только писал бы он проще! Тогда точно бы известным был, публиковался!

СТАРУШКА. А! Это тот соседний крапивник, где ты был сегодня?

Пётр кивает. Старушка что-то шепнула деду на ухо, тот протяжно взвыл.

СТАРУШКА. Дед! Достань-ка мне мою коробочку, мой гробик!

Дед послушно полез под потолок, где был сделан тайничок специально для любимейшей бабушкиной вещицы.

СТАРУШКА *(обращаясь к гостю).* А ты найди стул и не стесняйся, присаживайся!

Пётр Александрович ставит свой чемоданчик на пол, поближе к углу. Там же находит стул и разгребает его от хлама. Стихи Платона прячет под одежду.

СТАРУШКА. Посмотри! *(Налетает на Петра и протягивает ему небольшой ящичек, с виду действительно похожий на гроб.)* Я думаю, что всё самое ценное человек забирает с собой в гроб. А если всё забрать не сможет, то как минимум заберёт какую-то важную и дорогую частичку! *(Поглаживает коробочку.)* Да! Очень эгоистично! Но если это действительно дорого умершему человеку, то и останется с ним навеки!

ДЕД. Цыц! У тебя и таракан в голове не бегает! К чему тебе фи-ло-со-фом быть? Слова ты хоть и хорошие говоришь, только вот ни к чему всё это. Прелюдии бабские. А у нас *(выжидает паузу и ставит бутылку водки на стол)* вот как здороваются.

Пётр Александрович не успевает отказаться, как ему тут же подают рюмку. Бабка копошится с самоваром. Затем открывает свой маленький гробик и показывает содержимое мужчинам.

СТАРУШКА. Это различные сорта чая! Вот копорский чай! Редкий какой! Ужас! От мамки мне достался! Вот фруктовый! Эх, и его ценю, тоже не дам на пробу! *(Роется в «гробу».)*

ДЕД. Чай потом, потом! Давай по рюмочке сначала! *(Заставляет Петра выпить рюмку, тут же наливает ещё.)*

СТАРУШКА. Этот второсортный. На, понюхай! *(Пихает под нос гостю чай.)* Вкусный… наверное. Может, его заварить, милок?

ДЕД. Да что нам чай?! Вот что нюхать надо!

Пётр пьёт ещё одну рюмку.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Я, собственно… больше не пью! Не буду! *(Отстраняется.)*

Дед наливает ещё рюмку, пододвигает ближе к гостю.

СТАРУШКА. А чай? *(Заваривает ему первый попавшийся отвар и подаёт полную кружку напитка.)*

Параллельно с чаем Петя выпивает ещё не одну рюмку. Заканчивается бутылка. Пётр сильно пьян. Старушка крутится и крутится около юноши, а дед и вовсе исчезает из дома.

Явление 2. Пётр Александрович, Платон Викторович

Ранним утром Пётр Александрович выскакивает из дома стариков в одних трусах и длинной рубашке.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Всё! Всё забрали! Чемодан, часы, верхнюю одежду, даже обувь! Дед! Старуха! Воры! Сделали своё дело и исчезли! *(Вздрагивает.)* А стихи? *(Щупает рукой под рубашкой. С облегчением выдыхает.)* Только стихи Платоши у сердца и остались! *(Подходит к забору между домами, пытается разглядеть что-то через крапиву. Кричит.)* Платон! Платон! *(Идёт к его дому. И тут, на участке Платона, видит тело. На дороге, лицом в землю, лежит мёртвый мужик.)* П… Пла… Платон?! Да быть не может! *(Бежит к другу, старается привести его в чувство. Безрезультатно. Забегает в дом Платона. Немного погодя выходит.)* Всё вытащили. Пусто. Весь хлам… даже стихов не осталось.

Действие четвёртое

Глухая деревня. Кладбище.

Явление 1. Пётр Александрович, жители деревни, труп Сергеенко Платона Викторовича, участники литературных собраний, старик Йвшин, издатель

Пётр устраивает похороны. Гроб с телом опускают. Каждый из присутствующих, в порядке своей очереди, бросает горсть земли на крышку гроба.

УЧАСТНИК №2. Шумно. Все так и не могут перестать обсуждать что-то.

СТАРИК ИВШИН. Конечно, такое событие на деревню! Они ещё год будут только об этом и разговаривать!

УЧАСТНИК №6. Я удивлён, что над могилой скорбят люди, которые до этого даже не знали о существовании Платона Викторовича.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(шёпотом, для себя)*. Будто и не уезжал никуда.

Могильщики начинают закапывать. Устанавливают крест, венки.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ *(выходит вперёд перед всеми, вплотную к могиле)*. Я должен прочитать эти стихи! *(Достаёт стихи Платона. Начинает читать.)*

Присутствующие не затихают.

УЧАСТНИК №17. И всё же он так был молод!

УЧАСТНИК №6. Очень жалко! Ещё и убийство с целью ограбления!

Пётр читает. Все уходят. Пётр Александрович остаётся один над могилой Платона. Появляется ИЗДАТЕЛЬ.

ИЗДАТЕЛЬ. Здравствуйте! Мои соболезнования.

Пётр закончил читать и пожал руку.

ИЗДАТЕЛЬ. Вы сейчас читали великолепные стихи! Я ещё не встречал такого таланта, такой силы! Это действительно сто́ящие тексты. А знаете *(шарится по карманам, достаёт пачку денег)*… я за всю свою жизнь ещё ни разу не встречал человека, который может так смело заявить что-то этому миру, высказать всю правду. Эти стихи! Этот ярый, правдивый, критический реализм!

Пётр повернулся лицом к мужчине и замер на месте.

ИЗДАТЕЛЬ. Я думаю, вы можете продать мне эти произведения. *(Протягивает деньги, одновременно оглядывая Петра с ног до головы.)* Такой суммы хватит?

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Погодите! *(Шёпотом.)* Это ведь не мои стихи! Я просто прочитал его произведения *(указывает пальцем в сторону)*. Платон Викторович никогда не публиковался. И я подумал, что пусть его слова будут жить хотя бы здесь, над могилой.

ИЗДАТЕЛЬ. Ну так тем более! Раз эти творения не видели публикации, то давайте и опубликуем их! Или вы думаете, мёртвый станет противиться?! Неужели ваш… эм… друг не хотел признания? Или этого признания не хотите вы? *(Убирает деньги.)* У меня есть предложение получше. Хоть к следующему месяцу я могу сделать вас одним из самых известных и обсуждаемых поэтов нашего века. Настолько я уверен, что эти творения достойны света! Другой вопрос: возьмётесь ли вы светить? И если согласитесь быть лицом произведений, то и выручка будет соответствующая *(шепчет сумму на ухо)*.

Пётр Александрович нервно сглатывает слюну и тут же соглашается на предложение.

Явление 2. Пётр Александрович, участники №x, старик Ившин

Прошло три месяца. Небольшая комната в местном Дворце культуры.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Друзья! *(Говорит в тишине: наконец его действительно слушают.)* Нелёгким путём я пришёл в поэты. Всю суть и жестокость мира вы можете увидеть в этих строчках. И я надеюсь, что смогу найти среди вас своих сторонников.

Пётр Александрович начинает читать стихи. После каждого произведения получает очередные овации. Затем рассказывает собравшимся про необходимость покупки его книги со стихами.

СТАРИК ИВШИН *(вытягивает руку вверх)*. Можно слово?

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Да, говорите.

СТАРИК ИВШИН. Некоторые строки в последнем стихотворении будто копируют ранее ушедшего поэта, Сергеенко Платона Викторовича. И неестественно звучат из ваших уст, словно написаны под диктовку.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Что за вздор?! *(Невольно вздрагивает.)* Как вы смеете клеветать на меня?

УЧАСТНИК №2 *(говорит так, чтобы услышали только рядом сидящие)*. Я тоже заметил. Так писал Платон.

УЧАСТНИК №4. Это ничего не значит! Пётр Александрович и Платон Викторович дружили близко и явно могли иметь общие мысли.

УЧАСТНИК №6 *(говорит спокойнее всех)*. Но я вот лично бывал у Платона, когда тот уже стал

отшельником. И, кажется, как раз это он и зачитывал мне. *(Закидывает ногу на ногу и смотрит на всех присутствующих так, как смотрят на зверушек в зоопарке — одновременно и с жалостью, и с потехой.)*

СТАРИК ИВШИН. Я попусту не говорю! Ведь эти строки — моя идея, подсказка Платону. Ведь я понимал, что не смогу реализовать свою мысль, но столь гениальный человек, как Платоша, справится с этим лучше всего. И сейчас, уважаемый Пётр Александрович, вы читаете строки даже не Платона, а мои.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Я вам, конечно, верю… *(Намеренно показывает всем присутствующим своё презрение к старику.)* И раз вы попусту не говорите, то сможете ли доказать свои слова? Где гарантия того, что сейчас вы не пытаетесь меня публично унизить или оклеветать?

Старик Ившин больше не сказал ни слова. Он встал и вышел из комнаты. Следом за ним вышли участник №2, участник №6.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Стойте! Да я хоть сейчас напишу стихотворение… Или нет! К завтрашнему дню будет вам великое произведение! Ну куда же вы?! Подождите завтра!

Бо́льшая часть сидящих уходит. Теперь замолчал Пётр. Ему впервые нечего сказать, когда его ещё хоть кто-то слушает.

УЧАСТНИК №4. Как смешно! Прозаик стал поэтом. Вы, Пётр Александрович, больше не пишете на заказ? Ах! Точно! Вы больше в принципе не пишете…

Действие пятое

Глухая деревня.

Явление 1. Пётр Александрович

Пётр Александрович оглядывается на дом, где его ограбили. Заходит в дом Платона. Там остался только стол и пенёк-обрубок, словно стул.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Ну где-то же должны сохраниться! Ну что-то же должно остаться! *(Ищет запрятанные стихи. В щели заглядывает, пытается доски от пола отодрать, рассматривает пустые стены.)* Я должен им доказать! Я вор, так почему меня считают ничтожеством? *(Находит последнее письмо Платона за занавеской на подоконнике, читает вслух.)* «Прости меня, Пётр! Я был слишком резок с тобой! Желаю тебе и дальше так же успешно находить своего читателя. Но я выбрал другой путь. Хочу, чтобы мои произведения были только моими. Не показывай их миру. Не издавай».

Пётр падает на пенёк, бросает письмо на стол. Замечает на столе некую посудину.

ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Что это? Сахарница? *(Тянется к вазочке.)* Так у него же не было сахара. Хотя, может, с поминок принесли? *(Поднимает крышку, но тут же роняет её из рук. Крышка разбивается. Берёт в руки сахарницу и высыпает содержимое на стол.)* Да тут одни засахарившиеся тараканы.

Нина Зай

Лошадка из дождя

Сердце ребёнка открыто миру,
как цветок в утренние часы.

Андрей стоял у окна. На улице с самого утра шёл дождь, и на лужах появлялись и пропадали пузыри; если пузыри на лужах, значит, дождь будет долгим,—так всегда говорит бабушка.

— И дождь ещё этот,—проворчал Андрей.

Он был сегодня в плохом настроении, так как мама не купила ему паровозик с ручками, а ему очень-очень хотелось этот паровозик. Он увидел его в магазине в отделе игрушек, когда они с мамой покупали нитки. «Мы не можем покупать игрушки каждый день»,—сказала мама. Андрей представлял, как бы он играл этим паровозиком, как бы тутукал; у паровозика ручки по бокам, а сам паровозик улыбается и весело глядит.

— Андрюша,—мама зашла в комнату.—Пойдём обедать.

— Не хочу. Я хочу паровозик с ручками!

— Ну как хочешь,—сказала мама и вышла из комнаты.

Зачем он сказал, что не хочет есть? Он бы с удовольствием съел тарелку борща или другого супа, а ещё булочку с компотом. И Андрей ещё больше загрустил, стало жалко себя и захотелось поплакать, громко. Но тут мама опять зашла, и в руке у неё был такой интересный предмет, яркий, цветной. Так ведь это зонтик!

— Сходи погулять. Смотри, я нашла твой зонтик.

— Зонтик! Это мой?!—обрадовался Андрей.

— Конечно, твой,—мама ласково посмотрела на Андрюшу.—Сегодня первый настоящий дождь в этом году. Апрельский.

— Сейчас пойду. Только я хочу поесть.

— Хорошо,—засмеялась мама.

Когда мама помогала Андрею надевать резиновые сапожки (они туго шли на шерстяной носок), Андрей сказал:

— Пойдём со мной гулять, я не хочу один. Мне скучно без тебя.

— Солнышко, я сегодня не могу. Пока Анечка спит, мне нужно много дел сделать, ведь к нам сегодня приедут дедушка с бабушкой.

— Не хочу, чтобы приезжали эти гости! Нет! Хочу, чтобы ты пошла со мной и всегда со мной гуляла!—топнул Андрей ногой.

Мама поцеловала его в нос.

— Я буду наблюдать за тобой из окна и махать рукой.

— Нет, не целуй меня!—топнул ногой Андрей, но идея с рукой ему понравилась.—Я тоже буду тебе махать!—сказал он.

Мама дала ему зонтик и улыбнулась.

Андрей вышел на улицу. Ему было давно уже четыре года, и в своей ограде, а также в огороде и в саду ему разрешалось гулять одному; но гулять один он не очень любил, а точнее, не любил совсем. Интереснее гулять с мамой, и чтобы сестрёнка Анечка бегала по ограде и издавала смешные звуки. Сестрёнка ещё плохо бегала, иногда падала и плакала трогательно и смешно. Тогда мама её жалела, приговаривала, вытирала слёзки. И Андрею в такие моменты тоже хотелось стать лялечкой. И чтобы мама была с ним, всегда.

Он зашёл в понравившуюся лужу, стал топать ногами и размахивать зонтиком, улыбнулся и стал топать изо всех сил. Потом случайно поднял взгляд на кухонное окно и увидел, как мама грозит ему пальцем и хохочет. Он обрадовался, что хохочет, но стал топать потише: если мама грозит пальцем—это не шутка, загонит домой. А ему хотелось ещё покопаться в луже палкой и вон в той грязи у забора. Интересно, кто там живёт, на дне лужи? А в грязи живёт кто-нибудь?

Андрей пошёл искать палку. Вдруг он услышал тоненький звонкий колокольчик. Он огляделся, но никого не увидел. Звон повторился вновь. Андрей взглянул на кухонное окно: мама мелькала где-то в глубине кухни. Откуда этот звон? Он оглянулся ещё раз и увидел в луже лошадку!

— Лошадка,—прошептал Андрей.

Как настоящая. Нет, не настоящая, а тоненькая, из воды, и не из воды, а из дождя, лошадка из дождевых капель. Она стояла на воде и била копытцем, отчего и раздавался звон. Лошадка наклонила голову в его сторону, Андрей тоже попытался изобразить поклон (он видел, как в театре кланяются актёры со сцены).

— Лошадка,—с восторгом повторил Андрей и протянул к ней руку.—Ты дождливая лошадка?!

Но лошадка перепрыгнула на другую лужу.

— Не бойся,—сказал Андрей,—я тебя не обижу. Давай вместе играть, давай дружить!

—Давай,—звонко ответила лошадка.

И она поскакала по лужам, каждый её шаг сопровождался треньканьем, как будто звонит маленький серебряный колокольчик.
— Побежали в сад,— предложил Андрей.

Садом Андрей называл одну половину огорода за домом, так как на ней росли деревья: яблони, ранетки и сливы, а ещё вдоль забора — смородина, облепиха и чёрный крыжовник. Андрей любил прохаживаться по саду, любил играть под самой большой красной сливой. Сейчас под деревьями были лужицы и чёрная мокрая земля. Вдруг Андрей зацепился шапочкой за ветку красной сливы и никак не мог отцепиться, шапка сползла с головы и повисла на ветке.
— Ай! — Андрей рассердился и стал с досады кричать: — Ух, эта ветка, почему она хватает меня?! Отобрала у меня шапку!!!

Он кое-как отцепил шапочку.
— Теперь мокрая,— пробурчал Андрей.— Почему дерево на меня сердится? Забирает шапку?

Лошадка засмеялась серебряным голосом.
— Это же красная слива, она часто сердится. Такой у неё характер,— проговорила лошадка.

Андрей присмотрелся и увидел очертания сердитого лица на стволе. «Действительно»,— подумал он и улыбнулся. Ему так радостно стало оттого, что у его сливы такой сложный характер, что она действительно всё понимает, как он и предполагал. Во время своих игр он часто разговаривал с ней. Андрей посмотрел на другие деревья: все они были грустные, а кусты смородины так просто печальные.
— Почему все деревья грустят?! — вскричал Андрей.
— Им тяжело просыпаться после долгого зимнего сна,— ответила лошадка.
— Почему?
— Как людям бывает тяжело просыпаться утром. А ещё им холодно, солнце то пригреет, то спрячется. Ты видел, вчера надутая туча посыпала их мокрым снегом? А ночью опять приходил мороз,— серебряным голоском проговорила лошадка.
— Ух, эта туча, я её прогоню! И мороза злого прогоню! — вскричал Андрей и подумал, что нужно деревца обмотать мягкими тряпочками.— А когда деревья проснутся совсем?
— Скоро уже, когда у месяца появятся молодые рожки.
— Я тоже не люблю просыпаться,— сказал Андрей.
— Смотри, на лужах пропали пузыри, мне пора домой,— сказала лошадка.
— А где ты живёшь?
— В синем лесу, на грозовых тучах.
— О-о! Возьми меня с собой! В гости!
— Я не могу сегодня, мне придётся скакать по надутым грозным тучам.
— Давай сегодня. Я не боюсь этих туч! — стал просить Андрей.

Вдруг лошадка отскочила в сторону и озабоченно посмотрела по сторонам.
— Чувствуешь этот ужасный запах? — спросила она.

Андрей принюхался: пахло чем-то невкусным, испорченным.
— Это злолюк,— с тревогой в голосе сказала лошадка.
— Кто он такой? — шёпотом спросил Андрей.
— Разве ты не знаешь? — удивилась лошадка.— Он живёт у вас под крыльцом и питается всяким мусором и плесенью.

Андрей вспомнил, что сбоку у крыльца нет верхней и нижней доски и он часто украдкой, когда не видела мама, забрасывал под крыльцо фантики от конфет, стручки от гороха и даже кожуру от банана. А там, получается, всё это съедал злолюк!
— Ай! — вскричала лошадка.— Он уже здесь!

Андрей обернулся и увидел большой надутый шар из грязи с маленькими ручками и ножками и с огромным ртом, полным кривых жёлтых зубов. Он хлопал глазищами и подползал на своих тоненьких ручках и ножках всё ближе.
— Он ползёт сюда, чтобы грызть деревья! — вскрикнула лошадка.
— Зачем? Он их тоже ест?
— Нет, он их грызёт от злости, если он их все сгрызёт, они зачахнут.

Андрей испугался, хотел позвать маму, но мама была на кухне, окна которой выходят во двор, а злолюк уже подползал к яблоньке, которую Андрей с папой посадили прошлой весной. Яблонька округлила свой маленький ротик, наклонилась и попыталась загородиться от чудища всеми своими тоненькими веточками. Андрей вспомнил, что у забора, в углу огорода, стояла его железная кочерга, маленькая, под его рост, которую ему сделал дедушка.
— Я сейчас ударю тебя своей железной кочергой! — вскричал Андрей, но злолюк только повернулся в его сторону, посмотрел своими глазищами и опять направился к бедной яблоньке.

Андрей со всех ног побежал по мокрой и вязкой земле за своей кочергой, два раза упал, но вот схватил кочергу и бросился к злолюку. А тот уже зацепил своей отвратительной ручкой ветку яблоньки и хотел сгрызть её. Но в это время лошадка подбежала и встала между ним и яблонькой. Злолюк сверкнул на неё своими глазищами, и Андрею показалось, что из них выскочила искра. Лошадка превратилась в столб воды, которая скатилась на землю, образовав лужу.
— А-а, отвратительный злолюк!!! — крикнул Андрей и ударил его своей железной кочергой.

Глазищи злолюка сверкнули ещё раз, и он превратился в серый туман, который, стелясь по земле, пополз вон из сада. «Наверное, под крыльцо»,— подумал Андрей. Он вспомнил про лошадку, огляделся, но перед ним была только лужица.

— Лошадка, лошадка,— позвал Андрей.

Но лошадка не появилась, и дождь закончился.

У Андрея стало так горестно на душе. Потом он посмотрел на яблоньку, она улыбнулась ему своим маленьким ротиком и погладила его своей изящной веточкой по голове.

— Мы спасли тебя?— прошептал Андрей.

Яблонька качнулась из стороны в сторону и опять улыбнулась Андрею.

— Наверное, ты самое весёлое деревце в нашем саду,— прошептал ей Андрей.

Тут он заметил, что солнце уже наполовину спряталось за лесные верхушки, подул предзакатный ветер, он дул всегда в одно и то же время. Пора домой.

Андрей зашёл в дом. В прихожей было темно, из комнаты доносились голоса — это папа разговаривал с бабушкой и дедушкой. Значит, дедушка и бабушка пришли, пока он гулял. Он слышал, как маленькая сестрёнка бегает по залу и топочет ножками, а бабушка охает и ахает: какая милая девочка, внученька! А его никто не встречает! И тут Андрей почувствовал, что очень устал, что у него не осталось сил, чтобы раздеться. Вышла мама и сказала:

— Андрюша, раздевайся, дедушка с бабушкой приехали.

Он посмотрел на маму, она не улыбалась, а ему хотелось улыбки. Он вспомнил, как злолюк чуть не сгрыз его яблоньку, как исчезла лошадка, его новый сказочный друг, и ещё само вспомнилось про паровозик — даже паровозика у него нет.

— А ты мне не купила паровозик с ручками,— начал Андрей и заплакал.

— Не плачь, раздевайся, ты просто устал,— сказала мама.

От этих слов Андрей заплакал горько-горько, ему казалось, что он одинок на всём свете и что никто его не любит. Мама опустилась и обняла его:

— Ну, успокойся, Андрюшенька, солнышко моё. Что у тебя случилось?

И тут Андрей ещё больше расплакался. Вышла бабушка и стала что-то говорить про то, что мальчики не плачут, и что-то ещё про стыд и какой-то срам. Но Андрей уже знал, что мама его никому не отдаст, и ему стало от этой мысли очень спокойно. Мама посадила его на колени, и так они сидели, пока Андрей не перестал плакать. Подошла сестрёнка и погладила его по голове своей маленькой ручонкой. Андрей посмотрел на неё: она такая смешная стояла и смотрела не него своими круглыми, как у совёнка, глазами. Андрей развеселился и стал хохотать и показывать ей козу рогатую, чтобы рассмешить.

Перед сном Андрей всё переживал: вдруг злолюк выползет ночью из-под крыльца и будет грызть деревца? Ещё он вспоминал лошадку из дождя и фантазировал, как бы они вместе гуляли в синем лесу. Мама уложила сестрёнку и подошла к Андрею, села на краешек кровати и ласково погладила его по голове, как она это делала каждый вечер.

— Вы с папой купите мне паровозик с ручками?— не отставал Андрей; он представил, как поставит этот паровозик в саду, чтобы он охранял деревья от злолюка.

— Не в этом месяце. Наберись терпения, Андрюша,— ответила мама.

— Почему?— не унимался Андрей.

— Мы уже купили тебе в этом месяце грузовик, мы не можем покупать каждый раз всё, что нам нравится. Так не бывает.

— Почему?— Андрей уже не мог остановиться, ему каждый разговор нужно было довести до конца.

— Потому! Я вот, например, тоже хочу синее платье, которое видела, когда мы с тётей Женей ходили по магазинам, а ещё малиновое и жёлтый костюмчик.

— А оно длинное?— спросил Андрей.

— Которое?

— Синее.

— Длинное,— вздохнула мама.

— И блестящее?!— вскричал Андрей.

Он видел такое платье в мультике у принцессы, когда был в гостях у двоюродной сестры Алины, длинное и блестящее платье, синее, как вечернее небо.

— Нет, не блестящее,— сказала мама.

Андрюша подумал и вскричал:

— Мама, я украшу твоё платье звёздами, сниму их ночью с неба и украшу!

— Как же ты их снимешь?— засмеялась мама.

— А вот возьму у папы лестницу и сниму сегодня ночью.

— Хорошо. А сейчас спи, мой хороший. Может быть, на твой день рождения к тебе и приедет твой паровозик, если ты ещё будешь хотеть его.

— Конечно, буду,— сонно ответил Андрей.

На следующий день с самого утра сияло солнце. Бабушка и мама с сестрёнкой собрались в гости к родственникам, к Алине. Андрей любил бывать у них, но тут отказался. Мама ничего не могла понять, только сказала:

— Ну, как хочешь, тогда побудь с дедушкой.

Когда они ушли, Андрей оделся, нашёл в кладовке пластмассовую лопатку на длинной ручке, детские железные грабли и железное ведро, которое он еле тащил за собой. Потом нашёл во дворе свою кочергу и принялся выгребать мусор из-под крыльца. На крыльцо вышел дедушка:

— Андрюша! Вот молодец! О! Да тут целая помойка. Давай-ка я помогу.

Дедушка взял железное ведро, помог Андрею собрать туда весь мусор и вынес его на улицу в специальный контейнер.

— А что с ним будет? С мусором?— спросил Андрей.

— Его сожгут.

Андрей облегчённо вздохнул, но на всякий случай попросил дедушку заделать отверстие сбоку крыльца.

— Хорошо,— согласился дедушка.— Пойдём тогда выберем подходящие дощечки.

Андрей запрыгал от радости и поскакал за дедушкой.

Андрей каждый день вспоминал про свою «дождливую» лошадку и грустил о ней. Он думал, где она теперь, а иногда волновался: вдруг она навсегда стала лужицей?

Как-то Андрей проснулся перед самым рассветом от сильного шума за окном. «Ещё ночь»,— подумал он, но заснуть не мог. В комнате стало немного светлее, а шум стал несколько тише, и вдруг кто-то стукнул по стеклу. Андрей соскочил с кровати и подбежал к окну. Он увидел, как лошадка, состоящая полностью из капелек дождя, скачет по улице перед самым его окном. Потом она прыгнула прямо к окну, вскочила на оконный отлив, и её грива заструилась по стеклу. Андрюша приложил ладонь к стеклу, а потом стал махать ей рукой и радостно смеяться.

Д*и*Н симметрия

Демьян Бедный

Семена

Самовар свистал в три свиста.
Торопяся и шаля,
Три румяных гимназиста
Уплетали кренделя.

Чай со сливками любовно
Им подсовывала мать.
«Вновь проспали! Девять ровно!
Надо раньше поднимать!

Всё поблажкам нет предела!»—
Барин ласково гудел.
Мать на младшего глядела:
«Вася будто похудел…

Нету летнего румянца!..»
Состоя при барчуках,
Тятька мой три школьных ранца
Уж держал в своих руках,

А за ним пугливо сзади
Я топтался у дверей.
Барин снова: «Бога ради,
Мать, корми ты их скорей!

Вот!— он к тятьке обернулся.—
Сколько нам с детьми хлопот.
Из деревни твой вернулся?
Разве зимних нет работ?

А, с книжонкою мальчишка?!
Велики ль его года?
Покажи-ка, что за книжка?
Подойди ж, дурак, сюда!»

Я стоял как деревянный.
Тятька подал книгу вмиг.
«М-да… Не-кра-сов… Выбор странный!..
Проку что с таких-то книг?!

Ну, стишки!.. Ну, о народе!..
Мальчик твой по существу
Мог бы лучше на заводе
Обучаться мастерству!..

Или все мужичьи дети
Рвутся выйти в господа?..
И опять же книги эти…
Сколько скрыто в них вреда!..

Дай лишь доступ в наше время
К их зловредным семенам!»
Тятька скрёб смущённо темя:
«Что уж, барин!.. Где уж нам!..»

Я со страху и печали
На ногах стоял едва,
А в ушах моих звучали
Сладкой музыкой слова:

«Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь…
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь
. . . .
Не без добрых душ на свете—
Кто-нибудь свезёт в Москву,
Будешь в университете—
Сон свершится наяву!

Там уж поприще широко:
Знай работай да не трусь…
Вот за что тебя глубоко
Я люблю, родная Русь!»

1921

Арина Ястремская (6 класс)

Я деревце твоё, Горячегорск…

Я родилась и выросла в самом живописном для меня месте — посёлке с прекрасным названием Горячегорск. Это мой любимый дом, моя малая родина. Слово «дом» имеет для меня несколько значений: это место, где ты живёшь, спишь, смотришь телевизор; это место на земле, где ты родился и вырос; место, куда хочется возвращаться; место, где ты ощущаешь себя свободным и счастливым. Для меня любимым домом является посёлок Горячегорск, потому что здесь я родилась, живу, учусь. Здесь всё для меня родное и любимое. Здесь живут мои друзья и родные мне люди. Этот уголок земли для меня дорог и любим мною. Ведь в нём навсегда останется частичка моей души. Это моё прошлое, настоящее и будущее.

Как же родился посёлок Горячегорск? Своим рождением он обязан месторождению запасов нефелинов. Благодаря этому в 1956 году у горы Горячей, в живописнейшем месте, раскинулся посёлок геологоразведчиков. Сюда потянулись люди. Закипела работа. Началась стройка. Через два года усилий на месте пустыря появились первые бараки, выстроились улицы. Село быстро росло. Расцветающим и перспективным был посёлок в семидесятые годы.

Его окружают горы, покрытые густым лесом. В нём много грибов, ягод. Посёлок красив во все времена года.

Зимой село похоже на сказочную страну. На лапах елей снежные шапки, кусты — словно диковинные зверюшки, село утопает в белоснежном покрывале. Кажется, ты просто попадаешь в другой мир. Всё вокруг белым-бело. Простор, сияние, красота…

А как прекрасны родные места весной! Молодая весенняя зелень деревьев кольцом охватывает село, завораживающий запах плывёт от клейких первых тополиных листочков. Невдалеке поёт свою песню холодная речка Базыр. Она бежит, звенит, словно хочет что-то рассказать. Птицы поют разными переливами, их пение завораживает, так и хочется слушать и слушать. Весной село привлекает своей многообразной жизнью и горько-сладким ароматом разнотравья. Весной особенно красиво, когда начинают цвести вишня, черёмуха, яблоня и сирень. Вы не представляете себе, какая необыкновенная красота, когда цветёт черёмуха! Встанешь утром на зорьке, выйдешь на улицу, а кругом ароматный запах висит в воздухе. Вдыхаешь — и сердце наполняется радостью. На душе легко. Куда ни глянешь, повсюду видишь незатейливые полевые цветы. Каждый цветок хорош по-своему. А какой от них аромат!

Летом посёлок весь в зелени, а осенью всё кругом в золотом уборе. И горы сверкают позолотой от лучей. Особенно закат радует глаз, он великолепен, он завораживает. Вся природа купается в последних солнечных лучах.

Горячегорск радует своими берёзовыми лесами, стройными соснами и мохнатыми елями. Могучие суровые кедры щедро одаряют всех, кто к ним приходит на поклон. Достопримечательностью являются известные горнолыжные базы «Долгий лог» и «Соболёк», которые радуют приезжающих красивыми пейзажами. Не верите? Если подняться высоко в горы и посмотреть сверху, можно увидеть цветущую долину с прозрачной рекой Базыр. Каждый раз, когда я смотрю на посёлок, у меня захватывает от восторга дух.

Мне хотелось бы изменить к лучшему будущее моего села — моего любимого дома. Мне видится посёлок современным, ярким, с новыми широкими улицами, с клумбами цветов. Возможно, в скором будущем обновится посёлок. Замигают яркими огнями улицы. В кедровом лесу откроется санаторий с канатной дорогой. Выйдешь на высокую гору за грибами, ягодами, цветами, посмотришь вдаль — завораживающая красота! Эх, прокатиться бы по воздушной дороге!

Я люблю свои родные места в любое время года. Я хочу посвятить свою жизнь Горячегорску. После учёбы я обязательно вернусь на родину, чтобы отдать свои знания развитию посёлка, сделать его процветающим.

Я надеюсь, я верю в большие перемены села. Цивилизация коснётся и этого чистого уголка природы. Это будет культурный, ухоженный, совершенно новый Горячегорск.

Я уверена, что в скором времени наши высокие горы, упирающиеся в небо, станут привлекать туристов. А наши природные богатства принесут большую пользу моей земле, моему посёлку.

Я люблю своё село. Это лучшее место на земле! Это мой дом, это моя родина. Частичка её будет всегда со мной. Я, как деревце, буду питаться её силой.

Кира Дорожкина (6 класс)

Маленькая жемчужина России

У каждого человека есть своя маленькая родина — место, где он родился, вырос, стал настоящим человеком. Я хочу рассказать о своём родном посёлке Краснокаменск.

Мой посёлок небольшой, но места здесь очень красивые. Краснокаменск не славится статусом столицы или районного центра, не имеет широкой транспортной развязки или достопримечательностей. Но этим он и прекрасен — своей уютностью, своей особой историей. Наши маленькие местные достопримечательности — это большое богатство для каждого жителя нашего посёлка.

Значительная часть территории посёлка Краснокаменск покрыта таёжной растительностью с преобладанием хвойных: пихты, кедра, ели, — и лиственных: берёзы, осины, рябины, — пород.

Рельеф территории моего посёлка в основном холмисто-увалистый, довольно сложный — резко расчленённый долинами ручья Дурной и другими ручьями и логами. Увалы высокие, выпуклые, а в отдельных местах они имеют переход к сопкообразным вершинам и высокогорному рельефу.

Краснокаменск расположен в западной части Курагинского района Красноярского края. Численность населения моего посёлка составляет около четырёх тысяч человек.

История возникновения посёлка тесно связана с Кузнецким металлургическим комбинатом города Новокузнецк. Длительное время Кузнецкий металлургический комбинат работал на привозной руде, составы с кузнецким углём шли на уральские металлургические заводы, а с Урала везли на Кузнецкий металлургический комбинат железную руду Магнитки. Но кузнечане с первых дней строительства комбината заботились и о своей рудной базе. Так было открыто месторождение «Рудный каскад» в отрогах Восточного Саяна, где впоследствии был построен посёлок Краснокаменск. К сожалению, в настоящее время работы по добыче руды в карьерах посёлка прекращены, а головное предприятие прекратило своё существование. Но мой посёлок продолжает жить и развиваться.

Достопримечательностью посёлка я считаю наш парк Победы, находящийся в самом центре Краснокаменска. На территории посёлка Краснокаменск в 2005 году, к шестидесятилетию Победы в Великой Отечественной войне, был заложен парк Победы и установлен камень памяти героям. В преддверии празднования шестьдесят пятой годовщины Победы наших воинов в Великой Отечественной войне при поддержке общественных организаций и населения было решено сделать парк культурно-досуговым местом. Память — это связующее звено между прошлым и будущим. Для жителей нашего посёлка символом памяти стал парк Победы, в котором установлен гранитный обелиск с именами всех краснокаменцев — участников самой жестокой войны двадцатого столетия.

В центре посёлка расположено живописное озеро Зеркальное. Каждое лето местные жители имеют уникальную возможность, не выезжая за пределы Краснокаменска, отдыхать, купаться, загорать на Зеркальном. Это озеро является любимым местом отдыха многих жителей. И мне нравится там бывать летом. Каждый год на озере празднуют День молодёжи, День рыбака, день Ивана Купалы, дни рождения, а кто-то просто ловит окуней и карасей.

Больше всего мне нравится гулять по лесу, дышать свежим воздухом, любоваться деревьями, наблюдать за птицами, насекомыми. У нас в лесу есть небольшие озёра, ручьи. В Краснокаменске очень красивая природа. Летом все деревья зелёные-зелёные, а зимой — голые, порой посеребрённые инеем, накрытые снежными шапками, от этого они только красивее становятся.

Зимой мы с друзьями катаемся на горных лыжах, сноубордах, коньках, плюшках на нашей горнолыжной базе «Оленья подкова». Как здóрово скатиться по крутому склону!

Когда ученики оканчивают школу, большинство направляется в города получать высшее образование. Я тоже буду вынуждена покинуть Краснокаменск, но я всегда буду возвращаться в него, потому что здесь мой дом, здесь моё детство и моя школьная пора, и здесь душа по-настоящему отдыхает, набирается сил.

Мой посёлок — маленькая жемчужина России, каких в нашей стране много. Маленькие, уютные, они манят своей простотой и чистотой к себе в гости, и тот, кто побывал здесь однажды, захочет вернуться сюда ещё раз.

стр. 17
Аринчин Сергей Александрович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Красноярске. Окончил Красноярский политехнический институт. Кандидат технических наук. Заведовал кафедрой АСУ и автоматики Красноярского инженерно-строительного института. В 1990-е годы работал зам. директора Красноярского филиала госцентра «Природа», зам. председателя крайисполкома, председателем комитета по экологии и природным ресурсам правительства края, зам. главы администрации Красноярского края, зам. губернатора Красноярского края, руководителем дирекции Федеральной целевой программы освоения Нижнего Приангарья. В 2000-е занимал руководящие должности и осуществлял проектную деятельность в нефтегазовой, энергетической и других отраслях. Публиковался в краевых газетах, журналах и сборниках. Автор книг «За яблочным вином» (1992), «Джеликтукон» (1998), «Возвращение на Джеликтукон» (2003). Один из авторов поэтических сборников «Весенние ручьи» (2003), «Поэзия на Енисее» (2006). Член Союза российских писателей.

стр. 34
Балашов Владимир Борисович
пос. Майна (Хакасия), 1949 г. р.

Школу окончил в Ленинграде. Инженер-геодезист по профессии, работал в изыскательских экспедициях в Казахстане, на Дальнем Востоке, в Якутии, Туве и Хакасии. Творческий путь начинал в Красноярском крае. На протяжении нескольких лет являлся членом редколлегии журнала «День и ночь». Поэт и прозаик, член Союза писателей России, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Пишет повести об изыскателях, фантастику, в последние годы — историческую прозу. Автор 7 книг. В 2019 году в Хакасском издательстве вышел историко-философский роман «Возвращение Тэмучина». Заслуженный работник культуры Республики Хакасия, кавалер Золотого Почётного знака «Достояние Сибири».

стр. 26
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Автор трёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!» и «Не такой». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и всероссийской литературной премии имени Павла Бажова (2008). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 1970-х), «Политбюро» (конец 1980-х) и «Монарх» (конец 1990-х). Лидер движения «дикороссов». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина»), «Иерусалимский журнал» (Израиль). Награждён орденом Велимира «Крест поэта».

стр. 118
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск в Казахстане. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Член Союза российских писателей. С 2011 года живёт в Красноярске.

стр. 131
Галиаскарова Елена Фёдоровна
Красноярск, 1986 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила инженерно-строительный институт СФУ в 2008 году. По профессии — инженер-эколог. Лауреат и магистр, член жюри МФ ВСМ (Международного фонда «Великий Странник — молодым»). Диплом победителя молодёжного поэтического конкурса «Графит». Дипломант V Международного литературного конкурса «Верлибр-2018» в номинации «Особый взгляд. Поэзия». Участник международного фестиваля «Всемирный день поэзии» 2019 года (4 место по городу Красноярску). Участник конкурса литературных

авторских театров «ФЛАТ-2019». Лауреат III степени Международного литературно-художественного конкурса «Листья дуба-2019».

стр. 87
Герман Надежда Николаевна
Абакан, 1953 г. р.

Родилась в 1953 году в посёлке Новая Еруда Красноярского края. Среднюю школу окончила в посёлке Шушенское. Начала печататься, будучи ещё ученицей седьмого класса. За время учёбы в школе были опубликованы несколько стихотворений и фантастический рассказ. Работала рулевым-мотористом на теплоходе, экскурсоводом, библиотекарем, телеграфистом. Член Союза писателей Хакасии. Произведения опубликованы в газетах и журналах «Абакан», «Абакан литературный», «День и ночь», в коллективных сборниках литературного объединения «Стрежень», а также отдельными изданиями.

стр. 66
Дорошева Вера Александровна
Хакасия, 1986 г. р.

Родилась в посёлке Усть-Абакан Хакасии. Окончила ХГУ по специальности «Журналистика». Работает в газете «Хакасия»: сначала корреспондентом, потом редактором отдела, а теперь ответственным секретарём. Здесь же были одни из первых публикаций. Произведения также выходили в газетах «Провинциал», «Усть-Абаканские известия», журнале «Абакан литературный». Участник первого местного литературного лагеря в 2010 году, по итогам которого была выпущена книга-сборник молодых авторов.

стр. 190
Зай Нина
Красноярск, 1983 г. р.

Родилась в посёлке Шушенское. Выпускница филологического факультета Красноярского государственного университета. Пишет прозу. Работает в жанре сказки, фантастики, фэнтези. Публикуется в Интернете, участвует в литературных конкурсах. В 2019 году по итогам конкурса «Метафорическая деформация» её рассказ «Улыбка Вселенной» был включён в состав коллективного сборника «Песня». Публикация в журнале «День и ночь» — первая журнальная публикация автора.

обл.
Исаенкова Виктория
Красноярск

Член Творческого союза художников России (ТСХР) и Международной федерации художников (IFA) с 2010 года. Выпускница Красноярского художественного училища имени В. И. Сурикова, Красноярского государственного художественного института, Международной академии изящных искусств (Зальцбург, Австрия). Картины находятся в частных коллекциях России, Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, США, Аргентины, Мексики, Кореи.

стр. 130
Карзникова Любовь Геннадьевна
Дивногорск

Родилась в Туве. Окончила Кемеровский государственный институт культуры. Постоянное место работы — центральная библиотека города Дивногорска. Писать стихи начала в школе. Со времени приезда в Дивногорск стала членом городского литературного объединения. Стихи и проза публиковались в городских газетах «Огни Енисея», «Новости Дивногорска», «Светоч», «НТС». Принимала участие в семинарах молодых литераторов в Красноярске. Подборки стихов публиковались в альманахах «Енисей», «Новый Енисейский литератор». Работы печатались в журналах «Российский воин», «Библиотека», «Встреча», «Читаем. Учимся. Играем», «Сибирячка», в газетах «Культура», «Красноярский рабочий», «Красноярская газета», «Хакасия», «Огни Саян», в сборниках «Поэтессы на Енисее», «День поэзии», «Мы вас помним, гордимся и чтим». Изданы 3 книги стихов: «Мелодии моей души», «Живу сейчас», «Мир радости». Член Союза писателей России с 2016 года.

стр. 84
Кинтеро Фелипе Гарсиа
Попаян (Колумбия), 1973 г. р.

Родился в городе Попаян (Колумбия). Изучал латиноамериканскую филологию в Испании, культурологию в Эквадоре, литературу и испанский язык в Колумбии. Опубликовал четыре сборника стихов и исследование о колумбийском поэте Рафаэле Майя. Удостоен нескольких премий и стипендий в Колумбии, Чили и Испании. Редактор поэтического обозрения «Офелия». Профессор журналистики Университета дель Каука в Попаяне.

стр. 132
Кузнечихин Сергей Данилович
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино Костромской области, в семье служащего. Окончил Калининский политехнический институт (1969). Работал инженером в Свирске Иркутской области и в Красноярске, а затем — сторожем (с 1989). Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жёсткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», «Неприкаянность» и др. Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация» (повести и рассказы), «Омулёвая бочка» и др. Многочисленные публикации в журналах, альманахах, антологиях России, ближнего и дальнего зарубежья. Член СП СССР (1991). Награждён медалью «За трудовое отличие» (1981).

стр. 3
Логвинов Анатолий Михайлович
Красноярск, 1944 г. р.

Профессор кафедры менеджмента и рекламы Сибирского федерального университета. Доктор социологических наук, ветеран труда. Окончил

Сибирский технологический институт по специальности «инженер-механик по машинам и аппаратам химического производства». Диссертация на соискание докторской учёной степени защищена в 2007 году (по специальности 22.00.06 — «Социология культуры, духовной жизни») по теме: «Эволюция организационной культуры крупных промышленных предприятий России во второй половине XX — начале XXI вв.».

стр. 170
Малягин Владимир Юрьевич
Москва, 1952 г.р.

Драматург, прозаик, сценарист. Главный редактор издательства «Даниловский благовестник». Член Союза писателей СССР (с 1990 года), член Издательского совета Русской православной церкви, руководитель семинара драматургии в Литературном институте имени А. М. Горького. Лауреат всесоюзных и всероссийских конкурсов драматургии.

стр. 163
Мамаева Альбина Романовна
Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 74
Николаев Виктор Николаевич
Ивантеевка, 1958 г. р.

Родился в селе Рассыпное Каменевского сельсовета Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР. В 1977 году из армии поступил в Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. С мая 1987 по май 1988 года служил в Демократической Республике Афганистан в должности начальника поисково-десантной группы, был ранен. Проживает в городе Ивантеевка Московской области, является заместителем председателя МООО «Радонежский союз защиты отечественного наследия». Первая книга «Жив́ый в помощи» вышла в 1999 году. Имеет ряд военных и литературных наград.

стр. 7
Новикова-Строганова
Алла Анатольевна
Москва, 1960 г. р.

Родилась в городе Бугульма в Татарстане. В 1981 году с отличием окончила факультет русского языка и литературы Орловского государственного педагогического института. Работала учителем в средней школе, преподавателем кафедры русской литературы ОГУ. В 1993 году в Московском государственном педагогическом университете защитила кандидатскую диссертацию, десять лет спустя в Московском государственном областном университете — докторскую диссертацию. Профессор. Член Союза писателей России.

стр. 26
Орская Тина
Москва

Международный эксперт по поиску пропавших людей, медиум, писательница. Окончила отделение романо-германских языков Московского института имени Крупской. Училась у преподавателей ВГИКа и ГИТИСа, на семинаре в Литературном институте. Кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Рекордсменка Международного агентства рекордов и достижений. Принимала участие в организации чемпионатов мира и Европы, Олимпийских игр и Игр доброй воли, международных кинофестивалей и научных конгрессов. Заведовала отделом Международной академии энергоинформационных наук. В настоящее время возглавляет отдел Международного агентства рекордов и достижений. Живёт в Москве и за рубежом.

обл.
Поспелова Татьяна Олеговна
Красноярск

Художник-живописец, график. Член Союза художников России с 2016 года. Родилась в Хакассии. Окончила отделение живописи Красноярского государственного художественного института. В настоящее время работает в Детской школе искусств №13. Активный участник выставочных проектов и фестивалей с 2010 года.

стр. 23
Ромашков Юрий Валерьевич
Енисейск, 1988 г. р.

Родился в Красноярске. Затем переехал в деревню Старая Кузурба Ужурского района. В конце 1990-х — новый переезд, на этот раз в Шарыповский район, деревню Александровку. В 2009 году окончил исторический факультет Енисейского педагогического колледжа. После службы в рядах Вооружённых сил РФ поступил на исторический факультет Красноярского педагогического университета имени В. П. Астафьева, который окончил в 2014 году. С 2011 года и по сей день работает научным сотрудником фондов Енисейского краеведческого музея имени А. И. Кытманова. Лауреат Фонда Астафьева (2019).

стр. 20
Рябеченков Николай Минаевич
Дивногорск, 1941–1995

Поэт, журналист, строитель Красноярской ГЭС. Родился в Смоленской области. Окончил Ростовский кинотехникум, Литературный институт имени А. М. Горького (1973). По окончании техникума работал киномехаником, слесарем, электриком. В 1961 году приехал в Сибирь. Работал на стройке ГЭС и города Дивногорска, за что получил знак «Строитель Красноярской ГЭС». Когда в 1966 году строительство завершилось, остался жить в Дивногорске и Красноярске. Сотрудничал с газетой «Огни Енисея» и со многими краевыми изданиями,

печатался в коллективных сборниках Красноярска и Москвы, в «Литературной России», в альманахе «Енисей», в антологии одного стихотворения «Час России». Умер в Дивногорске. При жизни поэта была издана лишь одна его книжка «Скит».

стр. 68 **Рязанцев Геннадий Николаевич**
Липецк, 1954 г. р.

Родился в селе Карамышево Липецкой области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького, Московскую духовную семинарию. Работал художником. В настоящее время — протоиерей, настоятель храма Архистратига Михаила в Липецке. Поэт, прозаик, эссеист. Автор 10 книг поэзии и прозы. Лауреат Всероссийской литературной премии имени святого благоверного князя Александра Невского, литературных премий имени Ивана Бунина, Ярослава Смелякова, Алексея Липецкого, Евгения Замятина и других. Награждён большой серебряной медалью имени Николая Гумилёва. Обладатель золотых дипломов Международного литературного форума «Золотой Витязь».

стр. 84 **Саввиных Марина Олеговна**
Красноярск, 1956 г. р.

Поэт. Публицист. Педагог. Автор более десятка книг стихов, прозы, художественной публицистики. Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014), X Всероссийского поэтического конкурса «Мечети — Божьи храмы» (2016). Награждена орденом Достоевского I степени и медалью «Василий Шукшин». Обладатель высшей награды Всеславянского литературного форума «Золотой Витязь» (2020). Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Красноярского края. Председатель издательского совета РИЦ «День и ночь».

стр. 182 **Савина Ксения Игоревна**
Санкт-Петербург, 1992 г. р.

Выпускница философского факультета СПбГУ и одноимённого факультета РХГА. Религиовед, окончила аспирантуру ЛГУ имени Пушкина по направлению «Философия религии и религиоведение». Занимается теорией и практикой стихосложения в верлибре. Дебют в журнале «Знамя». Участница заключительной смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

стр. 179 **Севрюгина Елена Вячеславовна**
Москва, 1977 г. р.

Родилась в Туле. Кандидат филологических наук, доцент. Член клуба Центрального Дома литераторов в Москве, постоянная ведущая литературных гостиных в Малом зале ЦДЛ. Автор публикаций в областной и российской периодике, в том числе в журналах «Дружба народов», «Нева», «Знамя», «Homo Legens», «Дети Ра» и др., в электронном журнале «Formasloff», на интернет-порталах «Сетевая словесность», «Лiterraтура», «Textura», в интернет-альманахах «45-я параллель», «Твоя глава», газете «Поэтоград». Выпускающий редактор интернет-альманаха «45 параллель». Редактор отдела «Ликбез» журнала «ФормаСлов».

стр. 64 **Синицын Тихон Борисович**
Севастополь, 1984 г. р.

Родился в Севастополе. Получил высшее гуманитарное образование в Ялте, по специальности — художник. Публиковался в журналах «Москва», «Октябрь», «Нева», «День и ночь», «Роман-газета», «Юность» и др. Автор книг «Частная тетрадь», «Рисунки на берегу», «Бескрайняя Таврика».

стр. 6, 63, 65, 117, 162, 178, 194, 195 **Синяя тетрадь**
Красноярский край

Базаркина Елена (Курагинский район, с. Кордово), Доброва Дарина (г. Сосновоборск), Галайко Полина (Красноярск), Дорожкина Кира (Курагинский район, п. Краснокаменск), Какович Ульяна (Шарыповский район, с. Шушь), Кириченко Альбина (Кайеркан), Мужаева Алёна (Манский район, д. Сергеевка), Ястремская Арина (Шарыповский район, п. Горячегорск).

стр. 184 **Стасяк Екатерина**
Челябинск, 2004 г. р.

Начинающий прозаик, драматург и поэт. Диплом за остросюжетность прозы и диплом за первые поэтические опыты на конкурсе «Стилисты добра» (2019).

стр. 134 **Сычёва Лидия Андреевна**
Москва, 1966 г. р.

Родилась в селе Скрипниково Воронежской области. После заводской средней школы в городе Калаче окончила исторический факультет Воронежского пединститута. Работала преподавателем. Как журналист дебютировала в газете «Комсомольская правда» в 1993 году. В 1995 году поступила в Литературный институт имени А. М. Горького. В 1998 году дебютировала с рассказами в журнале «Новый мир». Прозаик, публицист. Главный редактор литературного интернет-журнала «Молоко» и сайта «Славянство — Форум славянских культур». Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

стр. 128 **Тенятников Сергей**
Красноярск, 1981 г. р.

Поэт, переводчик, видеопоэт. Окончил Лейпцигский университет по специальностям «политолог», «историк», «филолог-русист». Победитель фестиваля «Эмигрантская лира» (2014). Лауреат литературной премии Фонда имени В. П. Астафьева (2015). Лауреат Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2021). Публикации в литературных

журналах в Бельгии, Германии, Казахстане, России, США и на Украине. В настоящее время живёт в Москве.

стр. 81

Хугаев Ирлан Сергеевич

Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии-Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

В. Н. Наговицын

РЕДАКТОРЫ

Марина Наумова-Саввиных

Дмитрий Косяков

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

Журнал издаётся с 1993 года.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Александр Астраханцев
Красноярск

Наталья Ахпашева
Абакан

Юрий Беликов
Пермь

Глеб Бобров
Луганск

Елена Буевич
Черкассы

Вера Зубарева
Филадельфия

Александр Кердан
Екатеринбург

Сергей Кузнечихин
Красноярск

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Евгений Минин
Иерусалим

Виталий Молчанов
Оренбург

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Орлов
Москва

Олеся Рудягина
Кишинёв

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Андрей Тимофеев
Москва

Владимир Шемшученко
Санкт-Петербург

Нина Ягодинцева
Челябинск

В оформлении обложки использованы картины Виктории Исаенковой и Татьяны Поспеловой.

ИЗДАТЕЛЬ

АНО РИЦ «День и Ночь».
ИНН 770 207 0139

Расчётный счёт
4070 3810 4004 3000 0496

В филиале «Сибирский» банка ВТБ ПАО в г. Новосибирске

БИК 045 004 788
КПП 540 643 001

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3,
т. +7 950 991 4349

Почтовый адрес:
660133, г. Красноярск, ул. 3 августа, д. 22, оф. 4

Наш сайт: www.krasdin.ru

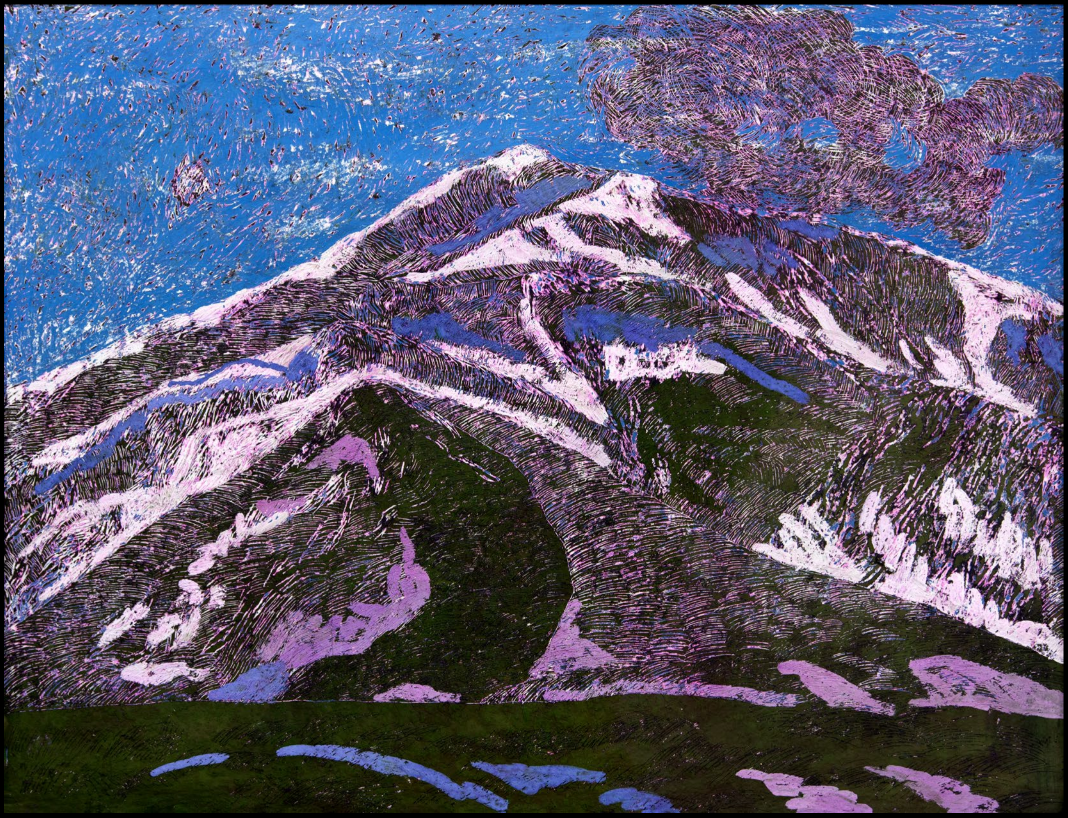
Подписано к печати: 10.5.2021
Дата выхода в свет: 31.5.2021
Тираж: 1200 экз.

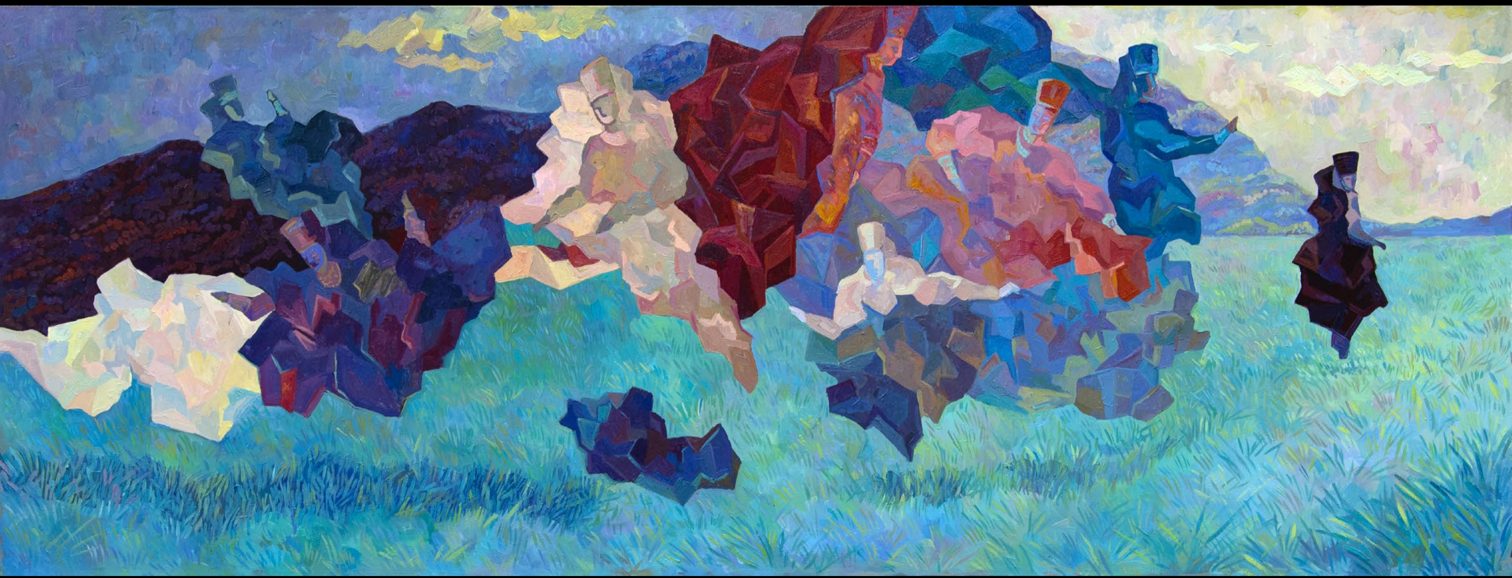
Цена свободная

Журнал выходит 6 раз в год

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт» г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

16+



Татьяна Поспелова | Серия «Отпечатки памяти» | Лист 2 | 2020

Татьяна Поспелова | Серия «Отпечатки памяти» | Лист 3 | 2020